

Анатолий

# ПРИСТАВКИН

---

Судный день  
Вагончик мой дальний

*Перрончик прощальный,  
вагончик мой дальний...*



Анатолий  
**ПРИСТАВКИН**



Анатолий  
**ПРИСТАВКИ**

---

Судный день  
Вагончик мой дальний

Москва



УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
П77

Художественное оформление  
Яна Сметанина

Подписано в печать 14.08.2009. Формат 84×108/32.  
Гарнитура «Букман». Печать офсетная. Усл. печ. л. 23,52.  
Тираж 3000 экз.

Отпечатано в ОАО «Типография «Новости»  
105005, г. Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 46

**Приставкин, Анатолий.**

Собрание сочинений в 5-ти т. Т. 3 / Анатолий Приставкин. — М. : АСТ :  
Зебра Е, 2009. — 448 с.

ISBN 978-5-94663-940-8 (общ.)

ISBN 978-5-94663-943-9 (т. 3)

Как у каждого серьезного писателя, у Анатолия Приставкина были свои любимые из тех книг, что созданы за сорок лет честной литературной работы. Это только дети в семье все любимые, а книги у писателя, хотя и родные, как дети, но все разные. Поэтому можно сказать, что эту коллекцию прозы для вас, дорогие друзья, собрал сам автор...  
В третий том вошли повести «Судный день» и «Вагончик мой дальний».

Агентство СІР РГБ

ISBN 978-5-94663-943-9

СУДНЫЙ  
ДЕНЬ



В здании старенького клуба, в центре поселка, происходила выездная сессия суда над рабочим сборочного цеха танкового энского завода Константином Ведерниковым.

Никто из собравшихся на суд в майский, теплый этот день, особенно тревожный, потому что в воздухе носилось охватившее людей предчувствие скорого конца войны, не сомневался, что дело Ведерникова решенное и закончится оно приличным сроком, ибо не стали бы по пустякам проводить такую сессию и собирать со всего завода и поселка народ.

Памятен еще был случай с электриком гальванического цеха Сырниковым, который опоздал на восемь минут и получил шесть месяцев принудработ условно. Но там, говорят, и никакой сессии-то не было, вызвали в административный корпус, зачитали по бумажке приговор и велели трудиться дальше, в том же, кстати, цехе. Только за бесплатно.

Но в том-то и разница, что у Сырникова было восемь минут прогула, у Ведерникова же этих минут далеко не восемь и даже не восемьдесят восемь, целая рабочая смена, то есть полных одиннадцать часов! Это ведь и представить и подумать страшно для тех, кто понимает, что такое не выйти на смену, прогулять без причин рабочий день, когда



все твои вкалывают и не могут без тебя, ибо ты звено в их цепи, а план горит, а дело стоит, а военпреды терзают бригадира, и мастера, и начальника цеха, а те в растерянности смотрят на часы да еще на пустые платформы, которые выстроились посреди обширного двора для немедленной отправки боевой техники отсюда прямо на фронт... А техника — где? Где? Где?

Не было, так скажем, за все годы войны подобного этому случая, да и быть не могло. Не было, не могло быть, да случилось. И с кем случилось-то, благо бы с дежурным сачком, от которого можно что угодно ждать, а то с Ведерниковым, тем самым Ведерниковым, чья фамилия всегда на слуху, ею, считай, все уши прожужжали, на стендах примелькалась, в призывах многотиражки, на митингах, на совещаниях на разных, вплоть до Москвы. И везде, как в медные трубы: будьте как Ведерников! Работайте, как работает, по-фронтовому, стахановец Ведерников! Он и ударник, и передовик, и зачинатель движения... А он-то, зачинатель фиговый, и показал, чего он стоит. Это ведь как лестница, такая слава-то, чем выше поднимешься, тем больней падаты!

Так меж собой толковали люди, стоя раненько утречком перед закрытыми еще дверьми клуба, где, по объявлению, должен состояться тот самый суд. И далее, шепотком, передавали, что неспроста видели названного Ведерникова с прохиндеистым малым Толиком Васильевым, прозванным за голубые нахальные глаза Васильком. А он сорняк красивый и есть, Василек тот сам, рыльце в пушку, но и Ведерникова-тихоню затянул в дом к молодой спекулянтке Зине, что жила со своей несовершеннолетней племянницей в домике на краю поселка. Будто в тот домик знавали дорожку многие из здешних мужичков, проторив ее задами да огородами в темную ночку, к Зине, но может, и к племяннице, из-за которой, дуры-девки, и произошел громкий на весь поселок скандал в известный апрельский день, закончившийся так печально.

Видать, крепенько опутали бабы наших парней, если они пошли супротив закона. Да они ли первые, они ли

последние? Весь мир о баб спотыкается, сколько он существует, от Адама и Евы, если верить кинокартинам. И сводятся, и разводятся, и на всякие сделки с совестью идут люди, да какие люди, знаменитые, не нашим ударникам-стахановцам-зачинателям дутым чета! Подумаешь, тайный притон у Зины посещали! А девка-то, племянница та недоразвитая, видать, приманкой в этой истории была. Эту девку знали многие в поселке, она на местном рынке яблочками торговала из Зининого сада, притворялась тихоней, хоть многие законно считали, что молчаливость та от глупости, от придуркости ее. Чего говорить, если она говорить не способна и даже в школу ее не отдают. Улыбается да рубли с червонцами замусоленными поглубже за пазуху, за лифчик сует.

Еще трепали, что уж совсем несуразно, невнятно про мастера с завода Илью Ивановича Букаты, будто и он ходил к Зине в дом, хотя заподозрить старика в разврате было уж никак невозможно. Особо тем, кто хорошо его знал. Жил он бирюк бирюком и не признавал в жизни ничего, что было не его работой на заводе. В цехе прозвали его Железным. Таким он и был. И что его могло связывать с беспутной Зиной, никто толком не мог объяснить. Вроде бы он доводился каким-то родственником племяннице той глупой. Но если оно и в самом деле так, как же он, родственничек, мог допустить, чтобы организовали подобное безобразие в доме, что стал притоном и привел к преступлению Ведерникова, который и работал в цехе у Букаты? Невозможно объяснить, вот в чем дело. И вся эта история, и участие в ней названных лиц и не названных еще, вроде приезжего спекулянта по фамилии Чемоданов, была запутанная, темная. На этом сходились все.

В то воскресное майское утро народ словно на митинг пришел к дверям клуба барачного типа, построенного еще в годы первой пятилетки, деревянного под штукатурку, которая местами отвалилась, обнажив дранку крест-накрест.

Многие встали пораньше, чтобы занять лучшие места, как на приезжих артистов. Но комсомольские активисты,

с красными повязками на рукавах, выделенные от завода, сначала пропустили своих, которые приходили целыми бригадами от разных цехов по спискам, составленным руководством. Конечно, разделение на своих да на чужих было условным, кто же тут не свой, если весь поселок трудился на заводе в разных цехах и подразделениях, кроме разве неходячих стариков и малых детишек.

Другое дело, что люди из головных цехов направлялись по разнарядке и, хоть считался сегодняшней день выходным, обязаны были явиться в клуб, как на работу; для них-то, если предположить, и предназначался весь этот показательный суд.

А вот другим никто и не приказывал, сами пришли, явились — не запылились, страсть как хотели все знать из первых рук.

Они толпились у дверей, терпеливо выжидая, и с шуточками пропускали тех своих удачливых собратьев из цехов, прося, чтобы им не забыли занять местечко.

А тут пронесся слух, не специально ли, что в магазине «выбросили» и отоваривают по сахарным талонам конфеты из постного сахара, редкость! И будто очередь, на удивление, невелика, и продавщица божилась, что сахара завезли много. Сперва не верили, но слух подтвердился, когда понесли тот сахар ломкими цветными кусками, привораживающими взгляд, но поддались соблазну лишь самые невыдержанные, слабачки, словом. Основная же масса, успев поохать да повздыхать, продолжала, несмотря ни на что, подпирать дверь, резонно считая, что зрелище, показанное на суде, должно стать послаще того сахара. Если к тому же в подробностях расскажут о Зинином тайном притоне и его посетителях.

Сгрудившись у дверей, люди не сразу заметили, как появилась и стала пробираться к выходу молодая женщина, светловолосая, с ярко накрашенными губами. А когда ее заметили, когда углядели, то сразу поняли, что это небезызвестная Зина и есть. Шла она в сопровождении мастера Букаты, что и доказывало: не случайны все эти разговоры об их непонятных связях, хотя, возможно, не

Букаты ее сопровождал, а она сопровождала мастера, который после всех этих странных историй слег с сердцем и был увезен в больницу. То ли его выпустили, то ли разрешили встать на время суда.

Все внимание баб из толпы, конечно, сосредоточилось на Зине. И хоть была она скромно одета, в темную жакетку и платье серенькое, да и шла, никого не цепляя взглядом и даже чуть опустив голову, как бы признавая свою покорность судьбе, и в частности, этим людям, самые жестокие из женщин подняли голос во всю силу, что вот она, такая-сякая, сука последняя, прописная, что губы не забыла на суд накрашивать, небось и тут надеется мужиков из прокуратуры завлечь... И все подобное, в том же роде.

И правда, в губах ли пухлых, приманчивых, в глазах ли, почти и не подведенных, но больших, серых, навывкате, было что-то впрямь завлекательное, сладко-обещающее для мужиков...

Букаты, который шел спокойно, будто ничего не слыша, уже в конце, у самых дверей, не выдержал, гневно оглянулся, чтобы посмотреть, кто же это больше других разоряется, глотку не бережет.

Но тут и ему досталось: произнесли, хоть и не столь ожесточенно, что «нече зыркать, не спужались, и лучше бы за своей ближней смотрел в два глаза, а не по сторонам, чего она еще может наперед выкрутить... Змея такая!»

Впрочем, голос не поддержали.

А вот когда проходил Ведерников с мамой и милиционером, то все смолкли, потому что знали тетю Тая, уборщицу, которая проработала и прожила тут с двадцатых годов, когда очереди были на биржу и все лепились семьями в узких бараках, прозываемых «лежащими небо-скребами»: тетя Тая тут и мужа своего встретила, тихого, непьющего, он потом, как образованный, в бухгалтерии работал, и на фронт из той бухгалтерии уходил, и вскоре пропал без вести.

Когда скрылись Ведерниковы с милиционером за дверь, кто-то громко сказал, что бедная Тая, всю жизнь страдавшая, еще теперь должна страдать из-за собственного

отпрыска; а он-то, недоросток, куцепалый, он-то куда лез, о чем он думал в тот момент, когда связался с этой Зиной, бабой отпетой. О матери-то не думал в тот момент! А вот теперь засудят ни за что. Но как, возражали другие, «ни за что»? Возражали раздраженно, потому что толпа прибывала, и уже душно стало стоять, а активисты все не пускали. Как же это «ни за что»? У нас если судят, значит, виноват, иначе бы не судили. И невиноватых с милиционером не водят, и под стражей зазря не держат, и делегатов на суд из цехов не собирают! Тот не виноват, этот не виноват, а кто же по поселку хулиганит, что страшно после заката на улицу нос показать? А кто недавно табельщицу ограбил: часы и сумочку забрал? А кто с ножом у клуба фулюганил? Но при чем же здесь Ведерников-то, он-то при чем? Ну, отвечали, если не он, так дружки какие-нибудь, житья на поселке от них нет, вот при чем. Одного посадят, так другим неповадно станет хулиганить!

Тут разговор прервался, активисты отступили от дверей, поняв, что своих уже не прибудет, и люди, давя, отталкивая друг друга, бросились к входу, спеша занять свободные места. Но уже и мест не было, клуб был набит как коробочка, лепились в проходах и вдоль стен, а самые бойкие садились на пол между сценой и первым рядом, чтобы все получше слышать... Как они там у Зины-то — ели-пили-веселились, подсчитали — прослезились. Прямо про них сказано. Эту поговорку ко времени привели в здешней газете «Ленинец» два дня назад, когда писали о боевой дисциплине советских трудящихся, которые среди общего и дружного ударного труда еще нарушают сознательную дисциплину и понесут за это суровую кару, по всем законам военного времени.

Все читали эти слова и поняли, что милости на суде не будет и приговор вынесут, намотав срок на полную катушку, лет так до восьми, хотя еще неизвестно, какая длина у этой катушки и пристегнут ли к прогулу какие-нибудь другие разоблачающие факты. А может, уже и приговор-то готов, и осталось для формальности услышать слова вины и грохнуть так, чтобы остальные содрогнулись. А иначе

для чего их собирать, остальных-то? Показательный, он и есть показательный, как прежде казнь на лобном месте: смотри и думай: что с ним, то и с тобой, и с каждым, не дай бог, может случиться!

Сейчас сцена была пуста, только стоял стол с графином и несколько казенных стульев.

Но люди переговаривались и терпеливо ждали, глядя на стол с графином, смотреть больше было не на что.

Некоторые, самые невыдержанные, закурили, ядовито пахло самосадом, хоть они и пытались пускать дым в рукав, но скандальные бабы подняли крик в адрес несносных мужиков, которых надо гнать на улицу, иначе в этой угореловке, где и так дышать нечем, еще смраднее станет и невмочь слушать.

Мужики поухмылялись, отмахиваясь от криков, но дымить вроде перестали. Другие же забавлялись тем, что лузгали семечки, запасливо их набрав полные карманы и прижимисто раздавая по жменьке знакомым; молодежь шумно переговаривалась по рядам, слышались смешки и выкрики.

Кто-то из нетерпеливых привставал, заглядывая на передний ряд, чтобы разглядеть, кто же из заводского и поселкового высокого начальства приехал на суд. Видели спины тех самых активистов, начальников цехов, кто-то углядел Князеву, которая работала в суде, а прежде была секретарем профкома завода.

В спину можно было различить и каких-то военных, возможно, среди них находился и новый прокурор по фамилии Зелинский, чью статью о строгости законов все прочитали в «Ленинце». Было известно, что Зелинский прибыл сюда с фронта, после ранения, и был офицером, или в разведке, или в Смерше, то есть именно из таких, которые чикаться и либеральничать не станут. И хорошо. Он сменил на прокурорском посту известного своей довоенной славой Григорьева, который любой факт нарушения дисциплины и опоздания трактовал как саботаж, подрыв устоев, а иногда присовокуплял и вредительство. Но Григорьев в последнее время порядочно сдал и ушел на другую работу.

Но кто из сидящих впереди военных является Зелинским, каков он, правда ли, что он еврей или белорус, определить с задних рядов было невозможно. Оставалось гадать да ждать. Хоть и известно, что нет ничего более тяжкого, по поговорке, чем ждать и догонять...

Наконец те, которым надоело смотреть на пустой стол, начали по привычке хлопать и вызывать суд, будто долгожданных артистов. Некоторые засвистели. Но прошло около получаса и даже более, пока суд не начали.

## 2

Недели так за три до этого судебного дня, ранним апрельским утром по улицам поселка, еще пустынным, прошел человек с саквояжем в руках. Был он высок, лет сорока или чуть моложе, в военной форме без погон, и форма эта, было сразу видать, сшита на заказ из добротного английского сукна, френч и галифе под сапоги. Только шляпа мягкая, великолепная велюровая шляпа, явно трофейная, никак не гармонировала с остальной одеждой, хоть и придавала человеку вид необычный, во всяком случае, не здешний, не рабочий и не поселковый.

Шагал человек широко, энергично, но в то же время будто и не торопился, поглядывая по сторонам и вдыхая полной грудью чистый воздух, наполненный запахами земли, особо чувствительно воспринимаемый в это дивное предмайское время.

Денек, казавшийся поначалу сероватым, уже расходился, разголубел, и человек, видать по всему, был настроен особенно, он бойко из какой-то оперетки напевал в такт шагам, тренькал губами и, наверное, сам себе с таким настроением нравился. А старый саквояж, из добротной темной кожи, с округлыми боками и застежками наверху, с такими прежде ходили по домам земские врачи, хоть был тяжел, судя по тому, как часто приезжий менял руку, но не отягощал и не мешал его отличному настроению.

Он завернул в последнюю, из самых отдаленных, никуда уже не ведущих улочек, тупичков, сплошь в садах, так

что и домиков за ними почти невозможно было увидеть, и столкнулся с инвалидом на костылях, который не спеша прогуливался в эту тихую рань. Вот, не спится же человеку, а казалось бы, отвоевался, отдал что мог, ну и спи себе, задавай храпака, наслаждайся тем, что все еще воюют, а ты свою войну закончил, да вдобавок еще остался жив. Так нет, ходят, бродят, смотрят... Чего смотрят! В другое бы время приезжий только бы раздражился такой встречей, не любя лишних свидетелей, но сегодня он почти обрадовался инвалиду и сам подошел к нему.

— Папашка! — крикнул еще издали, хоть было видно, что инвалид не стар и уж точно никак не годится ему в отцы. Теперь, когда он обратился к инвалиду, стало заметно, что приезжий чуть-чуть, ну самую малость, выпил. — Папашка! У тебя закурить не найдется?

Инвалид остановился, упираясь на костыли широкой грудью, за полой длинной шинели не виден был обрубок левой ноги, окинул приезжего неторопливым взглядом и саквояжик его осмотрел, и сапоги, хромовые, еще новенькие, сверкающие (в туалете на вокзале небось носовым платком тер), и шляпу тоже, потом огляделся, может, для того, чтобы убедиться, что день и вправду только начинается, а перед ним уже стоит этакий молодец расфранченный да навеселе.

Плуховато ответил, что не курит, врач ему из госпиталя настрого запретил. А прежде-то, смолоду, сглупу, очень даже курил, и все что попадая курил, и кору, и травку, и заварку испитую от чая, когда курева серьезного не было... Так что потерпеть приятелю придется, если терпелка не кончилась!

— Да за дорогу-то! В поезде! — воскликнул приезжий. — Бабы в попутчиках, хоть кто из мужиков! То же и на вокзале! — И засмеялся, растягивая длинный рот дугой и показывая крупные зубы: — А мне доктора, папашка, терпеть, наоборот, не велели... Опасно, говорят, для жизни... Терпеть-то!

Инвалид посмотрел на собеседника и покачал головой, в серых строгих глазах будто что-то смягчилось.



— Веселый ты... однако. Не раненько начал-то?

— В самый раз, папашка! — воскликнул человек, поправив шляпу. — Я ведь не как-нибудь, я жениться приехал!

Инвалид не удивился. Мало ли всяких чудес повидал он за войну. Да и что же такого особенного, если мужчина в расцвете лет решил семьей обзавестись. Война на исходе, победная весна на дворе, а бабы за войну застоялись, задубели, им мужичок, да еще такой фартовый, как манна с небес, счастья небось кому-то полный рот!

— Сколько на твоих незаржавленных? — спросил между тем приезжий весельчак.

Инвалид покачал головой и указал кивком на солнышко:

— А вот мои часики... Думаю, пять-то отстукали.

— Пять? — переспросил приезжий. — Вот удивятся-то. Я ведь налётом, без предупреждения... Раз — и готово! — И снова захохотал.

Инвалид, глядя на него, тоже повеселел. Да и как не повеселеешь, если от человека такие счастливые лучи исходят. Поневоле развеселишься. И, уже подделываясь под тон собеседника, он спросил как бы в шутку:

— Может, твоя невеста ничего не знает, а ты женихаться, а?

Приезжий подхватил радостно:

— Но так она точно не знает! Спит и не знает. А? Папашка! А я ее сонную с флангов и в кольцо, чтобы время на раздумки у нее не оставалось! — И вдруг, уже всерьез, спросил: — Тебя, папашка, по затылку били?

— Меня? — переспросил инвалид, еще по инерции посмеиваясь. — На войне-то не разбирают, куда бьют.

— Война, папашка, все! — категорически произнес приезжий. — Все! Конец ей, я о любви говорю. Кот кошечку-то как ласкает, а? Он ее лапкой по макушке тяпнет, и она твоя... И котятка, и прочее...

— Ты сам-то на каком фронте был? — спросил инвалид. Так уж теперь познакомились люди, отвоевавшись, искали не только земляков, но и однополчан. Да и человек становился понятнее, когда у него про фронт узнаешь. Это

как характеристика, даже более, для любого встречного-поперечного.

Приезжий оскалил рот:

— Не спрашивай, папашка! Фронтов много... Есть такие, про которые ты и не знаешь... — Он уже собрался уходить, но оглянулся и добавил: — У каждого, папашка, свой фронт!

Инвалид со знанием отреагировал:

— Ну да... Стало быть, в разведке. Или еще в этой... которые по вражеским тылам!

— По тылам! — захохотал человек громко, на всю улицу. — Вот уж в точку попал. По тылам, да все по вражеским! И столько врагов! Папашка! Столько, что не сосчитаешь!

— Ну, слава богу, что жив, — сказал миролюбиво инвалид.

Но приезжий не слышал, ускоряя шаги в сторону самую дальнюю этой улицы, к дому, которого отсюда не было еще видать.

А в доме, куда направлялся странно веселый ранний гость, поднялась при первом свете девушка Катя. Накинув легкое платье, которое ей было чуть мало, вышла на крыльцо. Глянула на себя в крошечный осколочек зеркала, что был вставлен в столбик над умывальником, и сама себе не понравилась. «Фу, уродина... Обезьяна», — произнесла, показав язык, и отвернулась.

Все в это утро казалось ей противным: и собаки, которые ночью лаяли как сумасшедшие, не давали ей спать, и это серенькое утро, и деревья, и даже инвалид на дорожке за деревьями, хотя подумать, при чем тут, право, инвалид. Но, может, каждый день беспричинными гуляньями на рассвете он и будоражил собак? Впрочем, собаки и прежде лаяли, но Катя спала крепко, их не слышала. Это что-то с ней такое стало, что напала бессонница, и оттого можно сосчитать, сколько же стуков, скрипов раздастся в доме и сколько гавкнут собаки, привязанные за крыльцом, на задах.

Вот и сейчас, заслышав Катины мягкие шаги в резиновых ботах на босу ногу по крыльцу, они усилили голос,

и Катя сказала вслух: «Ну чево раскричались-то? Сейчас, подождите... Сейчас накормлю».

Она вернулась в дом и уже появилась с кастрюлей. Собаки, почуяв съестное, встретили счастливым повизгиваньем, и лишь Катя подошла к ним ближе, бросились к ней, чуть не сбивая с ног, натягивая со звоном цепь, и ловили бурду на лету, пока вываливала в деревянное долбленое корытце. Корытце было от прежней свиньи.

Собаки жадно поедали, чавкая и подергивая животами, а Катя смотрела, как они едят, и вдруг подумалось, так отчетливо, как никогда прежде: «А зачем я вообще живу? Вот они, и Дамка и Рекс, дом сторожат, для этого они родились, для этого их держат, а меня для чего? Если бы я поняла, для чего я родилась, я бы так не мучилась и спала бы, ведь для чего-то я нужна, раз я родилась? Я готова быть собакой, сидеть на цепи, и лаять по ночам, и знать, что я кому-то нужна. Но я никому не нужна, в том-то и дело. И если бы меня не было, всем вокруг легче стало бы, потому что они бы тоже поняли, что меня не должно быть и это просто ошибка природы, что я почему-то есть. А может, и вправду повеситься? Веревка в подвале лежит...»

Стало ей легко, когда она поняла, что ей надо делать. Впервые в это утро она улыбнулась и погладила Дамку. «Дура, — сказала ей. — Ты поела, и тебе хорошо. Только по ночам не надо лаять, а надо спать. А я решила, и я это сделаю. Можешь мне поверить».

Забыв про кастрюлю, про собак, она пошла в дальний конец огорода со своим новым и счастливым рожденным чувством, вдруг принесшим ей освобождение. Ей хотелось побыть с этим чувством подольше, укрепиться в нем, чтобы никто и ничто не могло в него сейчас вторгаться, а вторгнувшись, разрушить или хоть на ноготь мизинца изменить его.

В этот момент из дверей террасы выглянула Зина, чуть растрепанная, припухлая ото сна и в домашнем халате. Поняв, что племянницы нет, она дала рукой знак куда-то в глубину дверей, и тут же на пороге встал молодой чело-

век — светлый, поджарый, миловидный, голубоглазый. Он натягивал на ходу пиджачок.

— Толик! — произнесла Зина негромко, но с чувством, понимая, что он сейчас скроется, пропадет, как делал каждое утро, и она останется на весь день одна, в своей бабьей пустоте. И теперь полусознательно она пыталась затянуть момент ухода. — Толик! — повторила она. — Подожди! Я заверну тебе завтрак на работу.

Толик отмахнулся, ускорил шаг. Зина вдруг поняла, что он таки уходит, сбегает, почти и не простясь, и ринулась за ним, шлепая тапочками по земле и придерживая у ворота халатик.

— Толик! — крикнула сильнее. — Подожди же! Толик!

Наверное, он понял, что отвертеться от завтрака не удастся и от бурного Зинино прощанья тоже. Он уже знал, как это будет.

— Ну, чего? — спросил не поворачиваясь, стараясь быть как можно неприступнее. — Ну, простились же, Зин, сколько можно!

Но Зина совала сверток в карман, другой рукой обвивая ему шею.

— Это надо... — бормотала она, сильнее охватывая Толика. — И не спорь... Нельзя же всегда не есть... Тебе сила нужна.

— Ну, Зинаида, — капризно произнес Толик, пытаясь вывернуться из ее рук, оглядываясь по сторонам. — Люди же кругом... Тебе мало?

— Мало! Конечно, мало! — запричитала Зина и, забыв обо всем на свете, стала его целовать, вот чего он и боялся. Сейчас посыпятся упреки, а то и слезы, и не будет им конца. — Мало! Мне тебя всегда мало! Ну, что тебе на часик задержаться! А?

Толик вдруг заметил вдали Катино серенькое платье, быстро воскликнул:

— Катя-то встала! Ее бы постеснялась! Взрослая девка! Она же все видит, слышит!

Но Зина как обезумевшая — что любовь со взрослой женщиной делает! — держала крепко, намертво, все повторяла:

— Ничего она не видит... Ничего! Она блаженная! Дура!

Поняв, что ему сразу не уйти и нужно искать другие пути для отступления, в конце концов можно и мирно-тихо умиротворить лаской Зину, ее всегда лаской можно взять, Толик перестал рваться и сказал, проведя рукой по ее волосам:

— Она же мне ровесница... Мне стыдно при встрече ей в глаза смотреть.

— Ох, сначала! — Зина лишь головой замотала, зарываясь у Толика на груди. — Ну, потерпи годик-то... Чуть подрастет, я ее к дядьке на завод спроважу... Тогда станешь тут жить... Все тут будет твоим... Хозяином станешь-то: в дому нужен хозяин...

Разговор этот происходил не первый раз, он и в постели даже Зининой возникал, когда Толик, понимая свою власть и силу мужскую, мог от нее добиваться желаемого. А желал он получить Зинин дом, вместе с самой Зиной, то есть записать дом на себя и стать его полновластным хозяином.

Осточертело ему быть приживальщиком на этом свете, зависеть от всех, в том числе и от самой Зины.

Общежитие же, где он числился, надоело до тошноты. А вот как дом он получит, как бумаги на него справят, тогда... Тогда он и покажет, на что способен. Был у Толика надежный план, как обтяпать одно дельце, но времени на исполнение почти и не оставалось. Зина-то еще, слава богу, не знала, провожая и засовывая сверток с едой, что уже не ходит он на дурацкий завод, потому что погнали в шею из цеха, заставили заметать двор и трудиться на других подсобных грязных работах. А отсюда один путь — бежать.

Куда бежать, Толик еще не решил, но знал, что сбежит, потому что, когда он появлялся во дворе с метлой, на него пальцами указывали, смотрите, мол, как наш Василек устроился! Ловок был, но и его отставили! А Толик, не слыша насмешек, помахивал метлой, словно только и мечтал всю жизнь этот двор подметать, насвистывал что-то. Но

про себя мстительно прикидывал: «Подождите! Вы узнаете, на что Толик способен!» А к вечеру, взвинченный, устроил Зине категорическую сцену: или дом, или разрыв. А Зина умоляла его повременить, ведь Катя на руках, которая от сестры сиротой осталась. Намучилась с ней, и осталось мучиться немного. «А ведь я еще не старая, правда? — спрашивала Зина. — Я ведь и ребенка могу...»

Ни о чем не договорившись, утонули в ласках, потому что Зина была неистова в любви, и все ушло в ночь, в небытие. А теперь, на выходе, разговор как бы эхом вчерашнего всплыл, и Толик повторил, без всякой, правда, надежды на результат:

— Да что ты пристала! Хозяин! Какой же я хозяин? Поморочишь да оставишь! А я гордый! Я хочу знать, что меня любят не только на словах! Возьму и уеду!

А Зина вдруг оттолкнула его от себя, разозлилась. И крикнула в лицо:

— И уезжай! Замучил ты меня совсем!

Но когда Толик повернулся и пошел, быстро пошел, уверенный, что она опять его станет догонять, и уже желая, чтобы именно так случилось, потому что ссора, особенно такая, не входила в его планы, Зина и правда опомнилась, бросилась за ним, и лицо ее было в слезах от отчаяния. Она тоже поняла все так, что они сейчас расстанутся навсегда.

— Ну, подожди же, — попросила виновато. — Ну куда ты? Куда ты уедешь, кто тебя где ждет? Никому ты, кроме меня, не нужен, и сам понимаешь... Одна я могу тебя любить, так люблю, что на все готова... — И далее, ластясь, прижимаясь к нему, в беспомощности забормотала, что бесстыжий он, так ее терзает, потому что знает, понял, что она уж бумаги заготовила и переписала на него, но все лежит у юриста и ждет своего часа.

Толик о бумагах услышал впервые. Зина от него эту новость тщательно скрывала. Это теперь прорвалось, потому что довела себя и его до края. А у него аж сердце запекло, только подумалось сразу: не врет ли? Но уже в следующую минуту — нет, не врет, она не способна врать, глупа для

этого и добра слишком. А потом еще про счастье, которое бы теперь не спугнуть и не дать Зине повода пожалеть об ее откровенности... Лучше бы так и расстаться, оборвать на этом до вечера, а вечером дожать до конца.

Тут и появилась спасительницей Катя, выйдя из-за дома. Делая вид, что Толика она вообще не знает, обратилась к тетке, потупясь:

— Теть... Я хотела...

Но та ее сразу же перебила:

— Зина я, Зина, а не тетя! Сколько тебя учить!

Сказала в сердцах, потому что не отошла от разговора с Толиком и решала про себя, правильно ли она сделала, что сказала, обмолвись, про бумаги. А тут не вовремя, но она всегда не вовремя, Катерина со своей глупостью: «Тетя!» Будто специально пришла, чтобы подчеркнуть ее возраст при Толике... Такая дрянь...

Катя в этот раз на удивление спокойно перенесла теткин гнев и поправилась:

— Зин... Я хотела спросить, можно ли с этой корзиной на рынок пойти, она все-таки легче... — указывая на новую небольшую корзинку, которую держала в руках.

— Потому и легче, что яблок меньше влезает, — ответила, смягчась, Зина. — А почему с людьми не здороваешься? Слепая?

— Здрате, — сказала Катя, не глядя на Толика, а по-прежнему уставясь в землю. — Мне самой яблоки положить?

— Еще половину передавишь! — сказала Зина, но колебалась, оставлять ей Толика или не оставлять. Только отойди, вильнет хвостом, и нет его. Но практицизм Зинин победил в ней, она добавила: — Принеси другую корзину, я сама в подвал спущусь.

Катя отошла, а Зина бросилась к Толику, он стоял будто бы в растерянности после услышанной новости, вот такого растерянного, но уже управляемого, почти своего, она больше всего любила.

— Ну, ты не сердисься? — спросила. — Ты придешь? Сегодня? Да?

Толик пробормотал, но опять же по-своему, а не отчужденно, что, конечно, придет, но у него неприятности с работой, и он пока не знает, как быть.

— У тебя же мастером мой брат? — перебила в нетерпенье Зина. — Хочешь, я с ним поговорю?

— С Букаты! — воскликнул Толик злобно. — Нет! Бесплезно! Ты знаешь сама, какой это тип!

— Вредный, — подтвердила Зина. — Я с ним всю жизнь в разладе, хоть он и дает деньги на Катьку... Но сам, между прочим, не заходит!

Легка на помине, тут же опять появилась Катя с другой корзиной. Протянула, глядя в землю: «Вот. Такую нужно, да?»

Но Зина ей не стала отвечать. Посмотрела на Толика долгим взглядом и сказала: «Как договорились, да?» И пошла в подвал. А Толик, потоптавшись, не зная, как вести себя с этой странной и, видно, нелюдимою девицей, попрощался неловко, почти развязно:

— Ну, счастливо оставаться! Красавица!

— До свидания, — сказала Катя. Впервые подняла на него глаза и тут же отвела их. — А вы... приходите.

И такое сочувствие неожиданное прозвучало в ее словах, что Толик, уже повернувшись, чтобы идти, застыл и удивленно посмотрел на Катю: чего, мол, она, по правде или так, для словца?

Катя кивнула:

— Она вас любит... Вы не думайте, что она злая. Она сердится, потому что устала. Ей трудно... Когда человек не знает, как ему жить, ему всегда трудно. А потом он поймет, и ему легче.

Она, конечно, подумала про себя в этот момент, но и про Зину, ей было жалко свою запутавшуюся тетку. Но Толик думал, наверное, про себя, и он, пододвинувшись к Кате, произнес искренне, кривя красивые губы:

— Ох, Катерина! Надоело! Мне все в этом поселке надоело!

— Я вас понимаю, — сказала, улыбнувшись, Катя.

— Да что ты можешь понимать! С работы меня поперли! Скоро из общежития попрут... А кто я без рабочих



карточек, без койки, да и без дружков, которые меня оставили... Кто, спрашиваю? А все твой дядя, между прочим! Железный! — И Толик махнул рукой.

— Я его тоже терпеть не могу, — сказала Катя, подумав. — Он к нам не приходит, между прочим. А когда у тети... у Зины, — поправились, — были неприятности в буфете, это когда ее обокрали и хотели в тюрьму посадить... И вы тогда еще привели этого... Ну, Василь Василича...

— Ну и что? — вдруг враждебно спросил Толик.

— Ну, он нам помог, а дядя совсем не хотел помочь, и я его возненавидела... — И опять Катя попросила, будто просила за себя, никогда Толик не слышал у нее таких интонаций в голосе: — Не уезжайте! Пожалуйста! Я скоро сама уйду... Совсем... Понимаете? А Зина останется одна, а вы с ней... Вы же ее не бросите? Если ей станет плохо?

— Как это? — спросил Толик, потому что испугался вдруг разговора с этой непонятной девушкой. Она будто все про него понимала и заглядывала в его душу. А там у Толика такое творилось, никому бы не открылся и не захотел бы, чтобы его попытались открыть. Вот он и испугался этой молокососки, которую Зина и за нормальную-то не признавала, а за ней и Толик тоже не принимал всерьез... Они, юродивые, всегда догадливы, подумалось суеверно, и он, уже не глядя на Катю, сказал как можно равнодушнее:

— Ну ладно. До свидания, Катерина.

— Идите и приходите, — произнесла Катя весело вслед. — Прощайте!

И даже в этом энергично сказанном слове «прощайте» прозвучало для Толика что-то непривычное, но он уже не хотел ни о чем понимать и думать, а все страхи и сомнения оставил за крыльцом.

Выбираясь из сада, по узкой тропинке, у калиточки кривенькой, которую надо было приподнимать, чтобы открыть, иначе она цепляла за землю, увидел он человека и, еще не подходя, угадал: «Чемоданов! Легок на помине, — вот что первое подумалось, а уж потом: — Отчего же он в

такую рань приехал, не случилось ли что-нибудь? Вот уж не хватало, чтобы и тут завалилось!»

Но судя по всему, Василь Василич был в «духах». Как он сам называл, когда бывал в хорошем настроении.

Он вприщур, сверху вниз, посмотрел на Толика и на его приветствие лишь хмыкнул насмешливо:

— Ага. Тут! Тогда держи! — и протянул саквояж, будто Толик на то здесь и был, чтобы за ним таскать. А саквояжик-то был тяжеловат!

— Что-то случилось? — спросил на всякий случай Толик.

— Случилось! — Чемоданов все рассматривал Толика.

— Сыпанулся, что ли?

— Почему сыпанулся?

— А зажигалочки... Которые я тебе?

— С этим норма, — кивнул Чемоданов и опять посмотрел на Толика. Что-то неуловимо ехидное, неприятное было в его лице.

— Тогда что же? — спросил Толик, желая спросить иное — а почему, собственно, Василь Василич так рано и неожиданно приехал, какая нужда заставила его тащиться в такую даль. Жил Василь Василич за тыщу километров, работал на железной дороге.

— А ничего, — опять отвечал тот, не желая откровенничать. У него была противная и дурная ухмылка.

Толик потряс саквояжем, начиная злиться. Спросил впрямую:

— А здесь что? Это мне? Нет? А то мне пора идти!

Чемоданов понял, что тот в самом деле сердится, и уже миролюбиво произнес, что он привез швейные иголки «зингер», трофейные, из Германии, по червонцу штука... Но это потом, потом... Они на вокзале.

В это время залаяли собаки, он вздрогнул и погрозил в сторону дома кулаком.

— У-у, зверюги! Почуяли... Узнали... Они меня не любят! Но я им... А где все?

— Ты прям как хозяин, — сказал, вдруг успокоившись, Толик.

— А что же, — перешел на свой неприятный смешок Чемоданов. — Наши Берлин окружили... Слышал?

— Ну?

— Вот тебе и ну! И ты чего тут болтаешься?

— Бортанули меня с завода-то, — вдруг пожаловался Толик. Не хотел говорить, но вдруг сказал.

— И правильно сделали, — сразу отреагировал Чемоданов. Вглядываясь в глубину сада, в террасу, он спросил: — Не встали, что ли?

— А куда я теперь? — гнул свое Толик. Его опять начала злить эта манера не слышать других, которую он вдруг сегодня заметил у Чемоданова.

— Куда хошь, — бросил тот, уже направляясь по тропинке. — Отнеси это в дом, — кивнул на саквояж. — Да разбуди! Мне срочно!

— Нанялся я тебе, что ли! — возмутился Толик. — Разбуди, тащи... Для продажи дашь?

Чемоданов, глядя на террасу, сказал:

— Потом.

— Иголки? Сколько штук?

— Я же сказал: потом! Все потом! — отрезал Чемоданов, что-то в его тоне было непререкаемое. Заметив, что Толик снова готов обидеться, он примирительно добавил: — Сейчас у меня дело... Но оно не к тебе. Ты понял?

Но Толик завелся, в конце концов их дела до сих пор были вместе. А если так пошло, то на хрена толочься и выглядеть так, будто ты еще о чем-то его просишь.

— Не хочешь, не надо, — сказал он. Повернулся и пошел, но остановился на тропинке и крикнул, чтобы зацепить побольнее Чемоданова: — Мне тоже наплевать на твои дела. — И ушел, насвистывая; нескладно начинается для него утро.

А Чемоданов присел на скамеечке, врытой криво, прямо у завалинки, и снял шляпу. Но опять залаяли собаки, и он вздрогнул. Сплюнул и пригрозил кулаком. В это время из-за террасы вышла Зина, а за ней Катя с корзиной яблок.

Зина на ходу объясняла Кате, наверное, в сотый раз, как надо торговать яблоками на рынке, чтобы не обжулили.

— Ты, Катя, смотри не продешеви, — втолковывала она. — Стой как солдат на часах, но цену держи... Корзиночку-то не выставляй вперед, а под себя запрядь, да по штуке одной доставай... Как продала, деньги спрятала, а ты их знаешь куда прятать-то?

— Каждый день одно и то же, — сказала ровно Катя. — Знаю, Зина. Вот сюда... — и показала на грудь.

— Ну и хорошо, — обрадовалась Зина. — А сердиться не надо. Денежки хоть и бумажные, а сердце согревают.

Тут она заметила Чемоданова и немного смутилась. Такой ранний визит мог смутить кого хочешь.

— Ой, Василь Василич! — произнесла она растерянно. — Так неожиданно! — А сама уже вглядывалась в гостя, стараясь понять по выражению лица, что же означает столь ранний визит.

— С первым поездом, Зиночка, — сказал Чемоданов и посмотрел на Катю, пристально посмотрел, Катя потупила глаза. — А предупреждать некогда было... Дело у меня такое... Здравствуй, Катюня!

Катя кивнула и спросила Зину:

— Я пойду? — понимая так, что сейчас взрослым надо выяснить свои дела, а она тут, понятно, лишняя. Наверное, они и ждут, когда Катя уберется. К этому она привыкла.

Но Чемоданов почему-то заторопился и сказал, обращаясь к Кате, никогда к ней прежде не обращались:

— Стой! Подожди! Разговор у меня... Садись, Зиночка... И ты, Катюня... Садись... Ну?

Зина села, не сводя с Чемоданова пытливых глаз, никак не могла она сегодня с ходу раскусить этого человека и оттого пугалась. И Катя села, недоуменно посмотрев на тетку — я-то, мол, тут при чем, если ваши знакомые приехали. Заметив, что Чемоданов смотрит на ее оголившиеся колени, она подтянула платье, но так оно было коротко, что не могло закрыть этих коленок беззащитных. А Чемоданов впрямую продолжал рассматривать племянницу, отмечая про себя и светлые волосы, заплетенные в кривые косички, и серые, чистые, какие бывают лишь у девочек, глаза, и худенькую шею, и плечики узкие, и едва прокалывающиеся

сквозь платице груди, и эти обнаженные коленки, белые, непорочные, как первый снег... Стало жарко ему при виде этих коленок, по спине электричеством прошла дрожь. Всю дорогу твердил и выпил для храбрости, но, видать, больше надо было выпить, да еще и курить охота. И он вдруг спросил Зину, нашелся, что спросить:

— У тебя папиросочки не завалилось случайно?

— Ну как же, Василь Василич! — обрадованно ответила та. — Есть и папирасы. — И уже поднялась, чтобы сбегать за ними, но Чемоданов вдруг сказал торопливо, как выдохнул:

— Нет, не сейчас... Я ведь, Зиночка, приехал, чтобы твою Катюню в жены взять!

Выговорил, слава богу. И сразу посмотрел на Катю. Та сидела не шелохнувшись, запрятав неловкие, мешающие ей сейчас руки под мышки. Да и сама похожа на мышонка: серенькая, напуганная.

А Зина вдруг глупо хихикнула:

— Ты, Василь Василич, шутишь, да?

Но ее смех прозвучал искусственно. Догадалась она, что не шутка, да и нельзя было не догадаться, глядя на Чемоданова. Всегда более чем самоуверенный, он покраснел, как мальчишка, такого она его еще не видела. Смущенно пробормотал:

— Да нет... Зиночка, я всерьез... Какие уж тут шутки. — И вынул зачем-то платок, стал сморкаться. Платок был тоже трофейный, в синий горошек.

Но Зина уже пришла в себя, потому что все теперь ей стало ясно. Она сказала Кате, которой нечего было дальше слушать:

— Отнеси в дом багаж и накрой стол...

— А яблоки, а базар? — спросила вдруг глупая Катя. Она не понимала того, что случилось.

— Ах, какие яблоки! — в сердцах произнесла Зина и с силой подтолкнула ее к крыльцу. — Иди, иди! Слушай, что тебе говорят!

Вернулась, посмотрела, точно ли Катя ушла, а не стоит ли, не подслушивает за углом, хоть за ней этого никогда

не водилось. Да и причин таких, как сегодня, не было. Присела, произнесла, поджав губы, что Катя еще молода. Слишком молода. Да он и сам видит, какая она дура.

— Молодость, Зиночка, недостаток, который быстро проходит, — отвечал Чемоданов, обретая былую уверенность. Платок он убрал.

— Да она же... ребенок!

— Откормим! — сказал Чемоданов уверенно. — Это у них как у поросят. Быстро округляются!

— И глупа ведь... — настаивала Зина.

Тут Чемоданов поднялся и уже сверху, наклоняясь к Зине, начал говорить, жестко произнося и выделяя каждое слово, что умных с него довольно, сыт по горло ими... Одна такая умная, когда он уехал по делам, обчистила дом так, что крупинки не осталось. А Катя молчалива, тиха. И терпелива опять же, и дома любит сидеть. Золото, а не девка.

— Я ее как год назад увидел, — сказал Чемоданов со вздохом, отворачиваясь от пытливых Зининых глаз. — Как увидел... Подумал: это моя! Так-то, Зиночка. — И потрепал ее по стриженной коротко головке.

Та вдруг размякла. Спросила, поднимая собачьи глаза:

— А я уже не своя?

— А ты не своя, — сказал он добро.

— Это почему же?

— А потому... — отвечал он ровно и все трепал ее непослушные волосики. — Потому, что ты для всех своя... И для Толика ты своя. И для выпивох, которые...

Тут Зиночка отмахнулась от его руки и встала. Она и впрямь рассердилась:

— Ты что! Чемоданчик! Ты это кем же меня прозываешь?

— А ты собой девку не прикрывай! Тогда и прозывать не стану! — резко в лицо бросил ей Чемоданов. Но тут же смягчился, понимая, что ничего руганью не добьешься, не так надо: — Катька мне нужна! Как это поется в довоенном фокстроте: «Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет!»

— Какая любовь! — отмахнулась Зина. — Тебе сторож для дома и для денег нужен!

— А ты, Зиночка, моих денег не считай! — вскинулся Чемоданов. — Ты от них имела кое-что... Может, пора и возвращать? Должок-то?

Знала Зина, что напомнит Чемоданов о долге, невероятной сумме, которая спасла ее от тюрьмы. После того как обокрали буфет при вокзале, долго Зину таскали к следователю, все пытались чего-то добиться. Наверное, считали, что сама себя и обчистила и припрятала до лучшей поры. Допытывались, как и когда приобретен дом, и лишь успокоились, когда принесла она справки, что дом этот от сестры, умершей в начале войны, Катинной мамы, что работала в поселке учительницей. Вот в эту трудную пору и объявился в доме с помощью Толика энергичный, все умеющий и все имеющий Чемоданов. Деньги дал под расписку, но еще и пожил тут в охотку, сразу приноровив к себе покорную Зину, хоть Толик небось говорил, не мог не сказать, что с Зиной у него какие-то отношения. А потом еще наезжал, и появлялись на столе коньяк и водка, и музыка под патефон, и неунывающий Толик, который делал вид, что все идет как надо. И Чемоданов, будто от века положено, ложился к Зине в постель, покрикивал на Катю, как на родню, а днем пропадал на рынке или у каких-то дружков, приходил навеселе, заваливался, требуя, чтобы Зина снимала ему сапоги и дала бы в постель попить да сама бы скорей шла.

Но про деньги Чемоданов, надо отдать ему должное, не напоминал. Может, берёт неотразимый момент напоминания до лучших времен. А Зина помалкивала. Она-то понимала, что при ее нынешней работе, в багажном отделении на станции, никогда не набрать ей той фантастической суммы, которую она взяла. Что-то копилось от продажи яблочек, которые Зина умела хранить так, что лежали целехонькие до весны. Так ведь сколько лет, сколько зим надо, и все равно не выходило... Получалось, что до конца жизни нести Зине этот долг, если еще захотят ждать. Поэтому и сжалась, как от удара под дых.

— Да что ты! — пискнула едва слышно. — Где же я тебе возьму-то?

— Этого я не знаю, — сказал тот и вздрогнул, потому что вдруг залаяли собаки, которых он терпеть не мог, но и они платили ему тем же. Сейчас чувствовали, что чужой у дома, и заливались, не хотели успокоиться.

— Заткнула бы людоедов! — крикнул он всплыв. — У меня такой день, черт возьми! Они у тебя без понятия!

— А что с них взять, — робко произнесла Зина. — Живая тварь. Тоже жить-то хотят.

— Все хочут, Зиночка! — сказал наставительно Чемоданов. — И я хочу! Победа-то на носу! Берлин окружили... А я хотел в новую эту жизнь, как бы тебе сказать... Новым человеком... Ну? Поняла?

Зина кивнула. Она-то давно все поняла. И поняла, что обречена, поперек Чемоданова ей не выстоять. Вот как сама Катька поведет себя. Дело-то в ней, а не в Зине, которая сломана, и если перечит, то лишь потому, что совесть болит. Всю жизнь Зине совесть жить мешала. Еще и покойная сестра Люся и другие говорили, ты, Зина, говорили, добра и пропадешь ты со своей добротой. Всех-то тебе жалко, и буфетных выпивох, и проводников с поезда, и заезжих каких пассажиров. Всем ты открываешься, всех подкармливаешь, оберут они тебя. Как увидят, что ты слаба, так и оберут.

Был у Зины приживальщик Леша, пил и нигде не работал. А Зина его держала. Жалко тоже было. Потом-то, в долгом раздумье на следствии, прикидывала, не он ли с дружкой ее и почистил, потому что пропал в те самые дни. Но никому ничего она не открыла. Раз доверяла, сама и виновата. А случись, появится, снова бы, наверное, доверила, потому что любила его. А теперь до смерти еще и в Толика влюбилась. Десять лет между ними разницы, пропасть, если посудить. И она знает, что обречена, но верит, во всем ему верит, хоть он из нее веревки вьет. Так она еще и рада такому, пусть себе вьет и пусть требует, может, в этом-то и есть ее, Зинино, счастье, чтобы быть веревкой, чтобы кому-то угождать, лишь бы не бросили... А вот Катя



другая. Какая, сразу и не поймешь. Но точно другая. Зина со своими бедами и не заметила, как она вытянулась, стала настороженным подростком. Все тишком и молчком, а что на уме, того сроду не узнаешь. Потому Зина и произнесла сломленно, чтобы закончить этот разговор:

— Пусть сама решает. — И встала, показывая, что пора им идти в дом.

Чемоданов встал, за деревьями увидел инвалида, того самого, с которым так неосторожно разговаривал.

— А этот чего ходит? — спросил. — Чего высматривает-то?

— Гуляет, — ответила Зина. — Пойдем, что ли...

Чемоданов оглянулся на инвалида и проворчал, что это милиция гуляет, так она одновременно и дело при этом делает. А этому чего не спится-то, он свое отпахал, ну спал бы себе, а не шатался по улицам в такую рань.

— Из госпиталя он, — сказала Зина, будто оправдываясь за инвалида. Все утро ей оправдываться приходилось. — Тут неподалеку жил, а семья гостила на Украине, там их сожгли в избе. Ну ему-то куда? Остался один, вот и ходит. — И, повернувшись у самого крыльца к Чемоданову, Зина, приблизив лицо, попросила, как милостью просила бы у чужого: — Может, годик подождать? С Катей-то... Совсем ведь мала она. А? Василь Василич...

— Нет, — сказал он твердо и попытался ее обойти. Но Зина стояла у порога и смотрела ему в глаза. Страданье было на ее лице.

— Но я-то не готова!

— До завтра времени много!

— Завтра?

— Завтра, — подтвердил он. — Наварим, напечем и сыграем. У меня времени в обрез, Зиночка! У меня дом и служба... Такие-то дела.

Входя в дом, Чемоданов уже знал, что он будет делать. Зину уломал и уж с девочкой-то справится, в этом он не сомневался. Тут надо было бить по затылочку, как инвалиду про кошечку объяснял. Не зазря объяснял, знал, что говорит. Кошки умны, а собаки дуры... Вот и опять услышал,

входя на террасу, как разорались, вызывая в нем какой-то странный, ничем не объяснимый испуг, в котором он и сам себе бы не сознался. Но как сейчас он ни ненавидел этих собак, а в мыслях его была Катя, которую он жаждал. Он знал женщин, и было их немало, из них некоторые попадались впрямь красивые, особенно актрисулечка одна из областного театра. Но не удерживались они около Чемоданова потому лишь, что на ум взяли себе, будто они такие же личности, как мужчины. Все-то им нужно: общественные дела, работа, поездки. А у него другие понятия о будущей семье, и такие вот, чтобы жена сидела дома и вязала... А хоть что вязала, не имеет значения. Борщ или там котлеты приготовила и вяжет, смотрит в окно, ждет мужа. А он, работяга, придет, и хозяин перед ней, и господин: сымай сапоги, еду тащи на стол... Да сама не пикни, пока не спросят, а лишь глазами благодари господина, что он разрешил сапоги снять и конфет со склада притащил. Грызи себе конфеты, еще и орехов притащит, и другое все, и радуйся, и свою радость мужу показывай, чтобы он тоже чувствовал, какой он хороший человек, что при нем радуются и в доме пахнет достатком.

Наверное бы Зина могла стать такой бабой, в понятии Чемоданова, но Зину испортили многие мужики. А Катька у нее ничем не испорчена, как чистый лист под пером, все, что напишешь, все первый раз. Он — первый мужчина, он и отец, и наставник ее — бог, словом.

А тут совпало, что последняя шлюшка, которую он держал, обобрала его и пропала. А он в милицию не подавал, слава богу, мелочью отделался, а денежки в золотых десятках-николаевках у него были надежно спрятаны. Не зазря поезда из Германии с барахлом вывозил, когда генеральши себе тащили. Вагончик генералу, вагончик себе: да не дохлое тряпье, как те дурочки, и не ковры, не автомобили, а такие редкие вещицы, как зингеровские иголки, их миллион в одном чемодане поместится, а все чистая монета! По червонцу штука — уже десять миллионов рублей! Такие денежки доброхотной голодраной Зиночке с ее яблоками и не снились. И Толику-прохиндею, который

зажигалочками промышлял. Вот оно, чем он встретит Катю, а с ней уже вместе новую жизнь — в новом послевоенном прекрасном мире!

Так раздумывал, прикидывал еще прежде Василь Василич. Переступил порог, а тут сама Катя навстречу с посудой в руках. Не давая ей опомниться, Чемоданов бухнулся перед ней на колени и сразу показался таким беспомощным, даже жалким. Но он-то знал, что делает. Старомодный, смешной способ, вроде как дарение цветов, но женщин поражает, известно, в самое сердце.

— Катенька, — произнес дрогнувшим голосом. В этот момент он и сам верил, что любит ее. — Катенька, я стар, я все понимаю, но ты не гони... Послушай старого дурака, только послушай, а потом сама и решишь! Как скажешь, любое твое слово закон... Только послушай, пожалуйста!

Катя держала посуду, испуганно глядя на него. И сама-то подрагивала, как тарелочки в руках: никогда еще перед ней не становились на колени, только в кино она видела, как это происходит. Но на то и кино, что там не по правде. А здесь!

— Что вы! Василь Василич! Ой, встаньте! Я не привыкла! Мне неудобно! — говорила она, все держа тарелочки и не зная, что с ними, и с Василь Василичем, и с собой делать. Дико все это, наверное, выглядело со стороны. Вот и Зина из-за спины выглядывала. Но молчала. А Чемоданов всхлипнул, слезы заблестели у него на глазах.

— Катенька! Если согласишься... Я без тебя все равно не уеду... Вот, у меня и литер на двоих...

— Ну, встаньте, — попросила Катя, ей вдруг самой захотелось плакать. — Ну, встаньте... Ну, пожалуйста, Василь Василич.

Но он будто не слышал.

— Судьбу мою, жизнь мою ты можешь сейчас решить... — уже навзрыд говорил Чемоданов. — Один в целом мире, — бормотал и стал целовать ее ножку. Катя в испуге дернула ножку на себя, и он стукнулся об пол лбом. Громко стукнулся, но даже не заметил, продолжал плакать и цепляться за нее. Господи, да что же Зина стоит, не поднимет

его, не поможет встать, он ведь так и умереть может! На лбу темное пятно от удара, с ума он сошел, что ли!

Но Зина, побледневшая, будто неживая, только произнесла одними губами, Катя даже не поняла, по губам ли, без звука, или ушами разобрала сказанное Зиной: мол, тебе жить... Думай сама... Думай и решай... А вместе с этим в уши проникло и другое, и оно, будто стихия, все переворачивало в Кате, вызывая непонятные ответные слезы. Не к мужчине этому слезы, а к самой себе. Слово мужчины был и ни при чем.

— ...Вместе... Вместе будем... Как куколку наряжу... Шоколадом кормить буду... Красивей всех станешь! Маркизет, панбархат наденешь! Вагон барахла из Германии для тебя специально... Любое твое слово, как повелительницы, станет... Ручкой двинешь, и все для тебя... Я же все могу!

— Он все может, — в тон за ним вторила неживая Зина.

Катя вдруг поняла, что Зина уже ни при чем, стоило теперь на нее посмотреть, и что она, Катя, впервые сама по себе, она хозяйка всего, что бы она сейчас ни сделала. И, осознав это, вдруг торопливо шагнула к столу, поставила посуду и присела перед Чемодановым, глядя на его заплаканное, мокрое от слез лицо. Кухонным полотенцем, почему-то оказавшимся у нее в руках, стала вытирать ему лицо, и при этом она говорила, повторяла, не вдаваясь в смысл сказанных самой слов:

— Я скажу... Вы встаньте, Василь Василич... А то мне неудобно... Я согласна... Я, конечно, согласна... Правда...

Зина как стояла молча, опустила на стул и, подперев кулаком голову, вдруг произнесла равнодушно:

— Ну и дура! Подумала бы сперва!

— Зина! — крикнул Чемоданов и сразу вскочил, угрожая, с кулаками надвигаясь на Зину, Кате даже страшно стало.

А Зина и не шелохнулась, не испугалась, будто и не видела Чемоданова, она смотрела лишь на Катю.

— Все равно дура, — повторила хрипло. — Хоть поартачилась бы для форсу.

— Зина! — крикнул опять Чемоданов, в бешенстве он схватил тарелку и бросил на пол. Зина посмотрела на разбитую тарелку, потом взяла другую и тоже швырнула вслед первой, аж брызги полетели. Будто проснулась: голос, жесты, глаза — все в ней стало другим.

— Ладно! — бросила Кате. — Катись! По обратному билету! Баба с воза, так лошади легче!

Вот когда у Кати сердце зашлось. Все, что передумала-пережила за эти бессонные ночи, выплеснулось у нее наружу.

— А я бы, тетя... — и повторила, нажимая на это слово: — Тетя... И не на такое согласилась... Чтобы только из дома из вашего... — и заплакала, прижимая руки к лицу.

— Катя! — опомнившись, вскрикнула, подскочив, Зина. — Да ты что? Ты по правде? — и стала гладить ее голову, ее руки, прижимая изо всех сил к себе. — Ну я ладно... Озлобилась, так я на волоске висела. А ты-то! Ты же за моей спиной войну прожила, ты и трудностей-то по-настоящему не видела! Дома ведь пересидела! Дома!

— В подвале! — сказал Чемоданов. Он уже опомнился, будто слез и криков и не было.

— Почему же в подвале-то? — спросила, впервые оглянувшись на него, Зина.

— А где же ты ее держала? Не в подвале?

— Так наказывала когда...

— Я и говорю: наказывала! — быстро отреагировал Чемоданов. — Подвалом... Разве нет?

— Зато у своих, — отмахнулась Зина. И снова только к Кате: — У родни... После смерти матери-то, Люси, кому ты была нужна? Может, дяде своему? Скажи? Ну?

Чемоданов стал ходить по комнате, глядя то на Катю, то на Зину, обе отчужденно теперь молчали. Он подошел к Кате, сидевшей так, что за руками не видно было и лица. Обнял ее, будто отцом был, и стал говорить, знал, что обе его слушают.

— Ну и тетка у тебя... Катюня... Сколько ты, говоришь, у нее отсидела-то? — Хоть ничего такого Катя не говорила и не думала говорить. Просто были случаи, когда Чемоданов

приезжал к Зине, к Толику, а у Кати в это время подвал был за непослушание. Все он видел, но ни слова не говорил, это сейчас почему-то обиделся за Катю. — Сколько? За войну? — повторил. — А я вот полчаса с ней сижу, и то терпение кончилось! — И вдруг, оторвавшись от Кати и подняв палец на Зину, он предложил: — А хочешь, Катюня, мы ее посадим в тюрьгу? Мы же с тобой вдвоем, а она против нас одна...

— Меня? — спросила Зина, снова побледнев: что ж с ней сегодня все что хотят, то и говорят. — За что же меня-то?

— А за все! — воскликнул Чемоданов, повеселев. — За Катюнины муки, вот за что!

Чемоданов подошел к окну и снял с руки золотой перстень с прозрачным камнем, который будто сам по себе светился и сверкал цветными искорками. Не поворачиваясь, он сказал:

— Легенда такая... Король написал три слова палачу, но запятую не поставил... — И тут же, будто знал, что это именно так произойдет, он сверкающим странным камнем прямо по стеклу, лишь жесткий режущий звук пронесся, написал три слова: «Казнить нельзя помиловать». — А запятая тут ценой в жизнь человека!

Чемоданов вновь подошел к Кате, взял ее руку и крепко вжал в ладонь перстень:

— Это тебе, миленькая... Свадебный подарочек... А теперь иди... — Он легко поднял ее и подтолкнул к окну. — Иди... И поставь запятую. В твоих руках судьба твоей тети... Как поставишь, так и будет... Поняла?

Катя стояла у окна, а Зина и Чемоданов смотрели на нее. Может, это длилось мгновенье, а может, всю жизнь, никто бы не сказал, сколько прошло времени, пока Катя с зажатым в кулачке перстнем стояла у окна.

А за мутным стеклом, за белыми крупными буквами слов «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ», написанных размашистым почерком, чернели деревья, и в просвете за ними вставало солнышко, в размытом голубеющем небе. В это время Катя всегда была на рынке. Каждое утро, ког-

да она по молчаливой окраинной улочке проходила будто на работу на этот привокзальный, привычный более, чем свой дом, рынок, где знала она наперечет всех бархольщиков и всех старух с семечками, на пути странным образом, торопливый и сонный и будто никого не видящий, попался ей юноша, подросток еще, который с баночкой поллитровой, наполненной вареной картошкой, шагал на работу. Ясно было, что на работу, еще со сна он все время наткался на Катю и лишь в последний момент успевал отпрянуть, провожая ее удивленным взглядом. Как его звали? Кто он был, куда шел? Худенький, с острым личиком и усталыми, как у пожилых и поживших людей, глазами. И что он думал о ней, целый год день за днем встречаясь на одном и том же месте? «Здравствуйте вам...» Катя вдруг увидела прямо внизу за окном корзиночку яблок, приготовленную для рынка. Огляделась, будто просыпаясь, потом швырнула на стол перстень — он покатился прямо к Чемоданову — и выбежала из комнаты. Зина хотела ее догнать, уже поднялась, но Чемоданов с силой посадил ее, взяв за плечо.

— Нишкни! — произнес. — Пусть поостынет. Она теперь наша. А ты-то вредное, оказывается, существо... Ох, вредное, я бы на ее месте запятую после слова «казнить» поставил... Казнить, запятая, нельзя тебя, Зина, миловать! Вот что она думала про тебя. Но пожалела! Дурочка!

Тут он полез в саквояж, что стоял на полу около комода, и стал вынимать оттуда вино и консервы. Ловко вскрыл бутылку, налил в стаканы, что были уже приготовлены на столе, и поднял свой стакан.

— Но я тебя прощаю, — произнес. — Ради Катюни прощаю. Поняла?

Зина молчала.

— Нет, не рада, — сказал строго Чемоданов. — Значит, не поняла. Тебя Катя сейчас от тюрьмы спасла, вот что она сделала. — И приказал, почти прикрикнул: — Бери стакан, и — чтобы радость на лице! Ну?

Зина безвольной рукой, тоже почему-то белой, взяла стакан и слабо повторила:

— Поздравляю... Василь Василич...

— Так-то! Тетка! Я тебя теперь буду звать тетка! И не перечь! Выпьем за нашу победу! Ура!

Наверное, Чемоданов крикнул громко, потому что во дворе опять подали голос собаки, и он передернулся при их голосе и побледнел.

— У-у! Зверюги, — пробормотал, отрезая от огромного куска колбасы, особенной какой-то колбасы, такой здесь в поселке и не видывали, и зажевывая снова налитую и опрокинутую в себя водку. — Чувствуют, зверюги, что им хана приходит. Ты спрашиваешь, Зина, почему хана? — сказал Чемоданов, глядя Зине в лицо, ни малейших признаков улыбки не было в его голосе. — А потому им хана, что когда мы с Катей будем здесь жить... Да, верно, мы так и сделаем, мы будем здесь жить, а ты за занавеской... Но мы тебя обижать, Зиночка, не станем. Ты будешь нам теткой, мамочкой нам с ней... с Катюнечкой... С женой моей, значит...

Чемоданов на глазах хмелел, глаза его поплыли.

— Постой, — вдруг подняла голову Зина, отставила непригубленный стакан. — Кто останется? Ты останешься? А обратный билет? Литер?

Чемоданов, с превосходством поглядывая на Зину, налил себе и снова выпил.

— Умная ты, Зиночка! — сказал с чувством. — А дура! Катя и то умней тебя. Потому тебя и в буфете обчистили, что доверчивая ты со всеми!

— Я сейчас с тобой доверчивая, — напомнила Зина. Но смотрела, ждала ответа.

— И со мной! И со всеми! — произнес развязно Чемоданов и опять стал наливать. Уже поднес к губам, но раздумал, поймав ее недоуменный вопрошающий взгляд. — Мне тут нравится, Зиночка, вот что я тебе скажу. В доме твоём, понимаешь... А литеры — тьфу! Что ты к ним привязалась! Право дело! Сейчас я... Смотри...

Он полез в боковой карман, достал огромный кожаный бумажник, открыл, видны стали плотные купюры. Где-то между ними разыскал синие бумажки железнодорожных



литеров, которые так трудно всем доставались, уж Зина-то знала им цену, сунул их под нос Зине, потом скомкал демонстративно и выбросил в форточку.

Собаки при этом подняли лай на всю улицу. На лице у Чемоданова выступили пятна. Он огляделся, он бывал в этом доме и знал, где что лежит и где хранится ружье. Это ружье тульское, довоенной марки, еще оставил Зинин брат Букаты, когда ходил до войны на охоту и жил тут с двумя сестрами. Чемоданов дрожащими руками схватил ружье и бросился на улицу. С порога он крикнул, обернувшись к Зине:

— Пристрелю к черту... Надоели, изверги...

Выскочил на улицу, но тут же вернулся, держа ружье так, что дуло было на изломе: нужно только вставить патрон.

— Патроны? Где патроны? — разгоряченный водкой, Чемоданов был яростен, лицо его пылало. — Зина! Тебя спрашиваю: где патроны? Ну?

— Значит, тебе не только Катька, тебе и дом мой, и собаки мои... Тебе все? Все? — спросила тихо Зина, глядя на Чемоданова широко открытыми глазами. Что-то еще до нее не доходило. А ведь ясно же ей было сказано, что дом ему нравится... Что с Катей тут будут... А она за занавеской... И обижать не станут... Теткой будет... Ну, и домработницей, не без этого... Чемоданов начал втолковывать, глядя ей в лицо, но вспомнил про собак, и опять на него нашло, рывкнул, посуда зазвенела от его голоса:

— Зинка! Патроны, спрашиваю, где? Молчишь? — он показал ей кулак. — Ну, молчи, молчи! Они тоже замолчат скоро! — Он бросил на стол ружье, изломанное буквой «Г», долил остаток из бутылки себе в стакан, залпом выпил, а бутылку прямо с террасы запустил в сторону собак. Потом в сапогах, не в силах их стащить, опрокинулся на большую, высокую железную кровать с ярко-красным залатанным одеялом и сразу захрапел, будто сделал дело, огромный, сильный мужик, он даже сейчас, во сне, был Зине страшен.

Но она не как прежде, не подошла, не разула, не ослабила ремня и не расстегнула воротничка на шее, а продолжала сидеть в каком-то странном забытии, которое было похоже на бесконечный обморок.

3

На сцену прошли, разговаривая между собой, несколько человек, среди них узнали Нину Григорьевну Князеву и секретаря комитета комсомола завода Вострякову. Были еще четверо, двое в военной форме без погон, так что публика не сразу смогла разобраться, кто же из этих двоих тот самый новый прокурор, пропечатавший в газете сердитую статью.

Во тьме зала произнесли вразяжку: «Ишь сколько рыл на одного-то! Съедят!» И те, кто в рядах передних слышал, рассмеялись, негромко, правда.

Несколько минут у объявившихся ушло на какие-то свои выяснения. Они стояли, не глядя в зал, будто его не было, и совещались, небось делили места. Наконец расселись за столом, а Князева оказалась в самой середине. Ее знали на заводе от начала войны, от первых дней эвакуации: сперва как общественницу, из ОТК, потом как председателя цехкома, а потом и всего профсоюза завода, пока она вдруг не стала на поселке судьей, закончив заочно юридический.

Князева громко объявила в зал: «Встать, суд идет!»

Все послушно поднялись, застучав откидными стульчиками, и так же громко сели: будто темная вода вспузырилась, прихлынула и отхлынула от берега. Стало вдруг тихо. Возникла пауза, откуда-то сбоку из-за сцены вывели Ведерникова, вывел его милиционер и тут же ушел. В свете желтых клубных ламп обвиняемый показался еще меньше, чем на улице: подросток, каких еще болтается немало по дворам, с неестественно тонкой шеей и узкими плечами. Одет он был в форму фэззушника, из которой за несколько лет нисколько не вырос: темные диагоналевые брюки, протертые на коленях, и

темно-белесая застиранная рубаша, подпоясанная, как гимнастерка, ремешком. Металлические пуговицы тускло блеснули, когда Ведерников присел на поставленный для него у края сцены стул. .

Князева выждала, пока уляжется прошедший по залу шумок, люди обсуждали появление обвиняемого, некоторые знали его по заводу, по цеху, но большинство видело впервые, и стала зачитывать состав выездной сессии суда, так это называлось. Себя она объявила вовсе не судьей, а председателем, а двух сидящих рядом мужчину и женщину — мужчина был в форме военной, но без погон — народными заседателями, а потом она уже назвала защитника и прокурора. Тут в зале громко зашептались, вытягивая головы и даже приподнимаясь, чтобы разглядеть названного прокурора, все указывали в правый угол сцены, где сидел тоже в военной форме без погон человек и держал папку.

— Этот? Который лысый?

— Да не лысый! Какой он лысый, он же стриженный!

— А смотрит, смотрит, все ищет, как упечы! Ишь, бумагу исписал!

— Глазами так и зыркает!

Прокурор и правда был коротко пострижен, светло-голов, с высоким лбом, обозначившим небольшую пролысину. Он был не стар, на вид лет тридцати пяти, и глаза у него были красивые, светлые. Из тех, кто ближе сидел, могли рассмотреть, что глаза у прокурора лучистые, синеголубые. Защитник же всем показался занюханным, будто пахнувшим нафталином, в своем мятом темном костюме, о нем и разговору в публике не было. Многие знали, что это Козлов, робкий и смирный человек, может, самый осторожный в округе, он не только преступников, но и себя, случись какое дело, не смог бы серьезно защитить. Но его и приглашали обычно на дела несложные, проверенные, именно такие, как это, когда все очевидно: и преступление, и сам преступник налицо.

В конце объявили еще Ольгу Вострякову как представителя общественности завода, и в зале снова возник шу-

мок, возник и пропал. Ольгу Вострякову знали достаточно по разным собраниям-митингам, не считая нервотрепок из-за членских взносов. Ее побаивались, но вовсе не из-за взносов, и в компании, где иной раз собиралась на дому молодежь, ее старались не приглашать.

Шум же возник вовсе не по этой причине.

Тем, кто знал, да и не знал тоже, двух присутствующих на сцене женщин, стало понятно, что бабы, как было вслух обмолвлено по рядам, перевесят мужиков, а еще и третья заседательница, хоть и пожилая, молчаливая — тоже баба, и фронтовикам бывшим тут не поспорить. Впрочем, а где нынче, в войну, без баб? Они и судят, они и судятся, и все равно правы!

Князева громко спросила Ведерникова, нет ли у него замечания по составу суда, и он что-то ей ответил. По всей вероятности, сказал, что замечаний у него нет. Князева надела очки и, взяв со стола принесенные бумаги, стала зачитывать обвинительное заключение на Ведерникова Константина Сергеевича, шестнадцати лет, беспартийного, холостого, выпускника ФЗО в сорок втором году, слесаря-центровщика сборочного цеха. Она читала о том, что Ведерников нарушил трудовую дисциплину, прогуляв рабочую смену 19 апреля 1945 года, о чем в прокуратуру поступило соответствующее заявление от дирекции завода. В ходе расследования и опроса свидетелей все факты подтвердились, и сам нарушитель признал на предварительном следствии свою вину, выразившуюся в том, что он без всяких на то причин злостно прогулял смену, что привело к срыву программы цеха и всего завода, ввиду чего ему предъявлено обвинение на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 года, пункт два, об уголовной ответственности за опоздание на работу свыше двадцати минут.

Поведение Ведерникова усугубилось дракой в доме гражданки Гвоздевой, закончившейся, как известно, трагически... Но участие обвиняемого в названных событиях оспаривается свидетелями и может быть выявлено и доказано лишь в процессе суда...

Присутствующие обратили, конечно, внимание, что о драке, как и обо всем, что связано с домом, о котором столько разговоров, произнесено вскользь, без подробностей и каких-либо фактов. Ясно было, что не за этим выезжал на место суд, и, возможно, даже сверху спустили установку не акцентировать внимание на всяких там злочных делишках, а сосредоточить процесс на воспитательных и на показательных примерах, касаемых в основном работы.

Главное же: бездельничал Ведерников, пренебрегая заводской честью, и это закономерно привело его в компанию, к разврату и хулиганству. Моральное разложение — так оно теперь именуется. И это в то самое время, когда его заводские друзья и товарищи по цеху, сил не жалея, отдавали себя работе и ковали своим доблестным трудом победу над врагами.

Так закончила свое обвинение Князева.

Некоторая размягченность, почти беспечность зрителей незаметно истаивала, на смену пришла настороженность и даже раздраженность против подсудимого. Так ведь и правда, они-то вкалывали, они-то не спали, они-то выматывались из последних сил, а этот... Бездельник, сволочь, проныра, прогульщик, хулиган, головорез, хоть и весь в соплях... По сопатке бы ему врезать! Руки-ноги вырывать сучке, чтобы знал наперед, как на других переваливать... На чужом горбу, дармоед, в рай захотел въехать! Ишь щерится, тварь! На нашей-то кровушке, падло...

— Тише... Не слышно, что сказал!

— А что он может сказать?

— Но, тише! Тише! — донеслось из задних рядов.

Князева, о чем-то спрашивавшая подсудимого, повторила, голос у нее был звонкий, как у артистки:

— Подсудимый, признаете ли вы себя виновным?

Но Князева и внешне была похожа на артистку из довоенного популярного фильма, где красивая девушка с глазами дикой лани в тайге ловит шпиона, а потом приезжает в Москву, наводит везде порядок, среди всяких безобразий в магазине мехов и на фабрике патефонных пластинок, и под громкую песню, награжденная орденом,

вместе с другими со всеми веселыми девушками уезжает чего-то там строить на Дальний Восток.

У Князевой характерец был не хуже, это все знали. Не зазря ее выбирали и назначали на всякие серьезные должности, она умела наводить порядок. Она и теперь спросила так, что и заседателям, и новому прокурору Зелинскому, и самому подсудимому было ясно, что не признать своей вины он не может.

— Будьте добры, — попросила она вежливо, тоном учителя, — повернитесь к залу и отвечайте громко, чтобы все могли слышать! Вы признаете, что виновны?

Ведерников повернулся, но в зал не смотрел, а смотрел он в пол.

— Я... Ну да... Я признаю... — торопливо, чуть сбиваясь, произнес он.

— Что виновен?

— Да, конечно.

— В чем вы виновны-то?

— В чем? — спросил Ведерников и поднял глаза, в них не было никакой мысли, кроме равнодушия и усталости. Но, может, так и показалось, в лицо ему светил яркий свет, как бы стирая с лица любое выражение и делая его безличным, плоским.

— В чем же? — спросила неутомимая Князева.

— В том, что... не хотел... работать... — И он поправился: — Ну у вас же все сказано там...

Там — означало в бумагах.

— Значит, вы согласны с обвинительным заключением? — переспросила Князева мягче.

— Согласен. Я ведь и раньше соглашался, — пояснил Ведерников.

— Раньше — на следствии?

— Ну да, они же там собрали...

— Кто они? Кого собрали? — спросила Князева.

— Ну с завода... С кем я работаю... Вот и он был... — И Ведерников кивком головы указал на прокурора. Тот копался в своей папочке, перебирая какие-то листки.

— Ну, это и было следствие? — подсказала Князева.

— Ну да, — кивнул Ведерников. — Они собрались, значит, и мне все объяснили, как и что говорить.

— Кто же это вам объяснил? И что надо говорить? — вдруг оживился защитник, который тоже до поры будто дремал. Впрочем, он и спросил это чуть удивленно, но и только.

— Что виноват и готов...

— Это ты верно! Раньше сядешь, раньше выйдешь! — выкрикнул кто-то резво.

Но Князева строго посмотрела в зал, и смешки потухли.

— Так вам объяснили, что вы виноваты, или вы сами осознали, что виноваты? — спросила она тем же взыскующим тоном Ведерникова. — И при чем тут другие, которых собрали?

Ведерников молчал, растерявшись от угрозы, скрыто прозвучавшей в голосе судьи. Вроде бы все правильно, что он сейчас пояснял, ибо собирали в цехе людей, обсуждая его поступок, и там было все ясней для него, чем здесь. Сейчас же они добивались каких-то непонятных для него слов, и он терялся и расстраивался оттого, что не знал, как им, этим людям, сидящим за столом, помочь. Среди них сидел и тот, что приходил на собрание, в военной форме голубоглазый человек, его называли Зелинский. К нему сейчас и обратил свой вопросительный взгляд Ведерников, как свидетельство того, что все было в цеху как надо и тот знает, слышал же сам и даже вопросы задавал. Но прокурор молча листал бумажки, ни на что не реагировал.

— Подсудимый, я жду ответа, — попросила Князева, но ее слова повисли в воздухе, а зал отреагировал глухим ропотом. Это не был уже ропот возмущения, закономерный, по мнению Князевой, на таком суде. Недоумевал и зал, заинтригованный странной путаностью, возникшей на сцене, ибо что-то происходило не то, что предполагалось. Точней же, на сцене вообще ничего не происходило, хотя должно происходить. Подсудимый своей горячей готовностью все признать и согласием вины лишь мешал нормальному ходу — вот как понялось, как открылось зри-

телям. Вот кабы он не признавался, скрытничал, вводил всех в заблуждение, клеветал, изворачивался, утаивал, отпирался, наводил тень на других, все было бы ясно. Тут его бы на потеху и на радость присутствующим вывели бы на чистую воду и объяснили бы ему, кто он есть и чего достоин. А этот, болван болваном, рад услужить, да не знает чем, какими нужными словами. Тем и портит. Молчал бы, не мешал творить суд: конец-то все равно известен!

Тут и поднялся прокурор Зелинский, и зал, охнув, затих, все жаждали услышать его голос. Голос нашего справедливого правосудия, которому не поперечишь, ибо оно недремлющее око закона, люди, напрягаясь, ждали: этот-то скажет как надо, этот-то даст так даст, не то что Князева, которая вдруг растерялась перед мальчишкой и как попугай повторяет одно и то же. Виноват — не виноват... Да виноват! Виноват! Ты его дави и не стели дорожкой-то! Этак простелешь не в ту сторону!

Прокурор посмотрел в зал, а потом на подсудимого, и стало тихо. Слышно даже стало, как проехала машина по дороге за клубом и как у дверей с наружной стороны препирался кто-то с дежурным, сторожившим вход в клуб.

— Я должен уточнить, — начал прокурор, и голос его, мягкий баритон, прозвучал довольно миролюбиво, успокаивающе. — Я должен уточнить, что подсудимый Ведерников упомянул о собрании в цехе, которое происходило при встрече со свидетелями... Есть и протоколы. — Он порылся в своей папочке и вынул несколько страничек. — Сейчас я их зачитаю... И все станет ясно.

4

В сборочном цехе, огромном, в нем одном когда-то располагался ремонтный завод паровозов, в закутке, за деревянной конторкой собрали после смены рабочих из бригады Владимира Почкайло, в которой работал до прогула Ведерников.

На конторке висели призывы и объявления, графики сборки и сдачи готовой продукции военпредам. Тут же



«молния» по поводу ЧП — цех задержал погрузку боевых машин из-за плохой работы центровщика. Как раз центровкой и занимался бывший рабочий Ведерников, теперь срочно подыскивалась ему замена.

Рабочих собрали после смены, усталых, голодных, злых, все торопились домой, отработав от семи утра до семи вечера. Слава богу, что в апреле на улице светло и не так уж хочется спать. И все-таки пришли все, чтобы посмотреть на виновника цеховых неприятностей да и послушать, что скажут: до сих пор питались только слухами. А слухи были разные, иным и поверить было трудно.

Расселись кружком, на ящиках из-под стружки, а для руководства тумбочку поставили и два табурета. Пришла Ольга Вострякова, когда-то она работала в этом цехе, а с ней военный человек без погон, который назвался прокурором района товарищем Зелинским. С небольшой задержкой привезли и Ведерникова, стриженного и похудевшего, места для него не нашлось, и его попросили присесть пока рядышком с рабочими. Люди охотно подвинулись, поглядывая на него и перешептываясь.

Ольга Вострякова, в отличие от всяких собраний, много не говорила, а представила прокурора, а тот вкратце пояснил то, что в общих чертах знало большинство: о прогуле и следствии по поводу этого прогула, из-за которого всех сюда и пригласили. Суд же будет потом.

Петя Бондаренко, местный шутник, его между собой рабочие звали Швейком, сразу же влез:

— А вопрос задать можно?

— Какой еще вопрос? — отрезала Ольга. — Сиди, Бондаренко, и слушай. Это и тебя касается. Тебя и твоих товарищей, потому что вы все в ответе за проступок бывшего рабочего Ведерникова.

— Сиди на чем стоишь, — сказал Швейк недовольно. Ему не хватило места.

— А свое настроение побереги для следующего раза, понял? — добавила Ольга. — Тут собрание, а не театр.

— Что же теперь, выходит, и спросить нельзя? — поддержал Швейка его дружок Почкайло, в отличие от Бонда-

ренко был он крупен и широк в кости. Еще в ФЗО к нему прилипла кличка Силыч. Так и звали до сих пор, а уж по имени-отчеству изредка, при посторонних. — Мы хотели узнать, — добавил он, толкнув локтем Швейка, — долго нас мучить-то станут?

Тут прокурор, не дав Ольге рта открыть, сразу сказал, что мучить здесь никого не будут, но задержат на столько, на сколько надо. А если понадобится, то и дополнительно вызовут. Но лично он хочет, чтобы дело обошлось разговором в цеху. Потом, конечно, некоторых вызовут и на суд, уже как свидетелей.

— А суд когда? — спросили.

— Когда надо будет, — отвечал прокурор. — Это зависит и от вас, между прочим.

А Ольга тут же встряла со своими поучениями, что надо не о времени волноваться, а подумать о том, как в своем коллективе они смогли упустить, не заметить, как их товарищ катится по наклонной плоскости к преступлению... В этом все виноваты! Вот о чем надо говорить!

— Но ты за нас и так все сказала, — негромко и будто про себя произнес Швейк. Ольга все слышала, она посмотрела на Швейка, как смотрит учительница на шаловливого ученика.

— Бондаренко, — наставительно добавила она. — А про самого себя ты сказать не хочешь? Ты же работал вместе с Ведерниковым? И ничего не замечал?

— Замечал, — ответил тот сразу, уставясь Ольге прямо в глаза.

— Что же ты замечал?

— Что он работает.

— И все?

— А что еще! Заберется себе в танк и центрует. А как центрует, это ты в ОТК спроси.

— Ну, я не про работу. Ведь разговаривали же вы между собой... О доме, о настроении... О девушках, наверное.

— А он еще не женат? — спросил прокурор.

— Кто? Ведерников? — удивилась Ольга, а рабочие захихикали.

— Женилка у него не выросла!

— А когда жениться-то? Времени для знакомства и то нет!

— Ах, нет? — спросила Ольга. — А танцы под патефон в этом... В вашем амбаре! А?

— Каком таком амбаре? — поинтересовался прокурор.

— Да старую избу переделали... Собираются после смены, каждый несет по полену, топят печь и всю ночь танцуют... Думаете, не знаю? — спросила Ольга. — Я все знаю.

— Ну, а какой тут секрет-то? — спросил Швейк. — Приходи, и тебя научим.

— Вот еще! — фыркнула Ольга. — Других дел нет! А Ведерников туда ходил или не ходил?

— Ведерников туда не ходил, — сказал Швейк. — Он кроме цеха вообще нигде не бывал. Один раз, правда, выезжал в Москву на ЗИС в командировку.

Почкайло, которому претила любая неточность, хоть и не любил говорить и считал это пустой тратой времени, сейчас влез в разговор.

— Он и женщины живой не видел, кроме нашей Ляльки... Ну, то есть товарища Востряковой. Ну а если она товарищ, то какая же она, извините, женщина? — развел он руками и сел. А рабочие засмеялись.

— Что же, женщина не может быть товарищем? — возмутилась, покраснев, Ольга.

— Не следствие, а бытовая комиссия, — покачал головой прокурор. — С дисциплинкой у вас, и на глазок видно... не тово... На фронте вы у меня не поговорили бы много... Благо, что тыл... И в таких условиях военную технику вам еще доверяют!

— А у вас по работе претензии есть? — спросил Швейк.

Ольга прикрикнула:

— Бондаренко!

Но прокурор движением руки попросил Ольгу помолчать и в свою очередь спросил у Швейка:

— А отчего у вас там «молния» о задержке висит? А? Вы мне не расскажете? Петр... Петр...

— Антонович, — подсказали.

— Да, Петр Антонович?

— Как почему? — спросил Швейк, чуть смутившись на непривычное обращение. — Центровщика заарестовали нашего, вот и задержка. Отпустите, задержки не будет!

— Найдите другого! Что за вопрос!

Тут среди рабочих смешок прошел. Все почему-то посмотрели на Силыча. И как не хотел он еще раз в разговор влезать, но поднялся, чтобы пояснить непонятливому прокурору, который, наверное, знал о войне больше, чем о работе в цеху.

— Только короче, — подсказала Ольга и посмотрела на часы.

Но Почкайло отмахнулся:

— Ты, Лялька, молчи. В этом деле ты ничего не смыслишь.

— Вот тоже, — обиделась Ольга и передернула плечами.

Но прокурор вдруг улыбнулся, аж глаза засинели:

— Зачем же короче, я и пришел вас послушать. Милости прошу, говорите все, не стесняйтесь... Пожалуйста!

Он вынул из кармана авторучку с золотым пером, редкость по тем временам, все уставились на нее, и стал быстро записывать на листочке.

Свидетельское показание бригадира сборочного цеха номер пять Почкайло Владимира Никаноровича.

«Ведерникова я еще встречал в ФЗО, но знакомы мы не были. Я закончил на год раньше и к тому времени, как он в феврале сорок второго пришел в наш цех вместе с Бондаренко, Востряковой, Васильевым и другими, я уже работал в бригаде Бусыгина на сборке «Т-60», а уже после мы перешли на более тяжелый танк «Т-70» и на самоходку «СУ-76». Другую же цепочку сборки пятого цеха возглавлял нынешний мастер Букаты, который сейчас находится в больнице. Ведерникова и других фабзайцев, мы их так называем, направили к Букаты, но он не хотел их к себе брать, и от Кости Ведерникова он тоже отказался. Он сказал так: «Что я, нянька, с этим детским садом возиться, сопли им

подтирать». Это после того случая, как Ведерников потерял свой талон на обед, на который нам выдавали завариху, ее еще называют затирухой: баланда из муки, заправленная постным маслом и луком. Когда Ведерников потерял свой талон, он заплакал, и все помнят этот случай. Тогда в цехе стали говорить, что зачем такого брать, если он ложку не может в руках держать, не только инструмент для работы. И тогда их сперва направили строить из бруса одиннадцатый цех по соседству, под которым уже стояли прямо на земле станки, и на них работали эвакуированные из Коломны. А стены мы уже потом сделали. Но они все числились в нашем пятом цехе и приходили к нам греться, хотя и у нас тоже не топилося. Все запомнили тот случай, когда с мороза, с улицы, танки ввезли в белом инее, а мороз был выше сорока, а Ведерников, который еще без опыта, взялся рукой за броню и прилип к ней кожей, а кожа его вся на броне осталась. Кровь из него хлещет, он побледнел, но не проронил ни слова. А бывший тогда мастер Букаты проводил его в медкабинет, а когда вернулся, говорит, что на перевязке на голое мясо повязку наложили, а он не пикнул, и потому его надо учить и ставить с таким терпением на центровку. Там тоже надо адское терпение иметь, а у этого фабзайца, как сказал он про Ведерникова, виден характер. А в бригаде как раз Сеницын-центровщик на фронт добровольно ушел, мы на него через год похоронку получили. Он, этот Сеницын, на скрипке играл, хоть и был рабочим, и говорил, что для центровки особая чувствительность пальцев нужна. Вот что такое центровка. Еще чутче, говорит, чем на моей скрипке. А уж он-то знает. Когда похоронка на Сеницына пришла, мы все его жалели, а Костя Ведерников к этому времени уже его заменял, и Букаты говорит: «Ты теперь у нас один такой остался, что незаменимый. И понадобится, мы и Силыча, — это так меня прозвали со времен ФЗО, а еще Кувалдой звали, я ею больше любил орудовать, — так вот, мы Силыча, — говорит, — заставим лезть и центровать». Но это он в шутку, потому что центровка происходит внутри танка и даже Косте, который меньше нас всех, в три погибели приходилось сгибаться,

чтобы туда влезть. Военпред может не сразу работу всех проверить, установку там катков, ленинцев, но центровку он проверит обязательно. У нас лозунг такой: «Сдача с первого раза!» Как бригадир я удостоверяю, что за три года и два месяца работы Ведерников не имел брака ни разу. Он даже слишком старательный, все уйдут на обед, а у него чего-то не выходит, он там и сидит в танке, а мы ему баланду тащим. Или после работы возится и заснет. А проснется, лицо, простите, как печеное яблоко. Он вот так работал, и потому его вешали на Доску почета как лучшего, и писали и даже в речах называли как передовика, и в Москву посылали, хотя, когда с ним знакомились, его никто не принимал всерьез, из-за роста. Он и на работу никогда не опаздывал, и даже представить невозможно, чтобы он хоть на минуту где задержался, не то чтобы прогулять целую смену. Если бы мне сказали раньше, я бы не поверил. Некоторые говорят, что на него будто бы Васильев повлиял. Но я и этому не верю, хотя они между собой дружили.

Записанные мои показания с моих слов прочел и с ними согласен. В. Почкайло. 25 апреля 1945 года».

«Уточнение по поводу центровки и как она делается. На танке ставится мотор, это, кстати, моя работа, и ставится фрикционная коробка, и их валы стыкуются так, чтобы зазор по шупу был не более пяти сотых миллиметра. Это как волос человека, не толще. Если же произойдет ошибка, то начнется биение, вибрация и разрыв тяги. В бою такой бы брак мог вывести боевую технику в самую трудную минуту. Но фронтовики были довольны, и даже приезжал генерал, который похвалил нас за работу и Ведерникова лично, хотя и произошел инцидент, о котором я не хочу рассказывать, так как он отношения к делу не имеет.

По поводу же Букаты, который сейчас в больнице, то отношение у него к рабочим хорошее, и Васильев, которого он после погнал за брак, работал на соединении рулевых тяг, и мы присутствовали, когда обсуждалось поведение Васильева. Но никакого конфликта у нас с Букаты не было, и я не слышал, чтобы Ведерников с ним ссорился. Хотя

Букаты и очень строгий мастер. Но Ведерников ни с кем никогда не спорил и вообще был молчалив. О дружбе же Васильева и Ведерникова ничего добавить не могу. Они, по-моему, разные люди, хотя дружили в ФЗО. С уточнением ознакомился и согласен, что с моих слов записано, кроме слова «разрыв», которое надо заменить на слово «смещение тяги на излом», что будет точнее. В. Почкайло. 25 апреля 1945 года».

## 5

Третьи сутки лихорадило пятый сборочный, все шли и шли, все дергали без конца бригаду, и бригадира, и мастера; от комитета комсомола и от начальника цеха Вакшеля, но больше других от цепких военпредов, которые хозяевами тыркались по цеху и вмешивались во все дела. Но ясно, что их тоже не гладили по головке, звонки из Москвы из Наркомата сигналили все угрожающей, а техника между тем задерживалась и погрузка эшелона шла медленно. Ненормально медленно. Букаты, конечно, психовал, а тут еще Ведерников, опытный, можно сказать образцовый, рабочий, во вчерашней смене о чем-то замечтался, не заметил, что смотрит незащищенными глазами на бенгальские снопы искр от сварочного автомата. За ночь глаза у него покраснели, заслезились, веки опухли, как говорят, «наелся глазами», ему бы на бюллетень, но о каком там бюллетене речь, если все сошли с ума от непрерывных понуканий. Единственно, что спасало Ведерникова: в его центровке нужны более руки, чем глаза. Но, к сожалению, и глаза тоже. А тут еще прибавились неприятности с Толиком Васильевым, в ФЗО его звали Васильком, так же как Петю — Швейком, Ольгу — Гаврошиком, а Костю — просто Костиком. К нему клички почему-то не липли.

Но о чем он мог размечтаться, когда происходит такая гонка, что многие забыли, как их зовут! Небось сидел, свернувшись улиткой, на железном дне очередной машины. И день сидел, и два, и неделю, и год, и два года, и третий... Выскочил по какому-то делу, хоть могло бы показаться,

что он тут на всю жизнь прописан в цехе, на дне «тачки», и незачем ему вылезать: сдал и перелез в другой, и снова сдал... Так мидия меняет себе панцирь, без которого она уже и не ракушка, и никто... Даже тело Костик всовывал наподобие улитки внутрь железной коробки, не передом, не головой лез, а ногами, так удобнее было.

Проскакивал через соседний цех и вдруг замер: посреди странного мира, который не имел начала и конца и состоял из одних моторов и фрикционов с их холодно-гладкими валами, вдруг прорезался сноп искр, будто фонтан волшебный! Странно, что, глядя на огненные, летящие потоком искры, подумал Костя не о тепле и не о солнышке, которое, наверное, сияло на улице, ведь не заходило же солнце на время войны как-то иначе, так же ярко небось светило! Нет, не о солнышке и не о прошлом задумался Костя, прошлого у него, если подумать, тоже не было. Его прошлое, как и его настоящее и даже будущее, было все тот же железный танк! Он вспомнил, что читал когда-то «Конька-Горбунка», а там жар-птица, которая прилетает на поле... Сварщик, виден был лишь темный силуэт, будто держал в руках эту птицу, а она рвалась, осыпая его и все вокруг жаркими перьями...

Ну а потом началась эта самая резь в глазах и беспричинные слезы.

Где-то к концу дня бригадир Почкайло, он же Силыч, отбросил инструмент на железный пол со звоном и поднялся, обозначая, что он закончил. Не спеша подошел к графику сдачи, где стояло сплошь цифирье, и, удовлетворенно нажимая на кусочек мела так, что тот трещал и крошился под рукой, вывел цифру сто. Означало: сто процентов. В этот момент, как черт из-под печи, появился Букаты. Будто он караулил момент, когда станет видно, что дело сделано. Правда, сделано-то не до конца, оставались крохи, и все из-за Ведерникова, который копался в танке и не вылезал наружу. Но ясно было, Костик и с больными глазами долго не задержит, не тот человек.

— Как, молодцы, делишки? — спросил Букаты, и тон его не предвещал ничего хорошего.



— Как у молодцов, — ответил за всех Петя-Швейк, уловив на слух, что Букаты раздражен и шутить не намерен. — А что случилось, Илья Иваныч?

— Скоро узнаешь, — пообещал сурово мастер. Он мельком взглянул на цифру, выведенную Силычем. — Устал, говоришь? Ничего. После войны отдохнешь. — Хотя ничего подобного про усталость Швейк не говорил. — Мы сейчас проведем маленькое собрание... Как?

— Ну, если маленькое, — с неохотой отреагировал Силыч, отряхивая руки от раскрошившегося мелка. Информация о собрании предназначалась, в общем-то, ему как бригадиру. Да он, в общем, знал, о чем пойдет речь.

— Пять минут, — пообещал Букаты и впервые посмотрел на Василька, который стоял тут же. — Васильев, ты не уходи, ты будешь нужен. Вострякова не появлялась? Сейчас я схожу... — Букаты ушел, а все остались ждать.

— Эх, — сказал Швейк, потягиваясь. — А мне нужна Тонечка! Как она, моя родная, там без меня!

— Людочка? — переспросил Силыч, так как помнил, что Швейк недавно хвалился знакомством с какой-то красоткой по имени Людочка.

— Людочка? — изумился Швейк. — При чем тут какая-то Людочка?

— Но ты же сам говорил?

— Я? Ах... Так это когда было-то! — вспомнил он, будто разговор происходил не на прошлой неделе. — Нет, Силыч... Тонечка, только она! Единственная, неповторимая, вечная... Работает, между прочим, на спичечной фабрике за рекой, ходит по льду на свиданку и ждет, как часовой!

Толик Василек хихикнул и отвернулся. Он уже знал всю трепотню Швейка и не верил ему. А Силыч, тот был лишен начисто юмора, ему верилось во все, он лишь наивно кивал, слушая Петины бредни.

— Но подожди, — переспрашивал он, — как же по реке, река же вот-вот пойдет?

— Я и тревожусь... — И чтобы прекратить разговор, Швейк поднял ключ и постучал по броне. — Ведерников, кончай ночевать! Тонечка ждет!

Из люка башни высунулся Ведерников, видок у него был не самый лучший. Даже хорошо, что он там внутри сидит, никто его не видит. Начальство бы прознало, живо отстранило от работы: глаза, как у пирата, повязаны наискось платком, и красные веки шмякают, как у Вяя. Хорош! Лишь бы не высовывался из «тачки».

«Тачкой» рабочие между собой прозвали эту грозную технику давно: коротко и понятно, а если случайно проговоришься на людях — не выдашь секрета. Мало ли о какой тачке речь!

— Ведерников! — позвал объявившийся вновь Букаты: приблизившись, он рассматривал повязку, неодобрительно покачивая головой. — Эка тебя разнесло! Ты побыстрее там можешь? Разговор есть...

— Стараюсь, Илья Иваныч, — со вздохом отвечал Костик и поправил повязку, съехавшую на ухо. Он прикрыл глаза так, чтобы не очень, как ему казалось, было видно.

— Ну ладно, — разрешил Букаты, будто пробурчал ругательство. — Сиди, говорю. Когда будем голосовать, позовем. — Он ткнул пальцем в танк и отошел, завидев Ольгу Вострякову. Костя скрылся. Позвали других рабочих. Подошли, хоть и не все, столпились вокруг мастера, садиться никто не хотел, не дай бог, сядешь, так собрание затянется на целую вечность. А люди измотались, и по внешности было видно. Сонные глаза. Вялые движения. Некоторая возбужденность в поблекших лицах, так все оттого, что скоро по домам идти. А сказали бы: надолго, так сели и не поднялись бы, сил уже не хватило.

Букаты все это понимал и не ослаблял тона, знал, что держать их можно лишь так, жестко, не давая до поры размягчаться.

— Где остальные? — спросил, хмуро оглядев собравшихся.

Ответили, что несколько человек на доводке, у слесаря Елкина травма и нет Ведерникова...

— Ведерников на месте, — сказал Букаты. Он отыскал глазами стоящего среди остальных Васильева и откашлялся. — Ну что, товарищи, времени у нас и правда мало,

а тут еще приходится митинговать по поводу... — Тут он посмотрел на Васильева и кивнул в его сторону. — ...этого вот товарища.

— Конь свиные не товарищ, — как бы от всех заметил Силыч. Он Толика Василька не любил и не скрывал этого. Особенно же сейчас, когда дело коснулось пребывания того в бригаде.

— Я не свиная, — возразил Толик спокойно. — Прошу меня не оскорблять, а то я уйду.

— Может, ты считаешь, что ты конь? — спросил Швейк насмешливо.

— Ну и уходи, — сказал Силыч. — Тебя никто не держит. Ты, кстати, хуже, чем свиная.

— Почкайло, выбирайте выражения, — призвала строго Ольга. — У нас собрание, надо говорить по существу.

— Вот ты и скажи, — буркнул Силыч и отвернулся. А Букаты кивнул, мол, правильно, пусть скажет, что там думает комсомол.

— Ну, Илья Иваныч, — Ольга обращалась не ко всем, а лишь к мастеру, и говорила, стоя к нему лицом. — Вы же знаете, что я пыталась на него воздействовать... Он ведь человек способный, он рисует неплохо, и все видели, как он оформил стенд.

— Видели, как ему за это талончик на обед! — произнес кто-то. — А мы за этот же талончик целую смену вкалываем!

— Врешь! — повернулся к говорившему Силыч. — Ты не за талон, ты за совесть вкалываешь. Чем, кстати, от него и отличаешься! А он не только плакатики, он и талончики малюет. И все это видели.

— Кто? — спросил Букаты.

— Да все, кто с ним обедал. Он шесть штук нарисовал и получил шесть порций, и никто, даже подавальщик, не заметил!

— Ха! Не заметил! — сказал Швейк. — А кому обеда не досталось? Они, думаешь, тоже не заметили?

— Чепуха на постном масле, — пожал плечами Толик. — У меня всего три талона было, а не шесть.

— Ну и что, Толик! — воскликнула Ольга. — Неужели не понимаешь — это подделка документов! За это же судят! Ты хоть понимаешь?

— А пусть докажут!

— Но люди же видели?

— Кто это видел? Силыч, что ли?

— Но ты и сам говоришь...

— Ничего я не говорю. Три талона у меня было, вот что я сказал. А откуда, это мое дело. Доказательств у вас нет.

— У меня Мурка не кормлена, а я ему еще должен что-то доказывать, — с ожесточением врезался Силыч. — Гнать его, и на этом закончить говорильню!

— Почкайло, при чем тут ваша кошка? — спросила Ольга. — Мы же Васильева обсуждаем!

Все посмотрели на Силыча. Он неохотно объяснил, что Мурка вовсе не кошка, а коза, которую он купил, потому что на руках трое детишек, а доить, кроме него, некому.

— Ну, Силыч! — воскликнул Петя-Швейк. — Они что у тебя, детишки-то, почкованием, что ли?

— Бондаренко, — призвала Ольга, громко постучав костяшкой руки по броне. — Перестаньте юродствовать. Вы что-то конкретное хотите сказать?

Швейк пожал плечами. В это время высунул из башни свою повязанную голову Ведерников и спросил, слепозираясь: «Звали?»

Бригада разулыбалась, напряжение спало.

Букаты махнул рукой: «Сиди, позовем!» И Костик исчез.

— Вот, — сказал Букаты, указывая на танк, но подразумевая Костю. — Он еще работает, а мы тут толчемся на одном месте. А случай-то, все знают, не первый с ним, с Васильевым имею в виду. Ольга, — спросил он. — Васильев у тебя брал спирт?

— Брал, — Ольга смутилась, — он для краски брал...

— И у меня брал, — сказал Букаты. — И тоже для краски.

Толик враждебно посмотрел на Ольгу и постучал пальцем по виску:

— Тебя-то кто за язык тянул! Ду-ра!

— Ну Толик... — забыв окружающих, воскликнула Ольга, понимая, что начало рушиться что-то в ее жизни. То есть нарушилось оно, наверное, раньше, да уж точно раньше, когда Толик зачастил на край поселка к какой-то неведомой Зинаиде, но Ольга поперву не приняла это всерьез. Да и он говорил так, что понятно было, что там у него могут быть лишь дела. Но какие дела по ночам-то... Глупа была Ольга, глупа и слепа, и сама себе закрывала глаза, не желая видеть правды. Тешила себя, что вот пройдет увлечение, а она, Ольга, тут, она всегда со своей любовью на месте...

Окружающие, из бригады, догадывались, а может быть, и знали об этом обо всем, во всяком случае, скоропалительная перепалка прошла, никого особенно не удивив. Лишь Букаты, откашлявшись, попросил, не поглядев в ее сторону:

— Ольга Викторовна, личные чувства прошу попридержать... Вы тут, между прочим, от комитета комсомола.

— Но я же правда не виновата! — в отчаянии произнесла она. — Я же не знала, что он меня обманывал!

— Вот гадюка, — сказал, качнув головой, Толик, будто про себя, но очень даже слышно. — Попробуй приди теперь...

— За гадюку можно и по шее получить, — сказал Силыч и показал огромный кулак.

Букаты спокойно отреагировал:

— Без рукоприкладства. Нам этого еще не хватало. У нас свои коллективные меры, и они, надеюсь, не менее действенные... Так-то! Васильев ведет себя так, будто не он, а мы перед ним виноваты. Гнать так гнать! Ольга Викторовна, проголосуйте, пожалуйста!

— Глосуем, — сказала вяло Ольга. — Но, может, какие другие предложения? — спросила она, на нее было жалко смотреть.

— А какие другие?

— Не знаю.

— Вы что-то другое предлагаете? — спросил напрямик Букаты.

— Нет. Но все же...

— Тогда голосуйте. Не будем время терять.

Начали голосовать за изгнание Васильева из бригады, и все подняли руки. Но Швейк в это время вспомнил про Ведерникова. Постучали по броне. И еще постучали. Не заснул ли, случаем, — когда вдребезги устанешь, возможно и такое: спасительный сон, как обморок, на несколько минут.

— Кончай ночевать! — крикнул Петя и постучал сильней ключом по стальному корпусу, аж загудело и искра из-под ключа выскочила. — Анекдот такой...

Костя высунулся в своей разбойной повязке, снова всех развеселив.

— Что? — спросил он, нелепо озираясь. — У меня готово. Правда.

— Я говорю, анекдотец такой есть, — крикнул Швейк Косте. — Из деревни в ремеслуху малый приехал, а поставили его дневальным. Утром в шесть часов надо кричать «подъем», а он забыл слово-то и кричит: «Кончай ночевать!» А никто, ясно дело, не встает!

— Ну, Швейк, рассмешил! — вдруг захохотал Толик Василек и стал таким своим, голубоглазым, беззащитным, что даже смотреть на него неудобно было. — Кончай ночевать, да?

Но Швейк перестал улыбаться и сказал:

— Я не тебя смешил, а я вот его, Ведерникова, смешил!

— Голосуйте снова, — приказал Букаты Ольге.

Ольга снова стала считать руки и споткнулась на Ведерникове, тот торчал как-то по-глупому из своей башни, будто не понимая, что творится вокруг него, но руки не поднимал.

— Костик, а ты? — спросила Ольга.

— Что я?

— А почему ты не голосуешь? Ты не понял, да? Что мы исключаем Васильева из бригады?

— Почему? — сказал Костик, поправляя повязку. — Понял.

— Ну и что же?

— Ничего.

— Ты не хочешь голосовать?

— Почему? — опять повторил Костик свой глупый вопрос.

— Но почему же ты не поднимаешь руку?

— Не знаю. Не хочу.

— Ах, не хочешь? Все знают, хотят, а он не хочет? — Ольга небось себя имела в виду. Она посмотрела на Букаты. Но тот молчал. И Костя молчал, то ли он отупел от работы, то ли валял дурака. Но это скорей бы можно было заподозрить Швейка, Костик же был тих, всегда тих и послушен.

— Кстати, а что это за девица, с которой ты встречаешься? — неожиданно вспомнила Ольга. Видать, краем уха что-то ухватила, когда шутил Швейк, а может, и Толик проговорился.

— Не знаю, — сказал Костик, вдруг растерявшись. — Я на дороге ее встречаю. Она мне говорит: «Здравствуйте вам».

— Встречаться везде можно, — зло произнесла Ольга. — Главное, знать надо с кем... А эта твоя знакомая яблочками, между прочим, спекулирует. Откормленная за счет трудящихся...

— Трудящихся, — поправил Швейк.

— Вот именно, — сказала Ольга. — И тебя в том числе.

— Я же с ней не разговаривал, — сказал Костик виновато.

— А надо! Все спросить, прежде чем... Так будем голосовать? Да или нет? Еще раз подумай, Костик...

— А чего думать? — удивился он. — Я же сказал...

— Свидетель Почкайло, — спросила Князева. — Вы помните точно, что Ведерников не голосовал?

— Все помнят, — сказал Силыч.

— И вы считаете, что с этого момента он как-то изменился?

— Не знаю, но он никогда так не поступал.

— А как же он поступал?

— Как все, — сказал Силыч и посмотрел в зал. — Он всегда шел в ногу с коллективом.

— А здесь, вы считаете, он пошел не с коллективом?

— Ну конечно, не с коллективом. А Толик ему тогда сказал... Да, он так сказал: «Поднимай, поднимай руку! Дави меня! А потом наступит черед, они и тебя задавят!»

— Угрожал, значит?

— Нет. Он не угрожал, он даже посмеивался... Его ничем не прошибешь. Надо Толика знать!

— Так что же Васильев имел в виду? Если не угрожал?

— Откуда я знаю? Он так крикнул и засмеялся.

— Может, он уже тогда влиял на Ведерникова дурно?

— Вряд ли, на Ведерникова трудно влиять. Вон, сколько мы ни давили, а он не проголосовал.

— И чем же он объяснил такое поведение?

— Ничем. Он и объяснять не стал. Букаты же говорил, что у него такой тяжелый характер. И тут, как его ни долбили, как ни напирала на него, как в броню уперлись, не сдвинешь, значит.

— Но может быть, он и вправду так устал, что уже не мог понять, что происходит. Вы же практически без него провели обсуждение-то?

— Да все он понял... А что устал, так ведь все устали. Он же потом еще на ночь остался.

— Не понимаю. Разве смена не кончилась?

— Кончилась.

— А про какую же вы ночь говорите?

Силыч смутился, промолчал.

— Свидетель Почкайло, вас спрашивают!

Силыч ничего не ответил.

— А чего думать? — спросил Костя.

— Вот именно, все проступки оттого и происходят, что вы думать не умеете, — подхватила Ольга; на кого уж она сердилась, на себя или на Костика?

— Поднимай, поднимай, Костик, руку! — зловредно вылез Толик. — Помочь ты мне не сможешь все равно. Дави



меня, вон Ольга, уж как клялась, а приказали — и задавят! А потом наступит черед, они и тебя задавят!

— Ладно, — заключил Букаты, пропустив последнее мимо ушей. — Вопрос исчерпан. Теперь последнее...

— А мне что делать? — спросил невинно Толик, голубея глазами.

— Тебе можно ничего теперь не делать, — сказал Силыч чуть раздраженно. Он еще не остыл от неприятного разговора.

И Швейк ехидно добавил:

— Занимайся, Толик, тем же, чем всегда!

— Так мне уйти? — переспросил Толик.

— Если тебе позволяет совесть! — вдруг крикнула Ольга. Не выдержала в последний момент, нервы сдали. Вот и закричала.

— Нет у него совести.

— Держите себя в руках, — сказал Ольге Букаты. — Он не стоит наших нервов... — И уже Толику, поворачиваясь к нему: — Будете метлой у меня работать! Подождите у конторки!

Толик, помедлив, ушел.

На прощание улыбнулся, хотя понятно уже, что за улыбка была у него, жалкая улыбка проигравшего. Рабочие из бригады знали, что за наказание подметать двор. Да на глазах у товарищей. Будут насмехаться, шутить, злословить. Но главное отрежут паек, ибо на конвейере давали особую рабочую норму: килограмм хлеба, а с метлой и на «служащую» карточку можешь не потянуть, не говоря о зарплате.

6

— И последнее, — произнес Букаты и медленно всех осмотрел, желая убедиться, что все его слушают. Но большинство уже без слов поняли, в чем дело, отводя глаза. Тяжкая минута, что и говорить, после всей этой гонки, после тяжелой смены предлагать людям остаться еще на одну ночь. Но сказать надо. И остаться надо. И, уж точно, останутся,

только поперву переживать будут. Так и он, Букаты, тоже переживает — что он, вправду Железный, как обзывают?

— Домой намастырились, понимаю, — сказал хмуро он. — А у нас еще три машины. Три... А из-за них на сутки, а то и на двое задержится весь эшелон... Ну а что такое сутки... Когда наши из последних сил дерутся на подступах к фашистской столице, не вам объяснять. Конечно, не приказ. Я не могу вам приказать. Но я прошу. А вы подумайте.

Мертвая пауза повисла в воздухе. Молчал и Букаты, не желая никого торопить. Время еще было. Самые понятливые тут же стали присаживаться, потому что в ногах, теперь уж точно, правды не было. Надо было передохнуть перед новой сменой. Но другие продолжали стоять, глядя себе под ноги. Может быть, они еще верили, что у них есть какой-то, пусть малый, шанс уйти на отдых. Но шанса у них такого не было. Просто они еще не перестроились и не могли до конца для себя сразу принять. Даже осуждая Толика, голосуя, они верили, что сейчас их отпустят, и каждый в уме уже решил, что надо в первую голову сделать. Отовариваться ли в магазине, если там что-то «выбросили», или сходить к реке, подготовить и законопатить лодчонку: понесет упущенный никому не принадлежащий лес, и можно будет заготовить дровишек, они за зиму давно кончились, и уж крошек торфа, и тех не оставалось. И еще рыночные дела, зажигалочку ли на толкучке поменять, толкнуть пайку... Да мало ли дел у людей накопилось за это время.

И Ольга встряла. Ей больше других надо.

— Петя? Силыч? Вы-то чего молчите? А Ведерников? И Ведерникову непонятно, что надо сказать?

— Понятно.

— Ну и что?

— Я согласен остаться, — сказал Ведерников и поправил повязку. Смотреть на него было тошно с этими покрасневшими глазами и этой грязной повязкой. Но вот то, что Ведерников согласился, как бы прощало и все остальное.

— Молодец, — воскликнула Ольга. — А остальные?

— Если надо, — вразнойой сказало несколько голосов.

— Мы не Толики... — более спокойно произнес Силыч, ясно, что он-то не откажется.

А Силычу тяжелей остальных с детишками, которые остались ему, как старшему, от матери, умершей осенью от туберкулеза. Силыч добавил, что он сбегает подоить Мурку и вернется.

— Можешь свою Мурку подоить, — разрешил подобревший в одну минуту Букаты, хотя не в его манере было отпускать нервы. Видать, и он немало устал и сейчас не верил, что люди так быстро согласятся. — Всем дается час на свои дела. А допитание сейчас принесут. И раскладушки в цехе поставят...

— Их еще не убирали, — сказал Швейк, и все засмеялись. — Значит, кончай ночевать! Эх, как там моя Леночка!

Букаты подошел к танку, похлопал по холодной броне ладошкой: «Так-то, дружок! Пора! До самого Берлина, вражьей проклятой столицы! Гони, верши свой суд над разбойной сворой, за всех, за нас... За эти вот дни и ночи, которые нас сожгли... Но ведь кончатся же они! Кто потом поверит, что все наши поздние радикулиты, грудные жабы, туберкулезы и инфаркты мы заработали в этих бессменных ночах! Но доживем ли мы еще до инфарктов-то, вот в чем дело...»

Размышлял он, глядя, как разбегается бригада: откуда-то и живость появилась, и новые силы. Откуда? От этих повторяемых слов: надо! Надо! Надо! Сколько раз их приходилось произносить! И себе, и другим... Заметив, что рядом стоит Ольга, он как бы внове поглядел на нее, решил ободрить.

— Не все, Оленька, золото, что блестит! Будет, как сказал вождь, и на нашей улице праздник!

Ольга вдруг отчужденно, как бы не видя, посмотрела на него и даже отодвинулась, поведя зябко плечом.

— Вы о чем? — спросила странно натянутым голосом и пошла, твердо и уверенно, как всегда ходила. Вот уж кто железный так железный. Девического маловато, а

железного хоть отбавляй. Так подумал Букаты и присел, вдруг почувствовав, что у него силенок не осталось. Это потом, через десяток минут, он скажет себе то же великое слово «надо» и пойдет, и три танка, кровь из носа, они за ночь выдадут!

7

Прокурор Зелинский: Как же это понимать, свидетель Букаты? Они же у вас без отдыха? И ночью, и днем?

Свидетель Букаты: Почему же без отдыха... (Пауза.)

Прокурор Зелинский: Это запрещено трудовым законодательством, насколько я понимаю.

Свидетель Букаты: Законодательство... (Качает головой.) А вы, простите, товарищ Зелинский. Вы на фронте все как надо по закону, по расписанию поступали?

Прокурор Зелинский: Сравнили! Там же фронт! Там война! А тут?

Свидетель Букаты: У нас тоже война. И у нас свой фронт.. (Пауза.) А вообще, можете считать, что тут моя вина, поскольку я оставлял их работать. Причем не на одну ночь, бывало и две, и три... Сколько, в общем, нужно.

Прокурор Зелинский: Подростков? Таких, как Ведерников? Я вас правильно понял?

Свидетель Букаты: А чем Ведерников лучше? И он, и остальные тоже.

Прокурор Зелинский: Вот как!

Свидетель Букаты: Да. Вот так! (С вызовом.) А откуда мы бы взяли те танки в сорок втором? А? Вы там на фронте не спрашивали друг друга об этом? Ну так нас спросили бы! Как коломенские приехали, станки поставили на снег, провода положили по земле и стали работать. Это уж потом избу-то вокруг печки возвели!

Прокурор Зелинский: Но не дети же!

Свидетель Букаты (спокойно): А кто же тогда? Вы в зал-то поглядите, увидите, кто сидит. Эти и начинали: двенадцать, тринадцать лет...

**Вострякова Ольга** (неожиданно): Мы трудностей не замечали, Илья Иванович! Гайдар в семнадцать лет полком командовал, а Островский...

**Судья Князева**: Почему же, замечали. Разное было. А иногда...

**Прокурор Зелинский** (повернувшись к судье): Что иногда?

**Ольга Вострякова**: Да опять Ведерников! Это когда генерал приезжал!

**Прокурор Зелинский**: Да? Что же он еще натворил? Ваш вундеркинд?

**Свидетель Букаты** (мнется): Да я, в общем-то, не очень помню. Ну, было, что глазами сварку схватил...

**Прокурор Зелинский**: Это мы слышали. А потом?

**Свидетель Букаты**: Что потом? Работал...

**Прокурор Зелинский**: А что с генералом?

**Свидетель Букаты**: Ах, с генералом! Ну так это так, детское...

**Судья Князева**: Ладно уж, скажите. Все помнят.

**Свидетель Букаты**: Ну а если помните, то чего и вспоминать?

**Прокурор Зелинский**: Странно вы ставите вопрос! Странно! Надо вспомнить!

**Свидетель Букаты**: Ну, если только так... Что надо... (Задумывается.) В ту ночь они сделали, в общем-то, все три танка... Хотя помучились мы тогда прилично. Да, помню, как же... (Опять задумывается.)

— Кончай ночевать! — крикнул Швейк, вытирая концами руки. — Чур, последний бежит за допитанием.

— У меня все, — сказал Силыч и постучал по корпусу, как там Костик. — Жив? — спросил, когда тот высунулся.

— Уже? Утро?

— А ты думал? — усмехнулся Швейк. — Твоя с корзиночкой давно на рынок двинула! «Здравствуйте вам»...

Костика по временам дразнили этой странной девочкой, которая ему встречалась на дальней улице. Дразнили,

хотя знали, что он даже имени ее не спросил, даже не ответил на ее здраванье ни разу.

— Чертова центровка, — сказал Костик.

Никогда он не ругался, а тут не выдержал.

— Опять не сходится? — спросил сочувственно Силыч.

— С кем, с девицей не сходится? — переспросил Швейк, и все вокруг прыснули. И сам Силыч заржал.

— Ну, Швейк, ну, загнул! Центровка... Ха-ха-ха... С девицей, говорит, центровка...

А Швейк между тем продолжал:

— Красотка по бессердечному трое суток слезы льет на перекрестке... Полная корзиночка слез... Она для этого и корзиночку носит!

— Ну зачем вы, — устало отмахнулся Костик. — Я правду говорю... Я же ее имени даже не знаю!

— А чего проще-то, — будто посерьезнев, по секрету сообщил Швейк. — Подойди и скажи: «Здравствуй, Люся!» А она ответит: «Я, мол, не Люся вовсе, а я Фекла!» А ты ей тут же, не дав прийти в себя: «Что вы! Ах, как вам к лицу это имя!» Ну и так далее.

— А что? Что — так далее-то? — заливался Силыч, глядя по-детски Швейку в рот. Сам он не умел сочинять, но Швейка прямо-таки обожал за его байки. И сейчас ждал чего-нибудь такого, что тот выдаст, и будет жутко смешно.

Петя продолжил:

— Как это что? Она растает, потеряет бдительность, а тут и надо действовать как мужчине, то есть не зевать!

— Ты скажи, ты скажи, как действовать! — настаивал Силыч.

— Ну, как... Наш Костик посмотрит на нее пристально, как на «тачку», где нужна центровка! — Швейк изобразил, как Костик посмотрит на нее, и все, кто собрались послушать этот треп, снова закатились. — Возьмет нежно, как вал фрикциона берет — за руку, и прижмет к груди... К своей, к своей груди, не путай. — пригрозил он Костику, который отмахивался, но тоже слушал. — Потом, вдохнув всей грудью пять с половиной литров по спирометрии, произнесет ласкающие слух слова... Ну такие, к примеру:

«Позвольте вас, Фекла Харитоновна, пригласить в нашу заводскую столовку на затируху! У меня за три переработанные смены талончик: угощаю от всего сердца! Пир, как говорят, на весь мир!» Ну а потом танцы под патефон... — Швейк схватил табурет и стал изображать зажигательный фокстрот «Рио-рита»... — Там-там, — напевал он, — там-там-там-там... У нас там одна пышная девица патефон приносит! Выносливый, говорит! Где ни поиграет, две-три пластинки вынесет!

Со словами: «Да ну вас!» — Костик нырнул в спасительное чрево машины, а Силыч присел, отсмеявшись, и сказал:

— Как тебя хватает! Если честно, я и то выдохся. А меня в училище, знаешь, как звали? Шестьдесят девять! Вот как! Цифра такая есть, ее как ни перевернешь, она все равно шестьдесят девять, вот и я такой же крупный, что в ширину, что в высоту!

Петя закрутил танец, сел на ту же табуретку, с которой танцевал. Посмотрел на Силыча и спросил вдруг:

— А ты знаешь, откуда я пришел в ФЗО? Я из детдома пришел, между прочим!

— Ну и что? — спросил Силыч.

— Ничего. У нас там одна дорожка: как чуть подрос, одежонку, что похуже, сунут, ноги в руки и ступай... Топай, браток, устраивай свою личную жизнь и уступи свою койку другим, которые тоже хотят жрать! Так вот, я про детдом... Там без того, чтобы не почудить, нельзя. Почудишь, и легче. А то еще и корочку за твои циркачества подбросят!

Появилась Ольга с плакатами в руках, зачастила:

— Мальчики, вы живы? А я вот «молнию»: «Три танка — наш последний удар по врагу!» Нравится? А я, значит, в час или в два ночи прохожу по цеху, слышу, вы там, в машине, ну прямо заливаются от хохота... Я-то подумала, подбодрю их, небось осоловели. и слышу, прямо кто-то надрывается... Это ты, Почкайло? Вот повесь мне плакат!

Тот кивнул. Плакатик одобрил и сказал, что поможет сейчас повесить.

— А что смеялись-то? — опять спросила Ольга.

— Да Швейк, — отвечал Силыч.

— Понятно, что Швейк. А что он сказал?

— Да я уж не помню, что-то такое... Ах, вот что... Встречаются два приятеля, и один другого спрашивает: «Где ты работаешь?» А тот отвечает: «В доменном цехе». — «Это что же, сталь плавить?» — «Да нет. — отвечает второй, — домино делаем».

— Домино? — спросила недоуменно Ольга.

— Ага. Ну домино, игру, знаешь?

— Знаю.

— Ну вот они, значит, в доменном цехе домино делают, — сказал, засмеявшись, Силыч. Но Ольга смотрела на него немного озадаченно, не улыбалась.

— Ты думаешь, это смешно?

— А разве нет? — удивился Силыч. — Но ты дослушай! Этот второй и говорит: «Я делаю домино, точки на них ставлю». — «А почему ты сегодня не на работе?» — спрашивает тогда первый. А второй и говорит: «Ой, умора, — он говорит, — у меня выходной, потому что мы выпускаем сегодня «пусто — пусто!»»

— И все? — спросила Ольга.

— Все, — кивнул Силыч и вздохнул.

Он понял, что Ольге анекдот не понравился.

— Ерунда какая-то, — сказала уверенно Ольга и посмотрела недоверчиво на Швейка и на Силыча. — И над этим всю ночь гоготали? Вот уж как дети! А Костик где? Я вам новость принесла.

Костику постучали и раз, и другой, он не откликнулся.

— Спекся, — сказал Швейк и полез в машину. Чуть не силой он вытянул оттуда Костика, тот и на свет вылез, и вниз спустился, и все никак не мог разомкнуть глаз. А чтобы не видно было, спустил на глаза уже ставшую совсем черной повязку.

— Кончай ночевать! — крикнул Швейк ему в ухо и прислонил к борту машины. — Ладно. Пусть спит, лошади тоже стоя спят. Так какая у тебя новость?

— Так не пойдет, — сказала Ольга. — Сейчас генерал придет с Букаты... — Она толкнула Костика, и он неожидан-



но стал оседать прямо на пол. Силыч успел его подхватить, но Костик болтался, как тряпочная кукла, у него в руках.

— Силыч! Швейк! Ну разбудите! — сказала Ольга испуганно. — Они же скоро придут, а мы... Это же позор на весь завод! — Она стала тормошить Костика, и он открыл глаза, мутные, как у пьяного. — Костик! Костик! Ты слышишь? Генерал придет! В цех!

Костик кивнул и закрыл глаза.

Ольга испуганно оглянулась, желая пригласить Швейка и Силыча или хоть кого-то для помощи, но и те, присев и прислонясь друг к другу, уже спали мертвым сном. Ольга и к ним бросилась в панике, охнув про себя, и тоже стала тормошить, и в это время они вошли: начальник цеха Вакшель, Букаты, какие-то военные и среди них в папахе невысокий, поджарый, с острыми глазками-буравчиками исподлобья, генерал.

И тут произошло чудо: как по команде Швейк и Силыч встряхнулись, поднялись навстречу высоким гостям, и лишь Костя остался сидеть, опустив голову, рабочие его тут же прикрыли собой. Только Ольга с беспокойством раз и другой оглянулась, но все напрасно: Костик спал, и никакие генералы для него в этот миг не существовали.

А начальство и военные быстро прошли вдоль конвейера, о чем-то беседуя, и приблизились к стоящей кучкой бригаде.

— Вот, — сказал Букаты, — указывая на Силыча и на Ольгу. — Вот они, герои нашего тыла. Бригада сборки, которая не подводила ни разу! И сегодня не подвела!

— Могу подтвердить, — глядя на генерала, сказал военпред. — Не подводили ни разу.

Генерал кивнул, но ничего не сказал.

Букаты продолжал говорить, а все стояли и смотрели на генерала. А тот все шарил острыми глазками по цеху, вскидывал голову на танки, на потолок и вдруг спросил пронзительно тонким, как всем показалось, голосом. Швейк за глаза его сразу назвал «козлетоном».

— А Константин Сергеич — тут работает?

— Константин Сергеич? — спросил начальник цеха Вакшель, крупный мужчина с пролысиной и дряблыми щеками. Он посмотрел на Букаты. — Это кто?

Букаты пожал плечами и взглянул почему-то на Ольгу. Но та отвела глаза.

— Константин Сергеич? Простите?

— Ведерников, — подсказал военпред генералу. Военпред был строен, усат, будто гусар.

— Да, да, Ведерников, — сказал генерал.

— Ах, Ведерников, — тут же подхватил Букаты и показал рукой на рабочих. — Он в этой смене, товарищ генерал. Сейчас он к вам подойдет!

— Ну зачем же, — капризно произнес генерал. — Я сам к нему подойду. Только укажите мне его! Где он среди... Среди этих?

Во время всего этого короткого обмена репликами Ольга быстрее всех сообразила, что надо делать. Она бросилась вперед, встала прямо перед генералом и быстро начала говорить, тот, наверное, опешил от такого потока слов.

— Ведерников! — тараторила она, заступая дорогу генералу, он вынужден был остановиться и выслушать ее. — Ведерников наш лучший заводской центровщик, он выполняет план и числится в ударниках и в стахановцах, цех им гордится и всегда берет с него пример... Вот и сегодня лучший рабочий бригады товарищ Ведерников не уходил со своего поста...

— Ладно, ладно, — сказал генерал и вдруг потрепал Ольгу по щеке, так что она от неожиданности проглотила последние слова. — А где он сам-то... Ударник ваш? Дайте поглядеть!

Ольга отступила перед генералом, но время было выиграно. Двое из бригады, Швейк и Почкайло, растолкали Костика и, подняв под руки, встали, как бы почти обнявшись. Друзья, мол, не разлей водой.

— Который из них? — спросил, прищурясь, генерал, испытующе скользнул по лицам и остановился на старшем, на более внушительном Почкайло.

— Вот каков! — произнес генерал.

— В центре! В центре он, Ведерников! Товарищ генерал! — громко, будто глухому, крикнула Ольга.

Генерал посмотрел на Костика, на его повязку и обернулся к военпреду:

— Тот самый? Ведерников? Вы не ошиблись?

— Так точно, ошибки нет, товарищ генерал! — мгновенно отвечал тот. От старания даже темные усы шевельнулись.

И Букаты подтвердил, не очень-то понимая, куда все это клонится, что это слесарь-центровщик Ведерников Константин Сергеевич, правда, немного приболел, с глазами у него...

— Глаза у него засорились! — опять громко произнесла Ольга. — Сейчас он в медкабинет пойдет! Товарищ генерал!

Генерал смотрел на Костика, будто не верил, что ему показывают того, кого он просил, и вдруг он засмеялся. Тонко, но на весь цех, и все кругом заулыбались, глядя на генерала. А он между тем заливался, и рабочие захихикали. Лишь Костик, один он, виновный, стоял, тараща глаза свои больные, мало что соображая в происходящем.

Генерал перестал смеяться и сказал:

— Вот сюрприз! А я думал, ветеран! С бородой! А у нас в дивизии на танках написано: «Будь в бою, как Ведерников в труде!» А он вон какой...

Ольга, тут же осознав важность момента, снова выскочила перед генералом, теперь уже не ради Ведерникова, а ради цеха, который она возглавляла в комсомольских делах, и отсалютовала со словами: «Наш боевой комсомольский пост! Товарищ генерал! Ведерников — сын фронтовика! Пришел из трудовых резервов, и мы гордимся, все как один на нашем заводе...»

Генерал отвернулся к военпреду, не слушая, спросил:

— А может, все-таки не он? Какой-то замызганный и это — мал же?

— Да он же! Товарищ генерал! Я лично его работу принимал! Мал золотник, да дорог! Как раз про него!

— Потом... Он же спит? — генерал опять посмотрел на Костю. — Смотрите, спит же... Его надо отвести домой!

— Так точно! — произнес еще один из военных, стоящих неприметно сзади. — Отвезем! На машине!

— Да не спит он, — неуверенно подсказал Букаты. Костю подсказал, а не генералу. — Глаза у него такие, что он плохо смотрит, да после ночи...

Ольга подхватила:

— Что вы! Товарищ генерал! Это у него от волнения! Он и мы все счастливы, что вы нас... К нам в цех...

Генерал посмотрел на Букаты, на Ольгу, на других рабочих и стал говорить, что он поздравляет от имени командования Константина Сергеевича Ведерникова за ударную работу в деле создания боевых и безотказных в бою машин, ему и его друзьям по бригаде...

Тут в его руках откуда-то объявились две блестящие консервные банки.

— А это вам наша фронтовая премия! Из нашего боевого пайка! Называется она свиной тушенкой...

Все, и даже Вакшель, зааплодировали, а Костю подтолкнули к генералу, и тот отдал банки в руки со словами: «Заслужил! Здоровейте! На радость советским танкистам!» Все опять стали хлопать. Костик стоял с банками, не зная, что с ними и с собой делать. Ольга хотела забрать банки из рук Костика, помочь ему, но тот не послушался и банок не отдал, а сильней прижал к груди.

— Не молчи, — шепнула она, это слышали те, кто стоял рядом. — Не молчи, скажи что-нибудь! Мы будем достойны... Ну!

— Мы будем достойны... — повторил Костик и вдруг, будто очнувшись, добавил вполне осознанно: — Спасибо... Мы с мамой щи наварим, у нас с мамой давно мяса не было...

— Не в тушенке дело, — пришел тут же на помощь Букаты.

А Швейк негромко, лишь для бригады досочинял:

— Не тушенкой мы богаты, так сказал И.И. Букаты!

У Швейка про Букаты таких импровизаций было много.

Во время зарплаты он говорил: «От зарплаты до зарплаты нас ведет наш вождь Букаты!»

А вчера, когда горели с планом, у Швейка вырвалось: «Как закончу план проклятый, так уймусь, сказал Букаты!»

Ольга вслед за Букаты подхватила, что Костик смущен, это понятно, но вместе с Костином, товарищ генерал правильно сказал, трудилась и бригада, и цех, да весь наш героический рабочий класс завода, и все они гордятся, что своим славным трудом приближают нашу долгожданную, как говорил товарищ Сталин, победу!

— Спасибо нашей родной Красной армии! — так закончила Ольга, и все облегченно захлопали. Все, кроме Костика, который держал свою тушенку, и руки были заняты. Поистине драгоценный подарок! Это все понимали.

Генерал еще раз смерил Костика взглядом, шепнул что-то военпреду и на прощание пожал Вакшелю и Букаты руки, Ольгу, стоящую рядом, он не заметил.

— Что ж, товарищи, — сказал озабоченно уже, хоть еще и неторопливо. Но мягкость, но тепло, неожиданно проявившиеся, пропали. Он снова стал тем настоящим суровым генералом, которого они увидели при появлении. — Мы уезжаем отсюда, вооруженные вашей замечательной техникой и вашим дружеским участием... Обещаю, что эти танки будут драться за рейхстаг! Спасибо!

Генерал быстро ушел, удалилась и свита.

Ольга было бросилась вслед, но тут же вернулась, требовательно глядя на Костика, произнесла:

— Язык от радости проглотил, что ли! Какой позор!

— А что говорить-то? — вступился Силыч за дружка. — Спасибо же он сказал, и будя.

Швейк тут же подхватил:

— Мы сейчас эту награду героически срубаем в цеху! А? Не таскать же такую тяжесть... Еще потеряешь!

Все посмотрели на Костика, на его руки. Бригада вдруг поняла, что Костик угостит их американской тушенкой, боевым военным пайком. Но Костик молчал. И Ольга недоуменно повторила:

— Ну что за человек? Он хоть слышал, что говорят его товарищи? Слышал он или нет? Вот объясните, почему он молчит? Почему?

8

— Не вижу никакого криминала, — вдруг сказал защитник Козлов, почти оживившись. Его унылое лицо никак не изменило своего выражения.

— А что вы видите? — спросила Князева.

— Ничего не вижу, — сказал Козлов. И в зале засмеялись. Возможно, он хотел сказать вторично, что ничего плохого не видит, но сказал так, что получилось, что он вообще ничего не видит. Как же тут не посмеяться над незадачливым защитником.

Князева, ради объективности, попыталась исправить неловкость, она повторила громко, чтобы все слышали и до всех бы дошло, что криминала в тушенке и в том, что Ведерников чуть не заснул после смены, и верно, никакого нет. Но далее... Далее-то что было?

— Скажите, — обратилась она к Востряковой, сидевшей тут, на сцене, и Ольга поднялась. — Он так и не отдал бригаде тушенку?

— Нет, — сказала Ольга в зал. — Он никому не дал тушенку, он унес ее домой, и мы это дело замяли. Но сейчас я думаю, что не надо было заминать. Вот результаты!

— А я считаю, что ничего не произошло, — возразил Букаты. — Награда-то назначалась Ведерникову, и его личное дело, как ею распорядиться. Главное, что план он выполнил!

— Вот-вот! — бросил ему из-за своего стола Зелинский. — А дисциплинка? Был у нас в роте малец один, храбрый не по годам, ему все потакали. И такой он, и сякой, ну и потерял парень контроль, захвалили! Повел без приказа

орудийный расчет напрямки, через болото... Да и утопил в болоте технику-то, чуть сам не утонул с людьми... — Зелинский сделал паузу, то ли вспоминал, как было, то ли переживал реакцию зала, считая, что такой эпизод нельзя проговаривать наскоро. Помолчав, он добавил; все сейчас на него смотрели: Князева, и защитник, и Ольга, которая продолжала стоять, и Букаты, и сам Ведерников. — Так мы... Мы не пощадили храбреца! Невзирая на его заслуги и медали... Не по-ща-ди-ли! Товарищи!

— А какое это имеет отношение к Ведерникову? — спросил Букаты.

Ольга, которую ни о чем вроде бы не спрашивали, тут же отреагировала, но так, что вроде бы не понравилось и самому Зелинскому, хоть ясно было, что она подпевает ему:

— А вот какое, товарищи! Сперва преступного дружка защитил, не проголосовал, потом консервы, как собственник какой... А у Силыча, ну то есть у Володи Почкайло, трое детишек, мал мала меньше... Они тоже мяса давно не пробовали... А может, и никогда не пробовали! Да и по словам товарища генерала понятно, что это награда для всех, а не для одного Ведерникова! Вот в чем тут дело!

— Консервы мы осуждать не будем, — сказал вдруг, поднявшись с места, Зелинский. — Мы только запомним, что комсомольцы, которые были рядом с Ведерниковым, сами осудили его. — Тут прокурор посмотрел на Вострякову и перевел взгляд на Костика.

— Подсудимый Ведерников, а куда вы, кстати, дели эти консервы?

— Продал, — ответил Костик вяло.

— На следующий же день?

— Мы работали на следующий день.

— А когда?

— Не помню, — сказал Костик.

— Но вскоре, да?

— Да. Вскоре.

— Выходит, получив от генерала вознаграждение, вы побежали поскорей на рынок? — спросил Зелинский под громкий смех зала.

— Я не побежал, я пошел...

— Это все равно. Сколько же вы за них получили? Сотню? Две?

Ведерников не ответил. Да ответа от него и не ждали. Тут в самом вопросе заключался ответ: человек загнал свою награду, а деньги небось прокутил. Не матери же он отдал, раз мать еще на предварительном следствии утверждала, что никаких консервов, и даже денег от них, она не имела. Она бы такое запомнила.

— Но ваша мама денег от вас не получила? — продолжал добивать свою жертву прокурор. — Так или нет? Ни консервов, ни денег?

Ведерников снова ничего не ответил.

— Именно так, — вместо подсудимого сказал прокурор и, удовлетворенный, откинулся на стуле. — И это в то время, когда жена фронтовика, пропавшего без вести, едва сводит концы с концами, работая уборщицей при школе... Да что говорить, она и сама скажет...

По залу пронесся ропот негодования.

— Позор! — крикнули из первого ряда. — Позор преступнику!

9

Отец Костика был заводской бухгалтер, спокойный и сосредоточенный на своих конторских делах человек. До завода он работал на молокозаводе, и в трудные предвоенные времена Костик запомнил — мать, а потом и он сам, ходили за реку на этот завод, где им выдавали белую водичку-обрат, то, что оставалось от молока после переработки.

В сорок первом, несмотря на плохое зрение, отца призвали в роту санинструкторов, и он, и другие такие же долго, несколько месяцев, стояли в здании школы. Тогда Костик подбегал к изгороди, а отец несколько раз смог передать ему через щель прямо в казенной шапке принесенный откуда-то мерзлый картофель. Он сыпал картофель в сумку, которую подставлял Костик, торопливо



оглядываясь и шепча слова, чтобы Костик еще приходил, он, отец, для семьи что-нибудь да достанет. Костик возвращался с ношей домой, а картофель в сумке постукивал, как деревянные кубики.

Но однажды, когда Костик пришел к забору, он уже никого не увидел: лишь катил холодный ветер по натоптанному двору клочки сена. И ни одной души. Так и получилось, вроде бы много раз могли попрощаться с отцом, но не попрощались ни разу. И писем от него не было.

В те голодные первой военной зимы месяцы мать Костика придумала ходить за реку далеко в лес, где работали бригады лесорубов. У них были лошади, и мать вымаливала у суровых возчиков (многие из трудармии, из Средней Азии, в ватных расшитых халатах) пару стаканов овса. Этот овес спасал им жизнь. Они отмачивали его в воде, прокручивали через мясорубку, крутил Костик, у матери не было сил, и варили кисель. Так и выжили, потом и на заводе стали подкармливать.

Однажды он возвращался со второй смены, и привалило счастье: отоварили сразу на два дня: буханку хлеба дали и на жировые талоны полкило хлопкового масла. Пока он до дому шел, все щипал понемножку да макал в масло, все и укрутил. Домой пришел, а в руках пустая банка, крошки на дне плавают. Посмотрела мать и заплакала. Не оттого заплакала, что жалко ей было, а оттого, что увидела, как он отощал, что вечно голодный: и на работе, и дома. С тех пор она делила ему норму: одну порцию с киселем до работы, другую — тоже с киселем — после работы.

А тут их наладили в свободное от смены время — как ни странно, это почему-то случалось по ночам, потом-то они поняли, почему по ночам, но сразу не дошло — посылать на разгрузку раненых.

В ночь приходило до десятка санитарных поездов и эшелонов. Стон, кровь, бинты... Некоторые кричат, рвут на себе одежды... Их поскорей на грузовики, пока население не узнало и не прослышало, да по госпиталям.

Так случилось во дворе одного госпиталя, Костя тащил носилки и вдруг услышал, как один раненый вы-

кликает другого: «Ведерников!» Чуть носилки не уронил! Бросился туда: видит — человек, а точнее, не человек, обрубок: ног у него нет. В глазах у Костика поплыло. Он закричал изо всех сил: «Папа! Папа!» Раненый обернулся, и Костик увидел: не отец это, чужой человек. Разрыдался, скорей от испуга, а раненый-то, который без ног, стал его утешать: «Ничего, пацан, крепись... Твой папаня еще вернется... Я точно знаю, — говорит, — что он жив... Я, — говорит, — встречал одного на передовой Ведерникова... Как звать, — говорит, — не помню, но похож на тебя... Такой деловитый, спокойный, он, кажется, по какой-то подсобной части...»

— Из медицинской, может быть? — спросил с надеждой Костик.

— Во! Точно! Оттуда! Я и говорю, что жив! Жив твой папаня! Ты жди! И мамане своей скажи, что надо ждать!

В то счастливое утро, когда получил он в награду от генерала тушенку, Костик сразу же понял, что он сделает с тушенкой, — он отнесет ее Ведерникову. Тому Ведерникову, который без ног и который видел его отца... Он много раз о нем вспоминал, но выкроить несколько часов и вырваться из железных объятий завода было непросто.

Зажав две блестящие баночки в руках, прохожие на них останавливали взгляд поневоле, даже вслед еще смотрели, — как же, такую роскошь несут у всех на глазах! — бежал он через весь город шесть километров до госпиталя. Лаза болели, он и не замечал! За то время, пока не были они на разгрузке эшелонов, уже от станции к пристани узкоколейку проложили, и теперь возили по ней раненых до причала, но опять же больше по ночам...

Так с баночками Костик во дворик зашел и в палату, он уже знал, где лежит его Ведерников. Никому он своей тайны не открывал, не хотел открывать даже матери, что есть у него теперь родственная душа в госпитале. Да матери тем более нельзя говорить, она хоть и мучается по отцу, но вслух не вспоминает, а тут, ясное дело, все всколыхнется, станет по ночам плакать. Этого еще Костику не хватало!

А Ведерников, безногий, который из госпиталя, очень веселым человеком оказался. Он воздушным стрелком был и много разного из своей боевой профессии рассказывал: ему и гореть приходилось в воздухе, и выпрыгивать на вражеские позиции... Прострелили ему ноги во время такого прыжка прямо в воздухе, но попал, слава богу, к своим. Ветерок в нашу сторону-то был.

Все помнил Костик про Ведерникова, он и бриться ему помогал, цветы с поля приносил, а один раз притащил морковку, которую ему подарили.

А тут подарок судьбы — тушенка! Он представил, как вскинется ему навстречу Ведерников, как закричит на всю палату: «Братцы, мой сродственник пришел! Праздник у нас!» Свой-то сынок у него тоже был, но под оккупацией, в Одессе, и хоть город освободили, он ничего не знал, не слышал. Костик его, конечно, уверял, что сынок тот жив, как же иначе...

Так они и встречались: один другого уговаривал, про сына или про отца, и один другому верил. Вот что главное.

Теперь Костик встал в дверях, но не видел Ведерникова, потому что койка была пуста.

Сперва подумалось: увезли на перевязку, а может, вообще перевели в другую палату. Давно он не был здесь. Но другие в палате, из тех, кто знали Костика, промолчали, даже будто не обрадовались ему. Так ему показалось. Проходящая мимо сестренка, новенькая, она Костю прежде не знала, спросила на ходу: «К кому, товарищ? — И удивилась: — К Ведерникову? Он же умер на прошлой неделе». Сказала и пошла по своим делам дальше. А Костик остался стоять у всех на глазах, потому что теперь он и сам не мог уйти. Даже заплакать не мог, слишком неожиданно хватило. Он дошел до пустой койки и положил банки на тумбочку. Зачем это сделал, он сам не знал. Наверное, потому и сделал, что живому Ведерникову не приносил такого богатства, а теперь как бы мертвому оставлял. Хоть понятно, что не увидит тот никогда Костиного подарка, не оценит. Ну так что же, живые съедят. Костик не

сразу так подумал, потом, когда валялся он за госпиталем на задворках и ревел, ревел. Родного человека потерял: Ведерникова. Будто самого себя.

10

Весь день, свободный от смены, провалялся Костик на койке, благо можно сослаться на глаза, которые и вправду болели и слезились. И уж непонятно было, отчего они слезились, и не хотел сам Костик, чтобы кто-нибудь это понимал. Даже мать. А она ходила вокруг да около, невысокая, еще меньше сына, и не седая почти, волосы пучком, на темной одежде старая шаль теплого солнечного цвета, сама связала.

Мать прежде много вязала, и скатерки, и накидки на диван, а потом, как голод наступил, все продала. Была у них коза, черная в белых пятнах, Машка, и козу пришлось зарезать, когда зима первая военная пришла. Сама-то мать не решилась, а отвела козу соседу дяде Васе, портному, он потом на фронт ушел. Отвела, и тот зарубил Машку, а мясо они растянули на три месяца, но и оно кончилось. А больше и продавать нечего было: вот диван разве, но его-то мать и берегла. Нажитый вместе с отцом, он как бы подкреплял ее веру в то, что дом у них еще не пропал, еще жив, и хозяин когда-нибудь вернется. И шаль свою солнечную она не продавала. Мерзла без шали, да и заплаты, что были на одежде, эта шаль вроде бы прикрывала.

Посуетилась мать возле Костика, присела, вздыхая, у окошка. Не хочет говорить, можно и помолчать. А захочет, так она тут, рядом.

Окошко в их каморке одно, небольшое, да и лучше оно, что небольшое-то, меньше тепла уходит. Сама каморка тоже невелика, стены оклеены пожелтевшей газеткой, за ситцевой занавеской кухонька: тумбочка с керосинкой, в которой давно выпали слюдяные стеклышки, полочка, потемневшая от сажи, а рядом рукомойник и ведро под рукомойником. И кружка на гвозде. Печка с двумя конфорками, маленькая, но удачная, теплая, хороший

печник клал, отделяла материн закуток, где у нее тот самый диван с высокой деревянной спинкой поставлен, а в спинке в прорези полосочка зеркальца, а над спинкой икона. У Кости своя железная кровать, а над ней портрет товарища Калинина. Портретом его в цехе наградили. За портретом, как и за иконой, мать держала всякие квиточки и лекарственную травку. Рядом грамоты, полученные Костиком за трудовые победы. Одна из них, врученная лично директором завода, генерал-майором Яковлевым, с портретом Сталина в уголке: «За лучшую слесарную центровку».

— Кость, а Кость, — подала мать неуверенно свой голос. — Новость-то какая... Сосед с фронта вернулся... Дядя Вася, портной, помнишь? — Костя молчал, и мать продолжала: — Инвалид теперь, ноги у него нет... А он, значит, себе костыльки сделал да и скачет, и скачет по огороду, будто галка какая... И шутит все, хорошо, что голова цела, вот что, матушка... Он меня и прежде матушкой называл... Голова-то уцелела на войне, ее, говорит, палочкой не заменишь... Во как!

— Повезло, — подал Костик голос. Будто буркнул в подушку, но мать и этому обрадовалась.

— И я говорю! Повезло тебе, Васька! Живой ведь! А ноги нет, так ты ведь не футболист, а ты — портной, а портному-то руки нужней, чем ноги! А он, значит, снова шутит... Песенку эту... Хорошо тому живется, у кого одна нога, и портчинина не рвется, и не нужно сапога! А Дуня-то, жена, и дети у него в избе сгорели в оккупации... Они гостили у родни. Вот я реву, сама уж не знаю почему. То ли песня такая, то ли отца вспомнила, Сергея Митрофаныча... Поплакала о ней с детишками, и легче стало...

Костя сел на кровати, спустил ноги.

— Мам, — спросил он. — А если с отцом что-то... Ну такое же что-то случилось?

— Ох, лишь бы пришел, — сказала мать. — На руках носить буду, не брошу.

Костик о чем-то сосредоточенно думал. И снова спросил:

— Мам, а если не придет совсем?

— Как же... — растерянно спросила она. — Я с твоим отцом жизнь прожила. Даже на работу и то вместе, везде вместе. А без него к чему мне жить? Не хочу... — И вдруг спохватившись, что не то совсем говорит, прикрикнула на сына: — Ты чево раньше срока его хоронишь-то? Чево? Тебя спрашиваю? У других вон похоронки пришли, а потом оказалось, что живы... А нам и похоронки никакой не было! Слезай, поди умойся лучше... Не в настроении пришел, вот и мелешь, что на язык попадет...

— Прости, мам. — Костик опрокинулся на подушку, отвернув к стене голову.

Мать опомнилась, пересела на койку к его ногам.

— Придет он, сынок, — сказала ласково. — Ты отца-то хорошо помнишь?

Костик произнес, не повернув головы:

— Он мне, мам, снится... Каждую ночь.

— Вот, — подхватила мать, — значит, живой! Думает о нас! Он когда на санинструктора-то учился, в школе стоял, як нему, к забору, тоже ведь бегала... Прижмусь к ограде, а он с другой стороны, и слушаем мы друг дружку и думаем об одном и том же, что кончится проклятая война и станем опять рядом ходить... Или вот на диване сидеть: мы как купили диван, скопив деньжонок, так уселись с ним, будто на своей свадьбе второй раз, такие торжественные. И как хорошо нам, вот ты родился, а потом пошел первый раз... Мы садимся и рядом сидим, это значит, праздник у нас с ним... А тут мне говорят: продай да продай! И хлеба даже предлагали... А я пришла, села на диван и захотела представить, что он тоже тут сидит... И никак не могла решиться... Не продала... Страшно стало, что продам, а он рассердится, когда придет.

— Таисия... Таисия Петровна, так вас зовут? — спросил прокурор, доброжелательно поглядывая на мать Костики.

— Зовут меня тетя Тая, — сказала та, поддериывая на себе шаль от смущения. — Я с отчеством-то не привыкла, — добавила она.

— Скажите, пожалуйста, тетя Тая, вы знали или слышали хотя бы, что вашего сына наградили тушенкой?

— Не слышала, — ответила она, глядя в пол.

— И не видели?

— Да господи, конечно же, не видела! — возмутилась она, что ее переспрашивают, а значит, выходит, не верят.

— И что на рынок снес, тоже не знаете? — спросил прокурор. — Как же вы воспитываете сына, если ничего не видите и не знаете?

Тетя Тая снова поддернула шаль и сказала со вздохом:

— Дык он у вас в цеху больше живет, чем у себя дома... Вечером придет да в постель. А утром снова не до разговоров. А я и сама при деле, у меня в школе своя смена, а у него своя...

— Значит, он от вас скрыл, что получил тушенку? — долдонил свое прокурор. Тете Тае это надоело. Она начала сердиться. А когда она сердилась, она уже никого не смущалась. И тут она расправила шаль и повернулась прямо к прокурору, чтобы его хорошо видеть.

— Вы знаете, товарищ... Вы вот, говорят, фронтовик и человек вы заслуженный, как я понимаю... А только что бы вы там ни рассказывали про болото, про оружие, которое утопло, и как мальчишку того бедного вы до смерти засудили...

— Таисия Петровна! — подала голос Князева. — Попрошу отвечать конкретно!

— Не бойся, я отвечу, — сказала тетя Тая и повернулась к Князевой. — А ты, милушка, сама послушай, тебе полезно!

— Какое вы право имеете! — воскликнула Ольга и даже привстала на месте.

— А вы какое право имеете? — одернул ее прокурор и повернулся к свидетелю: — Говорите, пожалуйста!

— Я и говорю, — строго произнесла тетя Тая. — Вот ей сперва, — указала в сторону Князевой. — Тут этот, Буката, на себя напраслину возводил, мол, он и виноват, что задерживал на работе и на смене... А чево вы молчали-то? Вы-то

заводские были и знали, они не слепые котята, понимают, что они делают... И Костьку дергали... А какой план без дерганей, а? А вы, — это опять она Князевой, — молчите! А еще на заводе работали! Вам небось нравится, что этот старый хрен... — тут тетя Тая прищурилась и посмотрела на передний ряд, где сидел теперь Букаты. Не нашла его и махнула рукой. — Что этот берет на себя всю вину, а не завод и не другие, которые план-то гонют...

— Скажи им, тетя Тая! — крикнули из зала. — Все скажи!

— Ладно, — пообещала она, поджав губы, и повернулась к прокурору. — А теперь вот я и вам отвечу. Вы на фронте победили... А мы тут в тылу тоже ведь победили... А как... Вы этого про нас, товарищ фронтовик, ничегошеньки не знаете... А что вы про моего Костьку понять хотите, если вы ничего не знаете, а? Как я с работы встречаю... Как раздеваю его в постели, как ребенка малого... Он ведь совсем без сил после вашего цеха-то...

— Ну так расскажите, прошу вас, — сдержанно и даже будто с сочувствием попросил прокурор.

И Князева кивнула:

— Да, да! Говорите!

— А чево я должна говорить? — спросила тетя Тая и сделала шаг к прокурору. — Вы же все равно на полную катушку тут... Вы же небось и срок ему назначили, а? А теперь тут сидите и подгоняете ответ под задачник: то консервы, то деньги... А я, выходит, вам еще в этом деле помогать должна?

— Это уж слишком! — крикнула опять Ольга. — За такие слова, знаете!

Тетя Тая вздрогнула и повернулась к Ольге. Долго вглядывалась в нее, будто что-то в ней понять хотела. Поняла. Отвернулась. Потупилась и тихо произнесла, так, что в зале наступила глухая тишина. Все старались услышать.

— Не пугайте вы меня... Я мать. Я ничего не боюсь. — И она снова повернулась к прокурору, и теперь она говорила только ему: — Вы его тут судите, а я вас сужу! Что бы вы тут про себя ни придумали... А про тот день я вам



расскажу, когда он пришел раньше обычного... Я отругала его, что не умывшись-то лег... А потом мы про отца еще нашего поговорили, и я заснуть не могла, все думала о нем да и проспала утром-то... Вот беда!

11

— Вот беда! Вот беда! — спросонья тетя Тая суетилась, она и без часов поняла, что проспала то время, когда ей надо вставать. Прежде-то она успевала завтрак приготовить, хоть какой-то, и баночку картошкой наполнить, чтобы на работе Костик мог ее поест. «Господи, — думала в отчаянии, поглядев, как спит ее сын, один профиль от него остался... И шея цыплячья! — Господи, за что же людям эта всемирная мука, война! Накажи Ты, Господи, лютым судом тех, кто ее затеял!»

Руку протянула к нему и вдруг почувствовала, что сердце не пускает нарушить этот и без того короткий сон. В раздумье постояла и преодолела себя, позвала:

— Костик... Костик... — негромко, правда. — Вставай, сынок, на работу пора!

Он проснулся. Поднял голову, только глаз разомкнуть не мог.

— Сейчас... Мам... Сколько?

— Да много! Ты уж поднимайся, я-то ведь сама проспала! Слышь?

Не открывая глаз, он кивнул и уткнулся в подушку:

— Мам... Я чуть-чуть... Я совсем немножечко... Ну, секундочку... Мам...

— Да какое чуть-чуть! — всплеснула руками. — И оно кончилось! Костик! — Она схватила его за плечи, и стала тянуть его на себя, и приговаривать, ласково поднимая, — лишь так можно справиться с его всесильным оглушающим сном. — Ты же у меня ударник... Танки делаешь... Ты у меня молодец... — И когда дотянула до того, что он уже сидел, а не лежал, схватилась, не успев отдышаться, побежала к керосинке. — Ну теперь сам вставай! Я тебе чайку налью!

Костя как сидел с закрытыми глазами, нащупал одежду, штаны и рубаху свою фэзэушную надел и ремешком подпоясался. Все это не открыв ни разу глаз. Подсел привычно к столику, опустил голову на руки. Уснул!

— Вот он, чаек-то, — приговаривала мать за занавесочкой, стараясь, чтобы Костик слышал ее голос и не спал. — Елочкой заварила... Елочка, она десны укрепляет.

Вынесла чайник, охнула:

— Костик! Ну что ты со мной делаешь! Ведь опоздаешь!

При грозном слове «опоздаешь», настолько грозном, что он и во сне иногда видел, в самых страшных снах, это опоздание, Костик вскочил и бросился к двери.

— Да куда же ты! — вслед крикнула мать. — А чай?

— Мам, ну какой чай... — Костик едва расцеплял глаза. Вдруг как стоял, так и уткнулся в дверной косяк. Стоя заснул. Но при этом какая-то часть мозга у него самоохрнительно работала, потому что ему казалось, что он уже идет на работу, и он бормотал слова, что он пошел... Он уже пошел... Он... При... по... шел...

— Ах ты! — тетя Тая стала шарить по карманам. Нашупала флакон нашатыря, который носила при себе постоянно. Не первый раз такое! Она открыла стеклянную притертую пробочку и сунула горлышком прямо в нос Костику. — Ну, ну!!! Шел и не дошел, — проворчала. — А ты дыши глубже... Вот так... И еще...

Костя вдруг замотал головой и окончательно проснулся. Даже глаза прояснили.

— Ух, мать! — проговорил уже осознанно и отодвигая рукой ненавистный флакон. — Ну, мать, придумала! Фашисты газами не травят так мирное население...

— Зато в мозгах просветлело, — оправдывалась она и, перекрестив Костика на дорогу, спрятала злополучный флакон в карман.

Посмотрела в окошко, как он идет, со спины карликовый старичок, сутуловато горбясь, засунул руки в карманы. Вспомнила, что не положила ему в банку картошки, а значит, останется он на целую смену голодный.

Вздохнула, вина себя и эту ночь, что так расстроилась она по приходе с фронта соседа Василия от этих разговоров, бередящих душу. Столько остерегалась, а тут распустила слюни. «Переживем», — пробормотала про себя. Это слово было единственной подпоркой ей во всю войну, а что оно по-настоящему-то означало, она и думать не хотела. Надо пережить, раз Костик при ней. Одна бы она не стала переживать. И сейчас так подумалось: «Переживем». Она и представить не могла, чем кончится для нее с сыном этот светлый апрельский день, который так солнечно начинался с синего размытого неба и терпких запахов от земли.

Но за час или больше до выхода Костика прошел по этим же улицам высокий человек во френче из дорогого английского сукна и в модной, наверное трофейной, шляпе, принеся с собой кроме веселой энергичности что-то разрушительное и даже роковое, предопределившее судьбы многих людей в поселке, в том числе Костика и его мамы.

Провернулись какие-то шестеренки в межгалактических часах, и ничего нельзя было изменить или повернуть вспять. И хоть сам виновник этих грядущих событий успел приятно выпить и даже заснуть, беспечно прихрапывая на Зининой широкой постели с пестрым лоскутным одеялом, все остальные, или многие из них, такие, как Толик по кличке Василек, и Катя, и Букаты, и Зина, и сам Костик, и даже инвалид дядя Вася, были в движении, и движение это несло их навстречу друг другу к тому неизбежному будущему, которое в них произошло раньше, чем наступило наяву.

12

Бросив настороженный взгляд на Чемоданова, широко распластавшегося на постели, Зина тихо прикрыла за собой дверь и бросилась к калитке. Где-то на исходе улочки чуть не налетела на инвалида и даже не успела испугаться.

— Доброе утро, — произнес он, широко расплывшись, наверное, решил, что эта молодайка со сна так неразборчиво ходит, что на всех натывается.

Какое-то мгновение Зина недоуменно смотрела на инвалида, никак не захваченная этой, не ко времени, улыбкой. Ответила так:

— Ох, доброе ли!

Но не к инвалиду был вопрос, а к себе самой.

— А чего же... — сразу отреагировал инвалид. — Весна и теплышко... И дров почти не надо... И тихо... Ведь тихо же... А? — С ухмылкой такой, будто он сам только что создал эту тишину.

А Зина уже поняла, что человеку поговорить надо, и отодвинула его от себя одной фразой.

— Тихо, как в могиле! — бросила и ушла.

Побежала, а инвалид чуть недоуменно посмотрел ей вслед, но его солнечное настроение вовсе не помрачнело. Будто тучка пролетела, не оставив следа.

«И чего, спрашивается, недовольны? — подумалось вслух. — Пули над ними не летают... Наоборот, бабочки...» И проводив глазами первую из них, увиденную въяве, такую неуверенную еще, как желтенький лепесток: мотает ветром туда-сюда, но ведь живая, настоящая бабочка-капустница из мирной, почти мирной, весны, он вдруг подумал, что ведь и на фронте были вёсны, а бабочек почему-то не было. Может, их войной спалило, они же нежные-то какие, а воздух и тот кругом горел, когда они на танках прорывались под Курском...

Зина между тем встала на перекрестке двух знакомых улиц, утром в это время здесь всегда проходил на работу ее брат. Уж он такой, что и болеть будет, но работы не минует и времени своего не пропустит. В цех он ходил как на праздник. Зина помнила, что если в доме у него появлялась обнова, рубашка ли нарядная или галстук, он непременно надевал первый раз только на работу. А все это от тех времен, когда бегал тайком от школы и от родителей в паровозное депо и там в мастерских был счастлив, если ему разрешали взять напильник и подпускали к верстаку. Однажды дали постоять за токарным станком, и судьба его была навсегда решена. У людей мечты как мечты: быть летчиком, моряком, полярником, артистом,

а у этого — слесарем. Мать с отцом, оба учителя, недоумевали, нервничали, даже наказывали, если он пропускал школу, но все напрасно. «Память отличная, смекалка, мог бы на инженера учиться», — говорили они. Он же едва закончил девять классов и ушел навсегда в эти мастерские, чинившие паровозы. Уехал под Москву, в Коломну, там уже стал мастером. Но вместе с коломенским заводом, чистая случайность, снова попал в родной городишко во время эвакуации.

Зинаида увидела его издалека и уже, не желая ждать, сама пошла ему навстречу.

— Илья, — торопливо произнесла, он остановился как вкопанный, не смотрел по сторонам и, наверное, не ждал этой встречи. — А я тебя караулю... Знаю, что ты ходишь в такое время... Хотела с тобой поговорить...

— Если по поводу Толика, — отвечал, насупившись, — зря время теряешь.

— Толика ты сожрал с потрохами, не о нем речи!

— Слово-то какое! Сожрал! Что он, рагу, что ли! — проворчал Букаты.

— Но ты послушай! — призвала Зинаида, приближаясь к нему.

— Нет, это ты послушай! — настаивал Букаты. — Я их принял из ФЗО сопливыми щенками... Толик твой, Василек, галошу потерял... Стоит и хнычет... Вот какие они были!

— Илья, проснись! — сказала с чувством Зинаида. — Сколько можно бредить цехом?

— А я говорю, — продолжал Букаты, не слушая ее, — что Толика твоего я уволил! Из цеха! А ты, Зинаида, подумала бы о себе... С подростком же связалась! А он прохвост к тому же! Вот!

— Все? — спросила Зина с ненавистью. Она заранее представляла эту встречу, так и вышло. И не пробьешься к этому человеку в душу, который зачерствел среди своих железок, сам в железо превратился! И семьи не завел, все некогда ему было. Зачерствел, заскорузнул среди своих дел, ибо питать душу они до конца не могли, если не спит

рядом женщина, не играют под боком дети и нет в доме той неслышной музыки, которая зовется семьей. И у Зины, если посудить, не сложилось, так там свои причины, она бы и хотела сложить и билась, как воробей об стекло, об это неистовое желание, да только шишек набивала.

Но сейчас, может, в это мгновение, все решалось для нее, и много, ох как много зависело от того, что скажет этот непробиваемый, огороженный, будто танк броней, своей глухотой человек.

— Все? — спросила она.

— Все, — сказал Букаты, снижая властный голос перед ее напором. Он даже попытался оправдаться. — Времени в обрез... — И вынул карманные часы, серебристые, с кулак величиной. — Смена у меня... Зинаида...

— Но ты меня слушаешь? Или нет? — спросила Зина, готовая разрыдаться.

— Покороче! — попросил Букаты, почувствовав необычность в ее голосе. И ждал, набычившись. Словно и эту новость он предвидел. Но ничего он не мог предвидеть, и вообще был он беззащитней, чем мог показаться. Поэтому прозвучало для него, как гром среди этого ясного сегодня неба:

— Катя замуж выходит.

— За кого? — спросил он растерянно.

— Об этом и разговор, — торопливо произнесла Зина, дождавшись наконец возможности хоть что-то сказать. Теперь-то она понимала, что ее не перебьют. — Есть один... Немолодой... Приехал, требует... — И не выдержала-таки, расплакалась.

— Ох, Зина, — прикрикнул Букаты, приходя в себя и обретая исконную свою уверенность. — Предупреждал я тебя! Ведь предупреждал же! Что испортишь девку! Рынки... Яблочки... Спекулянты... Темные людишки по вечерам... Ох!

— Илья, не митингуй, — попросила Зина негромко, вытирая слезы. — Я ведь к тебе от сердца... Я же сама... Хоть и давал ты деньги на Катерину, но ведь к нам ни шагу... Дорогу забыл... А я как должна выкручиваться?

— Откажи, — глухо произнес Букаты. Как отрезал. Они в цехе, если не по нему, по-бычьему пер напралом, наклонив голову, не свернуть.

— Как я откажу! — воскликнула Зина с отчаянием. — Она сама! Сама согласилась! Илья!

— Любовь, что ли?

— Какая в ее годы любовь? Дурость!

Букаты снова достал часы, посмотрел.

— Времени уже нет, — произнес тем же суховатым отстраненным тоном. — У нас с этим делом строго.

— Для живого у тебя никогда времени нет! — крикнула ему Зина, понимая, что он уйдет, а она не знает, как сделать, чтобы спасти себя и Катю. Ведь так можно сойти с ума.

И тут Букаты тоже не выдержал. Сверкнул глазами исподлобья.

— Но ты же довела девку! И учти... Если с Катериной что-нибудь случится... — Даже руку угрожающе поднял, но Зина отвернулась, не поняв, не почувствовав его угрозы, и он руку опустил.

— Не кричи на меня... И так обкричали со всех сторон... Пусть я плохая, — произнесла сквозь слезы, закрыла лицо руками. — Пусть какая ты думаешь, но я же первая... Я же к тебе сама пришла...

— Поздновато пришла-то, — вдруг спокойно сказал Букаты. — Ладно. Я поговорю с ней.

— Лучше с ним, — попросила Зина, не отнимая рук от лица. — С Чемодановым!

— Как хочешь, — повторил Букаты и опять посмотрел на часы. — Пусть в цех ко мне придет... Или нет, его не пустят... К проходной, ладно? В обед?

Зина кивнула. И Букаты, откашлявшись, спросил, не зная, как еще успокоить сестру, уходить и бросать в таком состоянии он не хотел.

— Он как с ней?

— Откуда я знаю, — сказала Зина. — Он странный человек...

— С кем поведешься, — отмахнулся Букаты. — Ох, Зинка! Надавал бы я тебе по шеям! Как в детстве! И за Толика

твоего, и за Катю... — Он вздохнул и посмотрел на часы, понимая, что и правда надо уходить, иначе опоздаешь. Уж насколько по привычке встал и вышел пораньше, а все время выскочило на этот неприятный разговор. — Одно скажу, — произнес он на прощание и помолчал. — Это на твоей, Зина, совести. — И пошел.

Зина смотрела, вдруг крикнула:

— Илья!

Он обернулся, но уже не останавливался, потому что и правда мог опоздать, и сказал на ходу раздраженно, громко:

— Что Илья! Я говорю, думай сама! Душу заложи... Но Катю спасай! Поняла?

Брат ушел так быстро, что уже через минуту его не видно было на улице, а Зина все стояла в нерешительности, произнося про себя его последние слова: «Душу? Заложить? Ладно. Ладно, Илья! Я заложу! Я заложу!» — будто грозила ему. И с этими словами бросилась в другую сторону. Туда, к вокзалу, где на привокзальной площади располагалась маленькая конторка знакомого ей поселкового юриста. Жил же он там же, рядом, в другом крыле дома.

13

В это время на другой улочке поселка стояла, задумавшись, с корзинкой яблок Катя. Стояла и смотрела бездумно на бабочку, возможно, ту же самую, которую заметил инвалид. Бабочка неровным зигзагом пролетела над дорогой, над заборами и села на корзинку с яблоками, накрытую сверху красной тряпкой. То ли запах яблок привлек, то ли бабочка этот красный цвет приняла за живой цветок. Но она сидела, пошевеливая сложенными крыльями, а Катя, боясь ее спугнуть, стояла и не решалась взять в руки корзинку. И вдруг за спиной сказали:

— Доброе утро!

— Ой, — вскрикнула она и повернулась. Перед ней стоял тот самый юноша, о котором она утром почему-то



вспомнила. Так странно. Он посмотрел на нее, на бабочку и спросил, сделав осторожный шаг:

— Напугал, да?

— Нет, — ответила Катя. — Я задумалась.

— О чем?

— О чем? — переспросила она и не ответила.

— Я утром хожу на работу, а вы все время с корзиночкой... — сказал, замявшись, Костик, уже не зная, что ему делать, уходить ли или подождать ответа. — Так о чем вы задумались?

Катя мельком взглянула на него, стараясь понять, к чему он спрашивает и нужно ли ей с ним говорить.

Решила, что нужно.

— Стояла и думала... Возвращаться домой или... Или не возвращаться... — Она исподлобья посмотрела на него. Как он примет ее откровенность? Кажется, он принял как надо.

— А как лучше? — спросил. Значит, что-то понял. Значит, не дурак.

— Лучше... — сказала она, — не возвращаться. — И после паузы: — Никогда бы...

— Тебе плохо? — сразу спросил Костик.

Бабочка улетела, и он подошел ближе. Теперь они стояли друг против друга.

— Было плохо, — ровно, будто давнему приятелю, стала объяснять она. — А теперь... — Она присела, сняв с яблок красную тряпку и постелив на обочину. И Костик присел рядом. — Я утром встала, я уже которую ночь не сплю... Собак слушаю... Вот я встала и загадала про себя: если сегодня ничего не произойдет, то я что-нибудь сделаю... — Она посмотрела на Костю, прямо ему в лицо, и добавила: — Нет, я не жалею, не подумайте. Просто мы не знакомы, я могу вам правду сказать... — И помолчав: — А если честно, то больше и сказать некому... Может, вам неинтересно? — И стала заниматься какой-то травинкой, не решаясь теперь после такого странного откровения посмотреть на собеседника.

— Ну что вы! — сказал он и привстал, посмотрев на солнышко, чтобы понять, какое же теперь время. Катя его

движения и его взгляда не заметила. Она была погружена в себя.

— Я привыкла ходить до базара и обратно. И вдруг мне прогуляться разрешили. Не идти на заработок, — уточнила она. — А именно так, погулять. А я по привычке схватила корзинку...

— С яблоками? — спросил почему-то Костя.

— Называются-то яблоки. — странно пояснила Катя. — То есть они и правда яблоки, хотя... Я не могу привыкнуть, что это яблоки... Понимаете? Ну раз они для торговли и Зина их пересчитывает... Как рубли все равно... — И, помолчав, Катя сразу сказала то, с чего, наверное, надо было начинать: — Я их терпеть не могу. Вот. — Посмотрела на Костика, может, у нее такая была привычка не верить своим словам и проверять, слушают ли ее и как слушают. — А Чемоданчик мне вслед кричит: «Да не бери ты их!» А я схватила... А может, это Зина крикнула... — Она вдруг всхлипнула, но говорить не переставала, а продолжала, и даже более торопливо, чем вначале: — А я схватила и на улицу... Гуляю вот, дошла до конца улицы и растерялась... А куда дальше, не знаю...

Костик, не отрывая от нее глаз, приподнялся, попросил:

— Ну, не плачьте... Пожалуйста... А то мне надо идти... У меня ведь смена... — Снова сел.

Так уйти он не мог. И стоять не мог. Но и сидеть не мог. Он вообще не знал, что в таких случаях делают, когда рядом плачут.

— Ну и идите, — вдруг сказала Катя. — Я ведь вас не держу.

Она сидела, уткнувшись в коленки, и головы теперь не поднимала, не желая знать, тут он, этот случайный юноша, или нет. Если бы он поднялся и ушел, она бы все равно не заметила.

— Как же я уйду? — спросил он наивно. — Не могу я так... — И уже поднявшись: — Я правда, я прошу...

— Мне никого не надо. — И Катя, не отрываясь от своих коленей, отмахнула рукой. — Я вас не просила... Я вообще сама...

Костя почему-то разозлился. Может, его этот пренебрежительный жест рукой разозлил, эта отмашка, мол, уберите и не застите свет...

— Сама так сама! — сказал он, решившись, и даже сделал шаг в сторону. Сделал и оглянулся. И увидел: никакой реакции. Значит, не поняла, что он уходит. Значит, и правда все равно. — Сиди себе! — крикнул он и пошел. Опять повернулся. — Не хочешь по-хорошему, да? А между прочим, все победы ждут... — К чему он вспомнил про победу, он и сам не понял. Просто захотелось что-то про себя сказать, чтобы она поняла, что он тоже человек и тоже со своими чувствами... Хотя... Какие уж у него чувства, нет никаких чувств, кроме одного: все время спать хочется. Вот кончится война, так подумалось, не надо будет в «тачку» свою лезть... Он тогда заляжет и попросит мать, чтобы не будила! Никогда! Пока сам не проснется и сам не встанет! А встанет он... Ну так через неделю... Нет, через месяц... Когда выспится так, чтобы...

Катя между тем поднялась, отряхнулась от травы, а яблочки накрыла красной тряпкой. Подняла корзинку и, не взглянув на него, прочь пошла. Вот характер!

— Постой! — крикнул ей Костя. — Давай познакомимся, а?

Не опуская корзинки, Катя лишь голову чуть повернула:

— Уже.

— Что уже? — опешил он, но сделал к ней несколько шагов, а она стояла спиной и так странно смотрела на него.

— Уже, — повторила она. — Познакомились. Ты как мой дядя, он тоже разговаривает, а сам кроме своего цеха ничего знать не хочет.

Костик, пока она все это говорила, подошел и протянул руку к корзинке, ухватившись за ручку. Катя рванула корзинку к себе и крикнула:

— Отдай корзинку-то!

— Не отдам, — заявил он. — Меня зовут Константин Сергееч.

— Ну и что? — и вдруг, почувствовав в нем какую-то силу, успокоилась. — А меня Катерина Егоровна. Беспартийная... Семнадцать лет... Сегодня...

Они стояли теперь, ухватившись за корзинку с двух сторон, и смотрели друг на друга.

— Что? Сегодня?

— Замуж выхожу сегодня! Вот дурак непонимающий! — сказала сердито Катя. Но сердилась она, было сразу видно, не сильно.

— Этот... — поинтересовался Костя. — Который Чемоданчик?

— Василий Василич... Он мне подарки... Даже кольцо... Он хороший, — будто с кем-то спорила Катя. — Он мне сказал: «Уедем, и не будет никаких яблок!»

— Он что же, старый? Твой Василь Василич? — поинтересовался сдержанно Костя. Но Катя уже опомнилась и снова рассердилась. А может, потому и рассердилась, что ей о возрасте напомнили.

— А тебя вообще не касается! Понял? — крикнула она.

— Нет, не понял, — спокойно отвечал Костя.

— Послушайте, Константин Сергеич, — попросила Катя, потеряв терпение. — Идите на свой завод... Залезьте в свой танк и сидите и не знайте ничего... Там глухо, как в гробу!

— Не пойду, — крикнул ей Костя прямо в лицо. — Никуда я не пойду! Ты его не любишь, да?

— Вот же пристал! — в отчаянии произнесла Катя и оглянулась. — Закричать, что ли! Имейте в виду, я закричу, а они услышат! Вы поняли? Они из вас захотят, котлету сделают! Они же убьют вас!

— Кричи, кричи, — предложил презрительно Костя. — Все равно не любишь! — Он отпустил корзинку и стоял, насмешливо глядя на нее. — Бери! Иди на свой базар! Я тебя понял... Ты просто спекулянтка!

— Я — спекулянтка? — опешив, переспросила Катя. И, положив корзинку, она шагнула к Косте, чуть не наступив ему на ногу. — Ну-ка, повтори! Повтори, кто я! Спекулянтка я? Да?

Он впервые увидел так близко ее разгоряченное лицо и огромные горящие глаза. Промелькнуло, что она может и вцепиться в него, если он дрогнет под ее напором. Но ведь и он разозлился, за нее разозлился, потому что она врала: ему врала и себе самой... И что бы там ни произошло, он не отступится. Он будет ее, дуру, обличать, не за эту любовь, а за другое, в котором он тоже прав.

— Да! — крикнул он ей прямо в лицо. — Да, ты настоящая спекулянтка. И кроме своих яблок тоже ничего не видишь!

— Ах, так! — сказала Катя. Отошла на шаг, повернулась, отыскав глазами корзинку, и вдруг подскочила к ней и стала швырять на дорогу яблоко за яблоком, приговаривая: — Смотри! Смотри! Пусть все видят... Ненавижу! Всех, всех ненавижу! — С корзинкой рядом прямо в пыль села и разревелась.

— Ну и дура, яблоки-то при чем... — Костя попытался ее приподнять, но Катя отмахивалась руками и не вставала.

В этот момент и появилась на дороге Зина. Наверно, она успела сходить к своему юристу на привокзальную площадь, а может, и еще куда-то, но была она в полном раздрыгге чувств, когда увидела издали, как дерутся двое на дороге и швыряют яблоки... Ее, Зинины, с таким трудом выращенные и сбереженные до апреля золотые плоды... Это уж было чересчур!

— Ты что же делаешь! — крикнула она Косте, подбегая. — Ты, сволочь, что же хулиганишь-то? А? Сейчас милицию позову!

Она думала, что он побежит, попытается скрыться, но вот что было странно: он смиренно стоял около Кати, еще сидевший в пыли, и никуда не бежал. Он смотрел спокойно на приближающуюся Зину. Он еще пытался поднять из пыли глупую эту истеричку Катерину Егоровну, но ведь в пыли Зине могло показаться, что это он ее в пыль на дорогу и свалил, желая поживиться чужими яблоками. Она схватила его за руку, чтобы не вздумал уйти, и уж потом обратилась к Кате: что с ней, больно ли ее ударили?! Но Катя

будто и не собиралась жаловаться, медленно поднялась и стала сбивать с себя пыль, не глядя ни на Костю, ни на Зину. Отряхнулась, собрала яблоки, а тетке сказала:

— Зин, он не виноват... Отпусти его...

— А чего кричала? — спросила подозрительно Зина. — А корзину кто вырывал? Я все видела! Бандюга! Испортил мне товар! — Но руку выпустила, наверное, поняв, что он не собирается убежать.

— Не кричите на меня, — сказал Костя негромко, но твердо. — Не имеете права кричать не разобравшись.

И тут Зину словно прорвало: этот молокосос ее учит... Все учить стали... Все про права вспомнили... Один хочет дом отобрать... Другой девушку увести... Третий ей тычет совестью... Четвертый яблоки ее швыряет! А она их всю зиму... Каждое отдельно от других обертывала... Сколько труда, сколько сил... Зина присела перед корзиной и стала просматривать, вертя перед глазами, и все говорила, говорила, как они, эти яблочки, достались ей и как ей нужно за них получить деньги, чтобы расплатиться с долгами...

Но все, что она говорила, относилось не к этому хулигану, которого Катя почему-то защищала, а к Катерине, от которой, если посчитать, и пошли все Зинины беды, начиная с утра... От нее, а может, и от Толика... И от Чемоданова...

Зина вспомнила про бумаги, спрятанные за пазухой, и, поднявшись, отчего-то достала их, стала показывать Косте со словами:

— Может, тебе и дом мой нужен? Может, ты хочешь не только яблоки, но и остальное забрать? Так бери! Не стесняйся! Чего уж стесняться! Брать так брать! Грабить так грабить! Добивать нас с Катериной...

— Зин, ну успокойся, — сказала лишь Катя, она не смотрела в сторону Кости, не желая его теперь видеть, негодую про себя, что он торчит здесь до сих пор и не уходит. Незачем видеть ему всю эту Зинину истерику, которая, кроме нее, Кати, никого и не касалась.

— Зин... Ну не надо... Не надо... Я тебя прошу...

— Из-за тебя все! — повторила с угрозой Зина и спрятала свои бумаги за пазуху, подальше. — Добила ты меня... Сердце на тебя ожесточилось... Пойдешь домой? Ну?

— Пойду... Конечно, пойду, успокойся только... Хочешь, посади в подвал... Только не сердись, ладно?

Они подняли вдвоем корзинку и пошли, а Костя остался стоять. О нем и не вспомнили. Он для них не существовал. Может, он должен и вправду радоваться, что не свели в милицию, могли бы и свести. Но вдруг ему показалось, что сейчас не он кого-то чуть не ограбил, по версии этой странной тетки, а его чуть не ограбили, а может, и ограбили, уведя эту девушку, которая теперь ему была нужна. Зачем нужна, этого он не знал. Можно было с ней три года встречаться здесь на улице, слышать: «Здравствуйте вам» — и не знать, что она существует. И ничего на свете вообще не знать. Но вот наступил апрель, пришел его девятнадцатый день, и у Костика раскрылись глаза. Сперва он увидел бабочку-капустницу, сидящую на Катиной корзинке, потом глаза девушки Екатерины Егоровны, близко так, что любую рябинку в этих серо-голубых глазах рассмотреть можно было, и вдруг он увидел, даже ощутил, горячую волну, исходящую от нее... Что-то в нем пробудилось. Как от апрельского тепла пробуждается почка и разворачивается и становится листом. Очнувшись, он крикнул вслед:

— Катя! Катя! — Она уходила не оглядываясь, не слыша его. Хоть он так закричал, что не слышать его было нельзя. Он бросился бежать следом. Он бежал и кричал на всю улицу:

— Катя... Екатерина Егоровна! Ну подождите же! Подождите!

Зина наконец оглянулась, оставила Кате нести корзинку, а сама повернулась к Косте. Он натолкнулся на нее, как на глухой забор. Встал перед ней, запыхавшийся и жалкий.

— Не кричи, — сказала Зина. — И вообще... Не ходи сюда. Гуляй отсюда подальше, понял? — И повторила с твердой уверенностью, недобро взглянув в глаза: — Подальше, говорю, гуляй! Парень!

Она догнала Катю, и бок о бок, как забубённые подружки на гулянье, они ушли, держа корзинку с двух сторон. А Костя остался стоять на дороге.

14

Необычное было это утро. Сухое, теплое. Солнце прорезалось сквозь утреннюю дымку, обещая истинно весенний и теплый день. Инвалид проковылял на костылях. Он многозначительно посмотрел на Костю, будто хотел что-то спросить, но ничего не спросил и ушел дальше. Какие-то птахи свистели с веток, и снова, вот же везение, неровным косым зигзагом пролетела капустаница, как желтый листок, то ли ветром гоняло ее по поселку, то ли никак она не могла сыскать свой первый цветок, который еще и не родился. Поторопилась дурочка, поверила первому теплу, а цветочки-то еще все впереди.

Костик вертел головой, находя для себя новое, невиданное, непознанное, о котором он никогда не подозревал, что оно может существовать вне его привычного мира с табельщицей на проходной, с цехом, где гуляющие сквозняки разносят устойчивые запахи горелого масла, краски, железа и сварочных электродов, с Букаты около конторки, залепленной «молниями», и верной вечной «тачкой», ждущей его, Костика, на его рабочем месте. Уж кто из них кому принадлежал больше, трудно сказать... Но уж точно, что жить они друг без друга не могли. Привычный, единственный, как еще вчера могло бы показаться, мир вдруг отдалился и стал совсем не главным, не единственным в сегодняшнем его самочувствии. Но что же тогда было главным? Эта улица? Эта бабочка? Это едва уловимое, но желанное, тепло от солнышка сквозь ветки деревьев? Это ли стало главным? Нет, Костик знал, что не это. Слишком уж оно было непривычным, новым, хотя он чувствовал, что вовсе не враждебным ему. Но главным было все-таки иное. Странная девочка, девушка, которую сию минуту так ловко от него увели. Увели почти силой, в этом он не сомневался. Но столь уж важно, что увели-то? Больно,



никто не спорит. Как кулаком под дых, когда стоишь согнувшись и не хватает воздуха от боли и гнева. Но вот сейчас стало понятно, что суть в другом, в том, что она, эта девушка Катерина Егоровна, вообще была, что она существовала в том, новом для него мире, посреди пробивающегося и почти пробившегося утреннего солнца и этих насторожившихся в предчувствии радостного тепла травки, птиц, бабочки... Получалось, что существование этой девушки в новом для него окружении делало невозможным прежнее его существование, хотя он еще не ведал, не знал, возможным ли... А вдруг он перешагнет через порог проходной, прежде перешагнув через себя, и все станет на свой привычный круг и понесется чередом: танки, цех, Букаты... И он снова поверит, что только оно дано ему навечно и одно оно имеет в мире ценность, а больше ничего в мире нет!

Давно он сидел на обочине, погруженный в свои новые, странные для него мысли. А может, и мыслей-то не было, а было лишь предчувствие, которому он до конца не доверял?!

Появление вездесущего Толика вывело его из этого гипнотического, похожего на сон, состояния. Толик дожевывал на ходу бутерброд, всунутый ему в карман сердобольной Зиной — и чего, спрашивается, отказывался, — и чуть не подавился, завидев жалкую фигуру приятеля на обочине дороги.

Суеверно подумалось, а Толик, как все греховодники, был суеверен, что если утро сегодня подносит ему сюрпризы, так почему бы и не это.

А то, что случилось невероятное, он не сомневался; лучший слесарь Ведерников, безропотный робот, маньяк в делах, не умевший, не желавший ловчить, когда ему ничего не стоило своими золотыми руками изготовить в перерыв несколько зажигалок для рынка, за пять минут до смены сидел и грелся на солнышке и не спешил бежать в свой пресловутый цех.

Денек и правда фантастический, и неизвестно, что от него ждать!

Толик, подумав так, и не подозревал, насколько он близок к истине!

Сперва Катька со своими невероятными прозрениями, потом Зина, потом Чемоданов... Ведерников... Наваждение какое-то!

В уме перечислив таковых, Толик одно лишь не сделал, он не связал всех в единую и законченную цепочку, не догадываясь еще, что эта цепочка существует. А если примкнуть сюда инвалида и, возможно, Букаты, то она замкнется в единое крепкое звено, которое уже никто не в силах будет разорвать.

С тех давних пор, когда выскочил он за калитку, поцапавшись с Чемоданчиком, он успел проделать массу самых необходимых ему дел, и главное: он достал литер на вечерний поезд, уходящий в Москву. Литер не был поддельным, хоть это ему не составляло труда, а его появление по-иному, чем обычно, диктовало и направляло жизнь самого Толика. Никакой уверенности, что литер ему пригодится, еще у него не было. Зина со своими странными намеками насчет юриста и каких-то бумаг и появление Чемоданчика — все это смешало продуманные заранее планы отъезда. Точней же, не отъезда, а бегства, ибо никто его с работы не отпускал...

Смешало. Но не отменяло. И билет, как было у него намечено, Толик, в зависимости от встречи с Зиной, собирался сегодня взять.

Теперь он крутился около Зининого дома, вовсе не уверенный, что ему приятно туда войти. Тут и наткнулся он на своего дружка Костика Ведерникова...

Нельзя сказать, что они очень дружили. Да и что могло их связывать, кроме совместной учебы в ФЗО. Еще этот дурачок вздумал выручать Толика на собрании, будто не понимал, что все там давно предрешено и никакие его голосования или неголосования изменить в судьбе Толика ничего не могут. Да и к лучшему, что не могут... Скорей развяжет свои узлы и с Зиной, и с Ольгой, потому что встречаться каждый день с ней в цехе, видеть ее молящие глаза было ему невмочь!

— А ты чего сидишь? — спросил Толик подходя. — Знаешь, сколько времени?

Костик мотнул головой, из чего можно было понять, что о времени он не знает и это его не интересует.

— Пять минут... Осталось! В отгуле, что ли?

Костик снова качнул головой, выходило, что не в отгуле. Чудик все-таки он. Умные люди когда не работают, свои дела делают. А этот сидит и в забор смотрит. Много ли высидишь, если торчать у дороги, уставясь в чужой забор!

— Отпустили, что ли? — заинтересовался Толик. И вдруг догадался: на больничном! Как же он сразу не углядел, что видок у его дружка не очень-то здоровый... — Ага. Приболел...

Толик приподнялся, вдруг ему показалось, что у Зины шевельнуло калитку. Но это был ветер. А Костик смутно пробормотал, что он не заболел, а так, сам по себе, решил на работу не идти. Решил, и все.

Такой ответ поставил Толика в тупик. Хотя, если по судить, удивляться в этот шальной день не приходилось. Все шло наперекосяк. Главное бы понять, к добру ли это происходило.

— Как это решил... Сам по себе? — переспросил Толик, засмеявшись. — Не понимаю...

— А я и сам не понимаю, — сознался Костик.

Толик повертел пальцем у виска.

— А ты чудило, — произнес. — Я всегда говорил, что ты чудило. И работать ты нормально не умеешь... И сачкануть как полагается... Ударник... Портреты, сбережения на танковую колонну... А выходит, что такой же сачок, как и я! Ну не потеха?!

Толик снова, приподнявшись, посмотрел на Зинину калитку, потом на свои часы. Штамповка немецкая без камней, но красиво: черный циферблат, светящиеся циферки, стрелки и желтый нарядный ремешок.

— Хочешь мой совет? Бесплатный? — сказал вдруг. — Беги, заяц! Тебя еще простят! Ну, выговорочек за пять минут схватишь... И начнешь как миленький вкалывать

дальше... Еще и счастлив будешь, что выговорочек-то, сама работа тебе премией покажется!

Чего Толик уговаривал, чего добивался, и сам бы не мог объяснить. Если посудить, ему все равно было, что сотворят с его названным защитником Костей Ведерниковым, когда у самого проблем невпроворот. А своя-то шкура всегда ближе. Но в том-то и дело, что Костик ему в жизни ничем, если посудить, не мешал. А подтолкнуть его к истине, когда он начал заблуждаться, вроде бы ничего не стоило. Ну мало ли у кого в какие времена винтик в мозгах начинает прокручиваться... Вот и наталкивал, и даже самому себе Толик нравился в эти минуты. Да что-то еще в этой ситуации Толика смущало. Вот если, скажем, Костик поймет оплошку да побежит, все станет на свои места. И мир, свихнувшийся с утра, войдет в колею и будет вновь таким же управляемым и понятным самому Толику, каким был всегда...

Может, и не так он думал, но уж точно не хотел, чтобы этого непрактичного дурачка Костю засуживали за глупое опоздание.

Он сказал:

— Пропустишь «указное время», никто тебя не спасет. Я однажды был на суде, они там не чикаются... Клепают наказания, как мы с тобой наши «тачки»...

— Пусть, — вдруг сказал Костик. Так равнодушно и произнес: «Пусть».

«Сошел с ума», — сразу подумалось Толику. Никогда бы прежний Костик не произнес этого слова. Никогда. Вот и соображай теперь, что эта ударная работа делает с людьми, если они теряют рассудок, как те киты, о которых Толик где-то читал, сами выбрасываются на берег. Дурацкая, если подумать, гибель. Бессмысленная какая-то.

Он посмотрел снова вдоль улицы, но ничего не колыхнулось у знакомой калитки, а время шло. Да и глупое сидение тут дружка-приятеля тоже отчего-то мешало Толику.

Он вдруг сказал:

— Ладно! Пойдем! Вместе! Я тебя хоть до проходной доведу, а то меня потом всю жизнь совесть будет мучить...

А ты, если все будет нормально, вынесешь мне спиртика из цеха. Меня теперь туда не пускают... Спиртик у меня в цехе закачаный лежит. Договорились?

Костик, ничего не произнося, встал и послушно побрел, ведомый Толиком. Но молчал, только слушал и кивал головой. Явно человек был не в себе.

— Спиртик мне на свадьбу, я скажу, нужен, — между тем толковал Толик, уводил и уводил Костика все дальше. — Мой один знакомый свадьбу придумал. То есть мне-то он не сказал, но я и сам не дурак, вижу. А раз свадьба, то будь спок, без спиртика не обойтись... Понятно? Ну вот, ты мне спиртик, а я тебе избавление от позора... Баш на баш! Да я шучу, дурачок... Ты иди, иди, а если хочешь, беги, потому что время твое выходит. Вышло, считай...

На часах было ровно семь часов, начало работы...

15

— Свидетельница Гвоздева! — произнесли на сцене. Зал насторожился, осознав почти мгновенно, что это вызывают ту самую женщину, о которой столько в поселке наговорено и которую они видели у дверей клуба.

Хотя надо сказать, что ее фамилии до сего момента никто из сидящих здесь не слышал и не знал, кроме разве судьи. Не о ней речь.

Появление Зины было встречено шумным вниманием, разговором, смешками и пересудом и особым вниманием самых первых беззастенчиво рассматривающих рядов. Но как только прокурор задал свой первый вопрос, наступила необычная тишина, похожая на черный провал пропасти, где не видно дна. Вопрос прокурора Зелинского был как камень, брошенный в эту пропасть: долетит ли, и когда долетит, и чем отзовется, дальним ли эхом или обвалом и грохотом других камней?

— Свидетельница Гвоздева, — спросил прокурор, заглядывая в какой-то листочек и наклоняя голову. — Вы до этого дня... Ну, до девятнадцатого апреля когда-нибудь встречали подсудимого Ведерникова?

— Нет, — сказала Зина. — Я его впервые увидела, когда он с Катькой моей стоял.

— Где стоял?

— На улице.

— А до этого дня, вы утверждаете, Ведерникова никогда не видели?

— Не видела, — сказала Зина.

— И не знали, что небезызвестный Васильев, который у вас бывал, является дружкой подсудимого Ведерникова?

— Так он сам по себе, — сказала Зина. — Толик приходил один, а вместе они не ходили.

— Толик — это Васильев?

Зина кивнула. Даже теперь, после всего происшедшего, она продолжала называть его Толиком. Она стояла на сцене, скромно потупив глаза и сцепив пальцы рук, такая вся аккуратная, послушная, смиренная, что представить было невозможно то, что это о ней, такой тихоне, столько понаговорено.

В свете ламп она гляделась даже привлекательней, чем там, на свету, и мужчины, особенно они, не преминули обсудить между собой все, что по этому поводу думают.

Бабы же, отмечая ее притягательность («медом, что ли, намазана, мужики зенки плят, слюней напустили»), разглядели и морщинки ранние на лице, и худую грудь, и ножки — тоже худоватые как палки, что уж там эти глупые парни могли найти?! Но главным уроном для свидетельницы были, конечно же, вопросы к ней судьи и прокурора, на которые ей нечего было отвечать, кроме разоблачительной правды, а вот ее-то и ждали в зале с большим нетерпением, зловредничая по каждому поводу, когда этой женщине приходилось смущаться и изворачиваться.

Впрочем, мужчины, настроенные добродушно, в этот момент жалели ее. Не из-за их ли жалости кто-то из девок, из молодых, кинул с последних рядов не без уязвленности, что она, змея, такая-сякая, держит себя будто целочка и уже всех мужиков на свою сторону настроила... Небось и прокурор растаял, не прочь с ней ночку провести?!

Зал тут хохотнул и стал унимать не в меру раскипавшуюся девку, которая, и на глазок было видно, не из тех, которые могут вообще чем-нибудь к себе завлечь, и оттого невыносимы к чужой красоте. Особенно, кстати, привлекательной от того, что она приправлена постельными сплетнями и всякими домыслами.

— А этот Васильев... который Толик, часто к вам приходил?

— Часто, — просто сказала Зина.

— В какое время?

— В какое... Ну, когда ему хотелось.

— А все же?

Зина вздохнула, грустно посмотрела на прокурора.

— Вечером... После работы...

— И ночью?

— Да, — после паузы произнесла Зина; зал грохнул. Вот он, долгожданный обвал в горах!

Но прокурор был невозмутим. Он заглядывал в свой листочек и долбил и долбил, как дятел, в одну точку.

— В то утро он у вас был? Я имею в виду девятнадцатое апреля?

— Да, — сказала Зина.

— Он приходил к вам или... простите, к вашей племяннице Кате?

— Ко мне, конечно, — ответила живею обычного Зина.

— Почему «конечно»?

Тут Зина замолчала и растерянно впервые, кажется, посмотрела в зал, будто искала там поддержки. Но холодны были едва освещенные лица в первых, видных отсюда рядах, да и не видела Зина сейчас этих лиц. Она смотрела вообще в зал, а может быть, просто в темноту, которая была символом ее прошлого. Не тот ли жадный до чужих подробностей зал, желавший что-то всегда потребить от ее жизни: сплетен ли или ее самою, окружал до сих пор в той, отрезанной судом, жизни?

— Катя — девочка, — ответила она тихо. — А у меня с Толиком совсем другое... Я мечтала... Я о семье...

Тут уж бабы не сдержались, не для того они ждали и прорвались в клуб, чтобы столько молчать.

— Семьи? А ты знаешь, что такое семья? Сучка ты!

— Бардак устроила!

— Девочка! Девочка? А где эта девочка?

— Людей сгубила!

Но тут и кто-то из мужчин не выдержал и крикнул громко, сложив руки рупором:

— Ишь раскудахтались, дуры! А то не понимают, что себе мужиков не сманили, так другим завидуют!

И тут поднялось: свист, крики, визг, и даже Зина на сцене будто сжалась от всей разразившейся кутерьмы в зале.

Но поднялась Князева, и оттого, что стояла и строго ждала, глядя в зал, крики постепенно утихли, хотя женщины долго еще не могли успокоиться, и слышно было в наступающей тишине, как чья-то жена пытается вытащить мужа из рядов и вообще из суда, оттого, что он, дурачок, наслушавшись здешних неприличностей, потащится туда же... А муж никак не хотел уходить и негромко уговаривал жену, внушал, что никуда он не потащится, ясное дело, но дослушать историю надо, потому что страсть как интересно.

«У вас, мужиков, у всех интерес одинаковый...» — резонно отвечала жена и вывела упиравшегося мужа за дверь.

— Успокоились? — спросила Князева. — Самых громких предупреждаю, будем выводить. Продолжайте! — кивнула она Зелинскому. — У вас еще вопросы к свидетелю есть?

— У меня есть, — вдруг сказала Ольга и обратилась к Зине: — Вы Васильеву обещали свой дом? Вы что же, его купить собирались своим домом, да?

Зина догнала Толика, это произошло перед самой проходной. Она почему-то решила, что сейчас Толик уйдет за каменные стены завода и она уже не сможет его найти.



Она крикнула издалека: «Толик! Толик!» Он оглянулся и сразу все понял. Подтолкнул Костика вперед, иди, мол, и не глупи: все, что мог, для тебя сделал... Он повернулся к Зине, сознавая, что сейчас для него и должно все решиться. «Пан или пропал!»

— Я тебя обыскалась, — произнесла Зина торопливо, запыхавшись, глядя ему в лицо. Она будто ощупывала, осматривала его, желая убедиться, что он весь перед ней, такой же, как всегда. — Все меня бросили, — торопливо говорила она. — Все, все...

— Я не бросал, — сказал Толик. — Я тебя ждал у дома.

— Мог бы тогда и зайти!

— Не мог, — ответил он.

Она не стала спрашивать почему. Сама поняла. Да тут и понимать нечего.

— Ладно, — сказала. — Мне твоя помощь нужна.

— С Чемоданчиком? — уточнил он.

Зина оглянулась, произнесла, понижая голос:

— Боюсь я его... За Катерину боюсь...

— А что она?

Зина махнула рукой.

— Дура. Наверное, думает, что мне лучше делает...

— А себе? — насмешливо спросил Толик. — Чем ей-то плохо? Откормится на трофейном шоколаде... Забуреет... Нарождает ему маленьких Чемоданчиков... Крошечных таких, но все вылитый папа, под копирку... В галифе и шляпе!

— Как ты можешь шутить! Толик! — сказала Зина. Но вовсе не разозлилась, не тот настрой был у нее. — Он ведь хочет... — И снова при этом оглянулась, глаза ее тревожно блеснули. — Он вместе с Катькой хочет и дом мой забрать!

Вот теперь все стало понятно: влипла Зинаида, так подумалось. Влипла по самые уши. Потому и прибежала сама, иначе стала бы она бегать по поселку да высматривать на зорьке Толика!

Он так и сказал, хоть прозвучало это, наверное, жестоко:

— Влипла, значит, Зинок.

— По твоей же милости! — воскликнула она. — Ты его привел! Ты!

Что было ей ответить? Не привел бы, так сама сидела, отсиживала срок... Как там в песенке: «А на дворе хорошая погода, а в небе светит месяц золотой, а мне сидеть еще четыре года, душа болит и просится домой...» Но сказал он другое. Сказал, что ловок оказался Василь Василич! Ловок, что и говорить!

— Не знаю, кто из вас ловчей, — без злобы произнесла Зина, полезла куда-то за лифчик и достала бумагу. — Вот, — со вздохом сказала она, — то, что ты хотел... Дарственная...

Толик хотел обидеться на это «ловчей», и уж готовы были сорваться слова: «Спасибо, нашла с кем сравнивать», но бумага, но последнее, что она сказала, круто меняло дело. Не до обид, когда пожилой пахнет! А уж это он чувствовал на расстоянии, не ошибался!

— Дарственная? — спросил осторожно, боясь спугнуть счастливое мгновение. Все смотрел на ее руки, держащие драгоценные бумаги.

— Ага. Тут ты обозначен хозяином дома... — сказала Зина, и вдруг, заметив его непроизвольное движение к бумаге, ах, как не вовремя он выдал себя. — Не торопись, — произнесла жалобно, прижимая бумагу к груди. — Твое это... Твое...

— Значит, испугалась? — спросил Толик язвительно, и чего, спрашивается теперь, лез на рожон, сам понять не мог. Видно, заело. — Испугалась, Зинок, что чужие руки дом приберут?

— Испугалась, — кивнула Зина и стала сморкаться. Но не заплакала, сдержалась. — Не того испугалась, о чем ты думаешь... Я испугалась, что чужие руки... Чужие... Катерину...

— Голову бы проломить ему! — вдруг сказал Толик зло, вспомнив утреннюю сцену с Чемоданчиком, как тот отодвинул Толика, будто не он привел Василь Василича в этот дом. Прошел и говорить не пожелал. Такая-то его благодарность.

Но Толик тут покривил душой, перед собой покривил. Втайне он знал, что зависит от Чемоданчика, от тех «игрушек», которые тот привозил. Смягчаясь, он добавил:

— Только сидеть не хочется из-за такого... Все мои концы у него... Он и донести может!

— Он и меня грозился посадить! — подхватила Зина. И тут, будто опомнившись, приникла к Толику, отдаваясь полностью в его руки, как бывает, когда бабы теряют себя, когда не помнят ничего, кроме своей мучительной, в единый миг, жертвенной отдачи. — Ты меня любишь? Или... — спросила, будто упрекая, но вовсе не упрек тут что-то значил. Просто надо было ей себя в этот момент как-то оправдать. — Или... Тебе только это от меня нужно?

«Это» — бумага, которую она продолжала прижимать к груди.

— Не доверяешь? — с вызовом спросил Толик, считая, и правильно считая, что дело сделано и бумага сейчас будет у него. — Не давай! А я и сам не возьму!

Зина почувствовала его уверенность в себе и непривычную для нее жестокость, которая тем не менее ей нравилась. Вот же не умасливал и не сменил тона, поняв, что выиграл свое. А был тем же Толиком, каким, как ей казалось, она его знала.

— Я не тебе. Я себе не доверяю, — попыталась она оправдаться. Да, в конце же концов, должна она выговориться и все выложить, что у нее наболело. А кому сказать, если не Толику, единственному, который ее мог сейчас понять. А если уж он не поймет, то к чему тогда ее жертвы!

Зина пристально вглядывалась в него, желая в этот особый для нее момент последним чутьем разобрать, пока документ еще был у нее в руках, то ли она делает и тот ли он человек, которому вверяет, по сути дела, свою судьбу?! И оттягивала, до последней минуты оттягивала самый момент отдачи, а вдруг сердце да шепнет, да подскажет, или знак какой будет, и сразу откроется ей в ее внутренней смуте истина... Так, мол, а не иначе!

А пока говорила, спешила выговориться, занять наступившую внутри пустоту... О том, как вдребезги упился

Чемоданчик, руки по сторонам, в сапогах прям и брякнулся... Как скотина... Побежала она, а юриста, ясное дело, в конторе нет, он дома еще подтяжки набрасывал... Даже не хотел ей бумагу отдавать, все приглядывался, не сошла ли баба с ума, что так рано прибежала, а до того ходила, мучила месяц, остороженькой была, раздумчиво неторопливой... Еще бы быть ей неторопливой, когда все полетело с утра кувырком, да разве это юристу объяснишь? В голове путалось, когда возвращалась, и тут увидела издали, как яблочки ее золотые летят из корзинки... Сердце-то и закатилось... Совсем зашло, уж чего она кричала, не помнит... А все-то из-за этой бумажки...

— Ты меня хоть любишь? — спросила, жадно ловя каждое его движение, все стараясь понять, чего от него ждать. Чего? — Ну поцелуй меня... Мне так плохо! Толик! Сильней! — сказала с отчаянием. — Ну сильней же! Господи!

Вырвавшись из его некрепких объятий, сама крепко, до судорог, вцепилась в него, чуть не придушив, поцеловала. Потом оторвалась и отдала бумагу. Порывисто протянула, прямо-таки сунула ему в руки, будто боялась, что в следующее мгновение раздумает и все тогда станет мучительней, невыносимей.

— Держи! — шепнула или голос ее сразу сел, даже охрип. — Вся моя жизнь! Моя и Катьки!

Толик торопливо, но тщательно прочитал документ, правильно ли оформлен и какова печать на нем, и быстро, неуловимым движением спрятал в карман. На всякий случай оглянулся, не видел ли кто-нибудь. И это последнее, оглядка, а не то, как ловко он растворил в себе Зинину ценность, вдруг привело ее в ярость.

— Чего ты все оглядываешься? — вспыхив, закричала она. — Чего ты боишься? Целуешь — боишься... Разговариваешь — опять боишься! Я ведь баба! Баба, понимаешь! Меня ославить ничего не стоит! Но я-то не боюсь!

— Да нет... — сказал Толик, стараясь Зинины порывы как-то смягчить. Он догадывался, какие сомнения про-

должают бушевать в ее груди. — Я просто посмотрел, где Костя... Он же спирт мне должен вынести с завода... Как бы не забыл...

— Успеется, — сказала Зина и снова приникла к нему. — Ты со мной, Толик, поговори... У меня на душе кошки скребут... Уж так плохо... Так плохо...

— Потом, Зинок, — пообещал Толик. — Костик ждет. — Все он понимал, и про Зинины мучения тоже понимал, но не мог уже оставаться, бумага была при нем, и надо было теперь, пока Зина не раздумала, удобно уйти.

— Да шут мне с ним! С твоим Костиком! — закричала она. — Подождет! Или у тебя все по часам расписано?.. Получил с меня, торопишься получить с другого?

— Тише... Зинок, тише... — снова попытался урезонить Толик, но Зину прорвало, будто сейчас почувствовала свои права вести себя, как она захочет.

— Не буду тише! — вскрикнула она и даже попыталась еще повысить голос. — Не хочу тише... Тебе понятно? Я дом отдаю! Пусть все знают!

И опять Толик полез на рожон, хотя добивать раненую женщину было совсем не с руки. Но слишком был он самоуверен, оттого-то и просчитался.

— Ты что же, — спросил впрямую, оцетинившись. — Ты что же, считаешь, что вместе с домом меня купила, что ли? Тогда я твою фитюльку могу и вернуть!

Конечно, пригрозил, взял, как выражаются, Зиночку «на понт», на испуг. Но не вышло. Не рассчитал он Зининых самотерзаний и поплатился за свои слова. Она тут же уцепилась за них, за это некстати и впопыхах произнесенное слово «фитюлька».

— Ах, фитюлька! — спросила взъярясь. — Фитюлька, значит? Верни!

— Ну, Зина... — попытался смягчить Толик, умиротворить голосом, но Зину понесло.

— А я сказала верни! Фитюльку! Слышь?

И кулачки сжала, глядя на него с ненавистью, распалилась, не унять. Все бабы таковы: уж попадет шлея под хвост, так и от недавней любви ничего не останется...

И пуще к слову они цепучи, как там говорится: у мужика слух в глазах, у бабы зрение в ушах! Лучше бы помалкивать. Молчание-то всегда на любовь похоже. Что и не доскажешь, сами довоображают. Все равно никогда не поймешь, чего они, пока ты свое внушаешь, на самом деле себе представляют... Никогда! И уж чувствуя, что потерял — не вернешь, отдавать надо, хотя невозможно было отдавать. Толик медленно полез в карман, произнося с угрозой:

— Вот уж, Зиночка, чего не ожидал... — Все копался в кармане, все медлил. — Вот уж не ожидал... Ладно. Как у нас говорится: «Любовь любовью, а денежки врозь!» — И неуверенно протянул драгоценность. Теперь еще ярче понимая, какой же он лопух, что так, зазря, из-за пустой лишней минуты да глупого гонора потерял навсегда... — Жил, — произнес, — и еще проживу... Без всяких... Прощевай, подружка!

Отдал и пошел, ругая себя последними словами, но Зину тоже ругая за ее неуравновешенность, бешенство чувств, которые не смог унять. Впрочем, в этом крутом повороте совсем крошечный выигрыш был все-таки за ним. Он ее оставлял, а значит, последним наносил удар, синячок, проиграв целое сражение!

Но чувствительной Зине и того достаточно было, чтобы вдруг опомниться.

— Толик, — позвала она со страхом, даже наперед его забежала, чтобы остановить. — Толик, подожди!

Как ни хотел казаться непреклонным, но остановился. Все-таки это был единственный шанс что-то вернуть.

— Я и правда испугалась, — созналась, заглядывая ему в лицо. — Страшно стало, что тебе я не нужна! Что дом мой тебе нужен... Но ведь я написала! Я отдам! Толик! Потом отдам! Мне только надо привыкнуть к этому... Чтобы не сразу... Ну!

— Подавись ты, Зинаида, своим домом! — произнес он негромко, но отчетливо, прямо ей в лицо. Словно выругался на прощание.

— О господи, ну постой же... Я что-то скажу...

— Все сказано, — отрезал Толик, чувствуя, что она поддается и теперь ей нельзя давать опомниться. С ней только так, только силой, вот что он запомнил. — Я не хотел тебя пугать! Но у меня билет на поезд... Не говорил, жалел тебя... И зря жалел... А жалел, Зинаида, потому, что сам не верил, что уеду... Подумалось, честно, черт с ним, с билетом, останусь... Начну новую жизнь... А ты... — Тут он рванулся из ее слабых сейчас рук и пошел. Чувствовал, что взял инициативу в свои руки, потому что видел порыв Зины, видел ее испуганные глаза. — Так душой и останешься в своем доме! — закричал, отойдя на расстояние. — И дом твой заберут! И поделом!

Толик ушел, а Зина прижалась к стене, странное место нашли они для выяснения, сейчас она только увидела. А вдруг за стеной кто-то стоял и слушал?.. Глупо, конечно, слушать: какое кому дело, подумалось ей, и она расплакалась. Она поняла, что теперь-то она одинока. Бумага ее при ней, да что же проку, если все остальное потеряно и нет возврата...

Не услышала, как мимо проходил и встал за ее спиной инвалид, тот самый, что с утрачка бродил по их глухой улице. Везде-то он, где надо и где не надо. И все со своими разговорами. И тут подлез, попытался утешать.

— Плохо тебе? — спросил он. — Слышь? — и помолчал. — Слышь? Женщина? Помочь не надо? А?

Зина не ответила. Вытерла рукой слезы и пошла к своему дому. Знала, пока дойдет, лицо высохнет. А инвалид остался стоять. Он размышлял про себя про такие странности, как бабьи слезы... Увиденные тут... На фронте тоже были слезы, так там война колесом проехала... Танком прошла... Матери детишек теряли, а детишки матерей... И солдаты плакали. Вот что страшно... В прифронтовом, наскоро под деревьями устроенном госпитале, когда ногу ему резали тупой пилой да без наркоза, как чурбак какой, тоже кричал... Одно знал, что надо вытерпеть, потому что жизнь ему спасали... Гангрена грозилась подняться выше, и тогда бы канты! А тут! Рай тыловой, если здраво посудить... «Теплышко, все победы ждут, которая будто

в затылок дышит... И вдруг слезы... Несерьезно как-то! Нельзя уже плакать: отплакались...»

Последние слова инвалид произнес вслух, того не заметив. И заковылял дальше. Доктор, который его выписывал, велел побольше двигаться. А он и сам рад был движению, потому что понимал — это и есть жизнь.

17

Нет, совсем не так было, что Ольга выкрикнула ей свой вопрос. Сперва попросила слова, но судья Князева ей не дала. Она обратилась к прокурору и защите, не хотят ли те что-то сказать. Лишь потом кивнула Ольге: «Что у вас?»

— Я хочу спросить свидетельницу, — начала та, но при первых произнесенных словах вела себя беспокойно, слава богу, этого не заметили сразу. — Я хочу узнать: вы упоминаемому здесь Васильеву обещали дом? Почему?

— Ну как почему, — ответила Зина, оборачиваясь к ней. — Я ведь уже сказала... Я хотела... Мечтала... Я думала, что у нас будет с ним семья...

— Но он же моложе, намного моложе, — громко произнесла Ольга, вовсе не понимая, что выдает себя с головой и перед судом, и перед залом, и перед этой падшей женщиной. Даже Князева вздрогнула, столько чувства неприязни и даже ненависти было в ее голосе. — Он же подросток, а вы — пожилая женщина! Вы же старуха по сравнению с ним, неужели вы этого не видели? — Каждое слово ее, будто выстрелы, било прямой наводкой по стоящему на открытой местности противнику. Беззащитному причем. — Вы что же, купить его хотели этим домом? Своей дарственной бумажкой? Да?

— Я не хотела... — Зина попыталась в растерянности что-то объяснить и заплакала.

— Нет, хотели! — крикнула Ольга, окончательно потеряв над собой контроль. И тут поднялись одновременно Зелинский и Князева. Первый бросился к Ольге, чтобы попытаться ее успокоить, а может, выговорить, что нельзя



на суде распускать свои чувства, да еще перед всем поселком... А Князева чуть торопливо, но вполне владея собой, очень четко объявила, что выездная сессия суда объявляет часовой перерыв на обед.

Зал ожил, зашевелился, будто раздумывая, некоторые двинулись к выходу, но большинство осталось сидеть, караулить свои места.

В перерыв Букаты не захотел возвращаться в свою, ненавистную ему, палату, где вылеживал с того самого дня, как все это произошло. И хоть больничка находилась в парке, и в окошки двухэтажного небольшого флигелька стучались разбухшие от почек деревья, и небо голубое было видать, — не лежалось. Не могло лежаться, пока шло следствие и готовились к суду. Силыч и Швейк приносили последние новости из цеха, не очень утешительные, месяц начинался трудно, без слесаря-центровщика, которого пока заменял сам Швейк. Он шутил, что приходится завязываться узлом, чтобы влезть на место Костика... И он, мол, производит сейчас усушку и утруску своего организма. Букаты старался о Ведерникове не говорить, его тревожили воспоминания обо всем, что в тот дальний день апреля произошло.

Чуть расшевелив больного, передав от всех приветы, ребята уходили: Силыч торопился подоить свою Мурку и накормить детишек, а Швейк говорил, что он опаздывает на свидание к Тае... «К Тане?» — поправлял сведущий Силыч, который в силу своей аккуратности и порядка терпеть не мог, когда путали или делали что-то не так. «Ну, к ней», — соглашался Швейк и путано объяснял, что она будто любит, когда ее по-разному называют, капризная, мочи нет...

Букаты даже не улыбался на такие шутки. Выпроводив гостей, он садился у окна и раздумывал о своем цехе, без которого все в жизни становилось пустым, о племяшке Кате, о Зине. Он проворачивал в который раз события, все пытаясь понять в них меру своей вины и не вины. Выходило: вины-то больше!

Теперь, хоть никто больше не требовал его присутствия на суде, он зашел в маленькую комнатку за сценой, в которой обычно переодевались приезжие артисты и участники самодеятельности; Ольги, как он и ожидал, не было, ее, наверное, увели, чтобы успокоить. Прокурор Зелинский курил, стоя у форточки, заседатели и защитник, сбившись в кучку, о чем-то негромко разговаривали, а Князева сидела отдельно, развернув сверток с едой и положив его на колени. Завидев Букаты, она, будто оправдываясь, произнесла, что позавтракать, как всегда, времени не хватило, и хоть есть совсем не хочется, но она решила пожевать, так как неизвестно, сколько продлится суд, хоть, право, поскорей бы, потому что в принципе и так все и всем ясно...

— Хотите? — спросила она Букаты, указывая на бутерброд, но он покачал головой.

Но подсел и спросил, чуть хмурясь: что же ей тут ясного? Хотелось бы ему знать! Ему так лично ничего не ясно. И он считает, да может, и не он один, что не все просто и очевидно, как на первый взгляд кажется... «Не наломать бы дров! Нина Григорьевна!»

— Ох, Илья Иваныч! — произнесла, поморщившись, Князева. — Только не учите меня! Я такая вся ученая! — И добавила зачем-то: — И кручёная. — Может, чтобы свести начинавшийся спор к шутке. Но Букаты не намерен был шутить. Да он, кажется, и не умел этого.

— Зачем учить, можно и напомнить, — сказал он. — Наказание ваше тогда лишь будет иметь результат, когда все поймут, что оно справедливо... Так ведь?

— Да кроме вас, Илья Иваныч, — с досадой ответила Князева, — все давно уже поняли... Это вы у нас гуманист... Оттого-то у вас в цехе подобные истории и происходят!

Не хотела она ввязываться, но не сдержалась, хоть знала: нельзя добивать и без того травмированного человека.

Но тут и Зелинский оторвался от окна и коротко бросил:

— Вы правы, Нина Григорьевна... Только не переходите на личности! — И тут же вышел.

Князева проводила его глазами. Про себя она подумала: «Осторожный человек... Не хочет да и боится раньше времени проявить себя». А ведь и без того видно, куда он гнет, и в целом ей близок его предполагаемый взгляд на все это дело.

Но Букаты был неукротим. Усы топорщились, под глазами темные мешки, и видно, что по временам он произвольно хватается за грудь, она обратила внимание еще там, на сцене. Сбычившись, наклонив голову, он негромко говорил, и каждое слово было у него будто взвешено.

— Смотрю я на вас... Нина Григорьевна, и вспоминаю... А знаете, что вспоминаю? Что вы раньше мягче были... Отчего же такая ожесточенность?

— Ожесточенность? — спросила с неприязнью она. — А вдруг это принципиальность?

Но Букаты гнул свое, будто ее выплеск и не слышал.

— ...Ну, Ольга... Ту по молодости понять можно. У них в семнадцать, восемнадцать лет либо все красные, либо — белые. Средних не бывает. Если только чувства не задеты. Но они и при задетых чувствах в своих крайностях еще яростнее делаются, а значит, еще субъективнее. Но у вас то почему? И возраст не тот, чтобы...

— Ну, Илья Иваныч! Это чересчур! — раздраженно отреагировала Князева. — Напоминать мне о возрасте! — Она даже попыталась встать, собрав в газету остатки еды, но Букаты движением руки посадил ее на место. Не столько даже движением, сколько словами, тут же произнесенными, что он может кое-что ей напомнить.

Тут они оба посмотрели в сторону присутствующих, но те вели беседу о своем, обсуждая какие-то огородные весенние дела, доставание семян, и ничего из их разговора не слышали.

— Вот хотя бы случай, — негромко, приблизив лицо, произнес Букаты, и от него пахло больницей, — очень давний, когда Ниночка Князева, так вас звали в ту пору, задержалась, не вышла на работу... Было? Или не было?

— Ну вспомнили! Такая старина! — отмахнулась почти добродушно Князева.

— Было! — кивнул Букаты. — А задержалась-то, между прочим, на свидании, оттого что ночку прогуляла... И дело это разбирали на комитете комсомола, и люто разбирали... Грозил исключением, да так, думаю, и произошло бы. Что бы от вас тогда осталось? Товарищ судья? — Князева молчала. — А кто же бегал по всяким организациям, бил в колокола и доказывал, что произошла ошибка... Кто это проявлял пресловутый и заклеянный вами (да только ли вами) гуманизм?

— Вы бегали, — отвечала терпеливо Князева.

Букаты кивнул.

— Я бегал... И, получив выговор, вы плакали от счастья...

— Так время другое было, — пожала плечами Князева и нетерпеливо посмотрела на часы.

— Время, говоришь? — рассердился Букаты и даже приподнялся, но раздумал и снова сел. — Время меняется, правда. В нынешние-то времена выговорком бы не отделались, тебя тоже бы судили! Время!.. А вот люди... Они всегда живые, и всегда им больно... Я даже скажу, Ниночка, что в войну-то больней! Мясо обнажено!

Замолчал, хотя и не заметил, что по соседству прекратился разговор и стали прислушиваться к их выяснению отношений. И Князева это почувствовала, мирно предложила:

— Пойдемте на воздух... Что-то душно здесь.

Они вышли на заднее деревянное крыльцо клуба, в пять ступенек высотой. Далее шел негустой палисадник, и за кустами была видна долговязая фигура Зелинского, который вышагивал по тропинке, и сапоги его издали блестели.

Тут они и остановились у перилок, глядя друг на друга. Помолчали.

— Ну, ожесточилась, — вдруг созналась Князева, потупившись. — А вспомните, какую жестокую эвакуацию мы перенесли! В один час велели собратиться, даже собственных вещей не взяла. В чем была... В плащике и резиновых ботах! Приехали, а тут мороз, а тут снег... Какие-то мастерские... А уже фашисты под Москвой...

Букаты кивнул: было.

— Господи, — вздохнула Князева, — мы обсуждаем прогул, а мы-то сами как жили... Мы же никуда вообще из цехов не уходили: спали тут же на нарах, кружку кипятку утром и кусочек хлеба — и за работу... Однажды проснулась, а у меня волосы к подушке примерзли... Не оторвешь... Да еще боль за тех, кто дома остался, а у меня мама и младшая сестренка... Ой, да что я вспомнила, — сказала она и будто отмахнулась. — Ни к чему это. Одно расстройство.

— Нашлись? — спросил Букаты.

Она покачала головой.

— Одна. Как в пустыне. — Пристально посмотрела она в сторону мелькавшего за кустами Зелинского и сказала то, что ни одному человеку, кроме Букаты, и не доверила бы. — В какую сторону ни погляди, ни одного родного человечка... Чтобы в рукав уткнуться...

Тут видно стало, что к Зелинскому подошла Ольга и что-то сказала. И оба они, рослый, весь в военном, Зелинский и невысокая, похожая издали на подростка Ольга, двинулись к крыльцу. Князева смотрела, как они приближаются, и произнесла раздумчиво, что вот у этой — кивок в сторону Ольги — задача своего не упустить... Да ведь и не упустит... А у нее, у Князевой, дело конченное... В молодости ведь не догадываешься, что живешь только раз... А когда поймешь, поезд ушел... Начинаешь себя проверять, оказывается, что плоть сохранила, а души-то не слышно... Где она? Душа-то?

— Да вот, — будто оправдываясь, сказал Букаты, — и я так спросил: «Где?» Я и Ольгу бы спросил, а может, и спрошу, потом. Если бы она сегодня не сорвалась, я подумал бы, что душа — это вовсе не привилегия молодости. Но я даже рад, что она сорвалась!

— Ох, нет! — вдруг запротестовала Князева. — Противно. Сводить на суде счета... Разводить истерику, раздеваться у всех на глазах... Впрочем, посмотрим!

— Вот именно, — кивнул Букаты, потому что Зелинский и Ольга были уже рядом. Ольга быстро выскочила вперед и быстро сказала:

— Не слышали? Ничего не слышали? Все ждут по радио сообщения!

— Думаете, что... — спросила Князева неуверенно, впрочем, эта неуверенность происходила в ней еще от прошедшего разговора.

— Она! Она! — сказал, засмеявшись, Зелинский. — Конечно же, победа!

— Не верится...

— Мне тоже не верится!

— Вам хоть, Вадим Петрович, повоевать досталось! А я сто раз в военкомат ходила! И все отказ! — сказала Ольга.

— Моя война в сорок четвертом закончилась, — бодро ответил Зелинский. — Вот сюда, в плечо, навывлет. — Он показал рукой. — А теперь в тылу с мальчишками воюю... Да девчонок курносых успокаиваю... — Он провел ладонью по волосам Ольги, и та вдруг покраснела. А Князева отвернулась.

Букаты спросил:

— Зачем же вам с ними воевать-то... С мальчишками? — Он смотрел строго на Зелинского и ждал ответа.

— А если преступник? — сразу вставила Ольга.

Но Букаты ее не услышал. Он продолжал смотреть на Зелинского и даже добавил с тем же выражением:

— Может, их понять надо? Понять да и простить? А?

— Вот еще! — снова попыталась влезть Ольга, но Князева положила ей руку на плечо. Она тоже смотрела на Зелинского. Но смотрела не так, как Букаты, а скорей с любопытством. Что же он скажет, этот непроницаемый бывший офицер? Как ответит?

Но Зелинский не собирался спорить. Не в его манере, видно, было все открывать и самому открываться. Хоть риска для него никакого не было. А может, был риск?

Он взглянул внимательно на Князеву, потом на Букаты, но взгляд остановил на Ольге, и не было уже в его взгляде той отеческой ласковости, что промелькнула невзначай. Так, глядя на Ольгу, он и произнес, что он-де не судья и не суд, чтобы прощать или не прощать. Его заботы — выявить действительное положение дел, а вот они — кивок в сторо-

ну Князевой — пусть и решают. Он, как и остальные бы на его месте, не способен быть объективным, должность не располагает. А у суда других и забот нет, они обязаны на весах Феиды взвесить... И не ошибиться...

— Ладно. Пойдемте взвешивать, — произнесла без улыбки Князева. — Время уже. А вам бы, Илья Иванович, — это она Букаты, — идти бы в свою палату да полежать. Болейте уж там, тут вам вредновато находиться...

— Мне лучше знать, — буркнул Букаты, поворачиваясь к дверям. Но его остановил голос прокурора. Он продолжал стоять на нижней ступеньке и будто никуда не торопился. Ольга стояла рядом.

— Илья Иванович! — спокойно окликнул он. — А вы лично не помните, как это было... Ну, я спрашиваю, как это случилось, что Ведерников в тот день дошел до проходной и вдруг решил не являться на работу... Кто-то мог на него повлиять? — Зелинский поправился. — Кто или что?

— А я знаю, что племянница виновата, — торопливо влезла Ольга. — Вот которая с яблочками!

— Чья племянница? — уточнил Зелинский, хотя не мог не знать, о какой племяннице шла речь. — Ильи Ивановича племянница?

— Конечно. Она да тетка...

— А Толик? Васильев? Его с Ведерниковым не было тогда у проходной?

— Не было, — сразу сказала Ольга и смутилась. Она испугалась, что все заметят, что она врет. И поэтому добавила: — А он-то при чем? Мало ли кто мог быть... Что, у Ведерникова своих мозгов нет? Он должен сам отвечать за свои поступки!

— Я не об этом, курносик, — резковато одернул Зелинский, — да и не тебя я спрашиваю, — и посмотрел на Букаты.

Вот как случилось, что скрестили они шпаги-то: сперва Букаты пер на прокурора, как в лобовую атаку, а теперь и прокурор отвечал ударом на его выпад. Князева это распознала быстрее Ольги. Она тут же вмешалась в разговор.

— Ну, еще чего! — подхватила, поглядела на часы снова. — Заседание на крыльце устроили... Хватит нам и там заседаний, чтобы запутаться...

Букаты оценил ее помощь. Но он не умел деликатничать и уходил от заданного вопроса. Он медлил, раздумывая, что же хотел от него добиться прокурор, так вот, неожиданно, исподтишка, исподволь используя расслабленность, задав каверзный, очень уводящий в сторону от главного вопрос...

Хук после удара гонга на перерыв — так, что ли, это называется у боксеров? Или это назовется запрещенным приемом?

— Помнить я, естественно, не могу, — медленно, взвешивая слова, произнес Букаты, исподлобья посмотрел на Ольгу. — Но мысли по этому поводу у меня есть... Если, конечно, вам интересно.

— Интересно! — живо откликнулся Зелинский.

— Да никто на него не влиял, я думаю.

— И племянница ваша не влияла?

— Нет. Не влияла, — не проявляя своей обычной раздраженности, отвечал Букаты. — И Толик не влиял... И Ольга. — Тут он снова посмотрел на Ольгу. — На него нельзя было повлиять, вот в чем дело. Ольга тут права: на него мог повлиять только он сам.

— Как это? — спросил Зелинский и даже сделал шаг по ступеньке навстречу Букаты, чтобы лучше его видеть и слышать. Князевой почему-то опять бросились в глаза его зеркально сверкающие сапоги с узкими модными голенищами, сшитые, уж точно, на заказ и никак не фронтовые, их блеск начинал ее раздражать. Как и та настырность, почти твердость прокурора в выяснении того, что и без лишних дерганий больного человека было ясно. Но Букаты будто не замечал всего этого. Он витал глазами где-то по верхам прозрачных деревьев, но вряд ли что-то видел, он смотрел куда-то внутрь себя.

— Да обыкновенно, — отвечал он и вдруг оживился, будто только сейчас нашел нужные слова, которые давно искал. — А мы с ним, кстати, в чем-то похожи... С Ведерниковым! Я это в больнице понял...



Брошенный Толиком, у которого оказались какие-то дела с этой психопаткой Зиной, Костик дошел почти до проходной и замедлил шаги; не было в нем ничего, что призывало бы его сейчас перешагнуть порог...

Порог, а может, это была граница его прежней и нынешней жизни?

Завидев проходную, он остановился. Недоуменно некоторое время ее рассматривал, будто впервые увидал. Не желая вообще куда-то двигаться, он присел невдалеке, прямо под деревом, и стал смотреть, как мельтешат подъезжающие к воротам машины и как суетятся за оградой люди, их было слышно и видно в непрерывно распахивающиеся ворота.

Занятно это — впервые увидеть свой завод во время работы со стороны. «Гудит как улей родной завод...» — вспомнились прочитанные Толиком стишки. Концовка их была нецензурна. Но ведь и правда улей: все в движении, все сует и хлопчет, и еще вчера он, Костик, был в этом улье маленькой полезной пчелкой, носящей свой медок в общий котел... А вот живут пчелки тридцать дней. Может, сорок. Носят, носят свою капельку, а потом хлоп — и нет. Но так как их сотни, тысячи, миллионы, то никто и не заметит, что у них убыло... Пчелки-то одинаковые, взаимозаменяемые: что та, что эта! Может, и о Костике не вспомнят?

Необычные это были мысли, но хороши ли или плохи они были, этого он не знал. Никогда бы они не пришли в голову, если бы не этот отстраненный, почти потусторонний, потому что невозможный для смертного человека, взгляд во время работы откуда-то снаружи, из-за ворот. А тут, среди мельтешащих людей, вдруг объявилась запыхавшаяся Ольга, небось бегала по своим комсомольским делам.

— Костик? — с налету пошла чесать. — Ну, слава богу! Там Букаты с ума сходит! Привезли два танка... — Тут, кажется, заметила она что-то необычное в лице Костика, придвинулась, заглядывая в глаза. — Ты что? Заболел?

— Нет, — сказал Костик, будто очнувшись. — Тебя Бу-  
каты прислал?

— Никто меня не присылал, — обидевшись, произнес-  
ла Ольга и оглянулась. Она явно кого-то искала. — Я тебя  
вижу каждый день тут у ворот... Но ты знаешь, сколько  
сейчас времени?

— Не знаю. А сколько?

— Ты что? Только проснулся? — ужаснулась Ольга. —  
Пятнадцать минут опоздания! Беги же! Скорей только!  
Тебя еще пустят! Ну!

Она даже попыталась сдвинуть его с места, но Костик  
вырвался из ее цепких рук и снова сел. Он не хотел, чтобы  
его куда-то тащили. Он вообще ничего и никого не хотел,  
и уж Ольгу видеть сейчас тут он не хотел тем более. Они  
вместе кончали ФЗО, но Ольгина, прежде звали ее Лялей,  
суета по поводу всяких там общественных мероприятий  
вызывала в Костике раздражение, иной раз необъяснимое,  
непонятное ему самому. А тут еще вспомнилось недавнее  
собрание, то самое, где выгоняли Толика из бригады. Как  
она гнула, как настаивала, чтобы Костик поднял руку...  
А он не стал поднимать. Может, в другое время и поднял бы,  
а тут именно оттого, что она так настаивала, и не захотел  
голосовать, выразив свой протест против ее нажима.

Теперь же она крутилась вокруг него совсем не та,  
что была в цеху, на секунду даже Костику показалось,  
что их, этих девушек, вообще две, и одна из них, Ольга,  
точная, даже жесткая, мать-отца продаст, но своего до-  
бьется, она-то и была против Толика да и против Костика.  
Зато другая, Лялька, уж точно живая и сочувствующая,  
способная переживать и помогать, если станет тяжело.  
Но уж слишкомросло против нее, накопилось в душе  
всяких предубеждений, чтобы сразу ей поверить и просто  
не раздражаться.

Словом, не хотел ее Костик, не хотел, и все тут. Она  
же затеяла вокруг него копошню: присела рядом и все  
долбила, долбила его словами, пытаясь достать до живого,  
не заболел ли он, или что у него случилось, что он такой  
странный...

— Может, мама нездорова? — вдруг спросила она.

Он удивился, сказал:

— Ляльк... Не лезь ты... Не надо...

Назвав ее старым именем, он как бы признал за ней право стараться для него, помогать, но и обижаться. И она обиделась.

— Я и не лезу... Но ведь надо! Надо идти, Костик! Уже... — она взглянула на часы, — шестнадцать! Ты понимаешь, что это означает? Букаты наорет... Военпред разносить станет... Ну пусть собрание, выговор... На собрании уж я не стану такого, как здесь, говорить, ты сам понимаешь... Но отделаешься ерундой, останешься в бригаде... — И, словно маленького, стала его уговаривать и снова поднимать. — Тебе ведь только порог пересечь, ну... Видишь проходную... Ну, вот... Ты встанешь и тихонько пойдешь... Десять шагов, ну... Раз, два...

Костя поднялся, сделал шаг и снова сел. Не мог он пересилить себя ни ради завода, ни ради Ляльки. Как прежде не мог проголосовать, когда на него давили, словно заводским прессом.

Ольга вздохнула и села рядом.

— Семнадцать, между прочим, — произнесла она без всякого, впрочем, нажима. — А я поняла, что это Толик... Сам тонет и других за собой... Я ведь вас вместе с ним видела, когда шла на работу... Только учти! Никто из вас его не знает, я одна знаю, какой он... И только потому... — тут она замялась. — Ну, неважно. Что было, то сплыло. Так вот, Толик выйдет из воды сухим. Он так устроен, он и на работе за счет тебя да других выскакивал... А вот ты... Восемнадцать, — снова добавила она, взглянув на часы.

Чтобы покончить с этим мучительным для него разговором, он поднялся и пошел в другую сторону. Но Ольга, вот же липучка, бросилась вслед за ним. Она предложила дойти с ней до проходной и только отметиться... Номерок перевернуть, а дальше она все сделает. Пусть он уйдет, она сама будет отвечать перед Букаты... Она скажет ему, что послала его по комсомольским делам...

— А может, ребят из цеха позвать? — спросила они вдруг с отчаянием. — Швейка, Силыча... Они же тебя на руках перенесут и спасут... Я уверена...

Ольга сама побежала к проходной, будто она была уже не она сама, а Костик, и хотела вместо него опередить время. Но опомнилась, вернулась и со вздохом произнесла, встав перед ним, что она понимает, что глупость говорит, но она сделала все и больше не знает, как ему помочь...

Она посмотрела на часы, потрясла их, чтобы убедиться, что они спешат. Но часы ее не спешили, было на них двадцать минут опоздания...

— Что вы делали в это время? Когда вы опаздывали? — спросила Князева. — Вы понимали хоть, на что вы идете? Вы представляли всю меру ответственности в тот момент?

— Конечно, он представлял, — подал голос защитник, помогая Ведерникову, который почему-то молчал.

— Я спрашиваю не вас, а подсудимого! — повторила Князева свой вопрос. — О чем вы думали, Ведерников? На что надеялись? Или вы вообще ни о чем не думали и даже не вспомнили об этом?

— Я не вспомнил, — ответил тот, и зал охнул. Прошумел и стих.

— Что же вы делали? О чем вы думали?

— Ни о чем.

— Вот это и заметно, — сказала Князева.

В цехе среди горячки кто-то посмотрел на часы.

— Илья Иваныч, — это к Букаты. — Ваш цех задерживает...

— Петя, Силыч, как дела?

— Ничего идут дела, голова пока цела! — ерничал Швейк и сам с тревогой посматривал то на Силыча, то на часы.

— А правда, Илья Иваныч, почему задержка? Почему не работает конвейер? Вы срываете график! Пойдете под суд!

— Не грозите, — сказал Букаты военпреду. — У меня центровщик пропал, вы это понимаете?

— Не понимаю, — отвечал тот. В общем-то, он был прав.

— Военпредов у нас много! — вспыхив, крикнул тогда Букаты. — А центровщик у меня один! Может, он такой на весь Союз один!

— Не кричите! У директора будем объясняться!

— Я готов! — крикнул вслед Букаты и посмотрел на Силыча. На том лица не было. И Швейк свой юмор растерял, будто сам был виноват.

— Где он? — обратился Букаты к Силычу и Швейку. — Где, я вас спрашиваю.

Его голос словно разросся, и Костик даже наклонил голову, так громко зазвучало: «Где он? Где, я вас спрашиваю. Где? Где? Где?»

Что-то ему пыталась говорить Ольга, он ее не слышал. А когда снова возник звук, до него только донеслись ее последние слова:

— Дурак! Понял?! Ты дурак! Дурак! Это буду всем говорить, что ты глупый такой, что дурак! И не жди пощады! Я помогать тебе не стану! Так и знай!

И с этими словами, наклонив голову, может, уже понимая, что ей придется выступать против Костика на суде, она ушла.

19

— Ага! Тут! Не пошел, значит? — спросил Толик, возникнув как черт из-под печки, непонятно откуда. Он сел рядом, но в отличие от Ольги не стал лезть со своими соболезнованиями, а молчал. Долго молчал, соображая о чем-то своем, возможно, тоже не сладком.

Вдруг произнес:

— Значит, теперь нас двое... Знаешь, Швейк анекдот рассказывал про доменный цех, где делают домино...

— Я пойду, — сказал Костик и встал. Все-таки когда Толик молчал, было лучше.

— Давай уедем, — предложил Толик и тоже встал. Теперь они шли по улочке, удаляясь от завода. — Вместе... К черту на кулички... Ты не знаешь случайно, где находятся кулички? Я тоже не знаю! Но все равно. С твоими руками да моей головой... Мы же все рынки завоюем... Ну?

— Рынки? Зачем? — спросил Костик, хотя его вовсе не интересовали никакие рынки. Наверное, спросил, чтобы услышать собственный голос. А может, чтобы не обидеть Толика, который все-таки пекся о нем, и не бросал, и не уговаривал вернуться на завод, а звал на какие-то рынки.

— Был бы умней, не спрашивал, — сказал Толик с пониманием. — А зачем, Ведерников, ты вообще живешь?

— Не знаю, — сознался Костик. Он и правда не знал, зачем он живет. Он и не думал об этом и вопроса себе такого не задавал.

А Толик, многознающий Толик, вздохнул и крикнул от досады за своего такого товарища.

— Потому и не знаешь, что не живешь, — произнес он наставительно. И предложил: — Зайдем-ка в пивную... В «Глубой Дунай», что у вокзала...

— А зачем? — опять спросил Костик, и вышло уж совсем по-глупому. Потому что не было человека, наверное, не только в поселке, но и в округе, который бы не знал, зачем заходят в пивнушку «Глубой Дунай».

Толик не ответил, идти было не более пяти минут. Все тут в поселочке было рядом. Толик пробился к прилавку, несмотря на дневное время, народу толклось немало, взял две кружки пива, две таранки к ним и молча занялся делом: постукал таранкой о ребро стола, облупил, со знанием дела располосовал так, что спинка тонкой аппетитной полосочкой легла на стол, а за ней розово-прозрачные ребрышки и кусочек плотной, похожей на камешек икры. Закончив дело, он вытер руки о газетку, которая нашлась тут же на столе, и предложил выпить... Костик растерянно согласился и попробовал, он уже знал, что пиво на вкус горькое, неприятное. Вот морс совсем другое дело.

Толик будто не замечал, как морщится Костик, а мелко попивал свое пиво, обсасывал кусочки рыбы и молчал. Молчал, пока не закончил пить.

Он снова притащил пива, уже себе, и тогда лишь возобновил разговор.

— Сколько тебе? — спросил, хотя знал, сколько лет Костику, а сам он был на полтора года старше. — В этом году семнадцать? Теперь разложи: ФЗО и три года на заводе... А что ты видел? Кроме своих станков? А? В цехе у нас стоит станок, который зовется ДИП... Ну, мы с тобой еще фабзайцами на нем учились работать... А ДИП расшифровывается, помнишь: Догнать и Перегнать... Так?

Костик кивнул и снова попробовал пиво. С кусочком икры, которую ему дружелюбно подсунул Толик, оно уже не показалось таким горьким и противным. Несколько глотков с непривычки подогрели его, стало даже приятно. И слова Толика ложились под это пиво как-то легко, доступно. Откровенно.

— ...Ну, догнал... Ну, перегнал... А дальше? — спросил Толик, посмотрел на Костика. Наверное, он здесь бывал часто и вовсе не захмелел от пива, а только разогрелся чуть, и щеки у него покраснели. — Вот ты, Костик, и есть тот станок... Крутишься всю жизнь, кого-то перегоняешь... А почему крутишься, зачем перегоняешь... Этого ты понять не в состоянии. Потому что ты робот... А вот Чемоданов... Тот знает, зачем живет! Зачем крутится! У него что ни движение, то достижение! Денежки... Катерина... Зинин домик...

— Это правда, значит? — спросил Костик, впервые оживившись при упоминании Кати.

— Что правда? — спросил Толик.

— Что она...

— А как же! — засмеялся Толик, но смех его был далеко не добродушный. — Дорогим новобрачным Екатерине Егоровне и Василь Василичу бутылку спиртика в счастливый день бракосочетания от группы друзей! От нас с тобой, значит! Хоть спирт ты мне из цеха не захотел тащить, да черт с тобой! Сам сделаю! — отмахнулся Толик и допил свое пиво.

А Костик, вдруг осмелевший от того, что в нем заиграл непривычный хмель, вскочил и крикнул:

— Врешь ты все! Она не хочет! Я сам видел, как она плакала!

Тут он попытался ухватить Толика за пиджак через стол, обе кружки опрокинулись, покатались на пол, но не разбились.

Толик не стал отвечать криком. Он стряхнул с себя руки Костика и, оглянувшись, прошипел:

— Отпусти и замолкни... Вот псих-то... И без справки видно, что больной! Тебе в психушку надо, а не в цех идти, там сразу за своего примут!

Встал, отряхнулся, поднял и поставил кружки. Не спеша направился к выходу. Скандал тут, в месте, где его знали, вовсе не был нужен. Но Костик после пива, а может, после упоминания о Кате, стал как дурной. То есть он и был с утра дурным, но сейчас и вовсе развязался. Вот уж не знаешь, что может статься с тихим на вид человеком.

Так думал Толик, быстро заворачивая за угол ближайшего дома. Там его догнал Костик. Вид у него был жалкий.

— Постой! Толик! Подожди...

— Ну, что? — спросил тот зло.

— Где она? Сейчас?

— Кто — она?

— Ну, Катя... Катерина Егоровна?

— А ты кто ей? Что так интересуешься?

— Никто.

— Вот и отцепись! — как отрезал.

— Жалко мне ее, — вдруг сказал Костик.

— Жалостливый у меня дружок! — протянул насмешливо Толик. — А ты старушек через улицу случайно не переводить? Ох, набить бы морду...

— Мне?

— Можно и тебе! А можно Чемоданчику, к примеру... Сундукову-Авоськину какому-нибудь... Ладно. Побегу за спиртом!



Бросив Костика, он направился в сторону завода. Но вдруг кого-то увидел, отступил назад. Мимо прошли двое, мастер Букаты и странный человек, на голову выше мастера, в военном красивом френче и в шляпе. Они проскочили, никого не заметив, занятые разговором, скрылись в пивной.

Толик в недоумении проводил их глазами. Новости дня! Какие такие махинации мог обтяпывать Чемоданчик с мастером, который не способен был ни на что подобное? Чудеса в решетке! Сегодня и правда не соскучишься! Но тем лучше, как раз самое время проскочить в цех и изъять из заначки спирт. Так он решил и повернулся к Костику.

— Ах, так ты Катькой интересовался? — спросил, будто до него лишь теперь дошла просьба Костика.

Тот недоверчиво кивнул. Наверное, подумал, что Толик решил поиздеваться, благо настроение у него такое. Но он был серьезен и обстоятелен. Пояснил, что Катька сейчас в подвале, наверное, засадили за все ее утренние штучки, и просидит она там до вечера... До свадьбы своей... Дом, войдя в калитку, надо обходить слева, так как справа — собаки на цепи. Если, конечно, их не спустят.. Да вряд ли их спустят, Чемоданчик их не переносит, они его тоже. «У них такая странная взаимность», — добавил Толик.

— А в подвале окошечко на уровне земли... Ты меня понял? Ты все как следует понял? — повторил он.

Костик кивнул. Хотя ничего он не понял, особенно же перемен, происшедших с его приятелем. Сперва психовал, а потом стал таким внимательным и добреньким.

Но Толик и сам не смог бы объяснить, для чего все это он сделал. Ну, то есть какие-то соображения у него, конечно, были, но смутные еще, как говорят, на грани интуиции, которая до сих пор его не подводила. Интуиция подсказывала, что Костику надо бы встретиться с Катькой. Этот псих и правда найдет ее, таким способом можно насолить Чемоданчику. А вот дальше... Дальше он не мог всего разглядеть, хотя чувствовал, что и дальше мо-

жет выйти очень занятная комедия... Во время свадьбы... Или как она там называется. Главное тут — держать руку на пульсе и направлять события (то есть лично Костика) в нужную сторону.

— За девок надо бороться, — сказал он Костику, будто бы доверял тайну. Так говорят обычно мужчина с женщиной. — За них насмерть надо стоять!

— Я знаю, — кивал Костик, ему не терпелось бежать к Кате. Толик понял и толкнул по-дружески в спину, как бы благословляя на серьезное дело:

— Иди! Гони! Бейся за нее! Никому не давай! Никому!

Последнее крикнул вслед и вздохнул: какой же он еще щенок, цуцик глупый, настолько всему верит! Обведут его вокруг пальца, да он себя сам обведет... Слепой, влюбленный дурачок! Блажной, словом...

20

Чемоданов, как велела ему Зина, подошел к проходным воротам и присел на том же самом месте, где за полчаса до него сидел Костик.

До перерыва было далеко. Но он и не собирался ждать, когда наступит перерыв. Он по опыту знал, что среди потока людей, снующих на завод и обратно, найдется кто-то, кто может позвать нужного ему человека. «Не бывает так, чтобы чего-нибудь да не было!» — любимое его присловье, обозначающее возможность всегда найти выход из трудного положения.

Проспавшись, ночка-то была не из приятнейших, среди разного вагонного сброда, а он еще за свой багажик с иголочками тревожился, он не нашел ни Зины, ни племянницы ее, но они и не были сейчас нужны. Зато от Зины лежала торопливая записка, где она просила завтракать без нее, а потом, если ему, то есть Чемоданову, нетрудно, сходить к заводу, где в перерыв его будет ждать дядя Кати, фамилия которого Букаты... Вот с ним, мол, Чемоданову и нужно переговорить по поводу будущей свадьбы, если он не хочет всякого потом скандала.

Чемоданов скандала не хотел.

Он посмотрел на часы, привел себя в порядок, почистил тряпочкой, найденной в прихожей, сапоги, ибо по опыту знал, что никакой френч и никакая шляпа не украсят его до конца, если обувь при этом будет грязной... И пошел.

Букаты в это самое время крутился по цеху, принимая как должное очередную порцию устных выговоров от начальства и пытаясь заткнуть брешь — заменить выбывшего неизвестно почему слесаря-центровщика. Как бывает в таких случаях по закону подлости, центровщик из другой смены накануне слег на операцию с аппендицитом... Букаты направил Силыча к Ведерникову домой выяснить, что же там случилось, Пете Швейку велел полегоньку, не спеша, осваивать новое дело...

— Незаменимых людей не бывает, — повторял он известную формулу Сталина, в которой было еще и продолжение: «не можешь — научим, не хочешь — заставим...» Но Букаты знал, по личному знал опыту, что есть они в природе, незаменимые люди, и заставить их делать то, что они не хотят, не всегда можно. То есть даже так бы он сформулировал свой тезис в отличие от того, известного, навязшего в зубах, настолько часто его вокруг повторяли, что мир-то и состоит в основном из незаменимых людей, только мы это повернули кверху ногами, но это вовсе ничего не меняет. И Костик, и Силыч, и Швейк, да и сам он были из тех самых, как он понимал, незаменимых, расставленных так, что каждый незаменимый делал свое дело. В данном случае это были танки. Но разрушилась структура, и требовалось что-то изобрести, чтобы временно заменить незаменимого, то есть пойти на компромисс, дававший непосредственные, нужные сегодня позарез результаты. В перспективе же, как он понимал, все образуется и Костик вернется на свое место. Другого варианта он пока не видел.

Таковыми были его мысли среди многих забот, ибо нервничал военпред, звонили из ОТК, спрашивали из парткома, как прошла подписка на танковую колонну,

деньги у него пока в сейфе, тут же в цехе; а Силыч все не возвращался, его-то, в нетерпении Букаты посматривал поминутно на часы, ждал, как не ждут второго пришествия.

Наконец тот объявился. Но еще издали, по тому, как изображал недоумение и пожимал плечами, Букаты понял, что Ведерникова не нашли.

Силыч пояснил, что дома он застал маму, тетю Таю, но она ничего сама не знает, повторяя лишь, что он ко времени встал и пошел на работу... Но теперь и она всполошилась, потому что не может понять, что же с сыном могло случиться.

— Зря ты ей сказал, — упрекнул походя Букаты.

Еще Силыч добавил, что у проходной к нему подошел какой-то человек, во френче и шляпе, высокий, «дядя, достань воробушка», и попросил позвать мастера Букаты, к которому у него разговор.

Букаты не удивился, мало ли кому он нужен... Он распорядился Силычу шума про Ведерникова не поднимать, вдруг да найдется! На всякие там дерганья не реагировать, отбояриваться общими словами, мол, все будет как надо и в том же духе.

У ворот и правда стоял человек занятого вида, впрочем, Букаты с первого же взгляда показалось, что сам-то он себе, наверное, нравится. Он поправлял шляпу, одергивал френч и при этом заглядывал в стеклышко проходной, ловя свое отражение. Но времени рассматривать прохожих у Букаты не было. Он сам подошел к незнакомцу и спросил, кого тот ждет. Спросил потому, что могла произойти ошибка: в одном из цехов работал человек со сходной фамилией, Бокатов.

— Папашка, — сразу оживился человек, — это — завод?

— Какой тебе нужен завод? — спросил недовольно Букаты. Он не любил, когда спрашивали не по делу.

— А какой есть?

— Никакого нет, — сурово отрезал Букаты. — Тебе что нужно-то?

И тут он посмотрел по сторонам, пытаясь понять, нет ли кого другого, не с таким чудным и нахальным видом, кто тоже мог бы ждать мастера. Но во френче, и в шляпе, и длинный — был все-таки этот, который к нему обращался.

Тот в свою очередь рассматривал мастера и делал про себя, по-видимому, свои, тоже не совсем приятные, выводы.

— Мне мастера Букату позови, который танки изготавливает.

— Изготавливает... — проворчал Букаты, уже понимая, что назвали точно его и ошибки нет. — Галоши, что ли! Как это я изготавливаю?

— Так, стой! — обрадовался пришедший. — Ты — Буката?

— А ты кто?

— Чемоданов! Папашка! — сказал, оскалась, длинный. И тронул полу шляпы. — Вашей племяшки как бы муж... Будущий...

От этих слов Букаты как покачнуло, настолько все было не ко времени.

Помнил он утренний разговор с сестрой, истерику ее помнил и свое раздражение, но как-то стерлось оно за другими, последовавшими вслед неприятностями, и уже перестал он держать в уме, надеясь, что само по себе обойдется.

Не обошлось.

Неприятно осмотрев новоявленного жениха — прям петух, — он спросил, задрав лицо вверх:

— Женишься, говоришь? — и тон его не предвещал ничего доброго.

Но Чемоданов не услышал, а может, и не захотел услышать угрозы. Он бодренько, на легкомысленном смешке заявил, что правда женится, и жениться никогда не поздно, если женилка работает... А Зиночка-то твердит, поговори, мол, родственник как-никак, неудобно... А чего неудобного-то, если все ясно... Он же не прохиндей какой, он по-хорошему, то есть по-гражданскому... И сам он счи-

тает факт сочетания делом торжественным, потому что он человек солидный... Между прочим...

— Ага, — выслушав, кивнул Букаты и посмотрел, набычившись, в землю. Раздумывал, кумекал про себя. Потом вздернулся, но глядел уже не в лицо, неудобно было все время задирать голову, а смотрел на пуговицу френча, что была на уровне его глаз. — А чем ты, солидный человек, занимаешься? — спросил у него. — Где служишь? Сколько получаешь? Сколько жен... Да-да! Сколько жен имел... Имеешь... по разным городам?

И этот напор Чемоданов выдержал, не дрогнул. Только поскущел малость. Такими-то психическими атаками разве его проймешь! Неинтересно даже на таком уровне работать. Так про себя решил. А этой сварливой Букате ответил он с упреком так:

— Эх, папашка! Если тебе моя жизнь приснится, ты проснешься в холодном поту! Пойдем-ка серьезно поговорим? А?

— Куда это? — оторопел Букаты. От нахальства названного жениха оторопел.

— Да в «Голубой Дунай». Куда еще! — сказал самоуверенно Чемоданов. — Идем? Ну?

Его самоуверенность вывела Букаты из себя.

— Некогда мне болтаться! Говори, да я пошел! — разозлился он и достал свои большие серебряные часы.

Ну и денек выдался, каждый старается побольней за нервы дернуть. Этот заморский петух туда же... Не на того напал!

— Да и у меня времени маловато, — невинно поглядывая на Букаты, произнес Чемоданов. — Я думал, что ловчее тебе не у ворот кричать... Вон, на тебя уже звукоуловители наставили... — и кивнул на проходную, где и правда из окошка торчала физиономия вахтера, слышавшего, видать, скандал. — Пять минут, — сказал между тем Чемоданов. — Проводи, дорóгой и поговорим, папашка!

Ох, как не нравилось все это Букаты. Эта снисходительность, почти небрежность в разговоре, и словцо-то

дрянное такое: «папашка»! Где он его откопал... Но закончить надо было, для пользы, как говорят, дела! Отбрить этого немолодого нахала, чтобы знал наперед, как соваться не в свои дела!

Росла досада и на Зинку, которая всю эту кашу заварила. Но ей он особо выдаст! Она получит! Как в детстве — березовой каши!

Наискось по тропинке вышли они к забегаловке, фанерной, но просторной, и внутри и снаружи толпился народ: инвалиды, мужички и совсем еще подростки... Были тут и женщины.

Чемоданов ушел, вернулся с двумя кружками и одну поставил перед Букаты. Но тот отодвинул демонстративно: он не из тех, кто будет пить неизвестно с кем. Чемоданов этот жест засек, как и все остальное. Но проглотил. Не хотел заострять отношения.

— Так вот, папашка, — начал, отхлебнув от своей кружки и оглядываясь по сторонам. Но никто их не слушал. — Семьи, так отвечу я на твой категорический вопрос, у меня нет... О прошлом моем тебе знать не надо. Это дело не твое. А Катя — она одна для меня... Запомни и запиши в каком-нибудь своем мозжечке. Одна и на всю жизнь.

— Катьке — это рано. — Теперь Букаты уже смотрел в лицо, удобно было смотреть. И говорил повелительно, твердо. — Будь моя воля, так я достал бы веревку... Вожжи... Да такую бы свадьбу устроил! И той, и другой!

— Значит, гражданин Буката, — вежливо, сменив игривый тон на иной, предупредительный, холодноватый, поинтересовался Чемоданов, — я так понял, что вы категорически...

— Правильно понял! — кивнул Букаты. — Будь здоров! — И поднялся. Но Чемоданов остановил его.

— Минуточку... Папашка... А должок?

— Какой должок? — спросил Букаты, стоя и нетерпеливо оглядываясь по сторонам. Никогда он не был в этой пивнушке. Не дай бог, кто увидит.

— Обыкновенный... Который брали...

— Я? Брал? — наигранно удивился Букаты и улыбнулся такой наивности этого прохиндея в шляпе. Куда, мол, зашел! Шантажировать пытается! Не на таких напал!

Но и Чемоданов улыбнулся.

— Не вы, конечно... Но я понял так, что вы от их имени сейчас говорите? Вот и гоните их должок... И мы с вами квиты...

И уставился, глядя не отрываясь на собеседника.

— Ах, вот как!

— Так... Только так, — кивнул предупредительно и даже с некоторой теплотой в голосе Чемоданов. — Вы мне, папашка, денежки... А я вам веревочку...

— Какую еще веревочку?

— Ну, вожжи... Чтобы отстегать, как вы того желали, этих... Ваших заблудших родственниц...

Видно, издевался Чемоданов, и был подвох в его таком масляном голосе, но какой, Букаты не мог до поры распознать. И еще продолжал по инерции кипятиться, лезть на рожон.

— Сколько тебе? — спросил напрямик и полез в карман, желая швырнуть в лицо этому хаму всю свою получку, которую он получил. Ради такого удовольствия можно себе позволить и поголодать! Накоплений у Букаты, ясное дело, не было никаких.

— Полмиллиончика, — невозмутимо произнес Чемоданов, сохраняя все ту же мягкость в голосе. Он-то знал, что давно выиграл этот разговор, еще дома у себя знал!

— Не понял? — спросил Букаты и закашлялся... Все-то он понял, старый дурак, но выигрывал время, потому что нечего было ему ответить на эту цифру. Нет в мире такого ответа, который бы прозвучал удовлетворенно, кроме мешка с деньгами, который нужно выложить на этот залитый терпким желтым пивом столик... Может, где-то такой мешок и есть, но не у него... Не про вашу честь... Так и сказано в поговорке!

И вот тут Чемоданов взял свое. Прочно взял, развернувшись во всю силу перед старикашкой, который увядал на корню.



— Правильно понял, папашка! — сказал он строго. У Букаты взаймы тон занял. — Пятьсот тысяч — это выглядит солиднее, да? Так я же тебе сразу сказал, что я солидный человек... На мелочи не размениваюсь! — И оглянувшись, нет ли лишних ушей, он отодвинул кружки, которые их разделяли, наклонился вперед, предлагая это же сделать Букаты, и тот, вот странное дело, подчинился. — Теперь слушай, папашка! По-другому слушай, а то дырки слуховые у тебя засорились, себя только слышал... А ведь разговор-то даже не на двоих... На троих... На четверых! Вот как!

— Ну, ну... Считаешь... — смято произнес Букаты, на него было сейчас тошно смотреть. И вдруг вспыхнул, от слабости или отчаяния. — А тебя бы в милицию! Вот куда! И там посчитать! Сколько тебе полагается! Да, да! Сколько дадут срока!

— Ну вот, опять глухонемой, — натянуто оскалился Чемоданов. — Годы-то нам с Зинойчкой придется делить... Я ведь только вырубал, а садить-то ее полагается... Тут правды не найдешь, папашка! И не там ты ее ищешь!

Букаты молчал. И Чемоданов молчал, давая сопернику прийти в себя. Он знал, что подобные удары с ног валят и не таких строптивых. Пусть оклемается... Он им еще нужен...

Он даже не стал останавливать мастера, когда тот встал и пошел, направляясь к заводу. Разговор-то, в принципе, закончен. А то, что молчит, к лучшему, значит, дошло до него... Туговато, конечно. Младенцы, те, когда первая мысль у них появится, говорят, слюни пускают... Курчавые такие, умненькие слюни... А этот молчанием запустил...

Уже дошли до проходной, когда Букаты подал голос. Был он смирен. Так-то бы сначала!

— Ладно, — произнес, взглянув по-бычьему, исподлобья, на пуговицу, что маячила у лица. — Чего ты от меня хочешь? Времени у меня нет больше, планы с тобой строить... Побыстрее, пожалуйста...

Вежливо, как можно вежливей и кротче, Чемоданчик опять же сказал, что не с ним, не с ним вовсе строит,

папашка, свои планы... Они у них общие с Зиной, с Катюней... Одно-единое, как говорят.

— Ты приходи в дом-то... Вот и всех делов! — сказал доброжелательно Чемоданов. Будто с близким дружкой договаривался.

— На свадьбу? Не приду! — отрезал Букаты и отвернулся.

— А ты до свадьбы приходи, — подхватил Чемоданов. — В садике-то и поговорим... И договоримся, может... У тебя когда перерыв?

— Какой там перерыв, — отмахнулся Букаты. — Рабочий у меня пропал... А план горит... Ох, — вспомнил он про цех и про все, что там творится. — Зинка зовет меня Железным, но я железный и есть... В цеху родился, в цеху жизнь прожил... Со мной что с железкой говорить... Толку тебе мало... — И повернулся, чтобы идти, и уже машинально пропуск в кармане нашаривал.

— Ничего, папашка! — воскликнул Чемоданов вслед, понимая, что дело идет к согласию и остались какие-то недоразумения. — Племянница-то, думаю, поважней твоего танка будет! А? Так жду! Жду!

Но Букаты не повернулся. А за проходной подумал: «С милицией к тебе в гости надо ходить! Сволочь! Не иначе!»

Постоял, скрывшись от глаз, чтобы прийти в себя, ладонью по векам провел... И словно отряхнув от себя как наваждение все, что сейчас произошло, он вздохнул полной грудью и направился через замусоренный двор в цех.

Одиноко, как упрек ему лично, стояли, вытянувшись во весь двор, пустые платформы для новой боевой техники. Он проскочил, стараясь на них не смотреть. Но к сборщикам не пошел, понимая, что ничего утешительного там не ждет. Незамеченный заперся в своей конторке, в уголке цеха, и долго ворошил какие-то бумаги, что-то искал. Несколько раз слазил в свой рабочий шкафчик, где хранилась одежда, и снова листал, цифирки выписывал, поправляя очки, старенькие, довоенные еще, в железной оправе. А потом откинулся и замер, закрыв глаза.

Расставшись с Ведерниковым, Толик прошел на большой заводской двор, оттуда проник в цех, допуска к сборочникам у него отобрать не успели. Там, в укромном местечке, хранился у него спирт в поллитровой бутылке. По пути заметил Швейка. Хотел проскочить незамеченным, но тот окликнул, сам подошел.

— Министр двора! — произнес, намекая на новую работу Толика. — Зашел посмотреть или...

— Или? — спросил Толик, оглядываясь. Вообще-то ему никого не хотелось из бывшей бригады видеть. Не за тем, как говорят, пришел.

— А может, тебе обратно попроситься... — Швейк прочел старые свои строчки: — «А сачкуешь, Толик, зря ты, на тебя сердит Букаты!»

— Мне и там не дует, — отвечал независимо Толик. — Весь день сам себе начальник... Без ваших Букат... А ты-то что сачкуешь?

Швейк нахмурился.

— Ведерников не вышел...

Толик присвистнул.

— И уже скисли?

— Почему скисли? — неуверенно произнес Швейк. — Мы пытаемся. А ты его, случаем, не видел?

— Случаем, видел, — кивнул Толик. — Не хочет он больше вашими «тачками» заниматься... «Грязной тачкой руки пачкай... ха-ха! Это дело перекурим как-нибудь...»

Толик спел известный куплетик, глядя на Швейка. Думал, что тот, как Силыч, попрет напролом и закричит: «Врешь!» Но Швейк не закричал, а лишь с сомнением заглянул Толику в лицо. И отодвинулся, будто оберегаясь. Он, кажется, и правда понял, что Толик не врет. Но все-таки спросил:

— Правда? Так и сказал?

— Клянусь говорить правду, правду, одну только правду, — выпалил Толик. И добавил, ухмыльнувшись: — Но не всю...

— А не вся — вся? — спросил Швейк. — Или еще что держишь?

— А что мне держать-то... Подумаешь, какая военная тайна, что не хочет он трудиться, а хочет, наоборот, жениться...

— Это Костик-то?

— Именно. Именно, — подтвердил Толик. — Единственная, говорит, неповторимая, вечная, — и посмотрел на Швейка. Тот молчал, проглотив пилюлю. — Так что ваш зачинатель нового движения... В сторону от завода... Движения-то... Двигается... Скоро придет...

Не хотел Толик злословить, не затем он пришел в цех. Но так зудило его отыгаться за позорище, что устроили ему тут на собрании... Не сдержался. И Швейк это понял. Но ему сегодня будто отказал его природный юмор и находчивость.

— А ты его увидишь? — спросил вяло.

— Возможно, — отвечал Толик, ему даже стало жалко Швейка.

— Передать можешь?

— От тебя?

— Можешь и от меня.

— Попробую...

— Так вот, передай... — Швейк посмотрел себе под ноги, будто там мог найти какие-то слова. — Передай так... — и вскинул глаза. — Лучше, передай, пачкаться в «тачке», чем с таким дружкой, как Василек... Не отмоешься после него... Не забудешь? — И уже посмотрел прямо в лицо. Это был прежний их Швейк, которому палец в рот не клади. Запомнил Толик, открылся и получил в челюсть. Хотел что-то ответить, но затыркался в словах, а Швейк не спеша уходил, его не интересовало, что может сказать Толик.

Забрал он спирт, и то ладно, что никто до его заначки не добрался. Спрятал в карман, подальше. На выходе из цеха на Ольгу наткнулся, которая неслась как угорелая, ничего не видя, и если бы не воткнулась прямо в Толика, то пролетела бы мимо как снаряд и не заметила. Такая

вся была из себя реактивная, что даже он не успел отскочить...

— Ой, — сказала и посмотрела на него. В глазах сверкнул радостный огонек. — Ой! Я почему-то подумала: Костик! Мы его весь день ищем! Ты не видал?

— Был, да весь вышел, — сказал Толик, припомнив зуботычину от Швейка. Теперь он стал осторожней. Он даже попытался уйти, но Ольга стояла на его дороге и не собиралась его отпускать. Да и говорить она хотела не о Костике, а о себе. Она посмотрела по сторонам и спросила негромко:

— Толик, сердисься, да? Но ты зря сердисься, я же ничего не могла сделать... Но хочешь, я поговорю с Букаты?

— Ляльк, отстань. Ничего я от тебя уже не хочу, — отвечал он.

— А про тебя мама спрашивала...

И так Ольга это беспомощно сказала, что у Толика не повернулся язык выдать очередную грубость.

— Приходи, — вдруг попросила Ольга, почувствовав какие-то колебания в Толике. Никогда она его не понимала, а сейчас и подавно. — Приходи сегодня, мама оладушек напечет, а? Мы два стакана муки достали!

— Ладно, — вдруг сказал он, поняв, что ему долго не уйти, если он не отвяжется от Ольги. Замучает до смерти. Нет в мире страшней и опасней человека, чем тот, который хочет тебе добра.

— Придешь? — обрадовалась она, даже расцвела вся, вот дура. — Правда?

— Правда.

— Ой, Толик... Спасибо... — И, оглянувшись, попыталась поцеловать его в щеку; он увернулся, выскочил вон.

Но мытарства его на этом не закончились. Прямо у проходной он наткнулся на Чемоданова, который распрощался с Букаты и собирался уходить. У этого глаз-ватерпас; как ни пытался Толик юркнуть за деревья, сделав вид, что не видит он Василь Василича, тот углядел и, ухмыльнувшись, поманил пальцем.

— Чего крадешься? — спросил. — Или вынес что-нибудь? А я уж думал, что ты давно весь завод унес и

носить больше нечего... Впрочем, — задрал голову, сказал он, — трубу не унес! А почему не унес... Она в проходную не влезает, правда? — И захохотал, довольный. Можно было понять, что разговор с Букаты кончился для него выгодно. «Иначе бы не веселился наш Саквояжик...» — так подумал Толик, но грубить не решился, отыграется в другой раз.

— Так, чего прячешь? — спросил Чемоданов и ткнул пальцем на подмышку.

— Подарок, — сказал Толик. — Крепость — девяносто шесть градусов... А ты с Букаты отношения, я гляжу, налаживал?

Вот так-то, Василь Василич, и мы не лыком шиты, кое-что замечаем.

— Пытался, — отвечал Чемоданов неопределенно и посмотрел на ворота, где скрылся недавно растерянный мастер.

— Железный, — предупредил Толик. — Так у нас зовут. Три года меня на путь истинный наставлял...

Чемоданов хмыкнул.

— И железо тоже гнется...

— Да к чему он тебе?

— Для спокойствия, — произнес Чемоданов. Может, он и правда не врал. — Для тишины... Для порядка... Да и посмотреть на будущего родственничка интересно. Вдруг да пригодится! Все же ге-ге-мон! — И что-то вспомнив: — У тебя, кстати, патронов пары штук не найдется? Шестнадцатый калибр? Собаки надоели... И так нервы взвинчены... еще они...

— А что тебе собаки? — спросил Толик невинно. — Если сегодня уедешь?

— А вдруг — останусь? — на вопрос ответил вопросом.

— Надолго?

— Да хоть и навсегда.

И посмотрел в лицо Толика, ожидая реакции. Но к такому ответу Толик был готов.

— А Зинаида? — спросил. — Она-то согласна?

— Зиночка... — Чемоданчик засмеялся, весело ему вдруг стало. — Она у нас без права голоса... Что постано-

вим, то и будет. Выделим ей Катькину маленькую комнатку, будет суп варить... Чем ей плохо? — И захохотал, но понятно было, что он нисколько не шутил.

— Здорово придумал! — в тон ему поддакнул Толик, никто бы не смог расслышать ту легкую иронию, которую он вложил в свои слова. — И все ты наперед, Василь Василич, знаешь?

Но Василь Василич расслышал. Наверное, расслышал.

— Не все, — ответил, перестав смеяться.

— Смотри, что получается, — по инерции еще продолжал ерничать Толик. — И свадьбу, и дом, и Зину, и Катьку, и Букаты... Всех прибрал к рукам. А уж Букаты никто еще не переупрямил... Его и военпред сломать не мог!

— Верно, — произнес Чемоданов, наблюдая за лицом Толика. И помолчал. — Всех, кроме тебя... Василечек!

— Ну, я-то шестерка, — наигранно отмахнулся Толик, поняв, что немного зарвался и выдал себя. Раненько выдал, надо бы усыпить бдительность Чемоданчика, сегодня излишне подозрительного. Он уже старательно добавил, что ему скажут тащить спирт — он тащит: вот он! Скажут торговать иголками, и тут он как пионер: всегда готов! — Кстати, — поинтересовался и тем перевел разговор, — сколько их у тебя?

Чемоданчик посуровел:

— Тысяч сто... Но сейчас не до них...

— Ну да! — подтвердил Толик. — И я говорю, что тебе не до них... А мне-то до них... Я-то свободен...

— До срока, — вставил Чемоданчик, и удачная шутка восстановила в нем равновесие. Толику это было на руку.

— Слушай, Василь Василич, — предложил он, не выказывая своего волнения, будто разговор шел о пустячке. — Ты мне их оптом не продашь?

— А ты знаешь, сколько стоит? — поинтересовался Чемоданов, даже не удивившись. Он, наверное, воспринял это как розыгрыш.

— Догадываюсь, — отвечал Толик. — Но я серьезно.

— Я тоже.

— Тогда отвечай, — настаивал Толик. — Продашь? Нет?

Чемоданов с любопытством заглянул Толику в лицо.

— Откуда у тебя такие деньги?

— Их нет, — сказал Толик. — Но к вечеру, представь, будут.

— Трудно представить!

И хоть насмешничал Василь Василич и от вопроса увиливал, но так про себя и не решил, что же скрывается за словами Толика: игра или... Но откуда? Откуда? Два года он работал с Васильком, тот перекупал зажигалочки, спиртиком торговал, но все — по мелочам... Юркий парниша, что и говорить. Зиночку, Букату железную (ему так нравилось называть — калечить фамилию), даже Катюню раскусил... А Толика до конца и не раскусил... Как вьюн в мутной воде. Вроде бы ухватил, а он снова плавает... Может, он на Катюню с домом метит?

Отчего пришло такое открытие, Чемоданов не понял. Но горло перехватило, даже сдержать себя не смог, так напрямки и рубанул:

— За Катькой охотишься, сосунок?

Толик аж рот открыл от удивления. Не сразу сообразил, какой подарочек преподнес ему сейчас Чемоданчик! Ай да Василь Василич! Ай да мастак! Как же он при своей ловкости так мелко обмишурился, что главную свою слабость напоказ вытащил и не заметил! Мерси за подсказку! Будем знать!

И Толик с удовольствием сплюнул на землю:

— Катька — тьфу! Других, что ли, девок мало! — небрежно произнес. — Чтобы этой чокнутой интересоваться!

Тут он не врал, он и вправду так думал.

Василь Василич для порядка пригрозил:

— Смотри у меня... Ты у меня вот тут, в кулаке... — И для наглядности показал свой крупный кулак. — Сожму...

Вот тут Толик и разозлился. Никогда Чемоданчик не грозил, но и повода, как говорят, не было. Это он от своей ревности попер — как бык на красную тряпку. Так пора ему и по рогам дать, чтобы не зарывался!



— Это ты, Чемоданчик, смотри! — огрызнулся Толик. — Не туда ты смотришь!

— Не верю! — рывкнул Василь Василич, багровея.

— Правильно. Не верь. Я тебе ничего не говорил, — подвел под занавес Толик и пошел не оглядываясь. Он знал, что его удар под дых был неотразим.

— Сволочь ты! — крикнул, опомнившись, Чемоданов. — Я тебе за вранье, знаешь...

Толик только усмехнулся на пустые угрозы. Испортил-таки дорогому дружку Василь Василичу благостное настроение. Спокойствия захотел! И Толик пропел знакомую песенку из кино, удаляясь за деревья: «Из сотен тысяч батарей за слезы наших матерей... Огонь... Огонь...»

А тут еще под горячую руку Чемоданову подвернулся инвалид, и откуда он взялся в этот неурочный момент?

Чемоданов как увидел его, так и рассвирепел.

— Что, папашка! — спросил, едва сдерживаясь. — Все ходишь? Слушаешь? Как люди живут? Много услышал?

— А чего не ходить? — спросил инвалид, остановившись, но на злой тон не отреагировал, отвечал негромко, покладисто. — Земля, она, значит, общественная, ходи сколько влезет. Так я думаю...

— А подслушивать-то зачем? — гнул Чемоданов, не поддаваясь, не подлаживаясь под чужое настроение. Ему надо было излить свое. — Может, я тут секреты секретничаю, а ты свои уловители, свои лопухи — во — наставил... И ловишь?

— А ты не злился, — посоветовал инвалид, он по-прежнему был спокоен и даже доброжелателен. — Ты кричишь так, что твои секреты кругом слышны... — Он достал кисет, потряс, прикидывая, сколько там табачку, и предложил: — Ты вот закури и подумай: чего я, мол, тут кричу... Чего шумлю и надрываюсь... Когда все в мир входят? В спокойствие входят, в радость...

Чемоданов отвернулся. Не хотел курить, а скандала не получилось. Инвалид же между тем сварганил «козью ножку», помусолил, достал «катюшу» — кремешок, да кре-

сало, да трут, — высек огонек, прикурил, пахнуло ядреным самосадом. Табачок, видать, у него был что надо.

— Дай! — сказал Чемоданов и протянул руку. — Нет, — сказал капризно, — сверни сам... Что-то я... Нервы сдали...

— И я говорю! — воскликнул инвалид с охотой. — Что нервы у людей не те... — Он свернул вторую «козью ножку», еще покрупней первой, и дал собеседнику прикурить. А сам не спеша продолжал говорить, что вот у него на фронте, он одно время шоферил и всяко случалось в бою, от нервов так аппетит поднимался, что свой собственный ремень однажды сгрыз... Но спал даже во время канонады... А сейчас что... Скоро победа, а сна-то нет...

Чемоданов молча выкурил самокрутку, а напоследок сказал:

— Но мы победим, папашка! Мы их всех! Всех! К ногтю!

Пошел, не поблагодарив, не попрощавшись. И чем дальше уходил, тем быстрее ускорял шаг, в конце он побежал, желая скорей увидеть Катю... Удостовериться, что она дома. А инвалид проводил его взглядом и вслух проворкотал, что уж почти и победили... Все почувствовали, что жизнь наступает... Счастья все хотят... А если покричат, то от непонимания, что после войны кричать им не о чем... Акричат потому, что нервы разошлись, как вот у этого достойного солдата... Все пройдет... Но только нервы долго после войны людей мучить будут и убивать...

22

Подвал в доме Гвоздевых был просторный, с ямой для картошки, с отделением, отгороженным специально для хранения яблок и засыпанным опилками, со многими кадучками по углам, частью уже разохшимися, в которых когда-то солили огурцы и капусту.

Теперь Зина, кроме яблок да картошки, ничего не заготавливала: рук не доставало. Рук и сил.

В подвале было сумрачно, сыроватая мгла смотрела из всех углов. Странные шорохи, скрипы, вздохи возника-

ли, будто бы сами по себе. Крошечное окошечко для вентиляции не в силах было дать достаточно света и воздуха.

Оттого и сажала Зина племянницу сюда в моменты приступов, быстро приходящих и уходящих, своей женской неуправляемой истерики, что темноты боялась Катя больше всего. Не криков, не хулиганов, не шпаны базарной, которой успела повидать за время своего барышничанья, не голода, не даже одиночества, к которому почти привыкла... А именно темноты.

Случилось как-то давно, что поздно вечером загуляли и не хватило гостям вина. А Зина и говорит: «Ступай, Катька, в мой буфет, возьми ключи и принеси несколько бутылок...» А буфет этот при станции, где она тогда работала, а позже его-то и обворовали... И тогда Катя сказала Зине, что она не пойдет. Не может пойти, потому что темно и она темноты боится. Не пьяниц, не хулиганов привокзальных, а просто темноты. В ту пору у Зины ночевал обычно ее дружок, с которым она и пила, по имени Леша, странный, припадочный, вышедший из психушки мужичок, пить ему нельзя было. В трезвом виде он был молчалив, даже добр, но когда напивался, терял себя, у него начинались всякие капризы... И тут, когда Катя стала отказываться, Леша вдруг закричал... «Вот, Зинка, какая у тебя племяшка уродилась, и услужить людям не хочет, только о себе думает... Она в своем эгоизме не послушает, не послушает, а подрастет и тебя же из дому погонит». Он и всякое другое тоже говорил. Мало ли мужик набормочет, когда ему выпить не дают; да не дают ладно, он, может, такое и вытерпит. А то дали, да не до конца, это еще хуже. Они и убить могут, мужичье, когда водки недопьют, в разгар своих неумных-то желаний!

Катя все это понимала, ей тогда пятнадцать исполнилось. Но вот уперлась: «Не пойду, да все тут!» Зина всплила да как закричала на нее: «Темноты, говоришь, боишься, да? Так ты у меня получишь! Я тебя приучу к темноте!» И заперла в подвал.

Сколько же Катя напереживалась! И кричала, и молила через дверь: «Зиночка... Зина, выпусти, я ведь тут

помру!» Не выпустила. Была у Кати горячка, от которой она целый месяц оправлялась, даже в характере переменялась, стала вздрагивать, когда на нее кричали... И все потом исполняла, и про подвал напоминать не надо, сама помнила.

Ну а потом еще несколько раз сажали, уже не за непослушание, а так, под горячую руку тетке попадалась. Привыкла. Почти привыкла... А уж сегодня сама надела ватник и спустилась: наказала себя.

Чтобы не было страшно, разговаривала. Разговаривала с домовым, который, по ее убеждению, прятался в дальнем углу, за кадушкой. Она даже по временам слышала его возню и вздохи. Иногда он реагировал на Катин приход стуком по бочке, а один раз, не успела она прийти, как покатила ей под ноги старую кринку из-под молока... Ну кто, спрашивается, догадается из угла, где все обросло паутиной и прочно вросло в грязь да пыль, откопать кринку и катнуть ее прямо Катьке под ноги, кроме хулигана домового?

Теперь Катя, войдя, сразу поздоровалась, чтобы не сочли, что она такая уж невежа и зазнайка.

Она сказала:

— Здравствуй, подвальчик... Здравствуйте, мышки... Здравствуйте, все... Я снова тут... И не думайте, вовсе меня не посадили... Я сама... Правда. Потому что знаю, виновата...

И прислушалась, не раздастся ли привычный шорох. А когда он вдруг раздался, то вздрогнула и со страхом посмотрела в темноту угла. Понимала, что дверь заперта изнутри, захочет, так сама и выйдет. Да и на дворе день, не ночь, значит, и страхов меньше.

— Кто-то есть? — кротко спросила. И помолчав: — Ты, домовый? Ты, пожалуйста, не пугай... Ты ведь знаешь, я всего боюсь... Не потому, что трусиха... Я просто не люблю темноты...

Произнесла и снова прислушалась. Теперь ей стало казаться, что кто-то из угла смотрит на нее. Смотрит и медленно дышит. Тогда она решила петь. Придумала, чтобы

не слышать, как он дышит. Он пусть дышит, а она споет и будет ей казаться, что она хоть и в подвале, но будто не в подвале, а где-то на лужке. Как на одной картинке изображали хор Пятницкого, ох, до чего же красиво! Артисты все в кокошниках, в сарафанах ярких, цветных, в сапожках сафьяновых, будто вышли из сказки про Снегурочку и Берендея... Идут красавицы цепочкой друг за дружкой, взявшись за руки, по зеленому лугу... И поют... Катя по радио слушала, а когда слушала, представляла их в таком вот хороводе.

*На закате ходит парень возле дома моего,  
Поморгает мне глазами и не скажет ничего...*

Она сделала паузу и снова прислушалась. Дышит ли? Он и в прошлый раз дышал... Она ему спела, он и успокоился. Может, и сейчас поутихнет?

*И кто его знает, чего он моргает...*

И замерла, потому что раздался громкий стук и прямо у ее ног упал камешек. Катя закрыла глаза от страха. Вот раньше кринку, а теперь камни кидает. Чего он, совсем спятил, не понимает, что с ней так дурить нельзя, она может и в обморок упасть!

Но в это время всунулась в окошко голова Костика и тем прикрыла бедный свет в подвале. Катя хоть и открыла глаза, полные ужаса, но ничего не увидала, так вдруг стало темно. Но она и чужой головы не увидала, только поняла, что кто-то еще в подвале объявился. А Костик со света тем более ничего не мог рассмотреть. Он услышал Катин поющий голос и понял, что она тут. Теперь затаилась, молчит.

— Хор Пятницкого, а не подвал! — сказал в темноту. Гулко прозвучало.

Но ответа не услышал.

— Молчишь? — спросил. — Чего молчишь-то?

Катя впервые вздохнула шумно и долго, как прежде вздыхал ее домовый. И еще вздохнула. А потом спросила,

надо же было что-то говорить. Неудобно молчать, когда тебя спрашивают.

— А это кто?

— Что? Кто? — спросил Костик в темноту.

— Со мной разговаривает... Кто?

— А кого ты ждешь?

— Никого, — отвечала она по правде. И спросила так странно, но она знала, что Он должен ее понять: — А ты... Это — Он?

Костику вдруг стало смешно. Он оттолкнулся ногами об землю и протиснулся в узкую щель. Не зазря же тренировался, залезая в узкий лаз танка.

— Я — это я, — сказал он, оглядывая подвал и пытаюсь угадать, где он, а где Катя. Попривык, присмотрелся и увидел, что она сидит на каком-то чурбаке и смотрит на него, широко открыв глаза. Так он и запомнил ее навсегда: ноги по-восточному под себя подсунула, руками живот обняла, сидит и смотрит... Аж глазищи сверкают! От страха, а может, от гнева, что он в чужой дом влез?! И теперь, когда вся его смелость растаяла, он стоял как дурачок посреди подвала и не знал, как себя вести.

Наверное, оттого голос его прозвучал чуть развязно:

— Ну, здравствуйте вам... Не признали?

— Здравствуйте, — сказала Катя без выражения, хотя, наверное, она удивилась, как же не удивиться, что он тут. — Константин Сергеич?

— Они самые... — И тем же нахальноватым тоном спросил, поинтересовался: — Как у вас тут? Не дует?

— Не дует, — отвечала Катя, погрустнев. — Как в мертвом царстве.

Хотела добавить, что в мертвом царстве все мертвое: и ветер там, если он есть, и сквозняк. А значит, дуть не может. Но не стала говорить. Зачем... Поймет, слава богу. А не поймет, не надо. Не дано. Да и не для него, а для себя, считай, говорила.

Но Костик понял. Он предложил:

— Хочешь... погулять?

— По-настоящему? — спросила Катя.

— Ну, конечно! По улице!

— Я сегодня одну улицу прошла...

— Гульнем, аж чертям жарко станет! Представляешь? — спросил он.

Но она покачала головой.

— Не представляю, Константин Сергеич.

И тут он тоже смутился, потому что тоже не представлял. Но знал, был уверен, что надо только вылезть из подвала, а там оно само по себе пойдет.

— Лезем? Ну? — предложил, указав на окошко.

— Нет, — сказала Катя и будто сжалась. Таким странным ей вдруг показалось это все, как представила, что оно возможно на самом деле.

— Что — нет? — загорелся Костик. — Не можешь? Или не хочешь?

И она опять сказала: «Нет». Даже разозлила его.

— Заладила как попугай! Нет, нет... Ты хоть другие-то слова знаешь?

А Катя почему-то снова, хоть это прозвучало ужасно смешно, а может, глупо, произнесла свое «нет».

Костик присел с ней рядом, подставив другое полешко, помолчал.

— Страшно небось... Так сидеть-то? — спросил, потому, что надо было что-то говорить.

— Нет, — в который раз ответила она.

— Тьфу! — произнес он, выходя из себя. — Ты как испорченная пластинка!

А Катя поднялась, дошла до дверей подвала, которые сама же за собой прикрыла, постояла в раздумье и вернулась на свое место.

— Все на меня кричат, — сказала спокойно. — Думают, что меня надо учить жизни. А я ведь ничего не прошу. Пусть все живут как хотят, только чтобы я им не мешала... Вот, залезла в этот дурацкий подвал... Оказывается, и тут мешаю...

— Не ври, — сказал Костик. — Тебя сюда посадили.

— Я сама себя посадила, — тихо возразила Катя.

— Неостроумно!

— А вам не понять!

— Где уж там... Поговорили, называется.

Но Катя произнесла после недолгого молчания:

— Зачем я сегодня яблоки взяла? По привычке... И сюда я по привычке залезла. Могла бы и не лезть. Зина меня не просила.

— Ну ты даешь! — воскликнул Костя, вправду удивляясь. — Выходит, сама провинилась, сама себя и наказала?

— А что тут смешного? Может, мне тут одной лучше? Зина ко мне не лезет, и Василь Василич тоже... — Катя посмотрела на Костика и отвернулась. — И вас, между прочим, я не звала.

— А я сам... Сам себя позвал... Сам пришел... Сам залез...

Катя снова посмотрела на него, теперь пристальней. И вдруг спросила:

— А зачем?

— Я-то...

— Вы...

— Зачем, что ли, залез?

— Да. Зачем?

Костик убито молчал. И вдруг прорвался:

— Хотел спросить... Ты его любишь? Или... нет?

— Это не я, а вы попутай, — сказала Катя. — Ладно, — решила она, вздохнув. — А если скажу, вы уйдете?

— Скажи, — попросил Костик.

— А почему вы, Константин Сергеич, не на работе? — вдруг поинтересовалась она.

— Вспомнил! Анекдот... Значит... Встречаются два приятеля, и один другого спрашивает, где, мол, работаешь? А тот отвечает: «В доменном цехе, на домино точки ставлю... А сегодня не пошел, потому что выпускают «пусто — пусто»... — и посмотрел на Катю, та сидела потупившись. — Не смешно?

Она покачала головой.

— Грустно. — И добавила: — Вы его так рассказывали, будто... Ну, у вас будто что-то случилось...



— А что у меня может случиться? — спросил Костик бодро-фальшивым тоном. Он не умел лгать. — Сам себя отпустил, сам себе не пошел... Шучу! — оборвал он себя. — Отгул, понимаете? У меня сегодня отгул!

И тут словно по ушам резануло: въяве услышал он голоса из цеха. Наваждение какое-то... Услышал, как Букаты распекал Силыча, а тот пояснял, что дома Ведерникова нет. А будто Швейк разговаривал с Толиком Васильевым, а он просил от имени Костика передать, что тот не придет... Не хочет! Надоело! «А совесть?» — спросил Букаты. И все стали повторять это слово на разные лады, аж уши заложило: «Совесть! Совесть! Совесть!»

Он ладонями зажал уши и глаза закрыл. А когда руки отпустил, то уже все кончилось. В растерянности огляделся: рядом сидела Катя и пристально смотрела на него. Он расслышал ее голос, может, она так и не прерывалась, говорила.

— Странный вы... Отгул... А со мной в подвале сидите...

— Я с тобой хочу гулять.

— В подвале-то? — спросила, усмехнувшись, Катя. — А я, наоборот, мечтала, что буду ходить по городу, сама... По улицам... Как все другие люди... Ходить, смотреть. Увижу одуванчик, сорву. Увижу кино, пойду. А потом, я слышала, продают мороженое, страсть вкусное, но я никогда не пробовала.

— И я не пробовал, — сказал Костик.

— Ну и пара у нас...

— Как два сапога! — Костя встал, за руку поднял Катю. Она стала вдруг тиха и послушна.

— Вот, — сказал он решительно и подвел к окну. — С этой минуты мы гуляем!

Сквозь узкое окошко они легко вышли наружу в теплый, в сквозной апрельский день. Собаки при их появлении не стали лаять. Но это было начало, потому что и далее им везло. Им так в этот странный день везло. Никто из

знакомых не встретился им, и никто им не мешал делать то, что они хотели.

Но что они особенно хотели-то: просто бродить по улицам, смотреть вокруг, любоваться весной. Еще мечтали они попасть в кино, и они туда попали. Хотя никто из них не знал, работает ли кинотеатр в дневное время, ведь не было у них прежде повода все это узнать! А потом они сидели на буторке за линией, уйдя далеко за станцию, и смотрели, как мимо проходят поезда.

Катя сказала:

— Давай уедем?

— Куда?

— Все равно куда. Лишь бы отсюда, чтобы ничего не помнить.

— А не жалко?

— Жалко, — сказала Катя. — Вообще-то мне Зину жалко... Она будет плакать.

— А мне маму.

— Что же делать? — спросила Катя. — Идти в кино?

Костя при слове «кино» развел руками.

— Все.

— Что все?

— Промотали! — и вывернул карманы наружу.

— Всю твою зарплату? — ужаснулась Катя. — Может, ты потерял?

— Я думал, что там что-то осталось, — удрученно произнес Костя, — но там ничего не осталось.

— Вы мот, Константин Сергеевич. Вы мот и гуляка. Сейчас будем считать, — деловито произнесла Катя и взяла щепочку. — Пишем: пятнадцать мороженных...

— Сколько? — спросил Костя, сраженный такой цифрой.

— Шестнадцать, — поправилась Катя. — А вообще, после того как вы девятое начали есть, я сбилась со счета. Я боялась, что вам будет плохо.

— А мне было хорошо, — подтвердил Костя. — Даже в пингвина не превратился!

— И живот не отморозил!

Костя постучал по своему животу и спросил, наклоня голову: «Эй, живот? Как живешь? Как? Не слышу! Громче! Еще хочешь? Да?»

И Кате:

— Он еще хочет! Он говорит: «Мороженого много не бывает».

— Катя засмеялась:

— Он у тебя рекордсмен и растратчик! Просадил на мороженом всю зарплату!

— А газировка? — вспомнил Костя. — Ведь была еще газировка!

— Была, — подтвердила Катя. — Восемь стаканов с сиропом и три без сиропа. И еще — штраф!

— Ах, штраф! — вспомнил теперь Костик, как же он мог забыть.

В том самом кинотеатре, где они четыре подряд сеанса смотрели сказку «Василиса Прекрасная», а потом еще довоенную кинокомедию «Цирк», он увидел цветок в кадучке, замечательный алый цветок, и, сорвав, поднес Кате. А его за этим делом и застукали! Но прежде-то он успел подарить. Как он сказал ей: «Разрешите, Екатерина Егоровна, поднести этот цветок в честь нашего с вами праздника, который называется «День чудес».

— Первый цветок в моей жизни, — произнесла Катя задумчиво.

— И первый штраф за цветы в моей жизни, — в тон ей, будто бы огорченно, но вовсе не огорченно, а счастливо, сказал Костик. Да и могло ли быть у него другое состояние, если весь день, такой замечательный, они побыли вдвоем.

Костик посмотрел на Катю и сказал о том, что он думал целый день.

— Знаешь, — сказал, — если меня за этот день будут казнить, я все равно не пожалею о нем!

— Я тоже! — воскликнула Катя. — Если даже на всю жизнь они посадят меня в подвал! Ты, Костик, самый замечательный в мире человек! Правда!

— Ну, что ты... — смутился он.

И даже отвернулся, побоявшись, что она увидит, что вовсе он не такой, каким себе представляет. Ему ведь говорили: от горшка два вершка, и еще так: метр от земли, если с кепкой...

Но Катя уже не смотрела на него. Она смотрела в ту сторону, куда начинало клониться долгое, терпеливое сегодняшнее солнце.

Сложив руки на груди, Катя сказала тихо-тихо вслед солнцу:

— Господи! Сделай так, чтобы этот день никогда не кончался! Ну что Тебе стоит, Господи! Ну часок, если нельзя день... Только часок, молю... Крошечный, крошечный такой часок...

И вдруг они неподалеку увидели Зину. Она держала в руках что-то похожее на веревку. Они даже не успели понять, почему же веревку, только Катя шепнула, холодея: «Идет!»

— Суд идет! — крикнула, запыхавшись, Зина, карабкаясь на бугор. И посмотрела при этом на Катю. — Спряталась, поджала хвостик, думаешь, не увижу? Нет, миленькая, я тебя даже на луне найду!

— Мы не прячемся, — сказал Костик, прикрывая собой Катю.

— Кто это мы? — передразнила Зина. — Мы — Николай Второй! Половину города бежала, в милиции заявление оставила, как хулиган наши яблоки обворовал... Но за ним тоже... И за тобой, и за ним...

И тут они увидели, что из-за ближайшей водопроводной будки выныривают один за другим люди, и первый среди них Чемоданов, потом Букаты, потом Силыч и мама Кости позади, чуть поотстав. А далее еще незнакомые...

Вот тогда они заметались. Они схватились за руки, и Костя быстро шепнул: «Летим!»

— Как? — в смятении не поняла Катя, огромное горе было в ее глазах.

Целый поселок бежал к ним, и все для того, чтобы их унижить, опозорить. И было понятно, что это сейчас у всех на глазах произойдет.

— Как в «Василисе», помнишь? — шепнул Костик и посмотрел в Катины глаза. — Мы же умеем, ну... Вспомни!

Когда толпа во главе с решительным Чемодановым, у которого в руках была двустволка, посверкивающая на солнце, стала взбираться на бугор, а запыхавшейся Зине оставалось до беглецов всего несколько шагов, они оттолкнулись и вдруг стали подниматься вверх, чуть наискось, по направлению к станции. Зина в сердцах швырнула веревку на землю и произнесла: «Ушли! Но я все равно догоню!»

Все посмотрели на Чемоданова и закричали: «Стреляй! Стреляй скорей! Они же улетят!»

Было сверху видно, как среди замершей на склоне темной цепочки людей стоит, широко расставив ноги, и целится в них Чемоданов, в шляпе, из-за которой не видно его лица, и в военном френче, сливающимся с буровато-зеленым бугром. Настоящая форма для охотника. Ружье он вскинул, уткнув приклад в плечо, а все кругом кричат: «Стреляй! Ну стреляй же, а то улетят!»

И он выстрелил.

24

— Ну, знаете, — произнесла, будто очнувшись, Князева. — Может, вы свои сказки оставите для других и расскажете, как на самом деле было? Подсудимый! Я к вам обращаюсь!

— Я рассказываю, — пробормотал Ведерников.

— Что вы рассказываете? Как вы летали?

— Да.

— И вы утверждаете, что это вам не приснилось?

— Нет.

— М-да, — промычал Зелинский. И уже обратился к свидетельнице: — Екатерина Егоровна... — произнес, заглянув в бумажку. — Вы не подскажете, сколько раз вы побывали в тот день в кино?

Катя стояла на сцене в своем коротеньком платьице и не знала, куда деть руки, в которых она сжимала платочек. Зал, прореагировавший раскатом смеха на откровение Ве-

дерникова, еще не успел успокоиться, хихиканье и смешки слышались тут и там.

— Во заливает!

— Это они вместе сочиняли!

— Насмотрелись-то сказок...

— Потеха!

— Чокнутого изображает, думает, скостят...

— Тише... Вы... Ничего же не слышно!

Катя между тем ответила, что в кино они вообще не были.

— Как? Ни разу? — спросила Князева.

— Ни разу.

— А мороженых вы сколько съели? — опять спросил Зелинский.

— Не ели мы мороженого, — опять сказала Катя.

— Подсудимый, — спросил прокурор. — Вы ели мороженое?

— Ели, — сказал Ведерников и повернулся к Кате. — Ты не помнишь?

Катя помотала головой.

— Ну в кинотеатре, там, в фойе... Где я цветок отломил...

— И цветка не было, — сказала Катя. — Ничего же не было! Мы вообще не выходили из подвала.

— Выходили! — закричал Костя и даже топнул ногой.

— Подсудимый, помолчите, — попросила Князева. — А что же было? — обратилась она к Кате. — Где же вы прогуляли день?

— Нигде, — ответила Катя и заплакала.

Она вытирала своим крошечным платочком глаза и сморкалась, а зал смотрел на нее, удивляясь такому странному ее рассказу. Вот когда говорил подсудимый, там все было ясно. Все, кроме того, что они взлетали. Ну ладно, влюбленные все летают, во сне, по крайней мере. Такая фантазия понятна. Но зато понятно и другое, как два шалопа, сбжав из подвала, развлекались по дешевке, пренебрегая коллективом завода (как Костя) или семьей (как Катя), и думали они в это время решительно только о своем

веселье и удовольствиях! В этом свете прогул Ведерникова подтверждал порочность цели, с которой он был сделан. А вот рассказ свидетельницы ничего не мог подтвердить, потому что она пыталась все это отрицать.

Решительно все.

— Умела развлекаться, умей и отвечать! — бросила ей Ольга из-за стола. — Мы все равно все знаем! И слезами вам тут никого не обмануть! Вы яблочками торговали?

— Нет, — сказала Катя, вздрогнув.

— Вот видите! — победоносно и громко сказала Ольга. — И даже ваша тетка подтверждает, что вы торговка! Поштучно. Не так разве?

— В тот день... Я... Не торговала... — отвечала Катя.

— А я вообще спросила! А не про тот или другой день... И не пытайтесь выкрутиться! Лучше все расскажите! — громко произнесла Ольга.

И Зелинский кивнул, он был согласен, что лучше сейчас рассказать всю правду. Сколько раз были в кино? Сколько съели мороженого? И цветок он не зафиксирован в протоколах, а надо бы! Антиобщественный поступок Ведерникова подтверждает лишь, что аморальность, если она есть, разлагает человека насквозь... Сперва цветок, а потом и на человека руку поднять ничего не стоит!

Но Катя молчала. А когда судья Князева снова обратилась к ней с вопросом, скажет ли она что-нибудь еще, она лишь помотала головой.

— Хорошо, идите, — сказала Князева. — Мы и без вас разберемся! Только учтите, что за сокрытие данных...

— Господи! — вдруг негромко, глядя в зал, произнесла Катя, и все затихли: так она это произнесла. — Называйте меня как хотите... И думайте что угодно. Но ведь правда... Правда, мы с ним никуда не ходили! Неужели вы не видите, что он еще маленький, что он все придумывает... Сочиняет...

— А вы целовались? — спросила вдруг Ольга. — Небось как взрослые?

Зал грохнул; вот он, наконец, счастливый миг, когда подошли к главному.

Катя потупила голову. Князева посмотрела на Ольгу и покачала головой: вот уж не к месту. Но Ольгу снова понесло, не удержать.

— А вы знаете, что поцелуй без любви, как сказала Зоя Космодемьянская...

— Ладно, ладно, — замахала на Ольгу рукой Князева. — Мы вас еще вызовем! Идите, идите... — это Кате. — И подумайте на досуге...

— Про поцелуй! Давай! — крикнули из глубины зала. — Нечего зажимать свидетелей! Пусть расскажут все как было!

И зал заорал, загикал, засвистел, выказывая свое неудовольствие уходом свидетельницы, которую спросили о поцелуе.

Но тут вдруг подсудимый Ведерников сделал шаг вперед.

— Замолчите! — крикнул он, сжав кулаки, и зал и правда замолк, но лишь на мгновение. — Какие вы... Какие сволочи! — добавил он, так и не найдя нужного слова.

— Это вы замолчите! — произнесла судья подсудимому. — Сядьте, пожалуйста, на место... — И к защитнику: — Посадите его!

— Но я хочу сказать! — настаивал Костик под общий рев зала.

— Скажете, когда спросят...

— Но я хочу о поцелуе...

— И о поцелуе тоже! Садитесь! Садитесь!

— Так вот, мы правда целовались... Но это было не в кинотеатре... Мы правда не ходили в кино... Мы сидели в подвале...

— Перерыв! — крикнула в зал Князева и постучала по графину. — На де-ся-ть ми-ну-т! Пе-ре-рыв!

25

— Вот, — сказал решительно Костик. — С этой минуты мы гуляем! Кино днем работает?

— Не знаю, — сказала Катя.



— Значит, работает. Покупаем билетики... Проходим в зал... Садимся в первом ряду...

— В третьем, — поправила Катя,

— В первом видней... Ладно... В третьем... — Костик, изображая кино, сел на полешко, но тут же стукнул себя по лбу. — Ох, а мороженое?

Он полез в карман и якобы достал деньги.

— Пятнадцать штук хватит?

Катя впервые улыбнулась. Игра ей начинала нравиться.

— А живот вы не отморозите, Константин Сергеич? Вы их глотаете, да?

— Ой, это я на кино загляделся, — сказал Костик. — А какое у нас кино?

Катя задумалась. Вспомнила.

— Кино пусть называется «Цирк»! Вы видели? Там Любовь Орлова перед полетом из пушки танцует... Вот так...

Катя вышла вперед, будто она и была Любовь Орлова, в черной шляпе и золотом трико, в сверкающем волшебном плаще. Она накинула на себя мешковину и залезла на пенек, потом сбросила и запела: «О Мери! Мери, чудеса! Летит Мери в не-бе-са!»

И вдруг покачнулась, и если бы Костик не подставил руки, она бы грохнулась головой об пол. Теперь они стояли, невольно обнявшись, и не торопились отпустить руки.

— Ой, — сказала Катя, натянуто засмеявшись. — Как это я... Не удержалась...

— Я сильный, удержу! — сказал Костик.

— Правда?

— И никому не отдам... Всю жизнь...

Он поцеловал Катю, а она вдруг заплакала.

— Катя! Катенька! Я тебя обидел?

Она помотала головой.

— Ну, честное слово... Я не хотел... Я не думал... Так получилось само, что...

В это время раздался стук в дверь. Оба притихли и будто сжались. Они давно забыли, что кроме них и подвала существует в природе другой, более реальный мир

и он вовсе не собирался их оставлять в покое. Во всяком случае, тетка Зина.

— Открой, — сказала она. — Ты с кем там разговариваешь?

Катя помолчала и ответила, глядя на дверь:

— С собой... А что, нельзя? Я вам и здесь мешаю?

— Да, мешаешь, — повелительно сказала Зина. — Открой-ка, поговорим!

— Не хочу.

— А ты через не хочу. Мне тоже небось не очень нужно. Но я же пришла... Сама... — Катя молчала. — Открывай давай. Дело есть.

Катя показала Костику на окошко, и он понял. Быстро подцепился, и через несколько секунд его не было видно. Катя посмотрела ему вслед, поправила волосы и платье на себе, потом подошла и с неохотой отодвинула задвижку. Зина стояла на пороге, щурясь и пытаясь разглядеть внутренность подвала. Может, она что-то заподозрила.

— Чего залезла-то? — спросила миролюбивей. — Хочешь доказать Чемоданчику, какая я злая... Несправедливая... Вот, мол, смотрите, люди добрые, Зина уже и не сажает, так я сама... Разнесчастливая... Сама сюда лезу...

И тут она всхлипнула.

— Ну, теть... Зин... — попросила Катя, совсем не зная, как теперь вести с ней себя. Со злой — знала, а с доброй — нет. Ведь и правда же, не сажала ее Зина, и значит, не была виновата ни в чем. — Я, наверное, глупая... Я сейчас поняла... Но я же хотела как лучше... И тебе и мне...

И тоже всхлипнула. Так они стояли на пороге погреба, уткнувшись друг другу в плечо, и ревели, а почему ревели, спроси, и сами не смогли бы объяснить.

— Одному Чемоданчику лучше! — сказала, сморкаясь, Зина. — А мне-то чем? Я ведь не чужая... Только я жить не умею... Когда твоя мать умерла, я пошла в буфет, думала, хоть при продуктах будем... А когда обокрали, я и испугалась: посадят, а выйду из тюрьмы совсем старухой... Кому буду нужна? Ну и... — Хотела произнести слово «запродалась», но махнула рукой. И так было понятно.

А Катя терпеливо стала утешать Зину и говорила:

— Зин, ты не думай... Я все сделаю... Я же понимаю...

— Если бы! — сказала, глубоко вздохнув, Зина и вытерла передником лицо. Была она в фартуке, видно, что-то наверху готовила. — Это я, Катя, все сделаю. Я оформила документы на Толика... На дом, на наш... Но я не отдала! — И со страхом ждала Катиного ответа. Вот уж очевидный факт — дура девка, а за советом к ней прибежала, а не к кому-нибудь. Верила, значит?!

И Катя миролюбиво ответила:

— Вот и хорошо. Хорошо, Зина. И отдай! Отдай ему!

— Думаешь, не обманет? — испуганно спросила Зина.

— Он же тебя любит.

— Правда?

— Ну конечно. — Катя была убеждена в том, что сейчас говорила. И еще она знала, что Зине надо говорить о любви Толика. Она, Зина, верила в это. Другого у нее не было, зачем бы ее разубеждать!

Зина огляделась, глаза-то по привычке, почему-то взглянула на окошечко, куда недавно скрылся Костик, осмотрела с ног до головы племянницу.

— Ты вот что... Отряхнись и выходи. Чемоданчик ходил к дядьке твоему... К Букате... Сердитый вернулся... Тебя спросил, а я возьми и соври, мол, к соседям побежала... А он вдруг и закричит: «Это у нее там хахали! Хахали! Я все знаю!» А что он может знать! Дурак!

Тут она насторожилась, потому что послышался ей голос Василь Василича.

— Бегу! А ты приходи! Только почисться, а то вся в пыли... Фу!

И Зина ушла. Тут же всунулся в окошко Костик, что-то протягивал, держа на ладони.

— Тебе, — сказал он и подул, как дуют обычно на птенцов. И тут она увидела, что это крошечный желтый одуванчик.

— Одуванчик? Первый? — она приняла на свою ладонь и погладила как живого. — Спасибо... — тихо сказала она. — Первые цветы в моей жизни... Я знала, что дарят... Но я не

знала, что мне... Что я... Что я имею право, вот так... Получать... — и запутавшись, она чмокнула Костю в щеку.

Он тоже попытался ее поцеловать, но она отстранилась.

— Не надо, — попросила.

В это время голос Зины со двора, видно, второй раз спускаться было лень, окликнул Катю, скоро ли она собирается выходить... Чемоданчик лютует...

— Вот. Слышал? — спросила она шепотом Костика.

— Не пущу, — отвечал он.

— Ну, что ты...

— Ты меня знаешь, — предупредил он. — Я же сказал: не пущу!

Катя оглянулась на дверь, подошла и заперла ее. Потом вернулась к Костику и взяла его лицо руками. Гладила и повторяла:

— Ты же самый хороший... Ты самый любимый... Мой... Только не надо меня держать... Я должна идти.

Он поддался ее ласкам, но повторил:

— Не могу отпустить! Не могу!

— Тогда еще хуже будет... Милый!

— Катерина! — крикнула Гвоздева и постучала в дверь. — Иди скорей, там еще дядя пришел... Скандал!

Катя схватилась за голову и засуетилась, уже не видя Костика.

— Ой, одно к одному... Одна беда не ходит... Другую тащит... Сто лет он не заходил, и в такой-то день...

Остановилась, в отчаянии посмотрела на Костика, который встал у дверей и не спускал с нее горящего взгляда.

— Прости! Прости! Ну хочешь, жди меня! Только не здесь! Здесь они тебя увидят... Они расправятся... Около дома жди! Ладно?

— Когда? — спросил Костик, уступая. Хотя все говорило ему, что не надо сейчас уступать.

Не надо. Не надо. Не надо.

— Не знаю, — торопилась Катя. — Ничего не знаю! Прощай, родной! Прощай, милый! Прощай!

Катя выскочила во двор и тут, у террасы, замерла, заведя собак.

Подумалось вдруг, что столько от утра прошло времени, а ничего в ее мыслях не изменилось и она сейчас по-прежнему думает лишь о том, что не знает, как ей дальше жить. То есть знает, что жить не надо, потому что всем от этого хуже... И Зине, и Костику, и дяде, наверное... Вон, сам притащился... Стемнеет, подумалось, она в спасительный свой вернется подвал... Там, за бочкой, веревка у нее... и... «Мери, Мери, чудеса, летит Мери в небеса...»

26

Наверху, на просторной террасе, замученная, засученная в своих собственных растрепанных чувствах Зина в который раз ставила самовар, пытаясь и чаем, и водкой, и согласными словами ублажить, задобрить Чемоданова.

И что с ним произошло? Уходил, она, правда, не видела, но был в порядке. Она уверена, что с утра он был в порядке. А вернулся как чумной. Психопат, словом. Прямо от дверей пошел шуметь, что она, мол, Зинаида, не знает, где шаландает ее Катька, а кругом шпаны много, и все остальное, такое же. Уж Зина старалась помягче стелить, умащивала и всякие слова про Катино воспитание говорила, что с ее-то напуганностью некуда ей уйти, — он не затихал.

Зина решила: пусть Василь Василич сбросит лишний пар, а то раскипелся, как тот самовар, того и гляди, расплавится! А пока сходила за Катериной, сказав, что понадобится, и попросила девку выйти из своего добровольного заключения... Не терпится ее новобрачному посмотреть на невесту, так пусть глядит сколько влезет: удовольствие-то небольшое!

Сказала Катьке, а сама самовар раздула. Заварила чаю с мятой и села сама пить. Чемоданов же пить отказался.

Перестал шуметь, стал ходить. За спиной у Зины ходил, гремя сапогами: от стенки до стенки. Все копил про себя, все выдерживал да за стекло поглядывал: не идет ли? Не выдержал и сказал прямо ей в затылок:

— Ты это нарочно, да? Я знаю, что нарочно... Как утром на твою физию поглядел, понял! Недолюбливаешь, Зиночка, ты меня!

Она продолжала молчать, уткнувшись в блюдце. А он кого-то за стеклом увидел, напрягся, но понял, что не Катька, спросил рассердившись:

— А это кто пошел?

Зина подняла голову, но никого не было видно за деревьями. Может, и проходили, не без этого, разве за всеми уследишь.

— Не знаю, — сказала. И снова воткнулась в блюдце. — Улица. Кто хочет, тот и ходит.

— А чего смотрят? — допрашивал Чемоданов.

— Да кто ж смотрит-то? Никто и не смотрит, — отпиралась Зина, но лениво так, чтобы вовсе не разозлить гостя.

А он злорадно настаивал, что смотрят, что не улица тут, а проходной двор, и все небось к Катьке шастают, у них и знак какой существует тайный, что посмотрят издали и узнают, можно или нельзя им заходить...

«Вот сдурел на старости лет», — подумалось Зине. Никогда она не слышала про какие-то тайные знаки. Это от головы дым пойдет, если заранее все такое придумывать, как в кино... С ней, правда, было раз, когда заночевал командированный, а тут этот скаженный Лешка приперся, а ведь не ждала его, потому что он накануне надрался сивухи и был неведомо где. Так она и того и другого по разным местам разложила, а сама отдельно легла. А утром им бутылку одну на двоих поставила, и оба познакомились и довольны были... Но знаки... Господи, это у Чемоданова от затмения, не иначе!

— Ты что, спятил? — спросила она его. Но опять миролюбиво спросила, чтобы до конца не злить.

Но он продолжал горячиться:

— Не хочу быть в дураках! Поняла?

— Не кричи, — сказала. И стала наливать новую чашку. Налила, заварила и только после этого изволила ответить: — У Катьки сроду никого не было... Да и откуда? Она кроме рынка да вот этого, — кивок на стол, но подразумевался дом, конечно, — нигде и не бывает. Я даже хотела, чтобы она не была такой чистой, все равно испортишь!

Хотела Зина еще про подвал добавить, но не добавила. Вдруг да сообразит. А Зине в тот ее заход показалось, она еще у дверей ухом прикладывалась, что и вправду кто-то с Катькой там говорил... Будто голос несхожий, хотя когда Катерина свои сказки про разное говорит, она так иной раз себя изменит, что удивляться приходится... Артистка... И Зина, как ни всовывала в щель ухо, так и не поняла, что за голос, чей он, откуда... Сама себе не поверила: надо знать Катьку, чтобы понять, что ни с кем она не станет говорить! Пуганая девка-то! Настороженная к людям! Да еще Зина и к окошку приглядывалась в подвале: не пролезет в него нормальный человек... Никак не пролезет.

Чемоданов нарушил ход ее мыслей. До него, видать, долго доходило, что испортит он девку, но дошло.

— Ага! — крикнул. — Я говорил, что не любишь! И они, — кивок в сторону калитки, — тоже не любят... Даже собаки против меня! Все!

— Садись, попей чаю, сейчас она придет, — утешила Зина и пошла на улицу, понесла собакам воды налить. Налила воды и крикнула так, чтобы на террасе не слышно было, мол, Катька, выходи, а то Чемоданчик твой совсем того... И вернулась с пустой миской... И он опять к ней, и все одно, все одно...

— Скажи, Зиночка, — твердит. — Я тебе что плохого сделал? Я виноват перед тобой? Так в чем? В том, что вытащил из тюряги?

Зина пила чай и не отвечала. Решила молчать. Меньше придинок.

— Или этому, прохиндею... Толику?

— А он-то при чем? — не выдержала Зина.

— Чувствую, — сказал Чемоданов. — Он меня тоже не любит! И Буката твоя не любит... Я тут в поселке, как волк, флажками обложен... Я ведь бояться начинаю... — И снова на окно. — А это кто пошел?

— Люди.

Зина и смотреть теперь не стала. Разобиделась за Толика.

— Почему же это Толик стал прохиндеем? А? — спросила уязвленно.

— На роже написано, — пролаял Чемоданов и вдруг, углядев в который раз кого-то за забором, выскочил на крыльцо и закричал на весь сад: — Ну, чего уставились? Не видели, как люди чай пьют?! Не водку! А чай! Может, стаканчик поднести? А? — Вернулся, сел и, набычившись, стал смотреть на свое отражение в сверкающем самоваре.

— Налить, что ли? — спросила Зина и, приняв молчание за согласие, стала наливать ему чай.

Он не ответил на вопрос, думал о своем.

— Всем... Ну всем надо в твое нутро заглянуть... И не просто, Зиночка, заглянуть, но и плюнуть уж заодно! — Принял от Зины чашку, пригубил, отставил. — Скажи... Зиночка... Ведь чем к людям лучше, тем они к тебе хуже, а? Ведь я жил, зарабатывал, продавал, покупал... Но я никому не мешал! Это мой принцип: никому не мешай жить! А вот твоя Буката мне вопросик подкинул, мол, где работаешь, Василь Василич... А Василь Василич на железнодорожном транспорте по интендантской части... Скажи так, не поймет! А ведь армия и есть армия, и все у нас по-фронтовому: и бомбят, и в окружение один раз! А что я ловчее других-то оказался и понял, где, никому не мешая, свою выгоду найти, так за это меня не казнить, за это награждать надо! Казнить надо тех, кто ленив, причем для себя ленив! Они мешок картошки в вагон на станции втащить да перевезти за труд почитают! А я не ленив! Так мой покойный прадед с такими замашками в купчишки вышел и семью свою из крепости откупил... И никак его



дармоедом не звали: он моему деду в наследство фабрику оставил. А теперь что ж? На печке сидишь, ждешь, когда пироги сами поспеют: хорош! А в поле вышел пахать, так кулак! А не дай бог, соседу помогнешь, так классовым врагом назовут и к стенке приставят! Мироед, скажут, ату его! И в продаже те же штучки: не поленился, купил ларь для продажи — спекулянт! На народном добре нажился! Да не надо мне вашего добра, у меня своо — во! Только не могу я сидеть на печи-то... Лень мне ничего не делать-то... Винт во мне такой, что двенадцать часов вертеться готов, лишь бы при деле... Причем всем от меня польза. А уж как начал вертеться, так деньги поплыли, нужно быть вовсе безмозглым, чтобы не видеть, как они там и сям без пользы лежат, чтобы совсем мимо рта ложку-то не носить! Вот, Зиночка, даже порой интересно, прямо спорт такой смотреть: как идет человек, а денежка на пути... Наклонится он или не наклонится за ней... И ты — вижу, вижу! — готова подсказать: кто ж не наклонится, если кошель на дороге положить? А вот те — и нет! Пройдет! Потому как нагнуться надо, и не дай бог, кто увидит! Отнимут, обвинят, а то и ограбят... А идти просто да ногой пхнуть — еще и молодцом назовут, вот, мол, каковы мы... Широкие... Плевать нам, мол, на это добро! А он так проплюет свое и чужое, то бишь государственное. А в конце-то хватимся — пусто... Не хозяин в доме, а дармоед на печи, который уж давно мечтал так жить, и в сказке про Емелю все это привлекательно даже выложил... Расписал... Он к царевне на печи поедет, и детей-то, вот смех, рожать придет время, он дворне прикажет... Ха-ха... На хрена ему свои органы затруднять, прикажет, и опробуют ему ту царевну... — Чемоданов закатился, очень даже ко двору шутка придуманная пришла. Он отсмеялся, но не забыл своей мысли, которая буравчиком в нем остреньким сверлилась... — Дармоеда-то и растим! И кого поспоривстей, того гоним... Унижаем... В подполье, считай, загнали... При всех унизили! А разве мой прадед крепостной смог бы спину-то расправить, если бы из него пугало-то в то время сделали? Если бы ему руки в инициативе связали? Вот ты мне ответь!

— Значит, прохиндей? — спросила Зина. Чемоданов с недоумением уставился на нее. Он-то себя вывернул, всю свою философию со зла наружу выдал, а она... Нашел перед кем бисер метать!

— Ты меня не слушаешь?

— Отчего, — сказала Зина. — Ты говоришь мне, что Толик прохиндей. Так? А я слушаю. И думаю, какая же я дура! Ты вот, Чемоданчик, никому не веришь! Всех боишься! Правильно я тебя слушала? Вот, поняла! Ты со всеми в войне! И с Толиком! А я всем верю... И тебе, и Катьке, и Толику... А разве мне от этого лучше? И тебя обманывают, и меня обманывают... Одинаково, выходит?

Но из слов про обман разобиженный на невнимание Зины Чемоданчик ухватил лишь близлежащее словцо про обман... Заслышав, подскочил и тут же потребовал:

— Кто меня обманывает? Катька меня обманывает? Ты на кого намекаешь, Зиночка?

Но Зина не ответила. Молча встала и вышла. В этот момент и появился Букаты. Сам пришел.

27

Букаты до последнего момента не знал, как ему поступить: идти ему сюда или не идти. Уж очень двусмысленно все выглядело, если он соглашался на разговор с этим преступным Чемодановым. Но день складывался на редкость неудачно: центровщик не обнаружился, начальство волновалось, а техника, ее выпуск затормозился. Вот и решил он сам в перерыв к Ведерниковым домой сходить, поговорить с матерью Костика и все, что возможно, выяснить. Для лучшего воздействия Ольгу Вострякову захватил да послал вперед, сейчас, мол, догоню... Пусть поговорят, как баба с бабой, у них между собой это всегда лучше выходит. И получилось, что не старался, но все равно зашел к Зине, для того и зашел, чтобы не было этой самой надежды на него, в том смысле, будто он может поддержать всякое такое беззаконие. Вот каков был его окончательный результат. Но результат!

А каких сомнений мучительных он стоил, знал только сам мастер.

Чемоданов все понял по-другому (и прав по-своему был). Он обрадовался, поднялся навстречу, встретил гостя на крыльце.

— А я знал! — воскликнул, повеселев. — Знал, что придешь! Папашка!

— Ты знал, а я не знал, — буркнул Букаты и оглянулся. — Где Зинка? Племяшка?

— Сейчас они придут, садись, — предложил Чемоданов и сам стул поставил. Букаты будто стула не заметил и сразу начал:

— У меня времени мало... Ну и хорошо, что их нет. Мужской, знаете, разговор...

— Мужской — всегда хорошо, — согласился Чемоданов и уже рукой показал на стул. — В ногах правды нет, будьте добры!

Букаты оглянулся на дверь, на окна и, решившись, сел, но так неудобно сел, на самый краешек, чтобы вовремя успеть вскочить. Стоя, по всей вероятности, чувствовал он себя тверже.

— Я в цехе с мужчинами привык больше... — как бы повторил он, приноравливаясь к себе, к своим мыслям и беря нужный тон. — С бабами же, с ними всегда проблемы... То роды, то любовь... А то что и похлеще...

— А ведь правда! Папашка! Может, чаю? — спросил Чемоданов. Он весь был внимание, благодарный Букаты за этот приход, означавший уже какое-то между ними согласие. А то, что сердится тот, упирается и привередничает, так он и должен таким быть. Не может настоящий мужчина сдавать своих позиций без боя. Вот как он все понимал. И шел сейчас во всем навстречу мастеру, давал ему возможность отступить почетнее.

Букаты от чая отмахнулся:

— Да нет... Я один живу, так от этого чая... Ладно. — И вернулся к своей теме: — Я, значит, про завод... У нас недавно мероприятие было: деньги вносили на танковую колонну... — Оторвался от стола и вскинул жестко зрач-

ки — прямо как шурупамии воткнулся в собеседника! — Ты когда-нибудь вносил деньги на колонну?

Чемоданов кивнул: вносил то есть. Но поскольку вопрос у Букаты был прямо с ответом и прозвучало так, что, может, и не вносил, или даже: точно, мол, знаю, что не вносил, — Чемоданов для солидности паузу сделал, и папироску достал, и закурил, и уж потом не спеша произнес, что дело это всенародное и он, как любой патриот... Только у них сбор был последний раз на эскадрилью Кожедуба, а до этого на военный санитарный поезд для раненых... И уж напоследок он сумму назвал, чем и поставил точку.

Не верить ему было при таких подробностях нельзя.

Букаты поверил, во всяком случае, хоть и не хотелось ему знать, что этот щелкопер может с ним на равных в таких благородных делах быть. Да чего в наше военное время не бывает! Американцы, капиталисты, считай, и тех проняло, яичный порошок шлют да еще спасибо по-русски говорят... Отчего же свой брат, нэпман, не отложит толику, не отвалит от своего пирога кусочек...

Вот так Букаты повернул про себя ответ. Но мысль его текла дальше. Он торопился ее до прихода хозяйки выложить.

— Ну а я собирал... Главный, так сказать, по заводу... Знаешь небось, как это делается? Назначили меня от Наркомата обороны ответственным и полномочным за этот самый сбор...

Букаты сказал это с достоинством, даже важно, но скрыл, что в свое время растерялся, когда это произошло, хоть и принял назначение безропотно: надо — значит надо! Святое дело — деньги для фронта! Вывесил плакат, митинг собрал и тут же, после митинга, велел записывать свои средства, а в таблице ставил цифры, чтобы лучших взносов на красную доску и в газету вывесить.

Несли люди сколько могли, кто много, кто меньше, но куча росла, и уж некуда было ее девать, и ящичек, который захватил из конторки непрактичный мастер, скоро заполнился, и рядом уж не помещалось... Тогда догадался

кто-то из рабочих, притащил для рынка захваченный мешок из-под картошки... Пыль выбили да и стали туда валить! Целый мешок доверху и навалили! От всего цеха полмиллиона вышло! Никогда он таких денег прежде не видал: даже издали, не только вблизи! Поставил в своей конторке, прямо рядом со знаменем, а тут как раз генерал приехал, и залихорадило завод со сдачей танков, не до почетного эскорта с машиной да знаменем, как это полагалось делать! Сунул он мешок в свой рабочий шкафчик, где одежда висела, и не вспомнил о нем. Только сегодня вспомнил...

— Сегодня вспомнил... — сказал Букаты и кряхтя поднялся. Но снова сел. Мысль невысказанная, видно, его угнетала, не давала спокойно отдыхать.

Чемоданчик с вниманием, даже большим, чем прежде, слушал, наклонив к нему голову, а на этой паузе подхватился и торопливо, но деловито вставил:

— Я слушаю, папашка! Ты докладывай дальше! Что ты вспомнил? А?

Букаты слышал или нет, но вздохнул, видно, припоминая, как он листал списки сдатчиков, скользил глазами по знакомым фамилиям, пытаюсь угадать, догадаться, чего кому стоило отдать свои сбережения, а то и зарплату для этой боевой колонны... И кто сколько недоест, недопьет, то есть еще больше, как обычно, — так надо ставить вопрос... Еще больше недоест и недопьет. И так ведь хлебали баланду да чайком перебивались, именуя его по привычке жареной водой... Будто бы так сытнее! Как и чай, то бишь кипяток, прозывали в шутку «белой розой». Оттого, мол, и чай-то белый, что заварен «белой розой»... Пусто, а с названием-то вкусней! Но не о том речь... Не о том...

Подошел он сегодня к мешку после их разговора с Чемодановым и взвесил на руках. Полмиллиона... Лежат, считай, посреди цеха, поставь — у всех на глазах — не возьмут... Фронтовые, посудить, деньги! Да что рубли, он за свои тридцать лет и гайки не вынес, разве с дому что несут... А цех и есть для него дом... А тут, значит, поставил он мешок перед собой на стол, стал на него смотреть. Смо-

треть и думать. Вот, мол, полмиллиона. И столько же стоит моя племянница... Так как же возможно, что этот мешок с мертвыми деньгами, если даже они в труде взяты, можно с живым человеком сравнить! Бумажка, даже самая ценная, все равно только бумажка! Не может она ценней человека-то быть! Не может, ведь правда?!

Это он не спросил, то есть не Чемоданова спросил, а себя, как бы рассуждая сам с собой. Он за своей исповедью про Василь Василича словно забыл и про то, где сидит, забыл, вздрогнул, когда Зина у него за спиной появилась.

— Здравствуй, Илья, — сказала. Будто он всю жизнь к ней приходил. Даже удивления не выразила.

А Чемоданов на ее появление так объявил:

— Садись, Зиночка... Послушай, как меня тут в упор расстреливают... Казнят!

И усмехнулся, с любопытством поглядев на Букаты. Допер он, к чему этот железный старик ведет речь, хоть и не знал финала. Но суть он схватил. Ему даже интересно стало. Противник-то, выходит, пришел не сдаваться, биться пришел, а значит, вызывал у Чемоданова встречное уважение. Хоть вредный он старик, ясно.

Но и Букаты оценил собеседника тем, что одобрительно протянул свое «если бы...», давая понять, что тот недалек от истины, и он, Букаты, пришел с намерением решительным, и каждое его слово, как деньги в том мешке: высчитаны и взвешены и самоценны. И он, чем положено, оплатит.

— Если бы, — повторил он. И перевел суровые глаза на сестру. — Пусть слушает. Может, поумнеет... И вот странные мысли меня одолели: «А что, — говорю я себе, — Илья Иваныч, если взять этот проклятый мешок да, к примеру, украсть?»

— Какой мешок? — спросила Зина, но думала она о своем и была будто расстроена.

— С деньгами, — подсказал Чемоданов И подмигнул. Ему старик начинал нравиться. «Занятная, выходит, Буката», — молвил про себя.

Но тот не принял тона и к Зине, к ее вопросу, отнесся сурово.

— Молчи, Зинка! — цыкнул на нее и по столу пальцем, как некогда родитель, постучал. — Тебе теперь только молчать надо. А то и... вон пойди! По этому... По своему хозяйству!

Чемоданов защитил Зину.

— Зачем же, — покладисто сказал он. — Ей полезно знать, с кем она тут породниться собирается... — Но вспомнил про Катю, и голос изменился: — А ты ее... нашла?

— Нашла, — сказала Зина. — Катя сейчас переодевается.

И будто не о ней спорили, решали, присела, придвинула к себе свою чашку с остывшим чаем.

— Пусть переодевается, — как постановил Букаты. — У нее свое дело, а у нас свое...

Помолчал и продолжил. Сбить его с курса было нельзя. Он шел, было понятно по его виду, как на таран, наклонив голову, белую, остриженную коротко. «Сам из металла, и волосы как из проволоки», — подумалось Зине, и сердце ее сжалось от предчувствия. Но он сейчас никого не видел и ни к кому не примеривался, и казнил он других тем, наверное, что пока-то на их глазах себя на площадь и на позор выводил. Но им до конца это еще не видно было. Сработало предчувствие у Зины, только и всего.

— Так вот, мысли, значит... Взять и свистнуть, говоря блатным языком, эти трудящиеся деньги... Их на танки пустят, в железо превратят... А тут человек... Девка... Но все равно... Так танков за войну мы столько наклепали, что всю Европу ими заполнить можно... Да уж и заполнили... А девка-то у меня одна! Перед которой я кругом виноват, потому что упустил... Не думал, что ее продадут да купят.. Пропадет моя племяшка!

Тут Зина не выдержала, чтоб при ней такие слова говорили.

— Ты что, Илья! — с места в голос, в скандал. — Ты думаешь, что говоришь?

Но брат на то и брат, с ним не поговоришь. Особенно когда он такой, как сейчас: крут и беспрекословен. Стукнул по столу, чашка полетела на пол.

— Молчи... Твою мать! — рявкнул. И сам замолчал. Плохо ему стало. Схватился за сердце, Зина про эту болезнь давно знала. Нервы у брата ни к черту, и все его беспокойства сейчас ему выйдут боком. Не надо было ему приходить. Сбегала, налила валерьянки, из своих рук дала отпить.

Он смущенно пробормотал, отпивая, что вот... Давно болит... А сегодня из-за центровщика... Одно к одному... Вот пошло вразнос... И, уже отходя, добавил, что некогда с ним чикаться, с сердцем, черт с ним, со старым... Не железное же оно, впрямь...

— Может, тебе пора помолчать? — спросила Зина. И Чемоданов добавил, что поговорить они успеют, важно успокоиться. Здоровье-то превыше всего. Букаты головой покачал:

— Нет. Не успеем. Я чувствую... Да я уже в норме, — добавил. — В норме... Это все от моей вины. Если бы не болело, было бы хуже. Я мог бы и правда решить, что оно железное! — И замолчал, размышляя. — Так вот, хожу я вокруг, смотрю на мешок, а рядом ребятки... Ученики все мои... Одного из них мы Силычем зовем... У него руки так устроены, не как у моего центровщика, которому бы на скрипке играть Ойстраха... А у Силыча — сила, он кувалдой орудует... Ну и бригадир, он же бугор по-нашенски. Однажды заклинило на башне люк во время приемки. Так он спиной уперся и чуть не вышиб его, только радикулит после, позвонки у него хоть и крепкие, но тоже погнулись... А он лезвие бритвы в кислоте, в «царской водке», расплавит и натирает позвонок... Но силу он сохранил... — И тут Букаты пристально, не отрываясь, посмотрел на Чемоданова. — Локтем походя зацепит, так ребра как не бывало.

— Ты что это, Илья, — опять вступилась Зина, почувствовав угрозу. — С ума, что ль, сошел? Ты же не убивца какой!



Но Чемоданов ее остановил:

— Пусть, Зиночка, выскажется. А мы послушаем.

Букаты кивнул, согласился.

— Сошел... В том-то и дело! Если уж меня довели до того, что стал о таком подумывать... Не попросить ли Силыча-то постоять вечерком у этого заборчика...

— Илья! — крикнула Зина.

— Не кричи, — попросил он. — Не кричи, Зинка! Я же рассказываю, значит, не попросил. И не украл мешок... И не попросил... Я сам пришел просить... Вот его...

— Поздно ведь, — устало произнесла Зина и, чтобы прекратить это самоистязание, стала прибираться на столе, что означало: хватит разговоров, пора и время знать. Не думала она, что так у Букаты может далеко это зайти. Молчал, молчал да выдал. Лучше б уж молчал!

Но Чемоданов Зининога намека не понял. Не захотел понять. Внешне он был спокоен, но, видно было, завелся.

— Почему же меня? — спросил впрямую. — Просить?

— А кого? — вскинулся Букаты. — Ты у нас тут — бог! Пришел, а может, приехал... Всех победил! — Он машинально взялся рукой за сердце, но, предупреждая Зинино вмешательство, так на нее посмотрел, что она и про посуду забыла, села, глядя на него с испугом. Он продолжал громче: — А я седой человек, старый дурень, к моим годам ничего и не нажил, и не имею, кроме мешка с чужими деньгами... Который, вот беда, вот несчастье-то, я и украсть не умею... Так я тебя прошу... Боже... Не губи ты нас... Всех нас... Зинку-дуру, она все-таки глупая, но добрая! И меня не губи, и Катьку... Хочешь, мы у тебя все прислуживать станем. Ну что захочешь, боже! Что захочешь...

Тут Букаты лицо руками закрыл и на колени опустился, а потом упал.

Зина всплеснула руками, вот до чего дошло, и бросилась к лекарству, потом к Букаты... А тут вдруг Катя вошла в пестреньком новом платье. И она бросилась к дяде, пронзительно закричала:

— Дядя! Дядя! Ну помогите же! По-мо-ги-те!

Букаты вывели под руки на улицу, рубаху расстегнули, отпоили, успокоили. И уже через пятнадцать минут он сидел на скамейке в саду, а рядом сидела Катя в качестве сторожа, чтобы он по глупости и по характеру не вздумал уйти. Хоть порывался он, ясное дело.

Катя повторяла:

— Вам, дядя, нельзя. Еще нельзя. Посидите.

— Работа же, — сказал он. Короче и не скажешь. Все в одном слове.

— Подождет ваша работа, — отвечала Катя, но держала крепко и даже встать не давала. Прямо-таки висела на руке.

Он вздохнул, но руку выдернул.

— Не бойсь... — произнес. — Не убогу. А вот работа... Тут уж не спрашивают, чтобы ждать...

— А сердце?

— А танки?

— Но без сердца какие же танки? — спросила Катя.

— Нет, Катька! — Он насупился, покачал головой. — На войне как на войне. Кто способен, тот еще воюет. А кто не способен...

— Но вы же не способны...

— Вот, — кивнул. — Кто не способен, как смертельно раненный все равно, тот венок себе заказывает... Туда! А я, племяшка, я еще себе кажусь способным!

Тут он встал такой решительный, что Катя поняла — удержать его не может.

— Но хоть помогу... — И оглянулась, тут уж с террасы бежала Зина, чтобы тоже помочь.

— Илья, — произнесла. — Ну еще десять минут... Ведь что случится дорогой...

Он отмахнулся и пошел, придерживаемый Катей, только пробормотал:

— До смерти ничего не случится... Бывайте!

Но тут появился Чемоданов. До поры он к Букаты не подходил. С тех самых пор не подходил, как помог вывести в сад.

Он будто издали наблюдал за ним да ходил по дорожке. От калитки до дому и обратно. Как циркулем, ногами мерил и мерил...

Но когда Букаты поднялся, он немедля повернулся и выскочил ему навстречу. Так что встал прямо на пути.

— А я? Как же я? — спросил. Выглядел он сейчас далеко не победоносно.

— А ты-то чего? — недовольно упрекнула Зина. Не хотела она, чтобы начинался новый разговор, хватит и старого.

Но Чемоданов на нее и не взглянул, а смотрел он лишь на Букаты и будто от него ждал какого-то очень важного ответа. Но не дождался. Взгляд у Букаты был медленен, устал, и уходил он куда-то в сторону, за спину Чемоданову.

Но не таков был Василь Василич, хоть явно уже им пренебрегали: не видели, насквозь не хотели его видеть!

— Выходит... Что же выходит-то... — опять спросил он. — Что меня тут у всех на глазах чудовищем изобразили... Змеем Горынычем! А я утерся рукавом, будто не было... И ответить уж не могу? Так?

— Помолчи, Василь Василич, — попросила Зина, стараясь быть помягче. — Неужто не видишь, больной он... Ему бы полежать спокойно... А он сам дергается, да мы помогаем...

Но Чемоданов не поддался на такие уговоры:

— Ты вот что, Зиночка... Ты иди на веранду, займись посудой... Катька тебе поможет... А мы еще с братцем твоим два слова друг другу скажем... Нет, нет! — сказал он твердо. — Не бойся! Я с ним спорить не буду, даю слово! Я только кое-что скажу, а он выслушает. И уйдет... А если не захочет, так я прекращу... Как? Папашка?

Букаты не долго думал, кивнул. «Идите», — махнул женщинам. Вернулся к скамейке и сел, а Чемоданов остался перед ним стоять.

— Ты ведь опять не поверишь? — спросил Чемоданов.

— Не поверю, — ответил Букаты. Помолчали.

— Не думай, что это все... Как бы тебе сказать... Ну, от твоих тут откровений, — начал, запинаясь, Чемоданов. —

Раз ты сам считаешь, что тут есть твоя вина, так пусть она и будет... Только теперь продуй уши и послушай другую сторону... Папашка... Я ведь Катьку-то люблю.

— Полмиллиона твоя любовь стоит, — сказал, как отрезал, Букаты.

— А ты не верь! Не верь! Но ты слушай! — горячо, но и просительно, а вовсе без своей былой уверенности произнес Чемоданов. — Ты можешь представить человека, которого бы Толик привел с улицы в этот дом, а он тут же выложил бы полмиллиона за бабу... За Зину, чтоб ее только не посадили? А на кой лях, спрашивается, нужна мне эта баба? На кой лях, спрашиваю?

Букаты не отвечал. Он слушал. И то хлеб. Так решил Чемоданов и продолжал:

— Да я, папашка, тогда в первый свой приход Катю, Катюню мою, увидел... И весь год о ней после думал... Не о деньгах, а о ней, так было дело... Ты вот спросил давеча, какая у меня по счету жена... В каком городе... Была жена, не спорю. Но вот без жены я, для Кати дом держу... Ковры и прочее для нее. Все представлял, как она босыми ножками пойдет по ковру... Не в подвал, не на рынок с яблочками-то... А по дому пойдет... Своя... Родная... Я уж к ней привык, пока ждал, что она пойдет босыми ножками по ковру, своя...

— Может, ты и привык, — возразил утрюмо Букаты. — А она к чему привыкла?

— В том-то и дело! — воскликнул Чемоданов. Он подсел к Букаты и сбоку к нему обращался, чуть ли не за борты пиджак хватал в знак внимания. — Папашка! Я уж сюда ехал, все думал, как это будет... Выпил для храбрости-то... А она возьми да согласись... Сразу... Сразу-то! Я и сломался...

Он вскочил, подошел к террасе, чтобы понять, что его не могут слышать, и вернулся обратно. Доверительно заговорил, понизив голос, что никогда он бабам не верил... А их было много, всяких-разных... Корыстных, хитрых, говорливых, хозяйственных, ленивых, и дур было немало... То есть дур было даже больше, чем нужно, хотя еще было

больше корыстных... И одно их всех объединяло: равнодушие к нему. Он-то сам и его душа никому из них не были нужны! Сгинь он, исчезни, и не вспомнят... Обuvi не сносят, выскочат замуж и даже имени не вспомнят...

— До чего с Катей дошел-то, — вдруг произнес он. — Ревновать ее стал... А ты, папашка, когда-нибудь любил?

Спросил и жадно ждал ответа. За свою откровенность мог он ожидать и откровенности. А Букаты смутился.

— Да нет... — пробормотал. — Я в цеху больше... Тебя как по имени-отчеству?

— Вася, — с готовностью отвечал Чемоданов. — Василь Василич, значит.

— А вдруг, Вася, — спросил Букаты, — а вдруг и эта... племяшка-то моя... тоже из-за денег?

Чемоданов даже испугался такого предположения. Вскочил, оглянулся, горячо стал возражать:

— Нет... Нет! Такого не может быть!

Он и в карман полез боковой, достал какие-то сложенные аккуратно бумаги, стал совать их под нос Букаты со словами: «Вот они, расписки-то! Вот!»

— Ну и что? — удивился Букаты. — Не видел я расписок, что ли?

Но Чемоданов уже не слушал его, он добежал до террасы и побарабанил в стекло.

— Зина! — позвал. — Зина!

Выглянула испуганная Зина и прежде всего посмотрела на Букаты, убедилась, что он в порядке, то есть здоровый сидит.

— Чего? — спросила.

— Иди сюда, — сказал Чемоданов. — Иди... С Катюшей иди-то! Покажу тебе что-то!

И опять размахивал своими бумагами, был он, сейчас стало видно, крайне возбужден.

— Ну? — спросила, подойдя, Зина и уставилась в его руки.

— Узнаешь, Зиночка?

— Узнаю.

— Сколько их тут?

— Много, — сказала Зина, не спуская испуганных глаз с расписок.

Она-то уж знала им цену.

— Сколько? — крикнул Чемоданов.

— Ну, пятьсот... — произнесла Зина и запнулась, не в силах продолжить.

— Тысяч! — подсказал восторженно Чемоданов. — Это тебе, папашка, тот самый мешок! Теперь смотри!

Чемоданов резким, торопливым движением стал бумажку за бумажкой рвать, отбрасывая на землю. Руки его дрожали.

— Вот так! — повторял он. — Вот так! Вот так! — Расправился, будто со своим врагом, и остановился, рассматривая блуждающими глазами клочки бумаг, которые покатило по саду ветер. И все смотрели на эти клочки: и Зина, и Катя, и суровый Букаты...

Первой опомнилась Зина. Она всплеснула руками, недоуменно, будто чего-то не понимала:

— Это что же, Василь Василич? Ничего... не должна? Мы не должны? Правда?

Чемоданов кивнул, уставясь в землю. Зина присела на колени, подняла один из клочков и точно, увидела свой почерк, и тут лишь до конца поверила, что она свободна. Всклипнула, бросилась к Кате, стала тормошить ее, наверное, тоже ничего не понявшую, до того она была неподвижна.

— Катя! Катя! — всхлипывала. — Это же спасение! Катя! Целуй ему руки! Ты что, одурела? Не слышишь?

Катя испуганно посмотрела на Чемоданова, на землю, где еще трепыхалось несколько клочков, на Зину, которая была в истерике, и сказала медленно, без чувства:

— Спасибо... Василь Василич... Вы правда добрый человек...

Чемоданов уже пришел в себя. Он смог улыбнуться, хоть был он бледен.

— Не стоит, Катюня! Я ведь для тебя... Я хотел, чтобы ты поняла, что я никого и ничего здесь не покупаю... А ты свободна... Катюня... Я тебя правда люблю... Вот и все... —

И, посмотрев на Букаты, он добавил: — Я счастлив, что не хуже вас! Что не железный! Так-то, папашка! Клепай свои танки! И береги мешок! И ни о чем не думай! — Он зевнул и потянулся. — Пойду-ка я посплю...

29

Вдруг набежала неведомо откуда туча, и пошел дождь, крупный, отвесный, сверкающий на солнце.

Все в комнате за сценой, забыв про свои разговоры, повернулись к окну. Где-то вдалеке громыхнуло. Дождь припустил гуще, стало слышно, как за окном в трубах гудит вода.

Все вдруг заговорили о том, как это хорошо, что дождь, что гром, потому что предвещает тепло, особенно если промочит землю и грядки.

Вернулся в комнату Зелинский, выходявший покурить. Он стряхивал с лица капли, а войдя, сказал:

— Слышали? Геринга поймали!

— Где? — спросила Князева с любопытством.

— Не знаю. Там по радио с площади... Ничего больше не разобрал.

— А что с ним будут делать, Вадим Петрович? — спросила Князева. — Ведь их казнить мало!

Зелинский подошел к окну и стал тоже смотреть, как весело гуляет по кустам вода. Ответил не оборачиваясь, что, по его мнению, будут судить... Всенародно... За все страдания... И вдруг совсем о другом:

— Нам-то долго ли заседать?

— Уже недолго, — отвечала Князева. — Там еще несколько свидетелей. Да вот Ольга от завода с обвинительной речью... Она там всю Ведерникова клеймит!

— А что ж его жалеть? — спросила Ольга. — Я так скажу, что он дезертир, прогульщик, хулиган...

— И военный преступник, — пошутила Князева.

— Пусть и не военный, — сказала Ольга. — Но раз он судится, значит, виноватый!

— Ну что вы, Ольга Викторовна, — удивился Зелинский. — Совсем не обязательно.

— Не хотите подышать озоном? — спросила Князева у Ольги.

Дождь, видно было, как неожиданно начался, так и закончился в одночасье. Лишь крупные капли падали с веток.

Они вышли на крылечко, глядя на этот промытый дождем мир. Воздух серебрился, дышала земля, и на ней разливался особенной свежести аромат.

— Может, ты и права, Оля, — начала Князева, что-то от последних минут заседания будоражило ее, искало выход для слов. — Я не хочу никого оправдывать, особенно всяких гуляк, которые пропивают свою жизнь. От них-то все наши беды. — Она посмотрела в глубину палисадника, в сиреневое сплетение голых веток, и вдруг ясно представилось, как в глубине набухшей древесины бежит, бежит чудодейственный сок для завтрашних листьев. И улыбнулась. И пожалела, что не может ничего рассказать этой девчонке из своих фантазий, разговор ее немного о другом. — Но скажи, как на духу, Ольга, — и тут посмотрела она в лицо девушке, что-то в нем выискивая для себя важное. — Скажи, ты хоть по улице-то гуляла? Ну так, чтобы от утра до вечера... Чтобы в киношку заглянуть, на траве полежать, на лавочке побездельничать?

— Я так не гуляла, — будто с вызовом ответила Ольга. Но, наверное, даже такой ее тон не показался ей достаточным. Она быстро добавила, подчеркнуто выделяя слова: — И я не хочу так гулять.

— Почему же? — спросила Князева. Она чуть не рассмеялась, но побоялась обидеть свою собеседницу. Разговор-то был серьезный.

— Потому... — начала Ольга и запнулась. — Мы бережем свою рабочую честь. И вообще, у меня общественные дела!

— У всех общественные, — вздохнув, произнесла Князева, поняв, что ей, кажется, не пробиться к Ольге. Она еще по инерции сидит там, на суде... — Я тоже давно не гуляла. Амороженое... Я даже не помню... Я не знала, оказывается,



его и вправду опять продают... — Она в раздумье поглядела на деревья, решаясь, откровенничать ей или нет. Не может же быть эта Ольга всегда такой деревянной, вон и деревья лихорадит перед листьями. И в ней, в Ольге, где-нибудь потаенно движутся, пусть медленно, свои соки... И срок их придет!

— Вот до войны, — начала свой рассказ Князева, но смотрела теперь только на деревья, — Илья Иваныч Бука-ты помнит, когда я после свидания не пришла на работу... Мы гуляли по парку, и Коля, его так звали, купил мне самое огромное мороженое, оно стоило, помню, рубль! Вот такой круг! Их накладывали в железную круглую формочку, а по бокам зажимали круглыми вафлями, да вы знаете! А на вафлях имена: кому какое попадет. А я взяла в руки мороженое, никогда я такого большого не ела, и ахнула: на одной стороне на вафле стояло мое имя, а на другой стороне — его! И я решила: судьба! А потом... Так вышло, поехала я на районные соревнования, я тогда легкой атлетикой увлекалась, и в районном кино шла очень смешная комедия «Сердца четырех», видела? Вот. Я вдруг рядом увидела его вместе с девушкой... Пока сидела полтора часа, что ни передумала... И повеситься хотела, и убить их обоих или его одного... Ревела, весь смешной фильм проревела!

В это время их позвали, и Князева, снова взглянув в глаза Ольги, спросила:

— Пойдем? Будем обличать? — с какой-то необычной интонацией.

— Будем, — уверенно сказала Ольга. И ушла.

А Князева еще раз задержалась взглядом на этом палисаднике: очень не хотелось ей отсюда уходить в тяжелый этот клуб, на сцену с ее искусственным освещением, с подростком в углу, шуплым и странным таким подростком, которого, не видя, еще вчера она про себя осудила, а может, и сегодня вслух осудит, но уже не было в ней такого внутреннего напора, который бы ей подсказывал, что все она делает в отношении его правильно.

День у тети Таи выдался хлопотный, нервный.

Все началось от раннего утра, когда проспала и переволновалась, провожая сына Костю на работу. Но и в школе, в классах и коридоре, было шумней, но, понятно, грязней тоже. Весна ли, близость каких-то особенных событий, только все точно с цепи сорвались, хаос на перемене, но и гул, и передвижение во время занятий. Школа-то двухэтажная, деревянная, в ней как в сарае все слышно. Да вот и учителя, они-то какие не похожие на себя: один повел детей в рощу, показывать, как птицы поют, а другой в садике прививку на деревьях объясняет, а еще учительница, очень уважаемая тетей Таей, вдруг самодеятельность стала репетировать, да все во время занятий, это ли не новость! Натащили грязи из леса и сада, а военрук, голубоглазый Санька, он и на фронте побывал, но как был на поселке хохмач и выжига, так и остался, устроил во дворе строевые песни и тем совсем доконал уборщицу. Не школа, а театр сегодня. Отшуровала она щеткой по углам и, отчего-то рассердясь, что порядок привычный, незыблемый нарушен, ушла скорей домой.

Решила подремать и успокоиться. Костька приходил после семи, времени до него оставалось много.

Вдруг прибежал Володя Почкайло, бригадир над Костькой, и стал спрашивать о Костьке, когда ушел и куда... Да, господи, куда же он мог уйти, он три года с закрытыми глазами все по одному маршруту топает. Столько дорогой обуви сносил, и все на завод да обратно. Еще и обратно не всегда, потому что и день, и два, а то и неделю их там на раскладушках держат, когда выпуск продукции горит...

Так она Володьке-Силычу и объяснила, удивляясь на его вопросы. Еще его спросила: «А ты сам-то, что ль, иначе ходишь? Об чем же мозги у вас у всех, если не о своих «тачках»?» «Тачки» — так Костя ей велел говорить. А Силыч

подтвердил, что все правильно, и других у него проблем нет, а вот ее Костька чего-то запоздал или, как они и встревожились, не заболел ли? Всяко же бывает!

С тем ускакал к себе на завод.

А она осталась думать. И опять на ум пришло, что начался день нескладно и в школе продолжился наперекосяк, так ждать от него и далее хорошего нечего. Вот и с Костькой тоже... И чего, спрашивается, опаздывать, если он вовремя на работу выскочил... Может, дорогой под кустом заснул? Ведь было так. Тетя Тая выпроводила его как-то утречком, а вышла ведро вынести, а он как шел, уткнулся в забор и уснул... С тех пор, считай, и носит она пузырек с нашатырем в кармане.

Не додумавшись ни до чего, вышла она на улицу и вдоль улицы поглядела, но никого, кроме соседа Васипортного, не увидела, который на своих костылях уже с утра — ни свет ни заря — по улицам вымеряет. Она крикнула издалека, не видел ли он Костьку. А Вася кричать не стал, не спеша на костылях приблизился и стал говорить, что не знает он теперь Костьку-то, забыл, каков он из себя, небось вырос.

Да где он вырос: в танке горбеть да улиткой сидеть, разве там вырастешь? Но все равно, сказал, не видел, много всяких мельтешит, суетится: кто кричит, кто волнуется, а кто плачет, а понять, что к чему, недоступно ему, он забыл, как в мире-то живут. Смотрел, смотрел, а ничего не понял. Но его лично понимание на этот счет, что из людей нервы выходят, почувствовали они конец страданиям... А под конец даже ночь всегда темней делается...

Какая такая ночь и о чем он, не поняла тетя Тая. До ночи, по ее понятиям, ох как далеко. Но молвила ему мысленно, глядя, как ковыляет он, мол, ходи, Васька, ходи, чего не ходить... Отдыхай от врагов, скоро тебе шить да шить придется! Много людей обносились, и все довоенное потребили, и нужны людям портки да рубахи, чтобы снова на людей, а не на солдат одинаковых походить...

С тем ушла она, прилегла.

И сна вроде не было, а показалось ей, что видит она, будто школа их деревянная прям в Москве стоит, рядом с баней, где однажды Костька ее мылся в бассейне. Это когда его отправили за ударный труд на съезд передовиков из трудовых резервов; в Колонный зал и на Красную площадь... На целых три недели Костька пропал... Сообщали, что задержали, мол, на столичном заводе и опыт он свой передает. А как вернулся, так она с вопросом — ты что ж, Костька, и письма не написал, что тебя задерживают... А он зубы сжал и молчок... Не узнать, как похудел да изменился. Только во сне про какие-то трупы... И про бомбежку, и про окружение... Спятил, решила она, и воды из церкви святой принесла да окропила... В кино ли там, в Москве, насмотрелся, что ли, что кричит по ночам! А потом прошло. Но про Москву говорил он вяло, вот про баню все больше рассказывал да про метро, которое под землей ездит...

Так вот видит тетя Тая во сне, что в бане в бассейне Вася-портной моется со школьным военруком, а там и другие учителя, и Костька будто мелькает, а никак его не разберешь среди других-то! Приблизилась к краю тетя Тая и в изумленье пришла, что и не бассейн это, а их река, да воду-то как по весне гонит, мутную такую, грязь одна... И уж она на мосту стоит, а Костька ее, вот теперь лишь разглядела, на лодочке своей летит, бревна ловит... Эту лодчонку они, вмерзшей в лед, еще два года назад выловили, подконопатили и ездили на ней ловить по весне бесхозные дрова. Но то вдвоем, а то Костька один пошел да зазевался, не видит, дурачок, что несет его на сваи: вдарит, в щепу разлетится... Охнула она, захотела закричать от страха и проснулась.

Полежала, прикидывая, что ж это за сон, в котором вода и мост... Грязная вода — к скандалу да неприятностям, и мост туда же, перемена жизни, но ведь перемена-то нехорошая, если вода грязная. А Костька? Ударился он или нет, будто загрохотало, вот уж в ушах этот грохот стоит...

И поняла: кто-то стучится, а ей со сна стук за катастрофу привиделся, вот какое дело. Уж не Костька ли? Встала, охнув, шею от неудобного сна прострелило. А в дверях Ольга, подружка по цеху, где Костька работает, а позади и сам мастер Илья Иванович стоит.

— Вот шли и зашли, — сказал Букаты, он почему-то решил, что напугали они тетю Таю сильным стуком. Сперва-то стучали нормально, уж решили, что дома нет никого, забарабанили напоследок, тут она и открыла.

— Заснула я, — произнесла виновато и пригласила в дом. — Заходите. Уж не помню, когда у нас были.

— А когда быты! — сказал Букаты. — И днем и вечером — все работа.

— Это сегодня рано, в цехе неприятность, — вторила Ольга, но Букаты резко одернул ее: «Помолчи».

Тетя Тая уловила про неприятность и спросила, что же стряслось, вот и она сон неприятный видела.

Но Букаты отмахнулся:

— Так, ничего. — И, садясь за стол, поинтересовался, оглядывая комнату: — Костя твой как поживает? Он здоров?

— Здоров, — сказала тетя Тая и посмотрела на Ольгу, у той на лице отпечаталось что-то, что их привело и что до поры скрывал старый мастер.

— Доволен жизнью?

— Кто? — спросила тетя Тая, дивясь странному вопросу.

— Да кто, Костя! Кто ж еще!

— А чего ему не быть довольным... Ест, пьет, спит, работает...

Тут она не выдержала:

— Чего случилось-то? Вы чего пришли? Узнать про здоровье Костьки? Так он не при мне, а при вас состоит! Вам-то лучше знать, чем он доволен, а чем недоволен!

Выговорились и испугались, поняв, что неспроста они спрашивают и сон тот странный неспроста. Что-то случилось с сынком-то, вот и Володя-Силыч так же прибежал,

выспрашивал... И эти все намеки делают... А впрямую-то не говорят.

— А у нас паника, — опять влезла Ольга, и Букаты снова ее остановил:

— Да постой ты, — хотя понятно было, что пришли они не с добрыми вестями. Кто же это во время работы заходит так посидеть? — Он утром у тебя куда пошел? На работу?

— На работу, — отвечала тетя Тая.

— А куда не собирался еще идти?

— А куда? — спросила в свою очередь тетя Тая. — У него и таких мест нет, чтобы идти. Кроме вашего цеха, он и поселка-то не знает. Другие в избу на танцы ходят, а он и туда не идет. Вот разве... — произнесла тетя Тая и замолчала, губы поджала.

— Чего разве? Ну, говори?

— Да ничего. Я так подумала...

— Да о чем подумала-то?

— Тетя Тая, — сказала Ольга. — Очень важно, если скажете, куда мог пойти Костик... Понимаете?

Тетя Тая растерянно кивнула:

— Я подумала, может, он на реку ушел?

— Куда?

— На реку, мы там лодку старую имеем.

— Зачем? Теть Тай?

— Не знаю, — призналась она. — Приснилось мне, что он на реке...

— Ох, — только и произнес Букаты и закрыл лицо рукой. Видно, что устал он, осунулся, побледнел даже.

— Может, чайку? — спросила участливо тетя Тая.

Он покачал головой.

— Вот от сердца... ничего нет?

— Есть! — Она даже обрадовалась. — Корень у меня валерьяновый, сейчас дам... — И со словами, что она и сама пьет, налила в стакан темной жидкости, дала мастеру. Он выпил.

— А Толик к нему не заходил? Ну, Васильев? — спросила Ольга.

Тетя Тая хотела и этой, молодой, предложить корня, полезный корень-то, его можно вообще для нервов пить, но вдруг решила, что у нее нервы в порядке и сердце у нее в порядке, такая она прямо настырная, не отклонится никуда от своих вопросов. Посидеть, как все люди, не может. Так и стреляет глазами, так и стреляет..

Тетя Тая убрала бутылку, плотно прикрыв бумажной пробкой, а потом ответила, что Толика она не видела, да некогда ей видеть, у нее школа и свои дела.

— У вас свои, а у меня свои, — сказала она. — В школе по весне землю таскают и вообще из себя выходят.. Весной всегда беспорядка больше, — выдала она то, что у нее накопилось против школы.

А Букаты чуть в себя пришел, корень у нее был отменный, мертвого подымет, это она знала.

— А я думаю, что на него Толик влияет, он его с пути свернул! — сказала Ольга громко, тетя Тая аж вздрогнула от ее голоса. Да и слова-то какие она говорила: «С пути свернул». Это как можно сына ее свернуть, если он несворачиваемый?

И Букаты от этих слов поморщился, даже рассердился:

— Что ты как на собрании все трещишь, трещишь! Поди обратно на завод да посмотри, может, он уже там, а мы с тобой пустую панику разводим! Пугаем тут друг дружку!

Это он специально сделал, не захотел больше с Ольгой сидеть.

И Ольга ушла.

А он откинулся назад, чтобы больше воздуха к сердцу подходило, и стал расспрашивать тетю Тая о муже, не слышно ли чего, может, какие вести, и прочее. Теперь он говорил так, как говорил бы и правда после работы, зайдя на досуге. Но ничего про мужа, с которым Илья Иванович был когда-то в дружбе, не слышно, а вот Костик весь в него, характером по крайней мере. А ведь было...

— Было, — сказал, улыбнувшись, Букаты, — когда они в цех-то ко мне пришли... Твой сынок талон на обед

посеял, ну, заплакал. В цехе чтобы слезы... Ну, думаю, дела. А тут баланду принесли. Я его с ложки-то кормлю, а сам думаю: «Иисусе Христе, да как же я с ним танки-то собирать буду...» Он ложку не умеет держать, не то что инструмент... А теперь, вишь, без него на заводе прям беда.

— Беда, — повторила за ним тетя Тая. А сама подумала, что не только на заводе беда, а в сердце ее беда. Завод-то переживет, он большой, там таких, как Костька, много. А вот у ней он один, и одна она, и не дай бог что случится, тогда и ей незачем жить. Вот такие мысли наплыли на нее, но ничего вслух она не сказала.

## 31

Букаты ушел, кстати, ушел тихо, неторопливо, но показалось ей, что уже не на завод бы ему идти, а в больницу, такой у него был вид. Надела тетя Тая жакет свой плюшевый, платок и пошла к реке. Вот уж старая дура, сама понимала, что нечего там Костьке делать, а сон не шел из ума. А во сне — Костька-то был на реке. Торопилась она к нему, будто и в самом деле должна помочь, когда он станет тонуть на лодке.

А до реки четверть часа хода. Добежала, не заметила. Лодка на месте, а на реке никого не видно. По такой воде ни рыбаков, ни пьяных на ней не бывает. Присела она на лодку, вспомнила, как багрили с сыном дрова два года назад, истопились к весне так, что лучины в доме не было. И чуть тогда не опрокинулись, когда под них топляк поднесло. Испугалась, страсть. А Костька, хоть слаб и мал, но сопит и толкает, толкает багром и спас лодку...

А еще вспомнила довоенное, когда с мужем костерок жгли, он свои донки на ночь ставил, а она, беременная Костькой, рядом сидела. И закат золотом растекался по воде, и на середине всплескивала рыба, и где-то ухали и купались, но тихо было. На душе такой покой и радость, что прислонилась она к мужу, и когда колокольчик на



удочке зазвенел, он, ее муж, не посмел и шелохнуться, потревожить из-за пойманной рыбы такого их состояния.

А говорили они о том, что будет вот у них парень, они знали, что будет парень, а она, мать, уху им станет варить, а потом сядут на виду у реки, чекушку разопьют, станут о делах говорить...

И вот сидит она на ветру одна, в глазах серо, будто и не кончался ее дурной сон: та же мутная вода и тяжесть на сердце, что вот-вот сынок ее погибнет... А вдруг она тут попусту мозги раскидывает, а он уж дома и ждет ее. Вскинулась она и снова побежала как могла, ног не чувствовала, несмотря на то что больные ноги, отекают от сердца. Как в молодости своей ласточкой к мужу лететь умела, так и сейчас, даже еще пуще летела. Издали увидела в палисаднике человека, и сердце заколотилось: Костька! Он еще ее не видел, встала, перекрестилась: «Спасибо те, Господи, что все так, что он нашелся!» Живой, и уж больше ей ничего не надо!

— Костя, — крикнула издалека. — Ты чего у дома-то стоишь, иль ключи не знаешь — под половиком...

Было однажды, несколько лет назад, когда он, уходя, записку на дверях оставил: «Мама, я пошел, а ключи под половиком»... Вместе тогда посмеялись.

Костя валялся в постели, а она ходила вокруг и все не знала, с какой стороны завести разговор: Вспомнила про сон и стала ему рассказывать, но уже не выходило страшно, а почти что смешно: подумаешь, мутная река приснилась. А Костя молчал.

Начала она серчать.

— Разлегси, как барин! — сказала. — И лежит... Не умылся, не поел... А тут кругом обыскались... И люди о нем хлопчут, считай, два раза прибежали, и она-то, мать, тоже не последний человек, должна ведь знать, куда пропал ее сын... Не утоп ли на речке?

Костя и не двинулся от ее слов. Не спал, а будто спит, никакого движения. Ну что, в самом деле, как мертвец лежать, материных слов не принимать. Будто она воздух зазря толчет языком! Бесстыжий!

Наконец шевельнулся, голос подал:

— Кто, мама... приходил?

— А кто? Кого с завода ждешь?

— Никого не жду.

— Вот и видно. А они тебя ждут... И Буката, и Володька, который Силыч, и эта... комсомолка горластая...

— Лялька?

— Она. Ей больше других надо.

Костя молчал.

— А ты чево, опоздал, что ли?

Костя молчал.

— Буката твой вовсе больной, за сердце хватается и все свое талдычит: завод, завод... А ему в больницу надо идти, а не на завод...

Костя повернулся и посмотрел на мать. И она увидела: нехорошие у него глаза, недобрые какие-то. Прежде-то, даже сегодня утром, у Костика было всегда одно выражение лица: будто ему сказали, что до смерти ему в танке сидеть, в танке его похоронят, как в железном гробу... Не было в нем других выражений, как это: вечная усталая занятость да желание поспать. Сон да работа, да снова сон... А теперь она вгляделась: мать честная! Да ведь он оживел, но как мертвец оживает — лицо пепельно-бледное, глаза горят. А в них недобрость, в них блеск, как у гончей собаки, которая на дичь идет!

Хотела пойти тетя Тая за печку к иконке, что над диваном висит, да испугалась оставить сына. Мысленно перекрестилась она на портрет, «Отче наш» зашептала.

А он спросил:

— Мам, ты как с отцом познакомилась?

— Чего? — не поняла она.

— Как вы с ним познакомились-то? Ну, встретились где? — спрашивал сын.

— Люди увидят друг друга, руку подадут, вот те и знакомство, — сказала, сердясь на такие вопросы, тетя Тая.

— А где?

— Чево где? Тут, в поселке...

— А сколько тебе лет было?

— Да молодая... Дура деревенская, — сказала тетя Тая. — Приехала на работу, нас в семье много, и всех кормить силов у отца не было. Езжай, говорит, у город, там хлеба больше. А не хватит на твою долю, вертайся, здесь голодать совместно будем... Тогда, после войны, голод у нас стоял. Стала я на фабрику наниматься, а койку сняла у тети Груши, она теперь померла. А то мы с тобой да с отцом ходили к ней, она чаем угощала... Вот. А отец твой тоже приехал и тоже койку у ней снял. Так и вышло, что вместе чай пьем, вместе постирушки какие, я ему и выстирала подштанники... И еще кое-что постирала. А потом он все рыбалкой увлекался, я ему на речку поесть носила. На нас так и думали, как брат да сестра. Я за ним как нянька все равно... Ну и поженились, у тети Груши-то... Купили портвейна, ее пригласили да и говорим, мы теперь, говорим, тетя Груш, не в разных углах, а в одном угле, за ширмой, спать станем, так как мы в браке с Сережкой...

— Ма... А у тебя кроме отца еще кто был?

Тетя Тая задумалась и вопроса не поняла.

— Кто?

— Ну, ухажер другой... До портвейна-то? Ну, чтобы отец, значит, и еще тот, другой, между собой соперники были?

Мать рукой отмахнулась, испугавшись.

— Окстись, ты чего придумал! Да разве бы отец твой стерпел кого-то... Да он ревнивец такой был... Он бы его убил... Правду говорю!

— Убил? — спросил Костя и даже поднялся с койки. Глаза заблестели. — Мать, ты сказала, что убил бы?

Но тетя Тая в запале сказала, сама не верила в сказанное. Как это, тихий ее Сережа, который и рыбу-то стеснялся живую потрошить, а ждал, когда она «уснет», так он выражался... Чтобы он, значит, руку на кого поднял... И не надо поднимать было, не было у них причин-то ревновать. И потому она засмеялась, стесняясь всего того, что наговорила.

— Убивать-то некого было. Хватит, Костька, дурака валять. Раз уж встал, поешь... И болтаешь неведомо о чем, а я, глупая, за тобой повторяю... Мели, Емеля, твоя неделя!

— Ладно, — согласился вдруг Костя. — Готовь. — И добавил ни с того ни с сего: — А ведь ты правду сказала. Их, мам, убивать надо!

Она услышала: хлопнула дверь. Выскочила следом, закричала:

— Ты что же? Голодный? Когда придешь-то?

Костя от калитки рукой махнул:

— Я же сказал, готовь... Я приду! — И исчез в улице.

Ничего она не смогла понять про то, что он спрашивал и что думал. Только забыть не могла его странные глаза, в которых был не прежний Костька. Прежний был ее послушный сын, и она знала, что от него ждать. А этот был чужой, хоть тот же Костька, но она про него уже ничего не знала. Она только могла чувствовать, это чувство внушало ей неведомую опасность, которая грозит Костьке.

А тут постучали, снова Вася-сосед попросился.

Она забыла про время, не заметила, что смеркалось в комнате.

— Заходи, Вася, — сказала. — Может, чаю хочешь?

Он кивнул, присел, костыли к стенке поставил.

— Сынок-то нашелся?

Она головой покачала. Чего объяснять, если сама ничего не поймет про него. Прибежал да убежал, вот и считай как хочешь.

Но Вася так понял, что не нашелся, и успокаивать стал.

— Вот на фронте, — рассказывал, — там по-другому, конечно, но если пропал человек, так он в борьбе с врагом, с фашистом, значит, пропал... Бывало, кто и дезертировал, так тех у нас без суда стреляли... А бывало и так: заснул один на переходе... А мы хватились, нет его! Потом-то нагнал, но опять же судили, в штрафнуху... за отсталость в

бою... А здесь... — дядя Вася стал осматривать комнату и на диван посмотрел за печкой, узнал он диван-то, как же, помогал еще тащить Сережке... — Здесь пропасть никто не может! Так я думаю!

Тетя Тая, вспомнив про мужа, всхлипнула, очень ее разговором о фронте сосед Вася расстроил.

— Чего вы кричите-то... Я ведь сама не знаю ничего... Он же еще глупый, малой еще...

Вася понял промашку, стал утешать:

— Постой... Не расстраивайся, — сказал. — Он у тебя щуплый?

Тетя Тая кивнула.

— В форме такой серой, с ремешком ФЗО? Да? — Вася обрадовался. — Видел я его! Он все около дома Зины ходит.. Ну знаешь, которая племянку-то замуж выдает...

— А Костька там что? — спросила тетя Тая. И не дождавшись, пошла, поставила чай. И в уголке слезы вытерла.

Потом они пили чай, говорили про войну и про мужа тети Таи, а Вася рассказывал про смоленскую деревню Ляхово, что они освобождали. Там, значит, немцы человек полтора в избы загнали да и спалили всех! А почему он говорил, почему вспомнил-то... Видать, про ту деревню думал все на Украине, где семью его сожгли...

— Ох, горе-то какое! — охнула тетя Тая.

— И дети малые, и девочки... И старики... Вот это горе! Ты думаешь, Таисья, у меня ноги нет? — спросил дядя Вася. — У меня вот тут выжжено, — и показал на грудь.

Тетя Тая поколебалась, но предложила:

— Может, того... У меня в бутылке-то осталось... Самогонная...

— Выпил бы, — сразу сказал дядя Вася. — Только прямо скажу, Таисья, пока я тверезый, я держусь... А как выпью, я заплакать могу. Ты уж не удивляйся, четыре года на передовой...

Дядя Вася помолчал, он вспоминал о своем, а тетя Тая о своем. Но оба думали о войне, какая она страшная, что землю всю опустошила, и люди стали другие, обожгло их

огнем изнутри. Война как большой пожар, там, на фронте, в огне, но и в тылу доставало.

А Вася-сосед, махнув рукой, сказал:

— Знаешь, Таисья, ты налей мне рюмку-то... Только если заплачу, ты не успокаивай... Война, понимаешь, это вот что: умереть, а потом заново родиться. Только много дружков там осталось, которые уже не увидят нашего дня, который скоро наступит... Я родился, а они гниют... Вот земля, когда на ней термитный снаряд упадет, говорят, сто лет родить не может. А душа, у ней какой запас? А может, и мы, Таисья, еще жить способны? Может, мы только кажемся, что ничего в нас живого нет, а может, живое-то есть?

Вася принял водку, выпил не закусывая и запел. Странную песню запел. И даже тетя Тая заплакала, когда ее слушала.

*Брала русская бригада  
Галицийские поля.  
И достались мне в награду  
Два железных костыля...  
Из села нас трое вышло,  
Трое первых на селе.  
И остались в Перемышле  
Двое гнить в чужой земле.  
Я приду в село родное,  
Дом сложу на стороне,  
Ветер воет, ноги ноют,  
Будто вновь они при мне...*

32

Костик бродил вокруг дома Гвоздевых. Сперва прятался за деревьями, потом и прятаться перестал, не очень-то беспокоясь, что кто-то из проходящих мимо людей или самих хозяев его заметит.

Глупо, он и сам это понимал, торчать дурачком, когда в чужом доме происходит праздник.

А что праздник в разгаре, можно было понять и по музыке, и по голосам, что слышались с веранды. Его слух был настроен лишь на один голос — Кати. Временами казалось, что он слышит, он был уверен, что слышит, хотя слов разобрать он не мог... Но разве дело в словах!

И он томился, поедая себя живьем в своих сомнениях, ибо догадывался, что за праздник возможен сегодня в доме, но отвергал, отстранял от себя эту, невозможную для него, очевидность.

Хотелось ему думать, что неведомый Чемоданчик закатил очередную пьянку, и Катя, его Катя, не смогла этой пьянки избежать... Но избежит же! Он верил, что она, обещавшая к нему прийти, непременно придет и все станет на свои места. Важно ее дождаться, чтобы... Да и без «чтобы», просто дождаться, увидеть, вот и все.

Выскочил разгоряченный праздником Толик. Попав со света в сумрак сада, он не сразу увидел Костика.

Огляделся и направился к калитке, напевая песенку:

*Чтобы крепче ты меня любила  
И дарила мне свой поцелуй,  
Для тебя достану кус я мыла,  
Хочешь, мойся, а хочешь, торгуй...*

Костик шагнул ему наперерез. Еще слова не успел сказать, как Толик, ничуть не удивившись, протянул:

— Дежуришь?

— Толик! — окликнул Костик, пытаясь его задержать. Тот обернулся.

— Восемнадцать лет как Толик! Ну и что?

— Помоги!

Толик смотрел мимо своего приятеля, на калитку, и продолжал напевать, наверное, ему было весело:

*Я кровать твою воблой обвешаю,  
Чтоб приятней и крепче был сон.  
Этой воблы тебе я навешаю,  
Если хочешь, так целый вагон!*

— Ну помоги! — повторил умоляюще Костик. — Как друга... Прошу...

Толик замедлил шаг, остановился.

— Я тебе встречу устроил? — спросил сурово.

— Да.

— В подвале?

— Да.

— Ну и что?

Костик пробормотал, опустив голову:

— Она обещала...

— Да ну?

— Правда.

— А это — что? — Толик кивнул в сторону террасы, и, будто в ответ на его слова, там громко рассмеялись. Смех этот был точно Катин.

Костик сильнее побледнел, поняв, на что намекает его дружок.

— Пойди, выпей за Катькино счастье. И замри на этом!

— Я не пью, — сказал Костик. — А она — сама?

— Цветет и зреет, — подтвердил Толик. — Ух, как им горько! Сундуков просто млеет из себя!

— Толик! — вскрикнул Костик и кулаки сжал. — Позови, ну?

— Не психуй, — попросил тот. — Психам сегодня выходной... Ты что от нее хочешь-то?

— Не знаю, — ответил он. Он и правда ничего теперь не знал, кроме одного, что ему надо ее увидеть. Надо, и все.

Толик в задумчивости покачал головой, никак не одобряя своего сумасбродного дружка. Но думал он в это время о своем.

— Слушай, — спросил. — Касса на вокзале сейчас работает?

Костик тупо молчал, что он мог понимать в кассах. В это время на террасе стали слышны голоса, и один из них, женский, громко спросил: «А Толик где? Вы не видели Толика?»



— Ох, Зинаида! — пробормотал Толик, оглядываясь в сторону дома. — Так и следит, следит... Вот что у баб во все времена развито, так вот этот локатор! — И он показал на нос. Он сложил руки рупором и крикнул в сторону веранды: — Иду! Сейчас иду!

Он с сожалением посмотрел в сторону калитки, вздохнул. Но вдруг его осенило.

— Слушай! Сходи-ка на вокзал, — попросил он Костика. — Это полезней, чем тут без пользы ошиваться... Сходи! А?

— Зачем? — спросил тот, явно никуда не желая уходить.

— Спросишь поезд на Москву... На двадцать три... Понял?

Костик, конечно, ничего не понял и промолчал. А Толик достал бумажник, а из него какой-то документ.

— Вот, — протянул. — Это литер и паспорт. Возьмешь билет на этот поезд... Стой... Деньги возьми...

— А позовешь? — с сомнением спрашивал Костик и топтался на месте. — Катю позовешь?

Толик вздохнул. Вынужденно пообещал.

— Делай, — произнес. — Посмотрим...

Снова стал слышен голос Зины, и Толик поспешил в дом, бросив уже на ходу:

— Не потеряй! Возьмешь, и немедленно сюда! Я тут буду ждать! Да побыстрей!

Примерно через полчаса Костик снова объявился у дома с билетом, как обещал, зажатым в кулаке.

Касса работала, поезд не опаздывал, как ему объяснили, и билет по литеру он получил без всяких затруднений.

Костик никогда в жизни не покупал билета, и чувство при покупке он испытал странное, ему самому неведомое, будто не кто-нибудь, а это он, Костик, куда-то собирался уехать.

Однажды было, он ездил в Москву, но там их посылали делегацией несколько человек, подростков, и никаких ему билетов покупать не приходилось. Посадили на поезд, и

все. Кажется, даже на этот же самый, поздневечерний, на котором теперь уезжал и Толик...

Если только он, а не его дружок Чемоданов. Но Толик еще днем грозился уехать. Запутался он на заводе, погорел... С Лялькой тоже запутался. И, судя по всему, с этой, которая тут на веранде...

Впрочем, Костик был уверен, что его ловкий дружок нигде не пропадет; он в любом городе, вынырнув, своим станет.. Не о нем Костику сейчас надо печься, а о себе да о Кате, которая сидела в доме и не догадывалась, не знала, что он-то, как обещал, ждет... Билетами свиданку отработывает! Да Костик бы не только до вокзала, куда хошь, даже в милицию побежал бы по своей воле, лишь бы ему Катю позвали. Без нее, без того, чтобы ее немедля увидеть, жизни у него нет. И не будет. Он все равно окна в террасе высадит или что другое сделает, лишь бы Катю увидеть... Цех родной, и мама, и друзья все, всё ушло, всё отпало перед этим единственным, но съедающим его чувством, которого он никогда не испытывал и которое — может, он того и не знал, — зовется коротким прекрасным словом «любовь».

Но не он один, оказывается, мучился в этот весенний вечер от своих неразделенных чувств...

У самой калитки, на подходе, Костик столкнулся с Ольгой Востряковой. Но какова была эта Ольга, если даже Костик ее не узнал!

Губы и брови покрашены, под шерстяным жакетом платье до пят в серебряных блестках, будто на маскараде, и туфли на высоких каблуках! Прямо как актриса в каком-то американском кино, где она в баре цыганские песни поет... А на голове у Ольги фантастическая шляпка, да не шляпка, а целый сад-огород: немыслимой формы со всякими там фруктами по полям! Чудо-юдо, словом.

Шла она, Ольга, чуть покачиваясь, оттого что не привыкла ходить на каблуках, и было, наверное, больно ногам...

А Костик, хоть и смотрел в упор, потому что ждал свою Катю и все лица не только издалека, но и вблизи казались

ему теперь Катиными, не узнал Ольгу, решил, что это пугало огородное какое-то вырядилось, чтобы пугать в темноте маленьких ребятишек.

А когда узнал, глаза вытаращил и даже в сторону отпрянул: еще бы, это ли не чудеса! Их непререкаемый комсорг, парень в юбке, которую никто в цехе за бабу не считал, один Толик чего-то там суетился, и то по линии не столько дать, сколько взять, расфуфырилась, как в театр, и тоже тут гуляет.

Увидела Костину растерянность, засмеялась победительно, наверное, считала сейчас себя неотразимой.

— Что? — спросила. — Не узнал?

Он кивнул оторопело, не сводя с нее глаз. Поинтересовался сочувственно:

— Ляльк... Ты это что? Ты откуда?

— Красиво? — спросила она и кокетливо повернула голову. Но тут же посмотрела в глубину сада, за калитку. Наверное, ей хотелось, чтобы такой же ее увидели и остальные из тех, кто был там, на веранде.

Костик помолчал, не зная, что ей ответить на ее дурацкий вопрос.

Помявшись, ткнул пальцем в шляпку, спросил глуповато:

— А жратву зачем на голове носишь?

Ольга обиделась.

— Ну и видно, что лапоть деревенский! Не понимаешь в красоте! — И снова посмотрела вглубь, за калитку. — Ты бы захотел пригласить меня в кино?

— Куда? — удивился Костик.

— Ну, куда-нибудь... На танцы или в ресторан, например.

— Тебя? — переспросил ошарашенно Костик.

Ольге надоел этот бессмысленный разговор. И глупость Костика надоела. Хоть он и свой парень, и даже добрый. Но что он понимает в любви? Ради нее и не такое наденешь! Хоть ноги и правда болели, как после коньков.

— Я к примеру сказала, — успокоила Ольга. — Да ты и мал, чтобы кого-то куда-то приглашать. Я имела Толика в виду! Ты его не видел?

Костик не хотел врать. Но и правду он не мог сказать. Ольга опередила его.

— Я знаю, он здесь... Он на свадьбе, у твоей этой... Которая с яблочками... Правда?

Костик вздрогнул от ее слов. Даже Толик не произносил этого невозможно тяжкого слова: свадьба. А Лялька раз — и бухнула. И чего ей вообще тут надо?

— Ляльк, — попросил Костик в отчаянии. — Ляльк... Уйди... А?

Но ей, наверное, нравилось так разговаривать с Костиком.

— Ты — ненормальный! — сказала она. — Тебя ведь за прогул судить будут!

— Ну и что?

— Вот до чего ты, Ведерников, опустился... Совсем себя потерял! Идешь на преступление из-за сопливой спекулянтки, которая тебя и знать не хочет!

Костик содрогнулся, как от пощечины. Сил не было терпеть эту вздорную Ляльку. Да еще каждую минуту мог выйти Толик, и тогда неминуем скандал. Он чувствовал по Ольге, что она настроена прямо на скандал.

— Ляльк, — попросил он, сдерживаясь как мог. — Будь товарищем, уйди! Мне нужно быть одному. Ну?

Но Лялька уже зацепилась за слово «товарищ».

— Вот! Вот! — засмеялась она истерично. — Для вас Лялька не баба, а свой парень! Товарищ! Именно... Один военпред на заводе мне так и сказал... Ты, сказал, не баба... А ты маленький мужчинка! Ты, говорит, Гаврошик! Когда ходишь по цеху в штанах... Ну а под штанами... Я хотела спросить, да не спросила. Под штанами я что же, не баба?

Тут из дома донесло музыку и смех. Оба они оглянулись, это случилось одновременно. Испытующе посмотрели друг на друга.

Ольга произнесла, но уже по-другому: горечь прозвучала в ее словах:

— Я, думаешь, зря тут болтаюсь... Я, как и ты, вокруг своего счастья хожу, которого нет... Я стояла тут, тебя не было, и слушала их музыку, на их свадьбе... Знаешь, о чем я думала? Господи, ну сделай так, чтобы мне повезло! Чтобы он сейчас вышел!!

«Она», — поправил про себя Костик.

— ...И чтобы он понял, как я ему нужна! Ведь было же, было, когда он от меня ни на шаг не отходил... Даже в цехе... Я ему рисовать плакаты давала, и он целый день у меня, в комсомольской комнате, чертил... А сегодня он сам сказал: «Приходи...» Но я знала, что он-то не придет! Я знала!

Она шмыгнула носом и стала обыкновенной Лялькой, шевутной, но милой девкой из училища, которая почему-то еще и занималась в медкабинете и дежурила с коробочкой лекарств, и однажды, когда Костику было плохо, от слабости кровь носом пошла, она ему прикладывала сырой платок и утешала... Вот сейчас она была похожа на ту, простую и сердечную Ляльку. Куда-то весь гонор ее, поучительство, менторский тон пропали...

Она, мгновенно прозрев и осознав нелепость своего положения, вдруг сорвала с себя шляпку, швырнула ее на землю. Глядя на нее с ненавистью, топнула по ней ногой и посмотрела в глубь сада. Потом вздохнула, подняла, поправила смятые фрукты и пошла со шляпкой в руках, одна лишь зеленая винограда осталась валяться на земле.

33

В доме шла гульба. На террасе стоял стол с закуской, в комнате, куда были распахнуты двери, заводили патефон, оттуда доносилась музыка. Гостей было немного, Чемоданов пригласил какого-то дружка из поселковых, с кем имел тут дело, темноволосого молчаливого человека, похожего на грузина.

Были двое соседей Зины, пожилые муж с женой, да Толик, который больше всех суетился, поднимал тосты и вообще чувствовал себя хозяином.

Чемоданов пил, но умеренно, и был настроен серьезно. Весь вечер не отрываясь он смотрел на Катю, которая была молчалива, тиха, послушна, даже по-своему к нему ласкова. Во всяком случае, в те минуты, когда Василь Василич обращался к ней, она ему улыбалась, хоть лицо ее было бледно, и даже губы бледны, и вообще ее немного лихорадило.

Толик, понимавший все как надо, пытался влить в нее хоть рюмку водки, чтобы согреть, но она лишь мотала головой.

— Нет, нет. Я это не могу... И я вообще не могу. — И порывисто отодвигала рюмку, словно боялась ее. Но эта ее трепетность, ее милая нервозность, странная улыбка, заметная дрожь губ будто еще усиливали ее сегодняшнюю привлекательность. Зоркая Зина время от времени поглядывала на нее, точно издали изучала — что же это за племянница у нее и что от нее еще ждать? Но была она не менее занята своими чувствами. Катькино дело, как она считала, было в главном решено. А вот с Толиком... Который сегодня развязен, и мил, и приятно нахальноват, но все как-то исчезал, будто по нужде, выскакивая на двор, и Зине начинало казаться, а может, она и впрямь сегодня была чересчур подозрительна, что у него там с кем-то назначена встреча. Так что Зина на племянницу смотрела, а Толика видела. И лишь он в очередной раз вильнул хвостом, выскочив из террасы, тут же бросилась за ним:

— Толик! Ты куда?

Он даже растерялся, так неожиданно, в спину, его захватили.

— Никуда, — произнес, — просто это... — И уже приходя в себя: — Ну, Зинаида... Выйти, что ль, нельзя?

— А кого ты ищешь? — спросила и посмотрела в сторону калитки. — Ты назначил встречу?

Толик рассердился: и потому, что был разоблачен, хоть и не до конца, и вообще на эту сегодняшнюю при-

липчивость Зины. Такой навязчивой она еще никогда не была.

— Ничего никому не назначал, — отвечал он сухо, сказал как отрезал и повернулся, чтобы уйти снова в дом: его никак не устраивало стоять здесь, на виду, когда мог объявиться Костик. Но Зина сама его теперь не пустила. Она ухватила за шею, стала ласкать, целуя его в голову, в шею, грудь.

— Но это не женщина? Нет? А ты меня еще любишь? Толик с трудом вырвался из ее рук.

— Ох, Зинаида, — произнес с упреком. — Анекдотец такой... Двое в постели, и она его спрашивает: «Милый, ты меня любишь?»

— Так любишь? — настаивала Зина и руки к нему тянула, а он увертывался.

— ...А он отвечает: «А что же я делаю?»

Тут до Зины дошел смысл рассказанного: она хлопнула Толика по щеке. Толик будто протрезвел. Но и разозлился еще больше.

— За что же? — спросил оскорбленно. Он знал, что этот тон более всего не терпела Зина.

И — точно. Ударила, правильно ведь ударила, а уже почувствовала на всю жизнь виноватой.

— Не знаю... Прости! Я сама не поняла, как получилось... Толик!

— А я понял, — сказал он, обретая свою силу над ней. — И я ухожу!

— Ну, честное слово... Не хотела, — запричитала Зина, теряясь и уже не зная, что делать.

И вдруг вспомнила. То есть она не забывала об этом ни на минуту, но сейчас лишь поняла, что нужно сделать, чтобы его удержать.

— Вот, — полезла куда-то и достала бумагу. — Вот! Бери! Ты сегодня какой-то странный... Чужой даже... Уходишь, уезжаешь... Я испугалась... Не знала, что же делать, а сейчас поняла, что надо вот так... Отдать, и как в прорубь головой...

Толик усмехнулся: ничего себе сравненьице, про про-рубь! А может, она и права? Но бумагу сразу взял и положил в карман.

— Теперь торопиться не будешь? — спросила с надеждой Зина. — Теперь ты же тут хозяин... Ты можешь даже нас взять и выгнать...

— Ну, Зинаида, — произнес он, но уже по-иному и ласково, и сам попытался ее обнять. Надо успокоить бедную женщину.

— А литеры твои? — вспомнила некстати Зина. — Подари их мне? Подари?

— Да я пошутил! — воскликнул Толик как можно беспечнее. — Нет у меня никаких литеров... Да и откуда?

— Правда?

— Правда, правда, одна лишь правда, — сказал пошутовски Толик, подняв руку, как в каком-то американском кино. А про себя добавил: «Но не вся... правда...»

— Тогда поцелуй, — попросила Зина и повела его подалее от дома, по направлению к калитке. — Нет, подожди... — Повернула его лицо так, чтобы видеть его. И долго его рассматривала. Спокойно произнесла, наверное, давно это продумала: — Знай, что я без тебя не выживу... Да мне и не нужна жизнь... Потому и отдаю себя, что себе, если не ты, не нужна... — И вдруг: — Хочешь, я тебе ребенка рожу?

Толик даже опешил от таких слов.

— Потом, Зинаида... Ты же выпила?

— Я от тебя пьяная, — быстро возразила она. — Вино так...

— Вот и хорошо, вот и пойдём! — потянул ее Толик, незаметно оглянувшись и заметил вдруг Костика. Но Зина ничего не понимала, она повисла на Толике и твердила свое:

— Нет, скажи... Хочешь? А кого ты хочешь? Мальчика или девочку?

Тут Костик от калитки подал голос. Не нашел, дурачок, другого времени.



— Толик! — закричал. — Подожди! Я все взял!

Толик сделал вид, что не услышал, и стал уводить Зину к дому. Но Костик продолжал кричать. Пришлось оставить Зину и вернуться.

— Ты кого? Меня? — спросил наигранно, удивленно. И морщил нос, и мимикой делал Косте знаки. Тот ничего не понимал.

— Но ты же просил?

— Я? Тебя? Просил? — удивился Толик, оглядываясь.

Зина подходила к ним и, наверное, слышала, о чем они говорили. Она посмотрела на Костика и засмеялась.

— А я его знаю! Этот, который утром... С Катькой стоял... А что ты у него просил? — поинтересовалась кокетливо, повеселев оттого, что ее подозрения насчет свиданки с женщиной не оправдались.

Толик туманно произнес что-то о товарище по работе и предложил Зине пойти, неудобно перед людьми в таком виде... Она сразу согласилась.

Толик увел Зину в дом, а Костик остался караулить, так ничего и не поняв. А тут откуда-то появилась его мать, тетя Тая. Вынырнула из сумерек улицы в тот момент, когда он стоял, прислонившись к забору, и смотрел в глубину сада, решив ждать до последнего.

— Обыскалась, — произнесла она сердито. — А он вот где стоит! Забор подпирает... Думает, что без него забор-то упадет!

Костик будто съежился под взглядом матери. Он и уйти не мог, то есть сбежать, и оставаться не мог, так ее появление могло все изменить. Особенно если выйдет Катя. А он верил, что она обязательно выйдет.

— Ма... Иди домой, — попросил он, оглянувшись. — А я приду.

— Вот как? — удивилась тетя Тая. — Родную мать гонишь? — Она прислушалась к музыке из дома, к голосам, которые доносились и даже в момент ее прихода стали слышней. — Это что же? — спросила. — Гуляют?

— Не знаю, — отвечал бедный Костик.

Жалко на него было смотреть. Хорошо, что сам он себя со стороны не видел. Но и в том, что она, мать, его могла в таком виде наблюдать, тоже ничего хорошего не было.

Сердце у нее чуть не разорвалось, каким он показался ей слабым, несчастным, маленьким тут, у чужого забора.

— А я знаю, — произнесла она твердо, глядя сыну в лицо. — Это Гвоздева выдает племянницу, замордовали они девку-то, в прислугу превратили... Она и на огороде, и на рынке... Теперь задумали еще женить на старике!

— Ма... Иди! Ну, иди! — говорил он торопливо, чуть не срываясь на крик. — Я хочу побыть один!

Мать смотрела на него, и молчание ее было красноречивей всех слов. «Эх, Костька, кого ты хочешь обмануть? — подумалось. — Один... Один около чужой свадьбы — это уже не один, а вдвоем... С несчастьем своим!»

Постояла и пошла, согнув голову. Потом вернулась, сказала:

— На заводе у тебя... Да ты знаешь... Плохое место, Костька, ты выбрал для ожидания!

Ушла мать, а тут снова появился Толик. Может, он появился бы раньше, но видел их вдвоем и выжидал за кустами.

— Ты чего кричишь? При людях? — напустился на Костю.

— Но ты же просил?

— Я просил тебя кричать? Да? — И смягчаясь: — Ну, слушаю! То горло дерешь, а когда надо, голос потерял!

— Катя где? — спросил Костик. Единственное, что он мог спросить.

— А билет где? — в тон ему спросил Толик.

Костик показал на кулак. Он так и носил в кулаке, зажав изо всех сил, чужой билет. Странное это было чувство: держать в руке чужой билет на поезд... Сам бы в таком состоянии уехал, если бы не Катя. Не она и не мама. Но прежде всего она.

Толик с оглядкой взял билет.

— В одиннадцать? Не опоздает? — и повернулся, стал уходить.

— А Катя? — испуганно спросил Костик и побежал за ним вслед. — Катя будет? Катя будет, да? — повторял он до самой террасы, но Толик ему не отвечал, спешил уйти. И лишь у самого дома резко остановился, поняв, что так просто ему от этого чудачка не отвязаться, надо как-то его отпугнуть посылней.

Поглядывая вверх на окна и снизив голос, он стал объяснять, как противно, до смешного, он, Костик, здесь выглядит... Как нищий в вагоне... Ходит, просит, ноет... Тошно на него смотреть... Потому Катька и не идет, что таких попрошаек не уважают!

Костик выслушал, кивая, но, наверное, ничего не мог и не хотел понимать, а продолжал, как дятел, долбить свое:

— Но ты ей сказал? Ты сказал или нет?

Толик от такой тупой настырности чуть не озверел.

— Пойми! — прокричал он шепотом Костику прямо в ухо. — Она же сидит на свадьбе! Ты знаешь, что такое свадьба? Это когда ее целуют... Обнимают... Ласкают... Ну, тискают ее там... Вот так! И щупают... И... Что угодно... Чемоданчик ее щупает... А ей приятно! Бабам всегда приятно, когда их щупают!

В это время с веранды раздался громкий смех. Наверное, это был ее смех, Костя задрожал, его заслышав. И лег он как раз на последние, специально пошлые слова Толика, которые и были сказаны, чтобы добить Костика, убрать отсюда. Результат же вышел как раз обратный.

— Я их убью, — вдруг сказал он.

Глухо сказал, почти в себя, и достал из кармана нож, который прихватил у матери со стола. Хорошо, что она до сих пор не хватилась, иначе тут же, у забора, подняла бы скандал!

Даже выдавший виды Толик опешил, вдруг, как наяву, увидев, что его приятель в таком сумасбродном, в невменяемом состоянии, что может совершить свою угрозу. Этого еще не хватало!

— Вот чокнутый! — пробормотал и попытался схватить Костика за руку. Тот не давался. — Отдай! Ну? Это же мокрое дело.

— А мне все равно, — сказал Костик.

— А мне нет! Ну... Прошу... Ну, отдай! — Толик попытался отобрать, но Костик — откуда в нем, таком тщедушном, сила взялась? — держал нож крепко, спрятав его за спину. А ведь убьет, эти фанатики из-за девки что хочешь могут сделать. А ему-то, Толику, уголовщина сейчас не с руки. Ему без шума отчалить нужно. Он свое, считай, получил, осталась маленькая операция, но она спокойствия и сосредоточения требует. И — отсутствия этого блажного, с его столовым ножом.

— Ладно, — сдался Толик. — Черт с тобой! Позову, если обещаешь отдать.

Костик покачал головой.

— Ну, убрать... Обещаешь?

Костик кивнул и нож убрал.

— Смотри, — предупредил Толик. — Уговор... Оттого и не хотел ее звать, что вы оба с ней из одного дурдома... От вас не знаешь, что ждать! — Пошел и снова оглянулся. — Так учти, без шума чтобы! Меня в это дело не впутывать! Встретились и расстались... А я ни при чем...

34

Катя появилась как призрак, он бы ее на улице и не узнал. В белом платье: легкая, тонкая, воздушная.

Стояла под защитой дома и смотрела на Костю. И он смотрел, не в силах сделать к ней шаг. Вдруг на него столбняк нашел: он перестал себя чувствовать.

— Что вы придумали? — спросила она негромко, на расстоянии. — Почему вы здесь?

— А где я должен быть? — тоже спросил Костик. Хотя не это было для нее приготовлено. Вовсе не это.

— Не надо со мной таким тоном, — попросила она и чуть придвинулась. Теперь их разделяло пространство в три-четыре шага. — Я все про себя понимаю... Я дурная,

глупая, лживая... Вы можете мне это сказать... — И вдруг по-иному и мягче, хоть пока и настороженно: — Вы для этого и пришли?

— Нет, — сказал Костик.

Она прислонилась к дереву и вдруг заплакала.

— Я знаю... Я дрянь! Дрянь!

— Ну что ты, — Костик подошел, но так и стоял рядом, не зная, как ей помочь; он даже притронуться к ней опасался, уж очень она сейчас была потусторонняя, не своя. — Ты хорошая, — повторял он. — Ты правда хорошая... Я таких никогда не встречал...

Катя оторвалась от дерева и посмотрела на него, прямо ему в глаза, будто что-то искала. От нее пахло легким дивным запахом каких-то фантастических духов. Небось подарок жениха.

— Господи! — произнесла, как охнула. — Вы прямо блаженный какой-то... Но ведь ясно же, что у меня свадьба!

— А почему ты плачешь? — спросил он.

— О себе, о себе плачу, — отвечала она и замолчала, пережидая новые слезы. — На свадьбе, между прочим, положено плакать! А вы уходите... Константин Сергеич!

— Ты его не любишь, — настаивал Костик.

— Разве это важно?

— Важно, — сказал он. — Я хотел в твои глаза посмотреть. Сейчас я посмотрел и понял... Я тебя спасу! Хочешь? — Катя помотала головой. — Украду! Унесу! Увезу!

Она все качала головой, потом сама придвинулась к нему и уткнулась лицом ему в грудь, а он ее обнял. И тут только почувствовал, что она вся дрожит.

— Лупый, — произнесла, подняв к нему мокрое лицо, он губами ощутил вкус соленых слез. — Спасти меня никто не может... — Она резко повернула голову, прислушиваясь к голосам на веранде, но тут же успокоилась; громче других разливался смех Василь Василича. Значит, он сидел, ни о чем не догадываясь. А может, это Толик его забавлял, понимая сложность ситуации.

— Когда он утром нагрязнул, — произнесла она и посмотрела Костику в лицо, — я даже была рада! Лишь бы куда-нибудь уехать! С ним или не с ним, да с кем угодно! Я бы все равно повесилась, если бы не этот его приезд... А потом я шла по улице и увидела вас... И вы поздоровались... И стало плохо...

— Почему же плохо? — спросил Костик.

— Потому что... Не понимаете, да?

— Не понимаю.

— Как же вы не понимаете? — удивилась Катя и отстранилась от него, чтобы лучше его видеть. — Жила бы я и не знала, что вот так... Что так бывает, что можно целовать... И цветы дарить... И даже мечтать о будущем...

Из-за дерева выскочила Лялька в своем дурном платье. Наверное, она решила, что это Толик стоит в саду. Шляпу она потеряла, и слава богу.

Костик даже подумал, что она поддала для храбрости. Но может, ему и показалось.

— Конечно! — громко, на весь сад, засмеялась она. — Мне бы тоже было приятно! — Встала, с вызовом рассматривая онемевшую Катю и испуганного Костика. — А что? — и подбоченилась, вульгарно выставив ногу. — Один мужик под боком, а другой загородку сторожит... В запасе, так сказать... А там еще, наверное, третий: Толик, например... Разве плохо так устроиться?

Тут Костик обрел дар речи.

— Ляльк? Ты что? — спросил. — Ты подслушивала? Да?

— А что слушать-то? — отвечала наигранно Ольга. — Тут улица... Гуляю... Имею, как говорят, право...

Катя стояла отвернувшись. Костик растерянно посмотрел на нее, на Ляльку, уже понимая, что он опять сейчас все потеряет... Ведь она возьмет и уйдет! И все из-за этой глупой Ляльки, которой словно соли на хвост насыпали, сорвалась, что называется, с цепи.

— Ляльк... Ты уйди, — попросил он. — Пожалуйста... Ляльк...

— Конечно, я уйду, — заявила она. — Мне и не хотелось слушать... Я другого искала, а нашла вас, дурачков... Ну и услышала, как она тебе мозги заливает! А ты лопухи распустил!

Катя повернулась, губы у нее дрожали.

— Простите, но вы... Но вы...

Ольга не дала ей сказать.

— Ольгой меня зовут, — сделала книксен. — А в цехе по-свойски: Лялька! Подпольная кличка Гаврошик! Свой парень в доску... С ним и с Толиком три года вместе... Правда, я яблочками не торговала, а гайки крутила... Огрубела малость... Так что ты, девонька, уж извини...

— Ляльк! — крикнул Костик и даже сделал угрожающий шаг, но та легко отодвинулась на безопасное расстояние. Но не ушла, не испугалась. И обращалась она теперь только к Кате.

— Вот, слышите! — подсказала. — Ляльк... То бишь приятель его в юбке! Да, так вот... Вы сегодня и правда сделали свое дело, он же из-за вас прогул совершил... А вы знаете, что такое прогул на военном заводе?

Катя посмотрела на Костика и на Ольгу, сказала:

— Я ничего не знала.

— Ляльк! Хватит! — приказал Костик.

— А почему хватит? — спросила та. — Пусть знает... Пусть ей там на свадьбе тоже горько будет... Его, слышите, — это она, снова повернувшись к Кате, прямо ей в лицо: — его судить будут... И полагается ему от трех до пяти... Ухожу! Ухожу! — И добавила: — Вот и знайте! Девонька! Вы там праздник справляете... Песни, пляски, вино... Поцелуйи свои... А ему тюряга из-за вас... — Пошла, но оглянулась, снова повернула назад. — Чтобы у вас... Чтобы вам... — Никак не могла найти слов, таких злых, чтобы прошибить Катю. — Чтобы вам всю жизнь горько было!

Вот теперь она ушла.

А они остались стоять, будто на каких развалинах оказались: Ольга все разрушила.

Катя первая заговорила, она была совсем расстроена, и голос ее прозвучал жалко:

— Я правда... Я ничего не думала... Вы же говорили, отгул... А я поверила... Опять я виновата, да?

— Ну что ты, — отвечал Костик. — Это я виноват...

Они стояли и не могли что-то преодолеть, чтобы подойти снова друг к другу.

— Но я правда растерялась... Он позвал, — она кивнула в сторону террасы, имея в виду Чемоданчика. — И знаете, что он сделал? Он порвал при нас наши расписки... А потом он еще сказал: ты, Катя, свободна... И вот когда он это сказал, он меня по-настоящему и купил... Добротой своей купил... Я подумала вдруг, а если он и правда... Что он любит...

— Не любит! — закричал Костик.

Катя посмотрела на него. Долгим, испытующим был ее взгляд.

И когда она заговорила, стало понятно, что она знает, что надо делать. Слова уже были в их положении ни при чем. Ольга их изничтожила. Только одно слово еще что-то значило, и она его произнесла: «Пойдем».

— Куда? — спросил Костик, но уже знал куда — и готов был идти.

Она подтвердила его догадку:

— В подвал! Куда же еще. — И она повторила: — В наш, в наш подвал! Милый, родной, желанный... Ты самый родной и желанный...

Она взяла за руку и повела, как ребенка, и он послушно пошел за ней, вздрагивая лишь на темных ступеньках, когда нога проваливалась в глубину, как в пропасть. Но при этом она что-то все время говорила, чтобы не слышать его встречные слова, которые могли бы ей напомнить о свадьбе, и отрезвить, и вернуть в другой, более реальный, но вовсе не ее, не их мир.

Замолчала она, когда они оказались, это было ощутимо по особому воздуху, в глухой и вечной глубине, куда уже ничто не доносилось и не было слышно, кроме их собственного, слышимого ими дыхания.



Звякнула неожиданно громко щеколда, навсегда отрезая их от того, что было наверху.

А наверху вовсю еще игралась Катина свадьба.

35

Толик увел Чемоданова от гостей в другую комнату.

— Ну что? — спросил тот в нетерпении.

— Разговор есть.

— После...

— Не могу после-то.

— Гурит? Так выпей!

— А то я не пил! — и заговорил, уж очень трезво заговорил для человека, который пил весь вечер. Чемоданов это про себя отметил.

— Насчет иголок я, которые ты привез... Швейных иголок... У тебя их сколько? Василь Василич?

Чемоданов вздохнул.

— Заладил... Не до них, Толик! Настроение у меня другое... Должен ты уважать мое настроение...

— Я уважаю.

— Тогда давай лучше выпьем. — И Чемоданов принес стаканы и разлил вино. Хорошее это было вино, с Кавказа, его молчаливый гость привез в подарок. Он тоже, оказывается, на железной дороге работал.

— Будь счастлив, Василь Василич, — предложил Толик. — И не забывай, кто тебе это счастье подарил!

Чемоданов захохотал довольно.

— Не забуду, Толик! Любое доброе дело наказуется!

— А ты мне счастья не пожелаешь?

— Отчего же, — сказал Чемоданов и снова налил вино.

— Так выпьем, чтобы... Василь Василич, вы бы мне сейчас, здесь, помогли обрести то, что мне необходимо! Для счастья необходимо!

Чемоданов покачал головой, удивляясь такой настырности Толика. Но уже понимал, что никак не отвертеться

ему от делового разговора. Даже на этой, такой дорогой для него, свадьбе.

— Ох, — произнес он, покачав головой. — Ох... Чем платить-то будешь?

— А чем хочешь?

— Ничем не хочу, — отрезал Чемоданов. — Но раз уж у тебя шило в заднице, что ты вертишься и спокойно жить без этого не можешь...

— Не могу, — подтвердил Толик.

— Так и назначай! И не ерничай! Сегодня мой день! Я заказываю настроение!

Толик был человек понятливый, кивнул. Испытывать терпение Чемоданчика ему было не с руки. Он встал, закрыл наглухо дверь и достал Зинину бумагу. Дал прочесть из своих рук.

— Читай! Только не лапай! Стоит твоих «зингеров»?

— Я знал! — воскликнул, откидываясь на стуле, Чемоданов. — Я догадывался! Ох, Зиночка...

Он вскочил, побежал к двери, но вернулся.

— Но ты хорош! Хорош! Обмануть женщину! Какая ты дрянь!

— Короче, — спокойно сказал Толик и спрятал бумагу в нагрудный карман. — У меня времени мало...

— А если не возьму? — поинтересовался Чемоданов.

— Другой возьмет... Желающих, как понимаешь... И попадет домик в чужие руки... А ты, ты будешь виноват! Вот и подумай... Чемоданчик... Если уж ты взялся горячо спасти Катьку с Зинаидой... Стоят они твоих иголок или не стоят? Или для тебя лучше, когда придут их выгонять, и ты, ты с опозданиемхватишься перекупать, только поздно будет... Как?

Чемоданов выругался. Крепко выругался, излил, что называется, душу.

Но Толика и это мало проняло. Он подошел к дверям и выглянул наружу: убедился, что Зина хлопчет вокруг стола и все спокойно. О Катьке никто не волновался, да и кто мог волноваться, кроме жениха, который сидел тут и ни о чем не подозревал.

— Ругайся, но поосторожней, — сдержанно предупредил Толик. — Ты голову потерял, Чемоданчик! Из-за бабы! А вот я не потеряю. И мне твои иголки как пропуск в новую жизнь! Только я покрепче тебя буду... Поверь! Я мир завоюю... с ними... Так-то, Чемоданчик!

Тот, будто успокоившись, сидел и смотрел на Толика.

— Далеко пойдешь, — повторял задумчиво. — Если не свернешь раньше шею...

— Не сверну, — заверил Толик. — Где они у тебя? Иголки? В багажном?

— В багажном...

Василь Василич достал квитанцию, а Толик Зинину бумагу. Они обменялись. Толик спрятал квитанцию по-дальше. Сам теперь налил вино в стаканы:

— За успех, — предложил.

Но Чемоданов пить не стал. Он поднялся и вышел из комнаты, оставив Толика одного. Пей, мол, сам за свой подлый успех... Толика это не смутило. Он выпил, сперва свой стакан, потом поднял стакан Чемоданова и тоже выпил. Крикнул, глядя на дверь, куда ушел Василь Василич:

— Я тебе тут по дружбе патронов пару штук для собак принес! Нужны, нет? — и поставил торчком на стол два в бумажных гильзах патрона. — Бесплатное приложение... Василь Василич!

В это же время на одной из прилегающих к дому улиц, навстречу Ольге, будто убегающей от самой себя, в этом странном наряде, ненавистном ей самой, встретился на пути инвалид на костылях. Шел он по направлению к Зининому дому, после того как тетя Тая пожаловалась, что ее Костыка, как ненормальный, торчит около чужой свадьбы, и как бы с ним чего не случилось. «Хоть ты, Вася, как мужчина с мужчиной с ним бы поговорил, — попросила она. — Меня он вовсе уже не слушается, все делает наоборот».

Но еще до этого произошел у них душевный разговор о жизни, о том, как ее продолжить после войны, вот он

остался один, и она, по сути, одна, и оба к тому же соседи... Может, вместе-то лучше будет?

Тетя Тая всплакнула о муже, на которого до сих пор не пришла похоронка, и он посочувствовал. Сережка дружком был, и дружили они семьями, а теперь-то что осталось от них: двое, и правда двое, не считая Костьки, как погорельцы на обгарках дома... Все надо думать сначала. А тут вдвоем, а может, с Костькой, втроем, им ладнее начинать и дружней, все же свои, давно свои, а не чужие...

Потопал он в сторону названного дома, чтобы с Костей, сыном ее, поговорить, не об этом, а вообще об житье-бытье, понять паренька, чем тот живет, ну и заодно как бы разведать, а что он думает об семейных делах матери.

Важный разговор предполагался, может, самый серьезный для него, в новой его, нефронтовой жизни.

Шел, немного волнуясь, замедляя шаг и продумывая про себя, что же нужно сказать, чтобы и Костя его понял.

Увидел выскочившую на него из сумерек странную деваху в красивом, блестящем искорками платье. Шла она странной походкой, будто что-то напевала. Так ему показалось.

А когда поравнялась, произнесла: «Вот мой жених!» Почему так произнесла, он и не понял, но подумал: «Веселая деваху! Да и угадала в точку, прям попала с женихом: не о том ли говорил нынче с Таей... Не о том ли в мыслях было, как не о семье!»

— Енот, да не тот, — ответил. — Я уж к другой просватан... — И засмеялся, довольный шуткой.

И девушка засмеялась:

— Как же мне не везет... И тут опоздала! Никому, оказывается, я не нужна!

— Нужна, нужна, — он сказал. — Такая красивая, и вдруг не нужна! Не может такого быть!

— Правда? — спросила она вдруг серьезно.

— Правда.

А про себя подумал, что каждый человек кому-нибудь да нужен. Вон как они с Таей сразу это поняли... Даже занятно, там, на войне, еще стреляют, еще дружки его жизнью рискуют, пуле кланяются до земли, чтобы в последние минуты не взяла бы эту жизнь единственную, а тут люди об семье, об свадьбах да о красоте... Ишь какое удивительное платье-то надела, разве кто посмел бы такое в сорок первом году при людях надеть? Да ни за что! Это же только до войны имели такое право одеваться! А теперь вот вспомнили... Жить, значит, хотят...

— Ты сынка Ведерникова, случаем, не знаешь? — спросил инвалид.

— Знаю, — сказала девица. — Кто ж его не знает? Его все девушки в округе знают! — И почему-то снова засмеялась.

— Вишь, — сказал он. — И ты полезная особа. Для меня, но кому-то для жизни еще полезней станешь... Так где же он?

— А замуж возьмешь, скажу? — будто уже не шутила, а всерьез от него требовала, в упор, что называется, он даже растерялся от такого требовательного тона.

— Меня бы кто взял, подружка, — произнес он, вздохнув. — Я ведь семью потерял и часть себя потерял... — Это он сказал будто о ноге, но имел в виду свою душу. — А вот живу и удивляюсь: ни страха, ни стрельбы... Девушки такие красивые, как ты, навстречу попадаются, значит, все хорошо.

— Правда? — спросила Ольга, растаяв. — Вы правду сказали?

— А зачем мне врать? — удивился инвалид. — Вот ребята с фронта повалят, они тебя мгновенно умыкнут, им такие по ночам красавицы всю войну снились. А тут оказывается, вот она... Живая стоит...

— Спасибо, — сказала Ольга с чувством и поцеловала дядю Васю в щеку. И ушла. На прощание сказала, что Костик у Зининого дома стоит... Там и ищите, он там как привязанный...

А он посмотрел ей вслед, чуть растерянный, но умиленный. Такая красавица его поцеловала... А что чумная такая, так это у нее от истерики, от бабьей накопившейся тоски по мужчине, что боится, как бы не остаться одной. Не останется, насквозь видно. Такие умеют к себе привязывать, да и солдатики оголодали по женской ласке, они придут, только держись, сколько свадеб будет. А вот чего Костик, сын Таин, там торчит, что над ним уж втихую посмеиваются, это распознать надо. Тут своя сложность неизвестная есть, как он догадывался. Но наперед загадывать не стал, а поспешил туда, где, по его разумению, впотьмах сразу и не разберешь, был дом с чужой свадьбой и Костей «на привязи».

36

Из дома вывалилась шумная компания: Зина, и Чемоданчик, и уже подвыпившие гости. Толик, как всегда, развлекал, он был с гитарой.

Песня разносилась вокруг, ей отвечали лаем соседские собаки.

*А если мало, мы еще добавим,  
Чтобы тоску сердечную залить,  
И пусть друзья поплачут вместе с нами,  
Ну а потом не грех и повторить...*

Все засмеялись, а Толик продолжал. Он сегодня был в ударе.

*И не беда, что денег нет в кармане,  
Я, как и ты, считаться не люблю,  
А ну-ка, Толик, подставляй стаканы!  
А ну-ка, Толик, скинем по рублю!*

Чемоданчик, дурачась, запел:

— А ну-ка, Толик, где моя Катюня! — Он вертел головой по сторонам, но никого не увидел. И закричал: — Ка-те-е-

нька! Ты не заблудилась, голуба моя? Твой Чемоданчик без тебя пуст!

Он повернулся к Зине:

— Где же она?

Зина тоже посмотрела по сторонам и натянуто засмеялась:

— Уж будто не понимаешь, где...

А Толик развязно подхватил:

— Это у них бывает!

— Это у всех бывает.

— Тогда терпи... — Толик стукнул по гитаре ладошкой, хотел досказать какую-то гадость, очередную, Василь Василичу, в том смысле, что на молодой жениться, еще на такой взбалмошной девке, как Катя, да еще спокойно жить... Но не стал досказывать, остерегся разжигать не в меру горячего Чемоданчика. Хотя и Толику далеко не понравилось, что эти двое субчиков так надолго пропали. Не вычудили бы чего напоследок... У Толика билет и поезд по расписанию, ему вовремя смыться от Зины надо. Забрать багажик драгоценный, отвалить в сторону... А уж после его отбытия пущай хоть до конца жизни разбираются, кто тут кого насколько обманул! Ему, Толику, опосля хоть трава тут не расти...

И, стукнув по гитаре ладошкой, он громче обычного закатил:

*А ну-ка, Толик, подставляй стаканы!*

*А ну-ка, Толик, скинем по рублю!*

А Чемоданчик, зараженный его напускной беспечно-стью, пошел плясать, его длинные в блестящих сапожках ноги выделявали всякие чудеса, он даже присядку изобразил, и все захлопали!

Смахивая платком пот, он огляделся и, так как снова не увидел Кати, торопливо, несмотря на увещевания Толика, сходил за террасу, где будто бы она должна быть.

Вернулся он расстроенный: оказывается, и там ее нет. Так где же она тогда? Где?

— Может, к кому из подружек побежала? — спросила Зина.

— Подружки? — насторожился Чемоданов. — Какие еще подружки?

— Ну, разные...

Он посмотрел на Зину, на Толика и спросил, мрачно:

— Вы чего-то от меня скрываете, да? И ты, Толик?

— Я-то при чем? — удивился Толик и даже обиделся. Гитару отложил. А Зина стала утешать Чемоданова, хоть и сама терялась в догадках, куда это сумасшедшая девка могла сгинуть. Но ведь известно, что причины оказываются всегда проще, чем ты можешь себе предположить.

— Василь Василич... — увещевала она и руку погладила ему, чтобы страсти улеглись. — Ну, ей-богу! Ну вышла куда на пять минут, так ты уже в скандал! Как же ты жизнь-то станешь жить? — И гладила, и успокаивала, и ей казалось, что все удалось. — Посиди вот на скамейке, а она придет... Поцелует тебя, вот так... — И Зина поцеловала его в щеку. — И объяснит, и обласкает, и ты поймешь...

Чемоданов кивал головой.

— Ну, Зиночка, ну прости, — повторял. — Ты видишь же, я от Катьки малость поглупел...

— Есть маненько! — протянул Толик без язвительности, и Зина тут на него прикрикнула:

— Помолчи лучше! Спой вот, чтобы все послушали! Когда ты поешь, ты лучше делаешься!

— Ну, ну, — сказал Толик и, подхватывая гитару, кинул взгляд на часы.

Он посмотрел в глубину сада и произнес:

— Романс под названием «Я вспомнил вас и все такое...».

Но запел неожиданное, пронзительное, так что все замолкли, замерев, и стали слушать. «Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная, ты у меня одна заветная, другой не будет никогда...»

Зина поняла сразу, что это про них про обоих с Толиком поет. Прислонясь к его спине, сидела, в это мгнове-



ние особенно реально ощущая, что начинается ее новая жизнь.

И Чемоданчик так про себя понял, что Катя его последний лучик в жизни, его звезда, и это про него рассказано... Ах, Толик, сучье вымя, сволочь, но как душу-то рвет!

А вечер, прохладный, чистый апрельский вечер вывездился, сквозь ветки деревьев, обещая на утро ведро. Было тихо, так тихо, что и звуки гитары и пение не могли расстроить эту тишину. Легкость в воздухе, спокойствие и одухотворенность разливались, и было ясно, что если Господь Бог создал все это, то лишь для мира и счастья людей. И то и другое казалось близким, достижимым, и душа трепетала, предчувствуя их, от их скорого наступления.

Они появились, выйдя из подвала, не утаиваясь и не хранясь: Костик и Катя.

Вынырнули из тени дома в свет террасы и попали на глаза всей честной компании, сбившейся вокруг Толика с его гитарой.

Их увидели.

Но первым увидел их Чемоданов.

— Вы сделали это намеренно?.. Ну, появились перед всеми? — спросила Князева подсудимого.

— Да мы ни от кого не прятались, — отвечал он, глядя в пол.

— Но вы же не могли не понимать, чем это кончится?

— Мы не думали!..

— «Мы» — это вы и Катя? А о чем же вы думали?

— Ни о чем.

— Еще бы! — подхватила Ольга. — Без раздумья опуститься до того... Что опуститься в подвал... Для того...

— Кому спуск, а кому подъем...

Князева повернулась к прокурору:

— Вы что-то сказали, Вадим Петрович?

Он рассеянно вертел бумажку, глядя перед собой.

— Да нет... Вспомнил... фразочку... кому спуск, а кому подъем...

— А при чем тут подвал? — спросила Князева.

Он вскинул на нее глаза.

— А при чем тут вообще подвал? Кто туда спустился да кто оттуда поднимался? При чем?

Ольга почувствовала укор в его словах.

— Но, Вадим Петрович, — призвала она. — Они же утром только познакомились... А уже вечером это самое...

В зале хохотнули. Прошел легкий смешок.

— Точней! — крикнули. — Что они там делали?

— Может, они яблоки перебирали?

Ольга, не глядя в зал и не слыша его, закончила:

— А если все так будут? Вы понимаете, к чему мы придем?

— Не будет так, — сказал Зелинский, глядя на Князеву. — Не все, как я понимаю, любят настолько, что готовы из-за нее пойти на казнь!

— Куда? — спросила Князева, удивившись.

— На суд... конечно, — поправился он. — Но не все же, как вы полагаете, Нина Григорьевна?

Та покачала головой:

— Ох, далеко не все.

— А вы как думаете, Ольга Викторовна?

— Я должна отвечать? — спросила та резко.

— Да нет, не надо мне отвечать, вы себе ответьте! Лично сами себе... Только не лгите, себе лгать не пристало... И вы, — кивнул он через сцену защитнику Козлову. — И вы, — это заседателям. — Да и они тоже, — это уже к зрителям. — Пойдете вы из-за любви на такой суд? Да? Или нет?

«Наверное бы, я пошла, — подумала Князева. — Если бы... А может, и без если бы... Пошла бы, и все тут... Но такого не будет».

«Нет, нет, никогда и ни за что», — решил Козлов и поежился от такой неуютной мысли.

Заседатели об этом вообще не думали. Мужчина, что был в военной форме, страдал от зубов, а дома у него подрались зять с дочкой и собирались разводиться. Вот

об этом он и думал теперь: как их помирить да вырвать больной зуб...

А женщина, немолодая, грустная, что жила с больной матерью, вспоминала и не могла вспомнить, успела ли она выключить электроплиту, уходя на суд... И если нет, догадается ли ее мать это сделать. Это и заодно накормить поросенка, которого они недавно купили на рынке и который, кажется, был рахитичным и плохо рос.

Ольга же подумала так: «Пошла бы! Если бы позвал Толик! Но если бы не доводить дело до суда, потому что на суде бы она сама себя жестоко осудила...»

— А вы-то? — спросила вдруг Князева. — Сами-то, Владимир Петрович?

— Да я что... — отвечал Зелинский, утыкаясь в бумаги и как бы уходя в этот момент от всех и от Князевой, вернувшей ему его собственный вопрос.

Но он не мог не думать об этом, и он догадывался, что и он пошел бы... Только не попадалось ему такой женщины и не везло ему в любви в его жизни.

... Чемоданов уставился, ничего не понимая.

— Зиночка... Это что за статуя? — спросил он, указывая со смехом на Костика, который стоял рядом с его Катей, и стоял так, будто он, а не Чемоданов, был ее женихом, а теперь мужем.

— Мало у нас тут охломонов болтается! — воскликнул Толик и натянуто захохотал. — Шел да поздоровкался... У нас тут, когда ходят, всегда здоровкаются...

Он даже сделал шаг вперед, будто для того, чтобы взглянуть новоявленного знакомого Кати, а сам корчил мину, стреляя глазом в сторону калитки, намекая Костику, чтобы сматывался он с глаз Чемоданчика и компании, не то будет скандал до неба и выше!

Но Костик торчал рядом с Катькой и был как одурелый. И все это видели, лишь Чемоданов не видел, повторяя, как заведенный, дурацкую Толикову фразу:

— Это почему же они тут в саду здоровкаются-то, Зиночка? И почему охламоны ходят через сад рядом с Катюней? А?

Зина помалкивала. Она давно разглядела мятое Катюкино платье с налипшей паутиной, видела она, что и ее спутничек, утренний скандалист, был не чище ее...

Выставились два дурачка, как на выставке, и все на своих лицах написали... Будто специально для Чемоданчика себя демонстрируют, смотри, мол, какие мы блаженные и что с собой сотворили... А он-то в пьяном угаре не видит, слава богу!

Но и Чемоданов теперь разглядел все.

Он пробормотал, будто просыпаясь:

— Это что же, Зиночка! Это же форменная свиданка за моей спиной?

— Не знаю, — ответила она. Что она могла еще сказать?

Катя не смотрела на своего бывшего жениха, а смотрела лишь на Зину. Не было в ней ни испуга, не было стыда перед всеми гостями.

— Зин, — произнесла не громко, но внятно. — Не пугайся только... Я тебе все объясню... Я все сделала сама...

— Я объясню, — перебил ее Костик. И выпалил: — Я на Кате женюсь!

— Ду-рак! — выдохнул непроизвольно Толик и осекся, поймав на себе ненавидящий взгляд Чемоданова. Наверное, до него дошло, что и Толик тут как-то замешан. Сейчас он вразнос пойдет... Надо бы сматываться подобру-поздорову, а то ему влетит...

Толик зыркнул в сторону калитки, но проницательная Зина как угадала, вцепилась ему в руку.

— Толик, — попросила. — Толик, успокой его!

— Как же... Успокоишь... — пробормотал он и попытался от Зины освободиться.

Но она держала крепко.

— Ну поговори, он тебе поверит!

— Он никому не поверит!

— Зина! — Чемоданов обращался лишь к ней. — Ведь я с вами по-хорошему? А вы?

— Я правда не знала, — откликнулась Зина.

— Не знала она... Не знала, — подтвердил Толик.

— И ты тоже... — Чемоданов вскрикнул как раненый, берясь рукой за грудь, будто погибал от удара. Вдруг он подхватился и кинулся в дом.

— Беги за ним, — Зина толкнула Толика к террасе.

— Зачем?

— Беги! — сказала она. — А то он что-нибудь с собой сделает!

— Не сделает...

— Да он же пьяный!

Но всех в это время отвлек инвалид, объявившийся в саду. Никто не заметил, как он пришел.

— А я тебя ищу, — сказал он, обращаясь к Костику, стоявшему столбняком среди всего этого крика и гама.

— Меня?

— Тебя, мать послала... Ты же Ведерников?

— Я, — сказал он.

— А чего тут так шумно? С улицы даже слышно!

Из дома появился Чемоданов, но уже с ружьем в руках. Все, забыв про инвалида, уставились на него, на его руки. А он тут же переломил ствол и дрожащими руками стал заталкивать туда два патрона, подаренные Толиком. Хорошие патроны, не с дробью, а с картечью, специально для собак.

Заталкивал и озирался, патроны туго лезли, выглядывая, как все они тут собрались против него, против Чемоданова. Все против одного, заранее договорились. Пощады от них не дождешься, но пусть и от него тоже не ждут. Ни Толик, ни Зина, ни Катька, ни этот... Объявившийся неведомо откуда типчик...

Его взгляд натолкнулся на инвалида, который один среди всех ничего в происходящем не понимал и был до крайности беспечен.

— Ты на кого, дружок, охотишься? — спросил весело.

— Папашка! Я тебе дружочек? — повторил Чемоданов, впиваясь в него глазами. — И это кругом тоже дружочки? Да? Да я тебе скажу, кто они на самом деле: волки! Папашка! Стая волков! А этот, — кивок в сторону Толика, — так матерый волчище... Он уже Зинкин дом успел загнать, у него и билет на поезд в кармане!

— Толик? — Зина в страхе повернулась к нему. — Это правда? Когда же ты успел?

— Успел, успел... Он такой, он поворотливый! — голосил Чемоданов.

— Да врет он! — выкрикнул Толик, потому что в сердцах ругал себя, что вовремя не ушел, а теперь стой как дурак и выслушивай пьяный бред этого сумасшедшего жениха, который еще неизвестно что выкинет... со своим ружьем, как в дурацкой какой-то драме. Слава богу, что не умеет заряжать и патроны не лезут... Подарил, называется, на свою шею!

А Зина уже под руки Чемоданову лезла, просила, умоляла:

— Брось ружье-то... Василь Василич... Брось... А и правда стрельнет, оно же оружие... Давай тихо-мирно поговорим... И Катя поговорит... Ведь ничего не случилось же...

— И ты врешь! — произнес тот, наконец зарядив ружье, и щелкнул затвором. — Все тут заврались, все против...

— Эй, эй... Дружок, — выкликнул инвалид, замечая, что тот взводит курки, пытаюсь целиться в стоящих тут людей. Он заковылял прямо на поднятое к нему ружье. — Ты, брат, не того... Убери пушку-то, не стращай... Не страшно... Мы уж отстрелялись, дружок... Совсем отстрелялись-то...

Он протянул руку, пытаюсь ухватить за ствол, чтобы наклонить его к земле, но Чемоданов понял это движение как попытку отнять ружье.

— И ты против? Все... И ты тоже? Ненавижу! — крикнул он и нажал курки.

Грянул дуплетом выстрел.

Инвалид какое-то время продолжал стоять, будто в удивлении уставясь на смертельно белого неподвижного Чемоданова и на черные дула, изрыгнувшие два красных огня, из них еще исходил легкий дымок. И вдруг стал опрокидываться на бок, теряя костыли и хватаясь за воздух рукой. Упал, затрепыхавшись, и затих. Лежал на боку, скособочившись, ухом к земле, будто прислушивался к чему-то. А все, замерев, глядели.

Закричала Катя. Говорят, этот крик услышали в поселке многие, пронзительный, рассек он тишину, и люди в домах вздрогнули, и дети проснулись в своих кроватках.

37

От имени молодежи выступила с общественным обвинением Ольга Вострякова, чем-то внешне напоминаящую молодую Князеву, она и волосы стригла коротко, и в движениях, и в повадках даже, в манере громко говорить походила на своего старшего товарища.

Получалось, что она как бы шла след в след за Князевой, и ее прочили, как поговаривали, на те же профсоюзы. Уже и в горькоме обсуждали, но кто-то усомнился, что молода, и пусть-ка пока на комсомоле посидит, покажет, на что способна.

Вострякова не сидела, летала, в ней еще не было князевской силы, но уж точно категоричности, напора, энергии ей было не отбавлять. И тут она превзошла по выразительности, по нетерпимой горячей пылкости и чувству, которое не могло не заразить зал. На нерве, как выражаются актеры, она произнесла взволнованные слова от имени заводских комсомольцев и всей молодежи. Она говорила о том, что событие, которое произошло с Ведерниковым, не рядовое, не обычное и, как говорят, стандартное, укладывающееся в нормальные рамки суда. Нет, нет! Случай этот — беспрецедентный — должен стать и уже становится фактом всеобщего нашего осуждения, нашей общей бдительности по отношению к людям такого сорта...

— Какой, какой случай-то? — спросили с задних рядов. — Бесцельный, что ли? Сказала!

— Бесприцельный, — поправили другие со знанием дела. — Видать, прицелами в цехе-то занимался. Оружейник то есть.

— Ну теперь ясно. Вот ведь доверили какому!

— У нас доверяй, но проверяй!

— Именно! Именно!

— Тише, товарищи, — попросила Князева и постучала пальцем по столу. — Дома будете говорить, а здесь прошу послушать!

А Ольга напомнила случай с электриком Сырниковым, который и на двадцать минут не опоздал, но получил строгое наказание, строгое, но справедливое. А о таком прогуле, чтобы длился одиннадцать часов, никто за всю войну не помнит, да и не было; и не могло такого быть, вот в чем дело.

— А Хохлов! — выкрикнули из зала.

Ольга расслышала и тут же поправилась, что правда, был один случай с мастером сварочного цеха Хохловым, но выяснилось, что он от истощения не мог дойти до проходной и его увезли в больницу.

— Небось выпивка у него истощилась, — сказали негромко.

— Ну, это известно... Но ведь правда, что заболел-то! — возразили первому.

— Да он язвенник, где ему! Это вы Хохлова с Беспаловым спутали!

Ольга на этот раз не реагировала на реплики, а может, и не слышала их, она как бы входила в роль, голос ее набирал силу.

— Насколько нам известно, — говорила она, — бывший рабочий Ведерников прогулял беспричинно, он даже развлекался в трудовые часы, и это выглядит намеренным издевательством над товарищами по работе, которые пытались его разыскать, решив, что с ним что-то случилось. Да я сама лично бегала по поселку, понимая, какой невосполнимый удар наносит Ведерников сборочному



цеху, а значит, и всему заводу. Он умышленно, вот в чем его вина, умышленно, сознательно то есть, поставил один из главных цехов в критическое положение... И это в то время, как нашу продукцию, всем известно, что это за продукция, ждут бойцы на фронте! Ведерников нарушил святая святых — свой долг перед Родиной, которая доверила ему государственной важности дело, перед бойцами, нашими мужьями и братьями, которые, не жалея сил и жизни, добивают врага в его собственной берлоге, чтобы был, как сказал товарищ Сталин, и на нашей улице праздник!

Тут все в зале захлопали, хоть и ясно было, что Ольгу куда-то занесло не в ту сторону от задач суда, а про мужей, которые якобы на фронте, то все знали, что у Ольги никакого мужа не было, как, кстати, и у Князевой. И вообще, выходила какая-то закономерность, что как баба в активе, так безмужняя, то ли характер мешает семье, то ли времени на нее не хватает.

Зал поаплодировал, и Ольга, сознавая, что завладела его вниманием, его чувством, умело закончила мысль:

— Кто знает, — и тут она посмотрела в сторону подсудимого, — может, из-за такого, пусть ненамеренного, но вредительства, наши бойцы в решающем сражении за победу заплатят не одной жизнью... И значит, не вернуться домой...

Князева при этих словах качнула неодобрительно головой, но и она оценила точность попадания выступающей: в зале стали сморкаться, доставать платки, уж очень близко все это было для сидящих, и для тех, кто еще ждал, и для тех, кто не дождался, получив похоронку. Но и тем и другим становилось ясно, каков на самом деле этот прощелыга Ведерников, что из-за него не дождутся они своих мужей!

— Молодежь, все лучшие рабочие завода пришли на этот суд, и каждому из сидящих, и всем, кому мы завтра расскажем о нашем справедливом суде, должно стать ясно, к каким серьезным последствиям может привести человека безответственность, потеря бдительности, да

просто и моральная распущенность! Мы считаем, мы просим наших товарищей, кому доверены бразды правосудия, быть в этом деле справедливыми, но быть бескомпромиссными в своем решении, каким бы строгим оно ни было!

В зале захлопали, а Вострякова, покрасневшая, но довольная собой, села неподалеку от прокурора, на свой стул. Краем глаза посмотрела на Зелинского — каково впечатление, но увидела, что он шепчется о чем-то с Князевой. А рядом стоит какой-то человек из военных.

Кто-то из аплодировавших крикнул, приставив руки ко рту:

— Да что много говорить-то! Вышку ему! И дело с концом! Ишь, пузырь, вредить вздумал!

— А у меня муж в сорок втором... — добавила женщина в первом ряду и заплакала.

— Дык он в сорок пятом... Нарушил-то...

— А откуда известно, что он раньше не вредил?

— А вредил, что ли?

— Так у нее двое малышей сиротами!

— И все Ведерников?

— А то кто же! И карточки отоваривают с перебоями!

— И дров не завозят!

— А инвалида за что застрелили? За что? Он-то к Ведерникову, говорят, с душой, а Ведерников к нему с пушкой?

— Да вовсе это не Ведерников стрелял, а приезжий...

— Он-то свое получил, теперь сообщникам пора по рукам дать!

Князева и Зелинский продолжали что-то обсуждать между собой и никак не реагировали на реплики в зале... Теперь к ним присоединились заседатели и защитник, и лишь по обе стороны от кучки маячили фигурки стоящего на отшибе подсудимого и Ольги, которую не пригласили на эти странные переговоры.

Кто-то в зале произнес громко, во всеуслышанье:

— Все ясно, сейчас намотают, и не сосчитаешь!

— Раньше сядешь, раньше выйдешь! — прозвучало в ответ.

— Это уж точно.

Князева оторвалась от группы и сказала:

— Тише, пожалуйста... — Вернулась к тем, кто совещался, что-то напоследок у них спросила и повернулась к залу.

— Товарищи, — сказала. — Ввиду чрезвычайных обстоятельств выездная сессия суда переносится на завтра.

Зал еще некоторое время сидел, будто не доверяя сказанному. Недовольно стали расходиться.

К Костику подошел тот самый военный человек и что-то коротко ему сказал. Костик в ответ кивнул. Откуда-то появился молодой милиционер и увел Костика за сцену.

Некоторые из тех, кто не успел разойтись, смогли увидеть, как подъехала военная машина «виллис» и увезла Ведерникова, а с ним военного и Букаты в сторону завода.

## 38

Уже в машине Букаты, сидящий по одну сторону от Костика, по другую сидел милиционер, объяснил коротко ситуацию: завод в прорыве, и представитель наркомата, генерал — кстати, тот самый, что подарил тушенку, — обратился к суду с разрешением на одну лишь смену использовать подсудимого на работе. Суд разрешил, вот и все. Хотя он, Ведерников, имел право и не соглашаться. С завода он уволен, да и суд эту отработку никак не примет во внимание как смягчающее обстоятельство. Для него вовсе не довод, что он наверстает с опозданием на двадцать дней свою же пропущенную смену... Так Зелинский и сказал: не хитрите, Букаты, это ему, мол, не поможет. Хоть я и понимаю, зачем вы это все придумали...

Букаты промолчал.

— Но они не правы, — добавил он. — Это вовсе не я придумал, я лишь Вакшелю подсказал, когда стало ясно, что цех в прорыве. А работки тебе там хоть отбавляй. Ее

надо уметь делать, а не языком с трибуны молотъ, как некоторые барышни.

Видно было, что он злился на Ольгу и не мог простить ее пламенной обвинительной речи. Тем более что после, он уже знал, подойдет в цехе как ни в чем не бывало, станет сочувствовать тому же Костику. Так вот у нее странно разделялось: на сцене она одна, а в домашней, то бишь заводской, обстановке — другая. И что удивительно, она вовсе этой двойственности не стыдится, а считает, будто так и должно быть. Там, мол, официальная линия, и я, мол, со всеми. А тут я другая, потому что внутри себя я могу даже сочувствовать и понимать несчастье других. «Ох, сможешь ли, — сказал ей на днях Букаты. — Ты ведь и в жизни стала разговаривать, как с трибуны...»

В цех Костик так и вошел, как ехал, с милиционером и с Букаты, хотя тактичный мастер в последний момент оттер блюстителя на задний план, чтобы не портить картину возвращения.

Он подвел Костика к конторке, где уже сидела вся бригада, и так же буднично, как всегда, стал пояснять, какие обязанности у всех на эту ночную смену и какие дела у самого Костика.

— А вам-то чего, Илья Иваныч? — спросил Силыч. — Вам-то домой бы надо... — Он не сказал в больницу, а лишь — домой.

— Когда надо, тогда и уйду, — мирно огрызнулся тот.

А Швейк негромко сказал:

— Как закончим план проклятый, так умру, сказал Букаты...

Никто не засмеялся. Шутка была не ко времени.

Из-за машин появилось начальство, тут были и Вакшель, и Вострякова, а впереди знакомый генерал с двумя военными.

— Где? — спросил он. Ясно было, что спрашивал он про Костика.

— Он здесь, товарищ генерал!

Несколько секунд он буравил Костика своими острыми глазками, ни на кого больше не смотрел.

— Значит, влип? — спросил прямо. — Из суда?

Костик кивнул.

— А этот что тут делает? — кивнул на милиционера.

— Стерегу вот, как приказано, — ответил, смущаясь, молоденький милиционер.

— Стерегите за дверью цеха, — приказал генерал и отвернулся. А милиционер не ушел.

— Хоть постригли забесплатно... — но сказал без улыбки. — А ведь победа-то на носу...

— Говорят, что ждут чрезвычайного сообщения, — вставился Вакшель.

Букаты молчал и смотрел на генерала. И Ольга Вострякова тоже смотрела.

— Значит, говоришь, из-за бабы влип-то? — Хотя никто, и сам Костик, ничего не говорил. — А она-то хороша? — И вдруг генерал улыбнулся, косясь на своих сопровождающих.

— Хорошая девушка, — кивнул настороженно Букаты. — Да я же вам все...

— Помню, — отмахнулся генерал и посмотрел на Ольгу Вострякову и на других ребят. — Завидую я вам... Только все настоящее и начинается... И у тебя... У тебя тоже, — это Костику. — Будет амнистия, так что не робей и работай! А таночки и после победы нам будут нужны! Еще как! Нужны!

Генерал повернулся и быстро вышел, а за ним и начальство. И Ольга ушла. Странно лишь, что молчала, не влезла со своими лозунгами, весь пар выпустила небось на суде...

Букаты подтолкнул Костика к танку, будто благословлял его на великий подвиг.

— Иди, Ведерников... И чувствуй, как дома...

Костик, ощущая за спиной взгляды всей бригады, подошел к машине. Вздохнул, прикасаясь к холодному металлу, полез внутрь. Напоследок не удержался, оглянулся: все напряженно смотрели ему вслед. Но, заметив его оглядку, тут же рассыпались, занялись каждый своим делом...

На рассвете он закончил последнюю машину. От непривычки, все-таки сказывалась большая пауза, руки у него дрожали. Он сполз по гладкой броне вниз и огляделся: все уже спали. Одни на раскладушках, другие на брошенных прямо на пол матах, а Силыч, тот прислонился к порогу конторки, наверное, караулил Костика, потому так и заснул, сидя лицом к танку.

Костик приблизился к нему, хотел доложить, что дело сделано и можно идти домой... Но в последний момент засомневался и будить Силыча не стал. Наоборот, посмотрев последний раз на сделанный им танк и отыскав глазами своего сторожа — милиционера, который, конечно, тоже спал, удобно пригнездившись среди рабочих, Костик присел рядом с Силычем, сил не было куда-то еще идти и устраиваться...

Закрыв глаза. И как провалился в пропасть, в короткий беспмятный сон.

Впрочем... То ли во сне, то ли наяву появились какие-то военные, он так и не смог понять, кто же это, те ли, что принимают работу, или другие, которые судят. Но тут один, из самых старших, сказал:

— Все преступления твои налицо, дружок... Все, кроме одного... И ты знаешь какого!

Костик виновато кивнул. Он-то верил, что суду это не может стать известным. И даже похолодел: все-таки стало!

— Напомните, как было. — попросил старший офицер.

— Как? — спросил Костик. — Ну... Они же меня в Москву на съезд молодых рабочих послали...

— Это мы знаем. А потом?

— Потом? — спросил он, оттягивая трудное время признания. Он вздохнул и спросил: — Все рассказывать?

— Правду, одну только правду... — подсказал откуда-то Толик. — Но не всю...

И откуда он, прохиндей, снова объявился, он же сбежал тогда, и его так и не нашли. Да и не особенно его искали, он

нужен был лишь как свидетель. А теперь вот, в критический момент для Костика, вынырнул.

Старший офицер кивнул:

— Вы виноваты, что долго скрывали факт командировки, но мы хотим все знать с самого начала... Говорите!

39

*Еще гремит великое сраженье  
Громами битв и грохотом труда,  
Последних сил последним напряженьем  
Еще жива фашистская орда.  
И мы, страны резервы трудовые,  
От братьев и отцов не отстаем,  
Мы армии рабочей — рядовые,  
Все силы для победы отдаем!*

Женщина в длинном красивом платье объявила, что выступала со своими стихами учащаяся ремесленного училища номер один из города Перми. Далее шел оркестр народных инструментов ремесленного училища номер два города Москвы.

В ослепительно белом Колонном зале сидели подростки, все такие же, как Костя, он обратил внимание даже, что у многих, как и у него, не было никакой особой формы, кроме той, которую дали в училище. А ему удалось лишь на время поездки в Москву пряжку сменить на бронзовую, самодельную, горевшую как золото.

Их кормили в каком-то красивом ресторане и даже деньги выдали на расходы. Но Костик ехал в Москву, не верил, что сможет увидеть то, что знал лишь по картинкам... Это было странное ощущение: он будто и ходил, и видел себя со стороны, что ходил прямо по картинкам, то есть все было настоящее, но точно как нарисованное и известное ему раньше: Красная площадь, Мавзолей, музеи, храмы, и вдруг — Сандуны... Он так и запомнил, что баню называли Сандуны, где выдали им простыни, а он, кроме обычной бани, других и не знал! Везде мра-

мор, бассейн, про который он часто потом маме рассказывал...

Побывали они и на рынке: махорка, хлеб, табак.

Спичечная коробка махорки — двадцать пять рублей. А буханка хлеба — двести пятьдесят. И вдруг они увидели «петушки»! Сладкие довоенные «петушки», янтарного и рубинового цвета на палочках. Тут же все деньги просадили на эти «петушки», шли по улице Гурького, зажав по пачке в руке, и лизали... Лизали!

— Ну а потом? — спросил офицер. — Потом-то что?

— Сейчас... Я все расскажу, — пообещал Костик и задумался, вспоминая. — В общем-то, я нарушил тогда дисциплину, только на заводе не знают... Что я тогда сам вызвался поехать с бригадой.

— Добровольно? Я вас правильно понял?

Костик кивнул. Его и правда никто не принуждал. Но его деликатно попросили. Дело-то и правда на две-три недели, так сказали. А он на это время будет числиться, по согласованию с наркоматом, как бы при заводе... На ЗИСе — заводе имени Сталина, к примеру...

Так ему было объяснено в НКО — Наркомате обороны, куда его привезли. Он лишь запомнил, что это неподалеку от Китай-города.

В огромном, он таких и не видывал, кабинете с ковром во всю длину, Костик его попытался, чтобы не грязнить, обойти по краю, полковник встал из-за стола и спросил у Костика, а сколько ему лет. Костик вместо четырнадцати сказал, что ему исполнилось пятнадцать.

— Маловато для такой поездки, — вслух произнес полковник и сделал паузу. — Но уж здорово, говорят, умеете вы с техникой, правда?

— Не знаю, — отвечал Костик.

— Ладно, — произнес полковник и вернулся к себе за стол, потому что раздался звонок. — Управление ремонта бронетанковой техники, — доложил он и встал, звонило, видно, начальство. — Так точно, ремонт осуществляется, на сегодняшний день отремонтировано сто тяжелых и средних танков... В полевых условиях рабочие ремонт-



ники отдают фронту обратно восемьдесят один и семь десятых процента, — полковник заглядывал в какую-то бумажку. — Так точно. Но очень гибнут эвакуаторы... Ну те, что вытаскивают из боя машины... Сейчас формируем новые ОПРБ: отдельные подвижные рембазы, вместо выбывших...

Полковник посмотрел на Костика, закончил разговор и вдруг сказал:

— Будешь включен в рембазу... Там шофер, военпред... Только не рисковать. Сам слышал, что я тут доложил...

Костик кивнул.

— Впрочем, — тут же сказал полковник, — если дрейфишь, то лучше не езжай! Поищем, заменим!

— Я поеду, — сказал Костик.

— Ну, тогда счастливо, — произнес полковник и протянул ему руку.

Костик возвращался из кабинета и ощущал на коже руки это прикосновение: еще бы! Сам полковник из министерства ему руку на прощание дал, виданное ли дело! Ему велели ехать в Лось, под Москвой. Там, в военном городке, обмундировали в старую, давно ношенную военную робу, дали телогрейку, ватные штаны. Выдали противогазную сумку, чтобы носить инструмент, и поставили на довольствие: полкило хлеба на день и еще какие-то «рейсовые». А старшему лейтенанту, он был украинец по фамилии Шепель, темный, с темными усами, выдали и пропуск для беспрепятственного проезда по военным дорогам: с красной чертой по диагонали...

На рассвете на двух машинах, на английской, крытой брезентом, под названием «битфорд» и на русском газике, выехали они по Симферопольскому шоссе.

Ночевали в Ясной Поляне, в полусохранившемся здании музея. Повернули на Воронеж. В каком-то пункте — Масловка — у них на «битфорде» полетела коробка скоростей. Пересели и продолжали далее путь они на газике, но и он за дорогу несколько раз ломался, и Костика с другими слесарями приходилось его чинить.

Запомнился городок Острогорск, бывший городок, а теперь пустыня, лишь трубы печей торчали из земли и кое-где из землянок выглядывали, будто из преисподней, напуганные люди.

Через Ростов-Дон и переправу — она была на полметра под водой для маскировки — вышли на Батайск и на Краснодар. В станице Крымской еще шли бои. Тут под Краснодаром у старшего лейтенанта Шепеля была семья, он даже не знал, живы ли они после освобождения. Оказалось, живы: жена и двое детишек. Выскочили, повисли, от радости не знали, чем накормить и где посадить, да и сажать не на что было, и кормить тоже нечем. Машину поставили во дворе, а ночевали на полу вповалку, на мешках, накрывшись телогрейками. И вся-то встреча у командира одна ночь: здравствуйте и прощайте!

В подарок оставили ящик селедки. Это они везли по совету опытных рембазовцев, которые говорили, что за селедку, мол, везде в станицах накормят и напоят.

А еще до встречи со своими вышла у них авария: ночью шофер, не спавший двое суток, задремал за рулем, и машина перевернулась. Случаем в кузове бочка оказалась от горючего, зажата ящиками, она-то и спасла им жизнь: подперла и не дала придавить тех, кто спал в кузове.

Кто шишку набил на голове, кто коленку ушиб, с тем и обошлось, не считая того, что напугались.

А вот в кабине, где ехал старший лейтенант, был запасной аккумулятор, который разбился и расплескал кислоту. Когда он вышел перед домом и неловко нагнулся, форма на нем поехала лоскутками... Хотел он домой явиться во всем блеске, а явился в дырках! Очень страдал он, но домашние утешили, дело-то не в одежде, пусть самой красивой, а что нашли они друг друга...

Костик просыпался ночью и видел, как жена старшего лейтенанта при свете коптилки штопала ему одежду и почему-то плакала.

Снова возвращались в Белгород, мимо Курской дуги, которая еще дымилась, мертвая искореженная техника до горизонта, страшно смотреть...

В станице Лабинской на реке Лабе, у танкового полка, только вышедшего из боя, ремонтировали муфты, занимались блокировкой.

Костина работа — расцентровать да снова сцентризовать... А тут прошел слух, что враг атакует Ростов, и полк, не успев прийти в себя, был брошен в бой.

У Святогорского монастыря, в доме отдыха, встали на ночевку. Меловые горы кругом да памятник Артему с отбитой рукой. Только приступили к ремонту танков, посыльный из штаба: «По тревоге сниматься!» Выскакивали уже из-под снарядов: грязь, дым, пыль, копоть. Весь день гнали через села, забитые ранеными. Где-то в лесу отдышались. Ночевали в немецком блиндаже. В какой-то бочке, как показалось, из-под бензина, постирали белье. А когда надели, зуд по всему телу: бочки оказались из-под ядохимикатов. Кожу разъело до мяса. Старший лейтенант Шепель чертыхался, потому что это он прочел, будто по-немецки написано «бензин».

Да еще во время очередной бомбежки бросили они котелки с едой прямо в машине, а когда вернулись, тех котелков и след простыл. Шофер заметил: «Война войной, Костик, но в самом горячем бою держи котелок поближе к пузу».

Но был случай и похлеще, когда в парке вечером у танкистов крутили фильм под названием «Секретарь райкома». Там замечательные актеры Ванин и Крючков играют. В самом интересном месте, где фашисты окружают партизан в церкви и предлагают сдаваться, а комиссар Ванин отказывается, вдруг застрекотал вражеский самолет, один, другой, третий, и началось.

Они шли на бреющем, волна за волной, и стало темно от поднятой вверх земли. Падали вывернутые с корнем деревья. А Костик побежал. Куда, зачем, он потом не смог бы и себе объяснить. Побежал, потому что страшно стало. Парк обезлюдел, да и парка-то не стало, а кладбище изрубленных в щепу деревьев, среди которых он несся куда-то, как угорелый, и кроме темного страха

ничего не чувствовал в себе. Наверное, он сделал круг под градом осколков, потому что влетел в собственную землянку, от которой и начал свой дикий бег. Влетел и увидел, что все лежат плашмя, и никто его позора не увидел.

А потом старший лейтенант Шепель ему жизнь спас, это когда он поднял с земли бризольную бомбу. Никогда о них не слыхивал, да их немцы недавно стали применять. Красивые такие, цветные, как игрушки... А уж когда разорвется, веером осколки вдоль земли, все живое в сито превращают. Так Костик шел за начальством и с интересом крутил у нее изящное крылышко: старший лейтенант оглянулся да замер от страха. Только крикнул: «Не шевелись!» И уже был за деревом. Оттуда скомандовал: «Присядь, так, положи тихо на землю... Так... И задом, задом, так, отходи... Еще, еще, теперь ложись!» Последнее выкрикнул, понимая, что жизнь-то спасена, и тут ее из пистолета расстрелял, аж свист разбойный пошел по лесу, да ближайшая березка повалилась, ее срезало, как ножом.

А первого в жизни фашиста Костик увидел в реке Донце, когда нахватались они в одной землянке немецкой вшей и решили помыться. И деревня, кстати, Банной называлась, будто бы для Екатерины Второй тут проездом бани устраивали. Нырнул он, и вдруг лицом к лицу с разбухшим трупом оказался... Чесал по воде, аж брызги до берега летели, испугался и назад не оглядывался.

А потом им в деревне попалась колонна: два наших автоматчика вели пленных фрицев... Один рыжий, рукава засучены и сапоги на подковках... Идет, будто из карикатуры, что в газетах печатают... Костик подошел к нему и долго разглядывал, желая понять, как выглядит в лицо их враг, против которого он танки клепал!

А потом у того же Донца, когда проезжали деревеньку, вдруг из колонны наших солдат он услышал, как кликнули на всю улицу: «Костик!»

Это он явственно расслышал и даже подумал: «Авдрут — отец!» Оглянулся, но ничего, кроме пыли, не увидел... И не решился шоферу постучать. Мало ли Костиков-то на свете!

Но мучился он этим вопросом до конца поездки, и потом дома этот крик слышался ему во сне...

40

— И вы вернулись?

— Да, — сказал Костик.

— На завод?

— Да. То есть нет, нас еще всю бригаду в кабинет снова позвали, в Наркомат обороны.

— Зачем?

— Там эти... Американцы были... Ну, корреспонденты...

В том же огромном кабинете, теперь при свете люстры, в прошлый раз среди дня Костик ее не заметил, сидели какие-то оживленно болтающие люди с фотоаппаратами, в ярких клетчатых пиджаках, а некоторые в военном: не совсем привычной военной форме.

Один из них спросил знакомого Костику полковника:

— Вы назвали фантастическую цифру... Каждый танк восстанавливается четыре-пять раз... Я правильно понял?

Полковник кивнул. Вся бригада и старший лейтенант в новой замененной форме сидели на стульях, у стены, и смотрели на странных иностранцев, которые что-то обсуждали на своем языке.

— Армии Гудериана, это вторая немецкая танковая армия, за август сорок первого потребовалось заменить семьдесят процентов моторов... — подсказал второй военный, присутствующий в кабинете. — Им отказали, хотя все подбитые танки оставались у них в руках! А у нас, как вам известно, заводы оказались в труднейших

условиях эвакуации... На Урал, в Сибирь... На счету был каждый танк... И драться приходится за каждую машину...

— Это они? — спросил длинный, поджарый, с усиками иностранец и нацелился на бригаду глазком аппарата.

— Не надо! — попросил знакомый Костику полковник. — Запишите лучше цифры: больше половины танков мы восстанавливаем в зоне боевых действий...

Иностранцы качали недоверчиво головами и смотрели в сторону ремонтников. Костику казалось, что и на него обращают внимание, и некуда ему спрятаться.

— Но вопрос вашим людям задать можно?

— Спрашивайте, — кивнул полковник.

— Они что же, являются «командос»? Или «камикадзе»? Им велят идти на смерть? Или они сами... Как этот... маленький ребенок? — и указали при этих словах на Костика.

Полковник тоже посмотрел на Костика и заглянул в бумажку, отыскивая его фамилию.

— Это не ребенок, а юноша-доброволец, Ведерников Константин Сергеевич, — сказал, он. — Он рабочий одного из эвакуированных в Сибирь заводов, делает танки. Но он, по его личной просьбе, включен в бригаду ремонта... У нас таких добровольцев много... — И полковник стал говорить о мужестве рабочих, об их самоотверженности и еще о том, что такой восстановительной службы, господам журналистам это, наверное, известно, нет ни в одной армии мира!

Корреспонденты и кабинет в наркомате пропали. Остались те, что своими вопросами мучили Костика.

— Но почему вы не говорите о главном... Почему вокруг да около...

— А что такое главное? — спросил, насупившись, Костик.

— Вы сами знаете.

— Не знаю.

— По лицу видно, что вы догадались.

Костик кивнул. Да, конечно, он догадался, о чем его спрашивали. Он с самого начала знал, что его об этом спросят. И все-таки оттягивал время, всякие мелкие дорожные происшествия описывал, иностранных журналистов, но о том, что случилось на Редьковских песках, умалчивал... Он знал — почему. Он не имел права рисковать, так предписывала ему устная инструкция наркомата.

— Редьковские пески? Это где?

— Под Харьковом, — сказал он. — Мы шли вслед за прорывом.

— Ну, ну!

Ремонтный газик в сутолоке боя и ужасающего грохота — била откуда-то сзади тяжелая артиллерия — проскочил зеленую балочку и встал. Не выходили, а выползали на траву. Осматривались, не поднимая головы.

Старший лейтенант ткнул пальцем вперед, туда, где, чуть завалившись набок, беспомощным чудищем темнела среди поля наша самоходка.

Костик узнал: это были СУ-76, моторы на них ставили спаренные, сразу две штуки, справа и слева, и общая блокировка, то есть одной ручкой в обоих моторах включалась одна и та же скорость. Но иной раз не срабатывал синхронизатор, летели зубья. То же произошло и теперь, во время боя...

Оба, и Костик и старший лейтенант, смотрели на самоходку. Смотрели по-разному. Старший лейтенант с опаской, а Костик с любопытством и интересом. Да он и понимал, что выхода все равно нет, и работу придется исполнять ему. Кто может еще мышью пролезть до этой коробки, юркнуть туда и, свернувшись клубочком, попытаться исправить. Выбора, как он тогда сам понимал, у него не было.

— Не было? Вы уверены?

Костик пожал плечами.

А что еще оставалось делать?

Хотя старший лейтенант ему тогда вовсе не приказывал, он и не мог ему приказать, он только спросил: «Ну?»

Что означало: «Как ты думаешь, можешь ли ты это сделать? Если можешь и если хочешь, тогда бери инструмент и в путь, да не тяни, а то потом тяжелей решаться будет».

А может, это Косте показалось, что будто ему так хотели сказать, и это неопределенное мычание «ну» означало иное, то есть недоумение командира перед невыполнимостью задания?

— А экипаж где? — спросил Костик, но спросил лишь затем, чтобы протянуть время и прикинуть хоть на глазок свой маршрут до самоходки, где и как ему нужно проползти.

— Тут они, — указал старший лейтенант на бугорок. — Окопались... Ждут...

Это последнее слово тоже указывало на то, что необходимо работу сделать. Ведь ее ждут, и ждут для боя, который не кончился, а идет сейчас вокруг них.

Костик еще раз смерил глазом расстояние, взял инструмент в холщовой замасленной противогазной сумке и побежал, делая зигзаги и пригибаясь, теперь он был весь на виду.

— Дальше, дальше, — сказали ему. — Что было дальше, Ведерников?

— Я стал работать, что еще?

— Внутри? В самоходке?

— Да. Внутри. Только жарко было. Нечем дышать, — сказал он.

Работал он по привычке на ощупь, отсоединил тяги, рычаги управления. Все как в цехе, но там проще, во всяком случае, знаешь, что кругом бригада и ты на смене... Можешь перекур сделать, баланды похлепать, отдышаться...

От пота стал весь мокрый. Высунулся наружу, ртом воздух ловил. Старший лейтенант ему из ложбинки рукой махал, мол, пригнись, дурак, башку ведь снесет! Ничего Костик не видел, хотел надышаться воздуха, потому что ослеп от пота.

А снаружи-то солнышко да травка на проплешинах, а чуть дальше солдат бежит, пригнувшись, пулемет за



собой тащит. Костик загляделся, как бежит солдат, мелко перебирая ногами, будто в какую играет игру: вправо, влево, и опять вправо, влево... И вдруг кустик вырос на том месте, где солдат пробегал. А когда рассеялись земля и пыль, уже не было никого: ни солдата, ни его пулемета.

Остолбенел Костик от такой картины. Крути красные пошли перед глазами. Тут только дошел до него жест старшего лейтенанта...

Нырнул вовнутрь, а руки дрожат, и никак он не может попасть ключом в нужное место! А тут глухой удар потряс корпус самоходки. Костик ничего не понял: потерял сознание. Ему показалось, что минуту или две он пролежал с закрытыми глазами, а прошел час. И этот час и экипаж, и старший лейтенант ждали: жив или нет этот замухрышистый, отощавший на тыловых харчах слесарек, который добровольно с ними поехал из Москвы, а теперь так настырно пер под самые пули.

Он лишь почувствовал звон в ушах, голова была цела. Он ее руками ощупал. Подтянулся: солнце ударило по глазам. Боже, а тут все тот же праздник весны, он уже забыл в темноте, в железном своем гробу, как это выглядит, будто вечность прошла! Бежит к нему старший лейтенант, не выдержал, значит. Кричит на ходу, что-то указывая вперед. Оглянулся Костик, дымится болванка снаряда возле самого борта, не взорвалась, значит, только брезент землей засыпала! Он еще подумал, что не взорвалась, значит, уже не страшно, а взорвись, так и не почувствовал бы все равно, как тот пулеметчик, что не убежал от своего снаряда.

А старший лейтенант подскочил, лег за гусеницу и кричит ему.

— Хватит! — кричит. — Уходим! Больше нельзя ждать!

А сам к земле жметя и глазом, вывернувшись, на Костика смотрит, и лицо у него белей, чем пыль на гимнастерке.

— А чего ждать? — сказал ему Костик. — У меня же готово...

— Готово? Сколько же часов? — спросил допрашивающий.

— Я не считал, — сказал Костик. — У меня и часов нет.

— Но все же?

— Часа четыре, что ли...

— И все внутри?

— Да. Только там жарко было.

— А дальше что?

Костик задумался.

— Ну, они проползли, опробовали моторы...

— Вы говорите про экипаж?

— Ну да. Развернулись, мы больше и не видели, они ведь в бой ушли.

...Он еще прислушался, лежа в балочке на траве, моторы работали как надо. Но тут что-то рыкнуло за кустами, и в небо наискось к горизонту изрыгнулось пламя. «Катюша», — крикнул старший лейтенант. Вот уж сколько они кроме танков и самоходок там же, на заводе, этих «катюш» наклепали, а не представлял Костик, что они так противно скрежещут. Для врага — так, наверное, очень противно, а для себя — приятная такая противность, а может, и не противность вовсе.

А еще через несколько минут газик во весь опор, высоко подпрыгивая, несся в сторону от боя, и тут только Костик и остальные рядом с ним поняли, что опасность позади.

Костик попросил остановиться, отошел подальше, его качало, как от ветерка. Присев, стал он выташнивать из себя какую-то желтую горечь... Его долго рвало.

41

Он открыл глаза с ясным пониманием, пришедшим к нему мгновенно, что весь допрос и все его откровения случились с ним во сне. А значит, и страхи его с разоблачением нереальны; зазря он трясся там, на сцене клуба, ожидая, когда Зелинский спросит у него, почему-то

казалось, что этот Зелинский все знает: «Все преступления твои, братец, налицо, кроме одного... И ты знаешь какого?»

Да и кто, если подумать, мог догадаться, что за странная трехнедельная командировка оказалась на завод ЗИС, после которой он приехал молчаливей прежнего... Рассказывал лишь про баню с белыми простынями, которая поразила его воображение, про Москву, а про остальное железно молчал.

По ночам лишь просыпался от липкого страха, заставлявшего вздрагивать и слышать, как учащенно барабанит сердце, переживая сильнее, чем наяву, увиденное и услышанное за тот короткий срок. И — особенно — этот доносящийся до него голос: «Костик!»

Костик оглянулся. Показалось, что кто-то позвал. Светило в рыжие от грязи стекла под самое перекрытие солнце, его косые лучи пятнали стены и пол. Слух уловил музыку, но не поверилось, откуда бы ей взяться здесь, на заводе. Но музыка и впрямь звучала, она доносилась со двора, то сильнее, то тише, это были марши...

Швейк прокричал привычное:

— Кончай ночевать! Последний бежит за допитанием!

Силыч пробурчал про козу Мурку, которую бы пора доить.

Швейк сказал:

— А мне сон приснился про твою Мурку, знаешь?

— Ну, ну! Говори!

Все, и Силыч, уставились на Швейка, привычно ожидая занятой байки.

— Эх, как там моя Анечка... Единственная, неповторимая, вечная... — потянулся Швейк, оглядывая всех и улыбаясь.

— Ты про козу давай! А про Анечку и Людочку мы знаем!..

— Вижу я, идет по поселку Силыч и ведет свою козу, — начал Швейк и замолчал.

— Рассказывай! — разрешил Силыч, посмеиваясь.

— Разрешаешь?

— Конечно!

— Так вот, ведет он козу на веревочке, а навстречу ему милиционер.

Тут проснулся Костин страж и сразу спросил:

— Кто? Кто?

— Не вы! Не вы! — быстро отреагировал Швейк. — Другой совсем милиционер. И спрашивает он Силыча, кого, мол, ты ведешь-то? А Силыч отвечает: «Кота вывел на прогулку...»

— Кота? — спросили ребята.

И Силыч удивился.

— Ну да, говорит, кота Мурку, — продолжал Швейк. — «А чего же у твоего кота рога выросли?» — спрашивает милиционер... А Силыч и отвечает...

— Ну? Ну? Что отвечает Силыч-то? — спросил кто-то, хихикая.

— И Силыч отвечает... Рога... Это, мол, его интимное дело...

Тут влетела в цех Ольга Вострякова.

— Сидите? — спросила, а у самой рот до ушей. — Ничего не знаете?

— Знаем, — пробурчал Силыч, которому помешали дослушать историю, нарушив под самый финал. — Из прорыва вышли...

Швейк добавил:

— И милиция помогала!

— Да нет! Нет! — произнесла Ольга, сияя, из нее так и рвалось, и никак она не могла высказаться. И вдруг произнесла так, будто до самой только дошло: — Ребята... Ведь победа...

Так оно прозвучало для них для всех первый раз.

А потом каждый из услышавших сам попытался произнести это слово. Но не так, как прежде, когда его ждали и когда оно выходило как бы вопросительно, а по-новому, будто бы пробуя его на вкус и понемногу с ним сродняясь, находя свою собственную, личную в нем интонацию.

Победа. Победа. Победа. Победа. Победа. Победа. Победа.

Вот столько раз его повторили. Это слово пришло не извне, а родилось внутри каждого, и потому оно стало сразу своим, обозначающим самое откровенное в жизни, до конца ее. У каждого не только само слово, но и сама Победа была своя, хотя и общая со всеми. И никто, наверное, еще не догадывался, что теперь оно будет звучать для них всю жизнь, ибо сам день, которого они еще не знали, не видели, станет для них одним из самых дорогих и близких дней... Чем далее во времени, тем глубже, сильнее для его понимания.

Сейчас же этот день никак не осознавался в исторической перспективе, а казался лишь границей, за чертой которой заканчиваются все в мире страдания, все потери, все смерти, а начинается новое, которому, хоть оно и мир, но нет реального названия. Мир — уж слишком просто и обыкновенно, а то, что будет, будет, ясное дело, необыкновенно и прекрасно.

Люди из цехов валили на улицу, ослепленные ярким днем, оглушенные собственным сердцебиением, сливающимся с тактами яростной, гремевшей будто с небес музыки.

Кто пережил Победу, тот не может не помнить, что день этот с утра был особенный и даже воздух был особенный, он искрился золотом и полыхал солнцем.

И те, кто появлялся на улице, выходя из домов, тоже изменялись, становились иными, в их глазах, в жестах, в настрое возникало торжественное и ликующее и наступала особенная близость между каждым человеком и всеми остальными людьми.

Они стояли за воротами: Силыч, Швейк, Костик вместе с милиционером и вся остальная смена.

Стояли и щурились, потому что они еще не жили при Победе и не знали, как при ней живут.

Какой-то пацан гнал мимо тряпочный мяч, играя сам с собой и делая самому себе пасы.

Все вдруг уставились на него, на его ноги, ловя мгновения этой странной игры, про которую они, казалось, навсегда забыли.

И вдруг кто-то, опомнившись, завопил:

— Подкинь!

Бросились к мячу, сняв его с ноги пацана, и погнали по лужайке, поднимая столбом пыль.

— Пасуй!

— Вдарь!

— Подкинь!

— Мочи!

— Мазило!

Милиционер не отставал от других и тем более от Костика, которого ему следовало сторожить. Где-то на подходе к импровизированным воротам он рассерженно закричал:

— Подсудимый! Отдай мяч! Я кому говорю... Отдай!

Откуда-то появилась Лялька.

— Ребята... Возьмите меня...

Силыч коротко, но выразительно взглянул на нее и промолчал.

— Возьмите... меня... Я же первая принесла Победу!

— Обвинительница! Ольга Викторовна! — сказал Силыч громко, указывая на нее ребятам и как бы представляя.

— Но я же Лялька... Я же Гаврошик...

— Ах, Лялька!

— Да, да!

— Ладно, — разрешил Силыч. — Становись, Лялька, в ворота и защищайся. А ты, Костик, будешь ей бить!

Ольга попыталась торговаться, но все прикрикнули на нее, и, поняв, что ее взяли, почти взяли, она встала в ворота, надев от солнца чей-то картуз. Рядом стоял мальчик, хозяин мяча, и просил ее:

— Теть, я этот угол держать буду...

— Держи, — кивком разрешила она и поплевала на руки.

Костик разбежался — все смотрели, и все понимали, что это за поединок, который они сами организовали, — и дал по мячу так, что Лялька упала, не взяв мяча, а мяч, взвившись в воздух, улетел в глубину леса.

42

Игра продолжалась, но милиционер уже отвел Костика в сторону и приказал идти за ним.

— Куда идти-то? — спросил Костик.

— Не знаю, — ответил милиционер. — Велели на суд приводить...

— А будет? Суд-то?

— Кто же его отменит? — резонно произнес милиционер. — Без суда в нашей жизни нельзя.

— Сегодня?

Он в раздумье покачал головой.

Милиционер был одних лет с Костиком, но покрупней, — видать, из деревни.

Он поправил на себе форму, которой, видать, дорожил, отряхнул пыль и стал вслух соображать, что ему с Костиком делать.

Победа хоть и, понятно, праздник, но возник не по порядку, как возникают, скажем, другие праздники... Чтобы заранее прочитать в газетах, как, кому и сколько праздновать, и что нести на демонстрацию, и как вообще проводить мероприятие. И в газетах, и по радио о том объявят, всем понятно и удобно, потому что без проблем.

— Может, в КПЗ тебя отвести? — спросил он.

— Можно, — согласился Костик и посмотрел со вздохом на дружков, которые, забыв обо всем, гнали по поляне мяч. Лялька стояла в воротах. — А может, к маме?

Милиционер хотел было произнести слово «не положено», но поперхнулся. При слове «мама» в его лице промелькнуло что-то живое.

— Давай. Только ненадолго, — предупредил он и пропустил Костика вперед.

Но Костик не пошел к матери, хоть очень ему хотелось ее увидеть. Он пошел к Катиному дому, резонно считая, что милиционеру, в целом, все равно, куда идти, он тут недавно и поселка не знает.

Они прошли по улицам, ставшим вдруг многолюдными: слышалось радио, играли на гармошке, а кто-то выставил на середину улицы стол, угощал всех встречных-поперечных самогонкой и солеными помидорами.

Поднесли и милиционеру, как представителю власти, но он рукой отвел.

— У них свои дела, а у нас свои, — буркнул и велел Костику идти дальше.

У знакомой калитки Костик замедлил шаг, вглядываясь в глубь сада и пытаясь угадать, кто из них, Катя или Зина, дома. Но что-то еще мешало ему перешагнуть границу сада, где все так живо напоминало о недавнем убийстве.

— Иди уж... — сказал милиционер. — Я тут постою.

Костик потоптался и пошел по тропинке в направлении террасы. Шел, не глядя по сторонам, а лишь себе под ноги.

Постучал в дверь, тихо, потом чуть сильнее. Никто ему не ответил. Взглянул на окна, и там никого не было. Лишь на одном как бы наизнанку были процарапанные слова: **КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ**. И после слова «нельзя» стояла жирная запятая из приклеенного кусочка бумаги. Видно, что ее поставили в другое время.

Костик вздохнул и вернулся к калитке, где, позевывая, стоял все в той же позе милиционер. Завидев Костика, он удивился:

— Так скоро?

Костик кивнул.

— Ну, пошли?

— Куда?

— Не знаю.

— Может, подождем? — попросил Костик.

— Ушли, что ли, твой? — Милиционер посмотрел, прищурясь, на солнце и сказал: — А у нас в Первомайске



сейчас пьют... Батяка-то у меня погиб, а мамка с невесткой, она жена моего старшего брательника, да еще бабка, достали рюмочки и дуют... И плачут... Они когда соберутся, бабье-то, пьют да плачут, дуры слезливые... Уж сегодня и давно!

Он поправил фуражку:

— Надо идти, гражданин Ведерников! А то с меня спросят! Скажут, потеряли в праздник подсудимого, а его нельзя никак терять... А то непорядок, вдруг да решат — суд, а подсудимого и нет... Кого же тогда судить, спрашивается?

— Еще секунду, — попросил Костик и бегом вернулся к дому. Милиционер ничего не успел ответить.

Обошел дом со всех сторон, убедившись снова, что никого нет, и даже собак нет, уж они-то куда делись!

Дверь в подвал была распахнута, он вошел, спустившись по крутым каменным ступенькам. Сразу ощутил особый тяжелый прохладный воздух, и запах камня, и глубинную тишину, как в подземелье.

Суеверно подумалось, что здесь, вдали от людей, еще хранятся те звуки, те слова, которые они недавно приносили. Он напрягся, вглядываясь в сумрак, и вдруг услышал:

— Ну, здравствуйте вам... Не признали?

— Здравствуйте. Константин Сергеич?

— Они самые... Как у вас тут? Не дует?

— Не дует. Как в мертвом царстве.

— Хочешь погулять?

— По-настоящему?

— Ну, конечно! По улице!

— Я сегодня одну улицу прошла...

— Гульнем, аж чертям жарко станет! Представляешь?

— Не представляю, Константин Сергеич.

— Лезем? Ну?

— Нет.

— Что нет? Не можешь, не хочешь?

— Нет.

— Заладила, как попугай! Нет, нет... Ты хоть другие слова-то знаешь?

— Нет...

Костик вздохнул и вышел.

За забором, против террасы, стояла женщина и молча смотрела на него. Он ее сразу узнал, она была в тот вечер среди гостей, а на суде она выступала как свидетельница.

— Эй, — крикнула женщина. Она-то, видно, его не узнала. — Тебе кого?

— Катю, — сказал он и сделал к ней несколько шагов.

— Их нет, — отвечала женщина.

— А где они?

— Не знаю. Ушли утром. А вообще, они не будут тут жить, их, говорят, гонят...

— Гонят? — спросил Костик, приблизившись к женщине. — Кто их гонит?

— А кто... Зинка кому-то отдала дом-то, ну а тот еще кому-то продал, и вообще неразбериха... Так что не ходи сюда!

— А где их искать? — спросил упавшим голосом Костик.

— Этого я не знаю, — произнесла женщина и ушла к себе.

Костик вернулся к калитке. Милиционер гулял в конце улицы, а у забора сидела на земле Катя, поддерживая одной рукой корзиночку. Костик посмотрел и сел рядом.

Катя оглянулась, охнула:

— Вы?

— Напугал? — спросил он.

— Нет, — ответила. — Я задумалась.

Вдруг он увидел, что она плачет, без слез, беззвучно, только губы вздрагивают.

— Ну, Катя, — попросил он. — Ну что ты... Все будет хорошо, вот увидишь... Ты из-за дома, да?

Она помотала головой.

— Дядю жалко.

— Букаты?

— Ты ничего не знаешь?

— Нет, — сказал Костик.

— Он сегодня утром умер... Там Зина...

— А на заводе тоже не знают, — зачем-то сказал Костик. — А ведь победа...

Катя всхлипнула и посмотрела на него. Проглотила слезы, спросила, заикаясь:

— Правда?

— Конечно, правда!

— А я, дура, и не поняла... Думаю, отчего это музыка играет и все какие-то необычные... А я еще ничего не знаю... Иду и ничегошеньки не знаю... А мир-то другой... И деревья, они ведь тоже почувствовали... Правда... И небо, и солнышко... Вы слышите?

Костик заглянул в лицо Кати.

— Что?

— Как же, ведь они же все шепчут... И травка, и деревья... Зима кончилась... И все теперь будет по-другому... Неужели не слышите?

Тут вернулся милиционер:

— Пойдемте, гражданин Ведерников! Хватит!

— Куда? — спросила Катя.

— Куда надо, — строго сказал милиционер. — В КПЗ пойдем!

— Я тоже пойду, — решила Катя.

— Это вы как хотите, — подумав, сказал он. — А нам пора.

В конце улицы показалась Зина. Она шла, глядя в землю, и ничего не видела: ни Кати, ни Кости с милиционером, и лишь наткнувшись на них, остановилась. Бросилась к Кате, разрыдалась.

— Зин... Ну чего ты... Зин... Ну не надо... Вот Костя... Он говорит, что победа наступила... Слышь, Зин... Кость, ну скажи, ведь правда? Победа?

— По радио доложили, — подтвердил милиционер. — Что капитуляция всего фашизма... Праздник, значит...

— Вот видишь, Зин! — воскликнула Катя, а сама заплакала.

— Как теперь жить-то будем? — спросила Зина и оглянулась на Костю. Она сняла с головы платок и стала вытирать слезы.

Милиционер стоял, смотрел на них, нетерпеливо переминаясь, не зная, что ему делать.

— Как положено, значит, так и будем, — пояснил он. — Как вождь всех народов прикажет... Генералиссимус, значит... А сегодня, гражданочка, праздник, и надо не плакать, а положено всем радоваться!

— Но ведь нет никого, — повторяла Зина. — И дома нет, и все пропали... И Толика нет, и Чемоданова посадили... И брат... Не дожил... Несколько часов ведь не дожил...

— Вы хотели идти, так идите, — сказала Катя строго милиционеру. — Нашли зрелище смотреть, как женщина плачет!

— И я говорю... — Милиционер пожал плечами и пошел, взяв за руку Костика, забыл даже приказать идти впереди.

А Катя крикнула вслед:

— Костик! Я догоню! Ты не бойся! Я с тобой буду!

А когда они скрылись в конце улицы, двое так странно выглядевших в этот день, со стороны — друзья не разлей водой, она взяла Зину за плечи и посадила на зеленую траву у забора.

Она гладила ее голову и говорила:

— Это правда, — она говорила. — Правда, что их нет. Они остались там, Зин... Они до этого дня все остались... Знаешь, Зин, теперь так и будет у нас с тобой, то, что до этого дня, и что после...

Дуновением ветерка, теплого, ласкового, донесло музыку марша. Наверное, по радио из Москвы транслировали.

Катя подняла голову, прислушалась. И снова приникла к Зине, стала вытирать ей слезы на щеках, и руки у нее стали мокрые от чужих и своих слез.

— Мы с тобой, Зин, остались, правда... Пусть без дома... Мы-то живы, и мы есть друг у друга... И Костика я люблю... Я спрашивала у этих... Я спрашивала, как его

осудят, а они говорят, что пять лет... А может, даже меньше... Но я буду ждать, а если его куда пошлют, то я за ним поеду... А потом мы будем все вместе, ты его тоже полюбишь... И будет у нас другая жизнь... Новая, правда, Зин... Ты посмотри! Посмотри! Ты же видишь, какой это мир начинается красивый! В нем уже никто никуда не пропадет и все только будут любить друг друга... Ну правда же! Зин! А я вдруг впервые поняла, что мне жить хочется... Очень хочется, Зин... И счастья тоже хочется...

— Встать, суд идет!

1986 ГОД

ВАГОНЧИК МОЙ  
ДАЛЬНИЙ



# Часть первая

## ГРУЗ БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Перрончик прощальный,  
вагончик мой дальний...  
ИЗ ПЕСЕНКИ

Мне часто снится один сон. Вагончик наш укатил, а мы с Шабаном сидим на рельсах, не зная, где его искать. Но искать-то надо. Там, в эшелоне, остались наши дружки, а здесь кругом лес да зверье. И Зоенька моя там, в вагончике, ждет и верит, что мы ее непременно отыщем. И вот уже мы с Шабаном возлежим поверх угля в тендере, чумазые, как черти в аду, но осчастливленные своим высоким положением, быстрой ездой, обогретые железным теплом паровоза «ФД» — Феликс Дзержинский. Мы поплеываем сверху вниз, с превосходством пассажиров, обладающих такой плацкартой, поглядывая на летящие встречь елки, на темные крыши домов, на стрелочников, что промелькивают у будочек с желтыми флажками, выставленными перед собой.

Так можно катить хоть на край земли. А чтобы к нам не лезла всякая дорожная шалупень, мы на остановке отпихиваемся ногами и рычим, состроив зверское лицо: «Кудды прешь, скот-тина, тут ээки! Под охра-аной!» Действует безотказно: ээков бояться. Но вот Шабан, вперившись в горизонт, предупреждает: «Встречный, гляди в оба!» Мы свещиваем против движения свои негритянские рыльца, чтобы, не дай бог, не пропустить свой эшелон. Мы знаем



его наизусть. Там в хвосте прицеплен товарничок ржавого цвета с вытяжной, торчащей вверх трубой от буржуйки и решеткой на окошке. Рядом платформа с лошадьми, а потом штабной вагон, зеленого цвета, с гербом на боку и часовыми на подножке.

Но встречный — не наш. Угадываются танки и пушки под брезентом, значит, на фронт. А фронт теперь в далекой Германии. И солдаты машут из открытых дверей и орут слова на мотив немецкой песенки Розы Мунды:

*По бла-ту, по бла-ту дала сестра сол-да-ту,  
Дала сестра солдату пол-лит-ру мо-ло-ка-а...*

Но однажды Шабан, пустивший по малой нужде струю вниз, на соседние рельсы, вдруг возопит, заглушая гудок паровоза, что вот он — наш, наш! Эшелон!

Мы разом выныриваем из тендера и правда видим свой вагончик и даже угадываем на ходу чьи-то торчащие за решеткой мордочки.

«Прыгаем!» — кричит Шабан и сам приноравливается к прыжку, свесив босые ноги. А насыпь навстречу, как угорелая, слетишь — уж точно шею свернешь. «Боюсь!» — кричу я. «Не бойсь! Это же во сне!» Во как завернул, будто во сне не так страшно прыгать. И задняя мысль: а вдруг это вовсе не во сне? «Да прыгай же, скорей! Скорей!» — кричит Шабан и летит катышком под зеленую насыпь. Я закрываю глаза и шагаю в пустоту... Долго, очень долго меня несет по воздуху, потом с силой ударяет об землю. И крутит, и вертит, выворачивая ноги и руки. Головы своей я при этом не чувствую. Может, впрямь все происходит во сне? А просыпаюсь с колотящимся от страха сердцем и занозой в памяти: удалось ли догнать в этот раз свой эшелон или на следующую ночь снова придется его искать?

«Начальнику железнодорожного узла полковнику железнодорожных войск т. Сивцеву. Среди поступивших в эшелоне 255/17 на станцию Желтовка г. Кургана трех

вагонов с фронтовым литером госпитализированных в санитарном поезде раненых бойцов, следующей в ремонт военной техники (32 ед.), товарного вагона с лошадьми (7 ед.) и вагона сопровождения охраны поступил груз без обозначения станции отправления и оформленных бумаг, значащийся в общей накладной сопровождения как группа малолетних преступников в количестве двадцати трех единиц мужского и женского пола, список прилагаю. С ними же в вагоне обнаружены мужчина средних лет по фамилии Рыбаков и женщина Евдокия Артемова, которым, по их словам, доверили приглядывать за детьми, но паспорта ни тот ни другой не имеют. Прошу вашего разрешения для дальнейшего отправления данного вагона, а также необходимых указаний, в каком именно направлении и в чей адрес он должен быть отправлен. Дежурный по грузовой станции Желтовка-2 капитан железнодорожных войск Коваленко. 4 апреля 1944 г.».

1

Лязгнули звонко буферные тарелки. Эшелон дважды дернулся и встал. Стало тихо, поскрипывала лишь, словно продолжая движение, деревянная обшивка нашего вагона. Наверное, не только я, а все, кто был тут, даже те, кто по привычке дремал, напряглись, поднимая головы и пытаюсь уловить снаружи хоть один звук.

Конечно, остановка — не окончание дороги. Не говорю: освобождения. Мы уже забыли, что оно означает. Да от чего нам освобождаться, если вагон для нас не только тюрьма, но и дом! Затаив дыхание, ожидали: вот где-то громыхнул состав, прогудела маневровая «кукушка», — мы наизусть знали ее пронзительный голосок. Прозвучали в отдалении торопливые шаги, скорей всего женские, не в сапогах, а в мягких бурках, но к нам, к нашему вагону, они не имели отношения. Как и отдаленный, по селектору, механический голос диспетчера, отдающий кому-то указания: ду-ду-ду... ду-ду-ду.

Значит, станция. Запасные пути. Но мы знали: скоро могут последовать и другие, касаемые нас звуки. Мы ждали их с настороженностью зверьков. И вот от начала эшелона стук молоточка по колесам, ближе и ближе, и прямо под ухом живой голос, такой желанный, хоть не без пьяного матюка: «Чево, так и разъедак, тут везете? Коровку-то не везете случайно?» — «Ды нет, не коровку, — это другой уже тенорок. — А чё, молока тебе, чё ли?» — «Зачем молока? Не молока, а коровку... Вот на прошлой неделе, смотрю, эшелон-то с войны, а они коровку с собой везут... Начальник эшелона, мол, с детишками, а они коровку возят для молока... Люди на крыше с мешками, а коровка у него литерным классом, как министерша все равно! Дык просил, просил, николаевки червонные предлагал, а он ни в какую. Дык вот я и спрашиваю: тут чё, не коровка, значит? Я же слышу, что дышит...» — «Где дышит?» — «Да за вагонкой дышит!»

Глупость, несуразность пробалтывают-то, топчась у вагона, а нам приятно. Рядом жизнь. Тенорок — это охранник Петька-недоносок, в солдатском бушлате, яловых сапогах, слышно, как они уютно поскрипывают. Другой — мужлан, можно представить, в тяжелом тулупе с закруткой-носогрейкой, на ногах самодельные валенки с блестящими калошами, добротные, под стать хозяину. Коровку себе ищет, николаевками платит, значит, кровушку попил из эвакуированных, а то снабженец какой-нибудь. Он не только коровку, он весь эшелон с лошадьми и с нами может загрести.

Слышим, как и тенорок исподаль заводит: мол, коровки, ей-бо, нет, но товарчик живой везем, хошь на выбор?.. «Какой такой живой? Бабы вакуированные, чё ли? Дык тут своих солдаток хоть отбавляй! Потеряешь бдительность, повалят и изнасилуют... гы-гы-гы!» — «Да нет, не бабки и не дедки, а так, недоросль... Мальки, значит».

Это Петька-недоносок тенорком, как соловей, разливается, нами торгует... Не впервой... Он и сапоги яловые, и кое-что еще на наши души выменял. А сейчас нюхом почувствовал поживу, старается, как песню поет... Мальки,

говорит, заморенные, но еще шиворлятся... И в сам-деле дышат... «Что за мальки? Рыба, что ли?» — «Да какая там рыба! — отвечает мужлану. — И не рыба, и не мясо пока, а беспортошная тварь, малолетки то есть... Не в теле, но если откормишь, хоть помоями — они все съедят, — так в хозяйстве могут и пригодиться... Там не только пацаны, там паца-аночки... Между прочим». — «И сколь им?» — спрашивает мужлан, но без особой заинтересованности. «Так сколь бы ни было, а как на пуд потянет, можно потреблять, хи-хи-хи». — И в тон тенорку: гы-гы-гы! «Они же шкелеты небось! Это сколько надо помоев-то извести, чтобы до пуда-то откормить... Гы-гы-гы!» — «Зато целина! Не все, правда, тут уж их, скрывать не стану, потребляют...» — «И сам небось?» — «И сам... Чего же не потреблять, свое пока! Хи-хи-хи... Ну пока торчит, чего ж, бабы нет, так и девке рад...» — «А мне дык солдаток хватает. А вот коровку бы купил...» — талдычит свое мужлан. И снова о коровке, червонцах, фураже. О нас уже речи нет. Мы дотумкали, что нас тут не купят, но не обрадовались, не огорчились.

Известно, что Петька, хоть придурок при охране и хвастает, но, может, ему и правда дают из остатков, когда другие насытятся. И тогда он пробурчит, что вот, мол, как у нас ведется, сперва тесть наес-ся, а потом старшему в дому — значит, опять ему!

Слушали про чужую жизнь, как про свою, другой у нас нет. А как тронемся, снова только вагон и полная отрешенность от мира до какой-нибудь другой остановки. А когда она, другая, будет-то? Даже из вагона охранения на этот раз не пришли кого-нибудь выбирать на ночь для обслуживания.

На высокой ноте аукнулось впереди, и не сразу лязгнуло, заскрипело, застучало. Сперва редко, потом — чаще. И покатались от одной непознанной остановки до другой. Стало слышно, как завздыхали, забормотали там и тут, а в девичьем углу шепоток прошел, — и стихло. Привычно забарабанило в пол: гом, гом, гом — на стыках. И наше бытие превратилась в ничто. Ни времени, ни пространства.

Было, было, не могу назвать когда, потому что не ведаю, сколько минуло на земле световых лет... Сверкало жаркое сибирское солнце, и мы яростно молотили цепами горох, поднимая пыль. Как в той песенке, что исполняла по радио до войны народная певица Ольга Ковалева своим странно дребезжащим, но таким задушевным голосом: «Ой чу-чу-чу-чу-чу-чу, я горошек молочу, на чужой стороне...»

Цеп — кто не знает, палка такая гладкая, руками отшлифованный ствол, а на его конце, на сыромятной коже, привязана другая палка, потолще, но покороче... Вот и машешь большой палкой, а маленькой барабанишь изо всех сил по куче гороховой трухи, сложенной посреди поля. Так приказал пьяный управляющий Кириллыч, цепная собака директора. Кличка у него Кирылыч. Как нетрезв, так добр. Но не дай бог недопьет, тогда ужас как свирепеет. Ростом не вышел, кривоног, туповат, выродок, результат пьяной случки, но кулаки у него тяжелы. Говорят, из деревенской бедноты выдвинулся в активисты при раскулачивании, а как назначили председателем колхоза, пропил новый американский трактор «Фордзон», маслобойку, отнятую у богатеев, что-то еще и был в наказание разжалован и прикреплен разнорабочим к интернату. Но по совместительству он надсмотрщик. А мы быстро смекнули: если раздобыть ему бутылку самогона, освободит от нормы, отпустит промышлять бычки вдоль «железки» — так у нас главная железная магистраль Владик—Москва обозначается. Бычки распотрошим, на жаровне отсыревший табачок подсушим — и вот она, сладость курения, в ночное, неподконтрольное директору время! Кто уже курит, а кто рядом нудит, мол, оставь, оставь, на что прозвучит: «Остап уехал за границу, оставил х... и рукавицу!»

Сам директор интерната Мешков — не пьет, не курит, язвенник. У него эта язва в белых глазах торчит. Бодается. А выражение морды его лица смягчает лишь тогда, когда на своей линейке, запряженной молоденькой кобылкой, проедет вдоль полей, озирая с дороги, как мы ишачим. На

коромыслах ведра на поливку: норма сто ведер на сутки с ближайшего озерка, после них шея и плечи, как пораненные, ноют. Однако еще и сено грести. Тут от соломенной крошки кожа зудит, как от чесотки, и красная сыпь по телу. Уж лучше картошку с капустой полоть. Но для прополки у нас дошкольная мелюзга от пяти лет, и у них тоже норма. Воду не носят: не поднять, — а картошку тляками окучивают, жучков с ботвы снимают.

И хоть жарит сверху, а рядышком речка, но кажется, что до нее далеко, как до каналов Марса. Вот посчитают, как день закончится, а он заканчивается в одиннадцатом часу, ну в августе чуть раньше, и рявкнет Кирылыч, топясь на похмельку: «Сыпь в речку, муде промой, а то за версту воняет!» И так — до одури! — счастливо окунуться в черноводь, ласковую, парную, лишь огоньки домов на берегу, а сверху — звезды.

Чего не жилось: велели до куста гектар обработать, так куст на сто метров перенесли, так красиво, что с пропитых глаз даже наш надсмотрщик не заметил. А в августе уже не лебеду, не ягоды на картофеле черные, приторно-сладкий паслен, он же бздника, и не жесткие, как веревки, стебли щавеля, а горох да капустку тайно сгрызешь, а то и брюкву или свеколку — и вот оно, сытое блаженство. А в лесу, кто знает, дикая вишня подспела, черемуха, шиповник. Поедешь на деляну за дровами и, пока никто не видит, ухватишь пяток минут, больше-то нельзя, и фруктой сибирской наслаждаешься.

Так бы и была ранняя осень сорок третьего года в радость ошалелой от лета пацанве, но вдруг пришел из Москвы на интернат «вызов». И стали в одночасье сворачиваться. Какой этот «вызов», как выглядит, никто из нас не знал, не видел. Представляли, что бумага такая огромная с названием «ВЫ...ЗОВ». Зовут, значит. А как «вызов» тот приходит, так надо ехать скорей в Москву. Кому надо ехать? Понятно кому, директору, а значит, и нам! Куда нас денешь?

Сам Мешков — не малая птица, до войны каким-то хозяйством в пригороде столицы руководил, с портфелем

партийным кожаным ходил, но более ездил. И уже домик свой на краю Люберец достраивал, молодая жена, ребенок, а как объявили войну, все полетело кувырком. Стали призывать на фронт, тут он сразу язвенником стал, глаза от страха, что загребут на передовую, еще больше побелели. Напугался на всю свою жизнь.

Да повезло, хотя говорят, что такое везение недешево стоит: завхозом при детях устроился, — а как директора на фронт мобилизовали, Мешков и прыгнул на его место. Ему не только удалось вывезти нажитое, но и тут, в тылу, пожировать: двести детишек — значит, двести беззащитных рабов — и огромное хозяйство на десятки гектаров! Кому война, а кому хреновина одна, как говаривал мой дружок из Новороссийска Володька Акимцев.

А вот испуг в белых глазах у Мешкова так и застыл навсегда. И, чтобы себя подкрепить, чтобы уверить, что ты в тылу герой, а не Язва, как мы его прозвали, можно над меньшими и поизгаляться... Кого без обеда или ужина оставить, кого сразу недельной пайки лишить, кого в карцер, который сам и придумал: в бочке водовозной запирать. Небось, кино-то смотрели «Волга-Волга», как развеселый чудик-дед возит с речки воду и песенку поет... Что, выходит, без воды и не туды и не сюды... Вот в такую бочку и сажают по приказу Мешкова, на кого он укажет. Да еще пригрозит: мол, будешь бузить, или кричать, или по деревянному боку изнутри барабанить, так в говновозку запихнут. Случалось, запихивали.

А тут старшая группа взбунтовалась: близкий отъезд почувствовала. Двадцать три человека, девочки тоже. А когда в говновозку засадили, да не одного зачинщика, а сразу нескольких, те и крикнули Мешкову сгоряча: «Подожди, сука-Язва, до Москвы дочешем, а там все про тебя пропишем!» Сами не понимали, как опасно для него прозвучала та угроза.

Поперву он только разозлился, кулаком грохнул по бочке: «Кто сказал?!»

Кто, кто? Дед Пихто! Снаружи-то не видать. А мы еще вокруг стоим, ржем, как ненормальные. На бочку, на него

смотрим — и ржем. И тоже про себя думаем: «Подожди ты, Язва, до Москвы... Мы тебе все припомним! И работу в поле, и бегство от фронта, и все остальное!»

Он как услышал. Оглядел нас — глаза белые, как у покойника, в них приговор нам, хоть не догадались мы тогда, что он задумал.

А как наступил день возвращения, ровно через месяц после пришедшего «вызова», довезли нас до станции да стали сажать по вагонам, откуда-то районный прокурор взялся и начал по спискам проверять. И всех, кто бузил, в отдельный вагон посадили. Туда же агронома, он же немец, он же к тому же Рыбаков, о котором речь впереди. Он промолчал, знал, наверное, что с ним никто разговаривать не будет. Что повелят, то и сделает.

А тетя-Дуня, сторожиха наша, — ее беспаспортной держали при интернате, но без зарплаты, — и говорит, когда мы у вагона столпились... Негромко так, но мы услышали, что вот прокурор этот самый, конопатый, который на пузо плечистый, уже получил от директора гектар свеклы и гектар капусты, которые мы выращивали, а все остальное Мешков распродал и закупил вино, едет оно в ящиках в другом вагоне. Так этот конопатый прокурор какую-то бумагу на всех нас, и на нее тоже, и на Рыбакова, состряпал по просьбе директора, а что в той бумаге, тетя-Дуня не знает. А вот по жизни, когда выгоняли их из дома на Кубани, при отправке в Сибирь, еще в тридцатом, да родители, слава богу, померли дорогой и не мучились, как она, так кумекает, что прокурор-то зазря не появляется... После него всегда несчастье к людям приходит.

— Хрен соси, читай газету, прокурором будешь к лету! — проорали мы хором. От счастья, что в Москву возвращаемся, ничего мы из сказанного тетя-Дуней не услышали. Лишь гоготали, как сумасшедшие. Хотя что уж такое особенное или сытное нас в Москве ожидало? Да ничего не ожидало. Зато жизнь без Мешкова ждала, уж точно, а это, как мы понимали, самое большое счастье.

Когда отъехали, все спрашивали: как скоро мы приедем? «Куда? Домой? Будет вам дом, да еще какой!» — Это



Мешков негромко, но по-особенному, поблескивая белками глаз, произнес на прощание. И снова мы не расчухали особенного тона, его дальнего замысла, такие были дурачки. А тут двери в товарнячке — на засов, ссать-срать в уголке через дырку в полу, крошечную, а пайку, когда она есть, через узкую щель под крышей бросают, щель, она же — окошко, если на плечи друг другу встать, можно небо увидеть, столбы вдоль насыпи... Вот и вся дорога домой...

Но домой ли?

### 3

Иван Иванович Рыбаков еще в недавние времена носил имя Иогана Фишера и был одним из богатейших латифундистов Северной Германии. Прочитав в раннем возрасте Маркса, он продал принадлежащие ему ферму, землю и решил посвятить свою жизнь строительству новой жизни в неведомой для него России. Местом жительства он выбрал старинный городок Торжок, увидев однажды его золотые купола в каком-то рекламном фильме.

Иоган Фишер купил неподалеку от города в деревне Лужки дом, завел свиноферму, вложив в нее весь свой капитал, и стал хозяйствовать на земле, отведенной для него решением сельсовета. Поперву дела как бы заладились. Поросята плодились, картошка на корм была лучшей в округе, мясо на рынок поступало по недорогой цене и раскупалось жителями в момент нагло иным не радивым хозяевам. И уже через два года на окраине деревни выросли капитальные постройки: водонапорная башня и разные подсобные помещения. (Развалины их, сохранившиеся до сих пор, могут наблюдать туристы, проезжающие по гладкому шоссе от Торжка на Осташков. Иные там даже устраивают привал, чтобы отдохнуть под сенью подросших дубков и подкопать червей для рыбалки.)

Жители деревеньки — десяток баб и несколько мужиков, из тех, кто еще не совсем спился и мог у него работать,

да и остальные тоже — относились к нему вполне добродушно, но не без удивления и не без российской издевки: как же так, буржуй, а вкалывает, как ненормальный! Они-то наперед угадывали про его будущее и, в общем, не ошибались. Сначала у него стали воровать картофель. Копали сперва ночью, а потом, обнаглев, прямо у него на глазах и днем. Наверное, это было справедливо. Ни у кого в округе не росло, потому что иной раз забывали сажать, а если и сажали, то с пьяных глаз и куда попало, а у него клубень к клубню, чистый, обильный, так что девать некуда. А ведь у классика социалистического реализма писателя Максима Горького в каком-то рассказе герой прямо говорит, что если от многого взять немножко, это не кража, а просто дележка!

Но почему, — спросите вы, — некуда было тот обильный урожай девать? Да потому, — отвечаем, — что вскоре свиней у него потравили: кто-то подбросил в корм крысиного яда. И снова резон: не сбивай на рынке цены, не считай себя лучше других. У всех свиньи как свиньи, по канавам да лужам на собственном обеспечении живут, так что по приезде Иоган их за бродячих собак принял, а у него в грязной обуви на ферму не войди и халат белый надень, а если тяпнул, к примеру, накануне, то к поросятам вообще не подпустят! Да не может такое европейское безобразие вытерпеть русский мужик, который с утра наливается под завязку и оттого не способен не только работать, но и найти дорогу на ферму!

В общем, нечего тут удивляться, что потравили его классово чуждых, дорогой породы, свиней.

А пока он, долговязый чудик, в своей непрременной шляпе, обегая хозяйство, охал да ахал, да пытался ту редкую породу восстановить, ему и ферму подожгли. Деревенские жители и те, кто у него работал, сбившись в кучку, лицезрели да ковыряли в носу, удивляясь тому, как скоро чужое добро сгорает. Но никто не бросился помогать тушить. А иные еще и позлорадствовали: мол, нечего тут, на нашей, исконно-посконной земле, свой ненасытный капитализм внедрять. И были они, в патриотическом

смысле, очень даже правы. А он совсем не прав. Однако понял это слишком поздно.

По глупой заграничной наивности он с жалобой в сельсовет сунулся. Там со скрытой ухмылочкой лишь руками развели: стихия, многоуважаемый хер, или как там у вас зовется на родине... Животное, хоть и свинья, но тоже иногда болеет и дохнет, а строения, если молния ударит или ни с того ни с сего, но почему-то горят. У нас вон в прошлом годе две деревни целиком выгорели. И ничего. Как говорится в русском фольклоре: чего уж нищему терять — одна деревня сгорит, он в другую уйдет!

Еще в сельсовете, как бы невзначай, припомнили, что работнички-то у него были наемные, батраки то есть, а это в нашей свободной стране никак не поощряется. Так что по закону, если что, и засудить могут как злостного эксплуататора. Но власть наша гуманная, и до поры скандал поднимать не станут, если, конечно, он сам не будет этот дерьмовой конфликт раздувать.

Вот тут Иоган как очнулся и все, что надо, понял. А как понял — затих. Устроился счетоводом на складе промкооперации. Место незавидное, но зато теперь он никому не мешал. Посадил при доме огородик, но опять же, наученный горьким опытом, овощи сажал только для себя. И хоть теперь не очень старался Иоган, даже по ночам на собственноручно выращенную роскошную зелень соляную кислоту выливал, но росло, на удивление соседям, так, будто и земля у него была не такая, как у остальных. А еще завел по русскому странному обычаю козу, поскольку за корову огромный надо платить налог, а за козу налог не берут. И яблони, груши, сливы спилил, за них тоже в этой удивительной стране взимают денежки. А за дубки не взимают, так пусть себе растут. И стал он жить, как все остальные, зато они к нему лицом повернулись и вроде бы подобрали, во всяком случае, даже Ван-Ванычем стали величать.

А он, освободившись от хозяйского бремени — нет худа без добра, — снова книжек по марксизму набрал и понял, что не с того конца строить новую жизнь начал. Свиньи

свиньями, а прежде надо строить ее в человеке. А вот каков он, этот самый российский человек, с ходу не понять. Только огорчительно, что свинства в нем еще много.

Но ко всему этому сомнение возникло, что никто кругом, кроме него лично, никакую новую жизнь строить и не собирается. В песнях поют, в кино показывают, по радио говорят, а кругом — как жили по-темному, так и живут. И даже этому рады. В песнях, к примеру, все теперь гуртом да коллективом робим, а в жизни каждый норовит отгородиться от другого глухим забором. И вот какое сделал Иоган для себя открытие: Россия — страна заборов.

Ну известно, что самый высокий забор — граница. Тут не перепрыгнешь. Высок и величествен кремлевский забор. Иоган специально в Москву ездил посмотреть. Заводы и фабрики прячутся сплошь за заборами. Но и каждый городок, деревня да просто грядка огурцов отгорожены от чужих взглядов прочным забором. Если нет досок, ставят колючку. Даже кладбища — вот что его поразило! — и те сплошь в заборах из арматурного железа, украденного на местном заводе. Покойникам не до вечного сна, того и гляди кто-нибудь припрется на твою территорию да обгадит. Или займет.

И такое заборостроение нашего Иогана немного смущало.

Можно поискать другую деревню, область или страну, но не возвращаться же к себе на родину, где вовсю лютует фашизм и становится видней, что война с его соотечественниками неминуемо приближается. А чем она ближе, тем настороженнее к нему у всех отношение. Уже и на рынке, и в других местах в спину не раз бросали самое подлое слово: «фашист». И в сельсовете зашевелились, стали за ним приглядывать, из города наезжать, якобы по разным вопросам, но опять все выглядело крайне неприятно, потому что спрашивали о родителях, о связях с родней, рылись в бумагах, даже книги по марксизму забрали для проверки, те из них, которые на чужеродном, то есть вражеско-немецком языке.

А началась война — нагрянули на грузовичке люди в военной форме, дали два часа на сборы и повезли в неведомую Сибирь, в дальнюю, на притоке реки Тобол, деревню под названием Таловка, где велено было ему безотлучно находиться и работать при местном овощескладе сторожем. Но до продуктов опять же не допускали: опасались, что он, потенциальный враг, какой-нибудь продукт испортит, а то, не дай бог, и отравит!..

Там его и обнаружил ушлый Мешков. С ходу уразумел, насколько в его хозяйстве может быть полезным этот пришлый немец. Особенно после того, как ознакомился с его биографией, для чего в районном отделении милиции полистал его дело. За небольшую мзду было условлено с районным начальством, что вышеназванный немец, пребывание которого всем в обузу, перейдет на подсобное хозяйство интерната, а в сельсовете, чтобы не было лишних вопросов, оформят ему бумагу на какую-нибудь русскую фамилию.

Понятно, что Мешков языков не знал, ему было ни к чему. Но Иоган сам однажды обмолвился, что фамилия его в переводе на русский означает «рыбак». Мешков подхватил: «Вот и запишем тебя как Рыбакова!» Он всех на «ты» называл. С тех пор стал Иоган, он же Иван Иванович Рыбаков, незримой тенью безграмотного Кирылыча. В зачет все шло именно Кирылычу: и высокие урожаи, и налаженное на немецкий лад хозяйство, и научное травополье... Вплоть до прекрасного овощехранилища, где, вопреки сибирским морозам, замечательно сохранялись картофель и другие овощи до самой весны. Кирылыч же обеспечивал рабсилу, слава богу, Рыбаков этого не касался, потому что рабство он ненавидел. Кирылыча не любил, но терпел, почувствовав в нем и в Мешкове единый законченный образ, хоть и с разных сторон, того самого человека будущего, которого создавала новая Россия.

Ну а когда время подошло к отъезду, Мешков снова передал его в веденье местной милиции, а там было решено под благовидным предлогом отправить Рыбакова в эшелоне как надзирающего за детьми. В московские

планы Мешкова он явно не вписывался. Да и вся неоплаченная работа Рыбакова, особенно ее плоды, этой ловкой отправкой навсегда прикрывались. Поди разыщи, какой такой пришлый немец создавал Мешкову богатство и куда потом провалился.

Все это я узнал позже. А тогда мы, интернатовские, знали одно: Рыбаков — чудик, еще Рыбаков — недобитый фашист. Чудик — понятно почему: беззлобный, доверчивый, придурковатый — словом, на котором можно задарма ездить: вон как пашет на Мешкова! И фашист — понятно. Каждый немец — фашист. Тут и спорить не о чем.

Но случилось, за год до вагончика, пришел Рыбаков на берег речки Таловки, у разбитого моста, где мы всегда купались (на этот раз я был один), и, присев на травку, спросил, глядя поверх моей головы: «Вода-то теплая? Ну пойдем, дружок, покажу тебе, как надо брассом плавать!»

4

Где-то я прочитал про «лишнего» человека Печорина, а может, Онегина, но отчего они лишние — так и не понял. Только застряло в башке, что жили они, как охломоны какие, чужие среди своих. Томились. Все повторяли: нечем, мол, им жить. Еще подумалось: как это нечем? При некоторой ловкости рук прожить можно во все времена. Таскай, пока никто не видит: там луковку, тут молодую картошечку, хоть пока мелка, как горох, но съедобная, а если несколько кустов во время прополки незаметно подкопать, то пузо набить можно. У молодой осоки корень мучной, пожевать да выплюнуть, а на сосне смола, только жесткая, липнет к зубам, а на вишне смолка сладкая, бабы деревенские называют конфектой. А еще на березе, если белую кору содрать, под ней пленочка такая нежная, тоже сладковатая. А как из цветка одуванчика высасывать сахаристый сок, каждый младенец знает.

Вот всякие там книжки, говорят, для поваров пишут, а я, если бы умел, написал книгу для нашего брата, беспризорника, который тоже и лишний в этом мире, зато

знает, как жить, чтобы не очень томиться. Да мы свою ненаписанную книгу натошак, на ночь, наизусть пересказывали, и это была школа почище всяких их лицеев, где учили рифмовать стихи, но не учили добывать кормежку. Безрукие они были, если поразмыслить, «лишние», не случайно жизнь их доконала.

Это раньше я так думал, до своей дорожной жизни. А здесь, пребывая в вагончике, вдруг понял: я и есть лишний человек, совсем лишний, потому что и своровать ничего нельзя, а только рыться в памяти и вспоминать, как где-то когда-то добывалось прежде.

Сперва я вспоминал только хорошее, как у того же суки-Язвы брюкву с огорода упер. Но это не велика проблема. Интереснее было подглядывать через дырку в заборе, как тот на огороде раскорячивается, попердывая и покрякивая. Догадался — у Язвы запор. В одном из томов Брема, что лежали у нас для общего пользования на подоконнике (мы там картинки рассматривали), я вычитал, что у носорогов, от их постоянной злости, тоже бывает запор. Гвнецо у Язвы цвета хаки, почти как его военная форма. А носит он офицерский френч, галифе, сапоги, под фронтовика рядится, только вот медалей не хватает, чтобы на артиста Крючкова, как в кино «Три танкиста», было похоже. Я это кино раз десять смотрел, и особенно мне нравилось, когда Крючков поет: «Тогда нажмут водители стартеры и по лесам, по сопкам, по воде...»

Что такое стартеры, я не знал, но в мечтах видел, как сижу я в танке, нажимаю на этот самый стартер, а перед танком, тряся широкой задницей, дает деру Язва-Мешков, вот-вот его расплющу. А он уже от страха в штаны наложил, дымятся, и руки вверх поднял... Хенде хох!.. Не трожьте меня, я свой, я свой! Ах, гад, свой? Так получай заряд в жопу! И как влеплю ему из главного ствола... Или нет. Я сперва по нему проеду, по руке или ноге, чтобы извивался, чтобы, гад, выл от боли. А я выглядываю из бронированного лючка, смотрю в его белые от ужаса глаза: ну что, гад Язва, больно?

Но это уже из приятных воспоминаний о том, чего не было. Я ведь не зря смотрел, как он раскорячивается, все думал, как бы взять в совковую лопату горячих углей и под жирную задницу поднести... Чтобы зашипело! Вспомнилось, что был у нас конюх, из глухонемых, на конюшне с утра присаживался по-большому. А мы, значит, укараулили, незаметно со спины подкрались и под задницу ему лопату подсунули, а как закончил он свое дело, тихо то говно унесли, а сами зырим, что дальше будет. А он портки застегнул, оглянулся, чтобы полюбоваться на свое добро, а ничего не увидев, в растерянности почесался и почему-то посмотрел на небо. Тут мы и грохнули, да он-то все равно не услышал. Так, наверное, и решил, что его добро испарилось...

Вагончик — не просто воспоминание. Это повторение того, что мы пережили. И уж конечно, не забыть того вечера, когда наш чудик, он же фашист Ван-Ваныч Рыбаков обратился ко мне на «вы» там, на речке Таловке, и предложил научить плавать. Плавал он, и правда, не как мы, по-собачьи, а как плавают в кино спортсмены: взмах вперед двумя руками и головой вперед, как торпеда в воде. Называется брассом. Но я прикинул и отказался. Ребята увидят, засмеют. Скажут: ага, у фашиста плавать учишься? А если он понарошку, а сам тебя утопить задумал?

Только Ван-Ваныч сразу по моим глазам увидел, чего боюсь. «Давай так, — сказал, — я тебя научу, только не надо об этом своим дружкам, ладно? Завтра сюда приходи... Тебя как зовут?» Я сказал, что я Антон, что мне шестнадцатый год... А больше я ничего про себя не знаю. «И не надо, — сказал он странно. — Это лучше, когда не знаешь. Я бы тоже хотел про себя ничего не знать».

Был он хоть и в майке, но в своей привычной шляпе, над которой мы посмеивались, и усики жиденькие над губой подрагивают, и странная такая глуповатая улыбка. Если бы приказали мне обнаружить скрывающегося в деревне шпиона, я не задумываясь ткнул бы пальцем на



него. И сейчас я огляделся, не подсмотрел ли кто, как с врагом якшаюсь, и побыстрее убрался, а он остался сидеть на берегу.

На другой день я таки пришел, побродив у моста вокруг да около. И потом приходил, но с оглядкой. От одного пролета до другого стал по-ихнему проплывать, а потом и до третьего... Но пошли чирьи, они часто от простуды у меня выскакивали, и плавание прекратилось. А потом вообще похолодало. Мы тогда с Ван-Ванычем посиживали на берегу, вели разговоры.

— Вы знаете, как будет мост по-немецки? — спросил он однажды.

— Этот мост?

— И этот... И любой.

— Как?

— Ди брюке.

— А речка? — почему-то спросил я.

— Река? Дер флус...

— А плавать?

— Швимен.

Он повторил, прозвучало неожиданно красиво:

— Их швиме им флус... Я плаваю в речке.

Мне так понравилось, что я повторял эту фразу весь вечер, а потом она мне приснилась во сне. Приснилось, что я лихо, как торпеда, брассом рассекаю темную ласковую воду и говорю сам себе: «Их швиме им флус!»

Рыбаков удивился, услышав на другой день от меня эту фразу, и попросил повторить за ним вот такое: их хабе, ду хаст, ер хат... А когда я повторил, еще более удивился и сказал, что мне не плаванью, а надо учиться языкам, потому что у меня к ним способности. И он, если я пожелаю, в этом деле может мне помочь.

— А зачем мне фашистский язык? — спросил я.

— Он и до фашистов был, — отвечал спокойно Рыбаков. — На этом языке великие стихи написаны.

— Вообще-то я стихов не люблю.

— А вы их знаете?

— Конечно. В школе заставляют зубрить!

И я громко прочел: «...Стоит в дверях конвой, и человек стоит чужой, мы знаем, кто такой! Есть в пограничной полосе неписанный закон, мы знаем всех, мы знаем все, кто я, кто ты, кто он!» Это Сергей Михалков, про шпионов, которые к нам пролезли!

Рыбаков поморщился, выслушав стихи, спросил:

— Ты слышал о таком поэте: Гёте?

Тут Рыбаков тоже стал читать стихи, и при этом он размахивал рукой: «Розляйн, розляйн, розляйн рот, розляйн ауф дер хайдн...»

— Красная роза? — догадался я. Да, кто петрит, и понимать нечего: розляйн — роза, а рот — красная. После Испании все приветствовали друг друга: «Рот фронт!»

Рыбаков удивленно посмотрел на меня.

— Ну, в общем-то, угадал. Красная розочка... в диком поле... А вот еще: «Лернен, лернен унд лернен, загт Ленин».

— И Ленин... Он тоже? — спросил я с недоверием. — Он что, калякал по-чужому?

— Еще как!

Это меня и сломало. В детдоме в ходу был особый язык, но там и учиться не надо было. К примеру, та же фраза, что я плаваю в речке, звучала бы так: «Я-ме пла-ме ва-ме ю-ме в-ме реч-ме ке-ме»... Некоторые из ребят так быстро тараторят, частят, как пулемет, и ясно, никто из окружающих с непривычки не может догадаться, о чем идет речь. Но немецкий...

Рыбаков не очень быстро, но довольно ловко тут же произнес:

— Мы-ме бу-ме дем-ме у-ме чить-ме с то-ме бой-ме я-ме зы-ме-ки-ме... Я-ме твой-ме, а ты-ме мой-ме.

Уже через месяц вместо слов: их бин, ду бист, эр ист я, нарочно коверкая слова, повторял: я дубина, ты дубина, он тоже дубина... И при этом представлял Язву. Но уже мог задавать вопросы и отвечать на этом чужеродном, бесполезном для моей жизни языке. Никто, ни одна душа на свете, не догадывался, что я наловчился со слуха, без всяких там книжек, вякать по-вражески. Однажды, дело

было уже зимой и мы коротали время на овощебазе, куда посылали добровольцев перебирать картошку, Рыбаков, как для практики, пересказал мне историю своей жизни. Конечно, по-немецки. Там было и про латифундию, и про марксизм, и про деревню Лужки возле города Торжка, который он назвал своей второй родиной.

— Майн гот! — воскликнул я в конце. — Майн гот!

А он лишь улыбался в свои усики и ни о чем, казалось, не жалел.

Только однажды у него прорвалось.

— Что такое Моргенштрассе? — спросил он.

— Утренняя улица, — отвечал я.

— Вот и я так думал. — Задумчиво кивнул и, оглянувшись, добавил: — А если эта улица ведет к моргу? Как ее назвать?

## 5

Однажды нас разбудила орудийная канонада. Сквозь гул пушек мелкой россыпью трещали автоматные очереди. Деревянная обшивка вагона при каждом залпе вздрагивала, а с ней вздрагивали и мы. Не от страха — нас, кажется, уже ничто не способно было напугать, даже неизвестность. Просто пол под нашими головами от близких разрывов ходил ходуном. Можно было догадаться, что вагоны загнали в прифронтовую полосу или немчура прорвалась в тыловой городок, где наш состав которые сутки стоял на запасных путях. В какие-то, исторически давние, довоенные времена мы во все горло орали песню про бронепоезд: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути»... А надо петь так: мы запертые люди, а наш эшелон стоит на запасном пути...

Эшелон разгружался. Гремели повозки, глухо раздавались голоса, бойцы матюгались, проклиная долгий состав, который неведомо где встал, и уж конечно, во всем виноватую, такую ясную погоду, от которой только и ждать вражеских налетов и бомбежек. И только предсказали, как кто-то истошно заорал: «Во-оздух! Во-оздух!» И забухало

над головой. А вагон затрясся, как в лихорадке. И даже, как нам показалось, несколько раз подпрыгнул.

Потом враз прекратилось, наступила тишина. Про такую говорят: мертвая. От нее с непривычки звенело в ушах. Но когда беззвучие, время не идет. Может, конечно, и идет, но не для нас. Сами-то мы давно беззвучные, а звук может исходить только снаружи, из мира, где живут живые. И он вдруг объявился, но какой... Резковатый, почти лающий, знакомый мне язык... Немецкий... «Комм! Комм!» И что-то еще, нечленораздельное. Скорей всего о содержимом нашего, брошенного на произвол судьбы, вагона.

Я заметил, что когда Ван-Ваныч читает на своем языке стихи, немецкий журчит, как ручеек. А у военных он лязгает, как затвор. А голоса между тем приблизились, грохнули засовы, и в узкой щели просвета, на серо-голубом фоне неба появились несколько фигур в темных мундирах. Выставив перед собой автоматы, вглядываются в сумрачную глубину вагона, рассматривают. Чей-то голос пререзает молчание: «Киндер? Киндер?»

Тут тетя-Дуня, она специально у дверей располагается, чтобы в случае чего нас собой прикрыть, как закричит: «Фрицы!.. Фрицы!.. Сейчас стрельнут!»

А эти трое — мы так и не смогли против света лица их разглядеть, лишь каски да автоматы — потоптались у входа, а потом один из них стал карабкаться к нам, наверх, а двое продолжали целиться, переговариваясь между собой. Из их непривычно быстрой речи я смог уловить только, что они развеселились, завидев наших девочек. А тот, который вскарабкался, покрутил головой, осмотрелся и, обернувшись к своим, закричал: «Живой товар прибыл, черт возьми... Конфетки!» Остальные у входа при этих словах захакали, загоготали, автоматы закинули за спину и тоже полезли наверх: «Зер гут! Зер гут!» И пальцем на самых старших. Тетя-Дуню они как бы не замечали, лишь легонько ее отодвинули, чтобы не застила глаза. А самые старшие девочки у нас — это Зоя, ее сестра Шурочка и Мила. Их еще в ту пору, до немчуры,

наши штабисты не трогали. Как объявлял придурковатый Петька: целина.

Но первый из фрицев не к девочкам, а к нам, пацанве, в левый, значит, угол направился. Ткнул железным стволом Шабанова, мы его Шабаном зовем, и тем же стволом, не прикасаясь руками, стал его вокруг себя разворачивать. Чуть наклонясь, рассматривал его задницу и, потыкав в нее автоматом, незлобно выругался и рукой махнул: «Швах!»

— Сволочь такая, — произнесла тетя-Дуня негромко, однако все слышали. Но, видать, и она напугалась. Пробормотала непонятное: — Мужелюб, чего с него взять, с вражины... Педераста...

Понял или не понял тот фриц, скорее догадался. Повернулся резко и гаркнул ей прямо в лицо сивушным духом:

— Рашен матка! Их виде шиссен! Будет стреляй!

Теть-Дуня от испуга откинулась назад и стукнулась о деревянную обшивку затылком. Охнула, потирая голову, и села, а немец ей целит в голову: «Рашен матка, швайген! Молчи! Молчи!»

Потом, с помощью того же автомата, жестом приказал нам всем подняться и повернуться спиной. Достал электрический фонарик и, направляя свет на наши спины, на задницы, прошел по ряду, повторяя одно: «Швах, швах!»

Тут не выдержал сидящий в углу Рыбаков. Его вражеские пришельцы сразу не заметили. Мог бы и промолчать, не засвечиваться. А он вылез да еще сразу начал лопотать быстро по-ихнему. Я так его понял, что детей трогать нельзя, они и так сироты, их и до вас обижали.

Фриц даже оторопел от родной речи. Острием автомата развернулся в сторону говорившего, взглядываясь в темноту, спросил настороженно:

— Немец? Здесь? Как попал?

— Я не немец, — отвечал Рыбаков.

— Но ты говоришь по-немецки?

— Научился.

— Так чисто выучить нельзя, — возразил немец. В его интонациях прозвучали почти человеческие нотки. Он будто протрезвел от неожиданного для себя свидетеля. Вглядывался в лицо Рыбакова, про нас он уже забыл. — Я вижу, знаю, ты немец... Не скрывай, мы тебе вреда не причиним. Ты работаешь переводчиком? Как зовут? Как фамилия?

— Рыбаков моя фамилия. А вы лучше детям помогите... Они голодные, — сказал спокойно Рыбаков.

Никто из ребят, кроме меня, не понял, о чем говорят эти двое. Однако сразу усекли, что опасность, кажись, миновала. Даже тетя-Дуня поднялась снова на ноги, переживая за девочек, которых продолжали исследовать двое фрицев. Но и они развернули на всякий случай свои автоматы в сторону Рыбакова. Тут за стенами вагона началась пальба и немчуру как ветром сдуло. Только немецкий собеседник Рыбакова на прощание оглянулся, спрыгивая на рельсы, прокричал в проем двери:

— Ты немец, сволочь! Ты предатель! Мы с тобой поговорим!

Стрельба слышалась отовсюду, справа и слева. Но бомбы не взрывались, и орудия не долбили по ушам. Пока не наступила опять пугающая тишина. И, хоть наши двери оставались распахнутыми, впервые, кажется, с тех пор, как нас сюда засадили, никто не сунулся наружу, со своих мест мы смотрели на проем, как на белый экран кино... А что еще покажут?

Нет, неправда. Это мы потом так говорили, что было, как в кино, и совсем не страшно. А тогда мы смотрели на распахнутые двери с испугом. И чего-то ждали. Раньше казалось, что хуже, чем закрытый вагон, не бывает. Но стало понятней, что открытый — не лучше. Даже повстречались с настоящими фашистами. А теперь про себя молили, чтобы они обратно не вернулись, как обещали. А кто-то для храбрости даже песенку завел: «Мальбрук в поход собрался, объелся кислых щей, в походе обо-срался...»

Но песенку не поддержали.

И когда издали заслышали русскую речь, вздохнули с облегчением.

Наши солдаты подошли не сразу. Долго их голоса мы слышали по соседству. Снаружи что-то происходило, неизвестно что, пока в проеме не появилось рыже-веснушчатое лицо. «Мать честная! — произнесло оно, вытаращивая рыжий глаз, и даже присвистнуло. — Это еще что за детский сад?»

Тут сразу несколько физиономий выставилось в проеме, пока пришедшая в себя тетя-Дуня не выкрикнула в своей немного вызывающей манере:

— Ну дети тут! Чего паяться-то? Везли, везли... До фрицев довели! Чуть не поубивали всех! Тоже мне, защитнички нашлись!

— Такие девицы, да чтобы фрицам! — произнес рыжий весельчак в рифму, у него в зубах блеснула золотая фикса. — Это и нам сгодится!

Кто-то за его спиной подхватил:

— Надо же, так подфартило!

— Налетай, подшевели!

Со словами: «Трофей! Трофей!» наверх вскарабкались сразу несколько человек и, отодвинув тетя-Дуню, пытавшуюся встать на их пути, ринулись напрямик в женский угол. Последний, из тех, кто понял, что ему из неожиданного трофея может ничего не достаться, попытался опрокинуть тетя-Дуню, но, опомнившись, сплюнул, выжидая, когда в женском углу освободят место. А впереди началась потасовка. Что там недавние враги — немчура, которая соблюдала некий порядок и не рвала подметок на ходу, — эти вояки затеяли драку: кто-то кому-то заехал в рыло, кто-то пнул соседа под зад, а третий, за их спинами, вдруг поднял вверх автомат с круглым магазином и дал очередь в потолок. Знай, мол, наших! На головы посыпалась труха.

— Эй, вы! — пронеслось из левого угла, где, притулившись, сидел на соломе Рыбаков. Опять ему не жилось без скандала. — Подите отсюда вон!

На его голос не обратил никто внимания, и он сказал громче:

— Подите прочь... Слышите! Вы что, из банды Махно?

Тут солдаты, как по команде, приостановили ссору и обернулись. А тот, что стрелял в потолок, наставил автомат в сторону оскорбителя и произнес сквозь зубы:

— Это что за сявка? Пулю захотел?

— Я не сявка, — сказал, приподнимаясь, Рыбаков. — Я немец. Зовут меня Иоган Фишер. А вы кто такие?

Рыжий-фиксатый, который успел содрать с кого-то из девочек платье, нервно дернулся при слове «немец».

— Ах, не-емец? — спросил он сквозь зубы. — Лазутчик? Диверсант? Шпион?

Я знал, что будет дальше: одно неверное движение, жест, даже слово Ван-Ваныча — и его изрешетят. Уже бы изрешетили, если бы не дети кругом. И для чего он назвался немцем, подумалось, кто его за язык тянул? Рыбаков он — и все тут.

И я заорал изо всех сил:

— Ры-ы-ба-а-ко-ов о-он! Никакой он не немец!

Вагон подхватил разноголосо, что он не немец, что он чокнутый и не соображает, что говорит, а мы его знаем! Знаем! Это кличка его — немец, а он наш, он очень даже русский!

Пока солдаты крутили головами, пытаюсь сообразить, что им делать с фальшивым немцем, который не немец, а чокнутый мужик, снаружи вагона прозвучал командирский голос, призывающий строиться. И все, в том числе рыжий-фиксатый, — особенно он был недоволен, — полезли нехотя наружу.

— Ты вот что, дядя, — сказал фиксатый, обернувшись у дверей. — Немец ты аль нет, мне без разницы... А за такие гадостные слова про Махно я с тебя шкуру спущу... Сегодня же... Вечером... Понял? Паскуда...

Рыбаков сидел в углу бледный, прижав свою дурацкую шляпу к груди.

Спускать шкуру с Рыбакова никто не пришел. Но бедного Ван-Ваныча увели в другой вагон, а двери снова заперли. Мы и сами обрадовались закрытым дверям. Так привыч-



нее. А может, подумалось, такое житье-бытье и для остальной беспризорщины создать? Собрать всю шантрапу, которая заполняет улицы, мешает спать и наводит страх на трудовое население, да рассовать по товарнякам: вон сколько их на путях! И возить, возить без конца от фронта до тыла, а потом обратно, пока дорогой сами не передохнут? И всем будет хорошо. Аллес гут!

Вагон между тем зацепили и куда-то повезли. Какая разница, куда? Бывалые вояки говорят: ближе тыла не утонят, дальше фронта не пошлют. Судя по канонаде, которая все отдалялась, как прошедшая гроза, нас и правда увозили в тыл.

Где-то на третий, кажется, день — кто их считает? — лязгнули запоры, с грохотом отодвинулась тяжелая дверь, и перед нами предстала голова солдата, солдатика, по имени Петька. С этого дня мы присовокупляли к его имени всякие соответствующие определения: недоносок, придурок, недоразвитый... Что-то еще подобное.

Тогда мы впервые его увидели: круглая физия, плутоватые с рыжиной глаза, нос валенком. Все остальное за кадром. Но, понятно, могучего торса ожидать не приходилось. Таких обычно отсылают в обоз, на передовой они без пользы.

Наша реакция выразилась в незамысловатой песенке:

*Одна нога была другой короче,  
другая деревянная была,  
и часто по ночам ее ворочал,  
ах, зачем же меня мама родила...*

Теть-Дуня, глянув из своего угла, коротко определила: мужчинка.

Но сам себе Петька-придурок, как выяснилось, представлялся настоящим бойцом, воином, грозой фашистов, которые, впрочем, были от нас теперь далеко. Зато в нашем лице он обрел еще одного врага, с которым его, доблестного бойца, послали бороться.

Петька-придурок оглядел нас в упор, но этого ему показалось мало. Он поднатужился и, кряхтя, полез в проем двери, пытаясь закинуть короткую ногу, обутую тогда еще не в сапоги, а в обмотки, поверх. Оттого что мы все до одного на него смотрели, он торопился, пыхтел, а рыжеватое лицо наливалось злой краснотой.

Вскарабкавшись, он отряхнул шинель, отдышался и стал нас считать. При этом шевелил губами. На первый случай никого не тронул. Это потом он возьмет в привычку, пересчитывая, подходить к каждому и, когда не в духе, бить ладонью по голове.

Сегодня он ткнул пальцем в Зойку и Милу, велел им собираться и топать с ним в штабной вагон. Начальство приказало привести для уборки и готовки. Выбор был не случайный, уводили тех, кто постарше. Зойка высокая, длинноногая, с характером. За этот несносный характер Мешков ее терпеть не мог, догадывался, что это она подняла по осени ту самую бучу, пригрозив в Москве выложить всю правду о директоре. Наверное, был счастлив засунуть ее вместе с младшей сестрой Шурочкой в наш вагончик. Зойка и Шурочка на одно лицо, обе светловолосые, голубоглазые, только у Шурочки глаза чуть скошены к переносице, ее тут же прозвали «косая».

Мила похудей Зойки, она черноглаза, черноволоса и похожа на цыганку. Передразнивая детдомовскую врачиху, мы любили повторять: «Мила, ты руки мыла?»

Хотел Петька-придурок прихватить и Шурочку, но Зойка сразу отрезала: «Через мой труп! — сказала. — Или я, или никто».

Шурочку она оберегает, не дает в обиду.

— Ишь, раскомандовалась... — проворчал посыльный, но на первый раз настаивать не стал, видимо, сам сомневался.

Так девочки и ушли вдвоем. Вернулись под утро. Ничего не говоря, бросились спать, только Зойка с непонятной злостью швырнула девочкам буханку хлеба: «Вот! Заработали!»

В штабной вагон их теперь отводили каждый вечер, и каждое утро Зойка приносила бухарик хлеба. Что там происходило на самом деле и почему готовкой-уборкой надо заниматься по ночам, мы не спрашивали. А девочки молчали. Только тетя-Дуня о чем-то с ними все время шепталась, а до нас во время стоянок долетала ее ругань.

— Кобели проклятые! — однажды в сердцах произнесла она, грозя кому-то за стенкой сухим кулачком. — Пе-пе-же бы завели, чтобы девок не портить... Крысы тыловые!

Что такое «пе-пе-ша», мы, конечно, знали, — это пистолет-пулемет так зовется. А что такое «пе-пе-же», мы не знали, пока тетя-Дуня не объяснила, что так именуются фронтовые, то есть временные, жены... Передовая... Полевая... Или какая там еще... жена. Вот и получается: «пе-пе-же».

Тут мы опять ничего не поняли. Но тетя-Дуня сказала, что нам и понимать не надо, малы еще. И тут же смягчилась и угостила нас сушеной свеклой, которую заготовила еще в Таловке, и теперь, время от времени, доставала из своего мешочка. По крошечке совсем, но такая сладость.

У тети-Дуни белый ситцевый платочек в рябинку, темное лицо, низкий, чуть хрипловатый голос. Когда наступает ночь, а это как день, только еще темней, и слышней, как колеса сбиваются с ритма на стыках, на полустанках или на разъездах, а пол начинает потрескивать и сотрясаться, и весь вагон юлит и ходит из стороны в сторону, тогда нам особенно не спится, и мы тянем жалостливо: «Теть-Дунь, спой чего-нибудь!» — «А чего спеть?» — «А что знаешь!» — «Ох, ничего не знаю, все перепела...» — «Ну ты «Баню» спой...» — «Ну разве «Баню»...»

Вздыхнет, задумается, глядя в темноту, и вступит протяжно, протяжно:

*Во понедельник я банюшку топи-и-ла,  
А во вторник я в банюшку хо-оди-ила,  
Среду в угаре про-ле-жа-ала,  
А в четверг я головушку че-са-ала.*

*Пятница — день непряду-и-щи-и-й:  
 Не прядут, не токут, не мо-та-а-ют,  
 Не прядут, не токут, не мо-та-а-ют,  
 А во субботу родных вспоми-на-а-ют...  
 Ох ты милый мой Аме-еля,  
 Так проходит с тобой вся неде-еля-я-я!*

Скажет тетя-Дуся последние слова речитативом и на выдохе смешливо произнесет: «Во-от!» И мы хохочем. Нас очень занимает такая жизнь: то в угаре, то чесать голову надо — столько забот, что не соскучишься. Не то что мертвое пребывание в вагончике.

Но, оказывается, прифронтовые приключения и нас сильно встряхнули. Особенно после того, как фрицы каждого из нас крутили-вертели. Что-то в нашем мальчишнике переменилось. В полусумраке дня стали друг к другу приглядываться, пытаюсь сообразить, чего это фрицы среди нас искали. И, опять же, вспомнилось словцо из матерка тетя-Дуни про мужеложство. Вдруг до кого-то дошло: педеры! А что такое педеры? Просветили того, кто не знал. В нашей уличной энциклопедии сведения на все вкусы имеются. Есть и свои академики, которые тебе растолкуют загадки бытия. Очень содержательный разговор вышел.

Я слушал, но помалкивал. А днем к Шабану пригляделся. Он помельче меня, хотя годом старше. И фигурой поплотней. Про таких говорят: коренастый. Только рожа плоская, а глазки маленькие, злые, как у татарина. Но он татарин и есть. И чего могло в нем фрицу понравиться?

Нас в вагончике девять девочек и четырнадцать пацанов. Но сначала было пятнадцать. Был еще Скворец. Не потому, что певчая птичка, фамилия была у него Скворцов: носастенький, щупленький тихарик. А оказался вовсе не тихарик. На каком-то полустанке, когда наш Петька-недоносок зазевался — то ли с котелком за пропитанием отошел, то ли в кустиках опорожнялся, Скворец — это мы наблюдали, как на экране, — подошел к краю дверей, будто

что-то посмотреть, а потом как сиганет вниз, на рельсы, — и бежать.

Крик поднялся с матюгом, и от других вагонов тоже, и страж наш прибежал: глаза вылупленные, руки дрожат, крутит головой, чтобы понять, сколько нас тут осталось. Еще бы: ему первому и влепят. Пересчитал — и за кустики. А оружие свое наперевес, будто в атаку на врага пошел, и долго, кроме матюгов, ничего не слышали. Теть-Дуня рискнула выглянуть, говорит, собаки... Какие еще собаки? Сыскные, что ли? Да нет, говорит, часовые, как псы гончие, только что не рычат и не лают, а так звери, не люди... Гон-то устроили, будто за дичью. Я высунулась, а они мимо, мимо, только кулак кажут!

Ну что не рычат, не лают, это она ошиблась. По-человечески, и правда, разучились. Но зачем собак-то обижать? У охранников язык и манеры шакалов. И вдруг: бах, бах! И стихло. Потом вернулся Петька-недоносок, в глине весь, грязным пальцем еще раз всех пересчитал, не залезая наверх, и палец у него, мы все это видели, дергался вверх-вниз. Потом его вызвали в штабной вагон. Вернулся — будто на коне приехал: поддатый, и нос кверху. Как сказала наблюдательная теть-Дуня: «Видать, поощрили банкой тушенки, а то и стаканом самогонки... За удачную охоту».

А уж когда забарабанили колеса и можно было говорить не таясь, теть-Дуня прочитала «Богородицу» — и вслух, не для кого-то, скорей для самой себя, произнесла, что Скворчик-то был первый из нас, кто решился покинуть вагончик...

А я вдруг подумал, что Скворчик, которого мы так мало знали, тоже из лишних людей... Был, да весь вышел. В расход. Осталось двадцать три. Тоже лишних. Кто следующий?

Петька-недоносок сразу догадался, что мы стали его бояться.

Однажды, хлопая при пересчете каменной ладонью по головам, не выдержал, похвастал, мол, я вашу птичку

разлетную со второго выстрела снял, да и бегают-то он неважно. Хоть бы зигзагом, а то прямиком да прямиком по полю... Его только на мушку брать, как в тире! А я по стрельбе в части первенство завсегда держал!

И смотрит: впечатлило? Не впечатлило?

А однажды перед нами выступил уже как герой Гражданской войны, с Чапаем будто воевал, так вот. Кино, говорит, смотрели? Это про меня.

— Чапай, что ли? — спросили с издевкой.

Но издевки он не понял и важно отвечал, что не Чапай... Вот кто рядом с Чапаем-то был?

— Ну Петька...

— Он. Перед вами. Собственной персоной.

— Так это когда было-то, — усомнился спрашивающий, а мы уж молчали. — И не похожий совсем.

— Изменился. От перенесенных многих ран. — И спросил хитро: — Сколько мне лет, а? — Грудь при этом открыл, а она вся в наколках, будто художественная галерея. Сталин там, Ленин, Кремль и крупно: «ЗК — Забайкальский Комсомолец!» А во всю левую руку, когда заголил: «Не забуду мать родную!»

Тут мы стали вглядываться: вроде как подросток, а шея вся в морщинах, и зубы стальные. Говорят же: маленькая собачка до старости щенок. А в чапаевского Петьку все равно никто не поверил. На бывшего уголовника больше тянет.

Но вот когда похвалялся давеча, что девочек по-ребляет, это от зависти. Штабные строго-настрого запретили без них кого-нибудь трогать. Не вырос, мол, еще, чтобы на девочек глаз класть. А я ночью однажды проснулся, услышал, как он к тетеньке Дуне подлез, разоткровенничался, стал у нее выклянчивать хоть кого-то на ночь. Сперва-то на голос брал, на понт, ружьем своим в нос тыкал, но тетенька Дуня и не такое в жизни видала, ее ружьем не напугаешь. «Да ступай ты от меня! — сказала она Петьке. — Псиной от тебя несет, не моешься!» А он тогда захныкал, стал на жизнь жаловаться, тушенку в руки совать. Просил, ты уговори кого-нибудь, их ведь

все равно штабные употребят по пьянке, а мне до смерти хочется попробовать.

— Эх, Петька... — Теть-Дуня головой покачала. — Они, — это про нас, — хоть мельче тебя, пужливей, хоть зверьки в твоей клетке... Но люди! А ты — скот и есть!

— Но, но! — зарычал он тогда, даже взвизгнул, разбудив весь вагон. Прикладом винтовки в пол постучал для острастки. — Сравнила хрен с пальцем!

— Да так и есть, — сказала теть-Дуня со вздохом. — Ружье тебе вручили врага убивать, а ты возомнил из себя... Дурак-то с ружьем — похуже врага будет!

— Я дурак? — пер на нее недоносок. — А вот к стенке поставлю, как контрреволюционерку, будешь знать!

— За что же это?

— За слова разные...

— А кто слышал?

Тут мы заорали, что мы ничего не слышали.

— А мне все равно больше поверят... А то выведу на рельсу и скажу: «Хотела убечь».

— Ну и опять дурак, — сказала теть-Дуня. — Кто же станет бечь, когда все знают, что ты Скворца подстрелил?

Петька вроде опомнился, замолчал. Пробормотал сквозь зубы, направляясь к выходу:

— Вот то-то! И бойсь... Вы все бойтесь! — крикнул уже нам. — Я страшный, когда разозлюсь!

И спрыгнул в темноту.

7

На какой-то остановке, поздно вечером, Петька-придурок явился, как всегда, за девочками. Пока они собирались да шептались между собой, осмотрел хозяйским глазом левую половину вагона, ткнул пальцем в меня и Шабана: «Ты и ты!»

— Это куда? — спросил Шабан недовольно.

Я промолчал. Велят — значит, знают куда.

— На кудыкину гору! — буркнул посыльный. — Пошевеливайся! Начальство не любит ждать!

Нас повели вдоль эшелона в головной вагон. Девочки, которым уже все привычно, впереди, а мы с Шабаном следом. Когда спотыкаемся о шпалы — нормально-то отвыкли ходить, — Придурок тычет прикладом: «Шаг влево, шаг вправо... За побег... Стреляю без предупреждения!»

Это он для собственного удовольствия. Знает наперед: никуда мы не побежим, особенно после случая со Скворцом.

Штабной вагон — пассажирский. Мы о нем наслышаны. Ступеньки, тамбур, узкий коридор. Протолкнулись друг за дружкой вовнутрь и очутились в просторном помещении, освещенном керосиновой лампой, подвешенной к потолку.

За столом, заваленным закусками, спиной к нам сидел человек без кителя, в нательной рубашке. Не обращая на нас внимания, он налил в жестяную кружку водки, опрокинул в себя, крикнул не закусывая и только после этого обернулся. Лицо его было неестественно белого цвета, белей его рубашки. Я так его и прозвал про себя: Белым. Девочки же называли, как он велел: Лёшей.

— Явились? — спросил он в пространство.

Мне показалось, что он сильно пьян.

— Так точно! В комплекте. Как приказали! — заверещал тенорком сопровождающий. Тут у него и вид и манера говорить, я со злорадством это отметил, были не такие, как с нами.

— Сделал дело — гуляй смело! — добродушно бросил Белый Леша.

— Слушаюсь! — торопливо подхватил тот. — Обрати когда?

— Когда скажем. Катись отсюда...

Придурка как водой смыло. А Белый Леша долил в кружку водки, собрался пить, но отложил, крикнул кому-то:

— Так сколько ждать?

Из-за перегородки объявились еще двое, оба, как Леша, без мундиров: один в синей майке, а другой полуголый, с волосатой грудью.



Этих я про себя сразу прозвал Синим и Волосатиком. Они тоже были на взводе.

Не обращая на нас с Шабаном внимания, они шагнули к девочкам, стали медленно вытеснять их в соседнее помещение. Все молча, без слов. Но девочки, кажется, привыкли к такому обхождению. Они покорно отступили в коридор и исчезли за перегородкой.

Мы продолжали стоять за спиной Белого Леша, глядя, как он отхлебывает из кружки, наклоня стриженую голову к столу. Но что-то, видать, его осенило. Он поднялся с места, и мы увидели, что у него вместо ноги протез. А может, просто деревяшка, скрытая брючиной. Он постучал кружкой по деревяшке и крикнул:

— Симуков! Верни Зойку!

— Зачем? — спросили игриво из-за перегородки.

— Она мне нужна!

— Она всем нужна, — сказал невидимый Симуков.

— Хватит вам и Милки, — сказал Леша Белый властно.

Стало понятно, что он тут главный.

— А если не хватит? — неуверенно возразили из-за стенки и вдруг заорали в два голоса:

*Мы не сеем и не пашем, а валяем дурака,  
С колокольни х... машем, разгоняем обла-а-ка!*

— Вот именно! — подтвердил Леша Белый. — Больше ничего и не умеете... — И закричал так, что эхо отдалось в конце вагона: — Зой-ка! Наплюй на них и топай, маршируй сюда!

Не сразу объявилась Зойка. Рубашечка на ней была расстегнута, и можно было увидеть белые полусферы грудей. Проплыла уточкой мимо нас, только косой вильнула, даже не повернула головы. А мы с Шабаном на ее распахнутую грудь уставились. Не могли оторвать глаз.

Не знаю, как Шабану, а мне вдруг подумалось, что мы тут прямо как в театре. Перед нами пьют, ходят, гуляют... На нас вообще ноль внимания — фунт презрения, будто

мы не существуем. А нам так даже интересней: цельный спектакль после стольких месяцев прозябания в вагончике. Еще было бы интересней, если бы не опасались, что нам тут приготовлена похожая роль.

А Леша Белый посадил Зойку к себе на колени и, придерживая за поясницу, стал совать ей в губы кружку. Она молча отворачивалась — водка лилась ей на грудь, на пол, — но с чужих колен не слезла. За стеной громко гоготали мужчины и повизгивала Мила. То ли плакала, то ли смеялась.

Я отвел глаза от Зойки. Своей необычной для нее покорностью она вызывала особую неприязнь. Я стал смотреть на Шабана, а он на меня. Было видно, что и он тоже начинает раздражаться от всей этой картины. Я даже немного испугался, зная его вспыльчивый характер татарчонка. В детдоме однажды он бросился на воспитателя, сделавшего замечание, вцепился зубами в его руку, насилие оторвали.

Я спросил:

— Шабан, ты как?

— А ты как? — спросил он.

— Херово. Да?

— Еще хуже, чем херово.

— Может... драпанем?

— Куда?

Откуда мне знать куда? А здесь что, лучше? — так подумалось. Но, может и лучше. Не станут палить, как Скворчику в спину. Со стола бы чего бросили... Хоть корку хлеба...

Конечно, это не произносилось вслух. Мы давно научились понимать друг друга по шевелению губ. Сильно захмелевший Леша Белый вдруг повернул к нам стриженую голову, свирепо бросил:

— Так что ваш фриц... Иль как его?.. Будете утверждать, что не слышали, что он по-своему лопотал с фашистами?

— Какой фриц?

— Какой, какой!.. Рыбкин который!

— Рыбаков?

— Ну Рыбаков.

— Мы ничего не слышали, — сказал я. А Шабан кивнул.

— И больше не услышите... вашу мать! — Леша Белый выругался. И посмотрел на Зойку. — Она грит, тоже не слышала. Но с ней-то мы по-простому... — Он грубо заголил Зойке юбку, но Зойка сидела с анемичным лицом и глядела в потолок. Дура, подумалось, хоть бы со стола пожрала. Все не за бесплатно.

Тут с грохотом объявились двое остальных. Волосатик тащил обнаженную Милку, за растрепанными волосами не было видно лица, а другой, в майке, Синий, держал на вытянутых руках играющий на ходу патефон. Иголлка у патефона от сотрясения прыгала с дорожки на дорожку, сбивая мелодию, но можно было разобрать, как женский голос выводит довоенную песенку «Катюша». Знакомые слова... Ты, мол, землю береги родную, а любовь Катюша сбережет... Прямо к нашей жизни...

Патефон водрузили на столе, а пластинку завели снова.

*Расцветали яблони и груши,  
Поплыли туманы над рекой...*

— Танцуем! — крикнул Волосатик.

А Лешка Белый вдруг еще побелел, как перед атакой, гаркнул во все горло:

— Слушать команду! Один солдат в две шеренги стано-ви-и-сь!

Меня подтолкнули к Зойке со словами:

— Работай, подкидыш! Пайку получишь!

— Тан-цуй танго! — заорал Волосатик.

— Но я... Я не умею, — сознался я.

Я и правда никогда в жизни не танцевал, да еще под патефон.

— А тут уметь не надо. Двигай ногами! А мы полюбуемся!

— Тренье двух полов о третий!

Так они острили, расположившись за столом и наблюдая за нами. Шабану всучили Милку, мне Зойку, что было особенно противно. Она послушно протянула руки, которые были холодны, как лед. У меня от ее холода даже пальцы онемели, будто танцевал с покойником. Да и впрямь, она была как неживая, сомнамбула, лягушка из болота, которую велели взять в руки. Я опустил глаза, чтобы она не увидела, как я ее сейчас ненавижу. Но она тоже смотрела в пол. Наверное, она так же ненавидела меня.

Мы сделали несколько шагов в такт музыке. И еще несколько шагов.

*Про того, которого любила,  
Про того, чьи письма берегла...*

Из-за стола с одобрением крикнули:

— Бал продолжается, господа офицеры!

Милка, это случилось за перегородкой, укусила Волосатика. Взбесившись, он стал бить ее по губам, расквасил лицо. Пообещав выбить зубы, для пущей безопасности ее вытолкали из штабного вагона, а Зойку, которая все время молчала, оставили до утра.

Но и Зойке внушили напоследок, что если и она себе позволит что-нибудь подобное, они изнасилуют Шурочку. Нет, они отдадут ее для потехи Петьке-придурку, у которого в голове, как известно, торричеллиева пустота, зато своей ялдой может невзначай кого-то зашибить.

Кричал Волосатик, а другой, Синий, только улыбался. Один Белый Леша продолжал сидеть за столом, раскачиваясь, как маятник, и не поднимая стриженной головы.

Но однажды отреагировал, ни к кому, впрочем, не обращаясь:

— Зойку не трожь! И сестру ее! Слышите? — И членораздельно: — Зойка... мне... нужна...

И все заткнулись.

Милка в углу вагончика рыдала так, что никто из нас не мог заснуть. И стук колес не заглушал. Как ни старалась утешить ее тетя-Дуня, мы всё слышали. Замолкнув, она снова прорывалась, да еще с каким-то подвыванием. Временами ее рвало.

Тихая от природы Милка блажила на весь товарняк, а всегда шумная, дерзкая Зойка молчала, как пришибленная. Уткнулась своей Шурочке в живот, дыхание затаила. Будто впрямь ее нет. А тетя-Дуня только вздыхает. Какие можно слова найти, если нет защиты ни ей, ни всему вагончику?

Ван-Ваныч любил повторять, что бродили иудеи по пустыне, тоже не видели исхода. Но он же потом, говорят, наступил. Наступил... Через сорок, что ли, лет. Эдак, если мы доживем, нам будет за полсотни...

Но доживем ли?

— Давайте, — говорит тетя-Дуня громко, чтобы все слышали, — песню про любовь скажу!

— Про любовь? — удивляемся мы.

— Ага. Про любовь.

— Какую такую любовь? Какая у этих... у штабистов? — спрашиваем серьезно. Другой любви никто не знает.

— Нет, — возражает тетя-Дуня. — Я скажу про настоящую любовь.

— Разе она бывает?

— Спою, узнаешь. — И после некоторого раздумья: — Из моей деревни песня-то. Значит, как бы про мою жизнь.

А после вздоха пронеслось. Голос у тети-Дуни за нервы цепляет. В песне той, значит, встречаются двое, ну она, девушка, как тетя-Дуня в молодости, и он... Непонятно кто, но душка-парень. Не чета штабистам. И вот тетя-Дуня молит его:

*Плянь-ка, миленький, на небо,  
На небе светится луна,  
Если люди нас заметят,  
Нам с тобой будет беда...*

А он ей в ответ:

*Что нам люди, что нам люди,  
Если я тебя люблю...*

Но тетя-Дуня возражает:

*Мать на улице ругает,  
Что я поздно прихожу!  
Приду рано, приду поздно,  
Начинает мать ругать,  
Будет, будет дочка шляться,  
Пора замуж отдавать...*

В общем, тетя-Дуню отдали замуж за старика. Я его представлял в виде Петьки-придурка, только с бородой. Это еще смешней.

А тетя-Дуня со вздохом заключает:

*Уж как старого, седого  
Я до смерти не люблю,  
А парнишку молодого  
Всю жизнь забыть я не могу!*

Все молчат, переживают. Даже Милка не блажит. Но мы-то знаем, это для нее пели. Когда слов для утешения нет, песня утешает. Может, тетя-Дуня это сейчас сочинила? Да нет, рассказано-то издалека. Это так раньше жили: дом, мать... луна. Разве сейчас можно представить? Сейчас только вагончик. Если бы тетя-Дуня про сейчас пела, то вышло бы у нее другое. Ну хотя бы такое вот:

*Перрончик прощальный,  
Вагончик мой дальний  
И взгляд на прощанье  
Печальный, печальный...*

Теперь каждую ночь нас с Шабаном выводят на танцы под прицелом винтовки. Как на расстрел все равно.

Да не в танцах дело. Размять затекшие от долгого пребывания в вагончике конечности приятно. Даже к моей лягушке я привык. Энто ктой-то за окном гремит? А энто к нам моя лягушонка в коробчонке едет! Так запомнилось из «Василисы Премудрой». Иван-дурачок, следуя пущенной своей стреле, нашел ее в болоте. А она, вишь, обернулась красной девицей, да в карете... Моя — так все наоборот: красна девица, то есть Зойка, обернулась скользкой лягушкой. Слава богу, что бородавок от нее нет. Но мы по-прежнему друг на друга не смотрим. Руками, как в вагонной сцепке, сомкнулись — и марш, марш под патефон. «У самовара я и моя Маша, а на дворе уже совсем темно»... А еще про Сашу, который помнит какие-то встречи...

*Саша, как много в жизни ласки,  
Как незаметно идут года...*

Ласки не у меня. Это у штабистов. Милку они оставили. Ее увезли в больницу. Какую, мы не узнали. Но всеведущий Петька-придурок повертел пальцем у виска и добавил, что сбрендила девка, теперь с психами время проводит. А из девочек штабисты выбрали бесшабашную, нагловатую Вальку, которая не пищит и не протестует, готова лечь хоть под танк. Она даже попыталась во время танца оттереть мою лягушку, но Зоя вдруг вцепилась в меня — не руки, клещи, будто у нее отнимали любимую игрушку.

Подумалось, даже не знаю почему, что она вовсе не бесчувственная, если за меня так держится. Но поглядел в ее глаза и не нашел там ни одной живой искорки. Лед сплошной, Антарктида. Значит, Вальку она ненавидит еще больше, чем меня...

Стояли день, другой и третий. По голосам, то близким, то далеким, стало понятно: рядом чье-то жильё. Только

Петька-недоносок, которому для важности хоть чем-то проявить себя надо, как-то обронил, что место это — Урал, лес и камни на горах, а поселок — рудный, кто уголек колет, а кто пьет. Впрочем, пьют-то все и прозываются трудармией. У них даже «котловка», то есть норма питания, армейская: пятьсот, а то шестьсот граммов на человека, если кто норму выполняет.

Да нам-то от этого не легче. У нас ни «котловки», ни нормы нет. В штабном вагоне в эти дни нашу судьбу за стаканом сивухи решали. Нацелившись ухом, во время танца я засек кое-что. Говорили: мол, приказа двигаться нет, и пропитания не дают, так что не резон ли выпустить эту срань, то есть нас, на простор, пусть себе сами жратье добывают. А нет, так пусть хоть траву едят. А если сбегут? А куда тут сбечь, к шакалам на обед? Так наши шакалы позубастей будут! Ну вот пусть и шамают друг друга... Меньше забот.

Петька-недоносок еще весточку с воли принес... Поселковые откуда-то проведали, что в вагоне головорезы да бандюки — так, наверное, нас представила охрана да сам недоносок, — и те на дыбы: у нас тут и своей шпаны хоть отбавляй, на хрена нам привозная?! И ихние бабы в голос: может, они холерные да тифозные какие, а у нас дети...

Для нас и песню специально у вагона проголосили:

*Я матушку зарезал,  
Отца свово убил,  
А младшую сестренку  
В колодце утопил!*

Пужали... Но мы давно не из пужливых. Озверели от долгого вагонного заключения, скоро взаправду кусаться начнем. В ответ на их детский сад, не очень, правда, слаженно, зато громко проревели:

*Мой товарищ, мой товарищ вострый нож,  
Ой, да сабля ли-хо-дей-ка,  
Пропадедем мы ни за грош, ни за грош,  
Жизнь на-ша ко-пей-ка!*



Сутки, двое нас держали еще взаперти. Было слышно, как поселковые громко обсуждают, сойдясь у нашего вагончика, что с нами делать. Для понта ли этакая психическая атака или взаправду, тут решить, тут и исполнить? Как выразился кто-то из жителей: не решить, а порешить! Чтоб дело с концом!

Какой они нам конец готовили, мы понять не могли. Самые рьяные призывали с нами особенно не чикаться, а скатить вагон в лес да поджечь. Другие, помиролюбивей, предлагали еще один замок на вагон навесить, хоть амбарный, а то вообще вход заколотить, сваркой заварить, чтобы злодеи не помышляли ни о какой свободе. А пищу, спрашивали, как же? Ведь передохнут, поди? Передохнут... А от огня не передохнут раз-зе? Зато греха на душу не возьмем... А пищу да воду можно и в окно бросать! Если помрут, отвечать кто будет? Так военные везут, пуцай они соображают... Раз на колесах, везли бы прямиком в лагерь! В пионерские, что ли? Бандюгов-то в пионерские? Пусть лес валят, как мы! О том и речь: головорезы, они людей валить станут... Хоть малы, говорят. Блоха тоже мала, да больно кусача! А может, их в лес, к волкам? И флажками огородить?

Эту последнюю реплику бросил, уж точно, охотник, кто еще про флажки разумеет. Но предложение всем понравилось. Голоса оживились, громко повторили: огородить их! Огородить!

Уже через час зазвенело железо о каменистую почву. Но что они там делали, мы видеть не могли. Всю ночь не спали, вслушиваясь в этот звон, стук, голоса и крики за стеной. Под утро стихло. А где-то поближе к полудню Петька-недоносок с грохотом отодвинул дверь. Пумливо ощеривая в проеме рыжие глаза, выкрикнул:

— Ну что, темнота, на ви-и-ход! — И еще более визгливо, до того ему было весело, добавил: — На волю-ю! У-лю-лю-лю!

Мы придвинулись вплотную к дверям.

Увидели поле буровато-зеленое, его кусок за грязной насыпью, круг столбов с колючей проволокой.

Это нам заместо флажков.

Повылезли. Хоть не сразу.

Не то чтобы боялись. Срабатывала привычка притормаживать в неизвестной обстановке.

Потоптались у насыпи, привыкая к собственным ногам, пробуя на крепость чужую землю. Девочки собрались в одной стороне от вагончика, мальчики — в другой. Не спеша обследовали поляну. Тот же вагончик, но уже загончик. Зато... Зато сверху настоящее небо. И даже теплое пятнышко солнца через дымку облаков. Кто-то из ребят обнаружил в траве консервную банку, пнул ногой, и другой пнул, погнало через лужок со звоном, пасуя друг другу.

Не сразу заметили, что из-за ближайших домов за нами зорко наблюдают. Так охотники, наверное, высматривают дичь, разве что не целятся из двустволок. А может, и целятся, кто их, местных, знает. Тайга — закон, медведь — хозяин. Может, уже для нас жиганы приготовлены, с которыми на медведя ходят.

Но мы про себя сразу решили: пусть себе целятся, а нам плевать на них с высокой колокольни. Им, поди, и страшно, что обгородили, обнесли колючкой. А нам не страшно. Мы за долгую дорогу не такое видали.

Петька-придурок вертелся возле девочек, будто для порядка, а сам зыркал в оба глаза, выжидал, когда они одежду для просушки станут снимать да на травке расстелятся. Тогда на свету можно всех поподробнее рассмотреть.

Теть-Дуня и тут на страже: натаскала из вагона соломы, расположилась между вагоном и лужайкой так, чтобы к дедкам в их закуток через нее шагать. Стражнику в спину фигу показала: вот тебе кукиш вместо конфеты... Бельма выпучил, думал, щас кино будет! Дали дураку ружье, ну так и охраняй, чтоб чужие не лезли.

И про поселковых так выразилась: антересно им, зверинец себе устроили.

Ворчит теть-Дуня, а сама с непривычки поеживается, тоже отвыкла от воли. Поселковые тихо, тихо,

будто к клетке с тиграми, к проволоке приближаются. Сперва самые малые, эти ничего не боятся, хихикают, пальцем на нас указывают. За ними бабы придвинулись, лузгают семечки, смотрят. А за их спинами несколько мужиков, молодых, самокрутками дымят, собственную ночную работу небось оценивают. Или их поставили для остережения, если, к примеру, захотим через проволоку полезть?

Один, так прям как наш Петька, рожа плоская, глаз кривой, видать подбитый, частушку в нашу сторону запустил:

*Стукнем х... по забору,  
Чтобы не было щелей,  
Спите, матери, спокойно,  
Е... ваших дочерей!*

Заржали. Но лишь мужчины. Женщины продолжали молча смотреть. Оценивали, похожи мы на бандюгов, как им тут расписывали, или не очень. Девочек особенно пристально разглядывали. Потом ушли, а вернулись с вареной картошкой в руках. Приблизились к колючке, нисколько не оберегаясь, бросили картофель девочкам. Но все без слов, молча. Одна, молоденькая, в белом платочке, руку под проволоку протянула с хлебом. Но тут уж наш придурок был начеку. Винтовку вскинул, даже затвором лязгнул: «Не с-сметь! — закричал. — Никаких контактов!»

Испуганные жалельщики так и отскочили от изгороди. Мы-то знали, не стрельнет в них охранник, а они не знали. Уж больно грозно придурок винтовку наставлял.

Одна тетя-Дуня не испугалась, подошла к проволоке, чтобы с бабами по-свойски потолковать, а к Петьке спиной повернулась.

Он и ей на людях решил власть показать. Рывкнул еще громче:

— Ни с места! Кому говорят! Стрелять буду!

А тетя-Дуня на это сухую задницу выставила, рукой показала:

— Поцелуй пробой и ходи домой!

Да еще негромко прибавила, уже для баб, что такие вот придурки за нас пропитание имеют, а ей-то остальных накормить надо!

Из-за проволоки тут же в адрес стражника выдали:

*Не кричи, не кричи, не кричи, не гавкай,  
Если рот у тя большой, заколи булавкой!*

А тетя-Дуня через проволоку уже контакт налаживает.

— Бабоньки! — кричит. — Вы ево не бойсь... Он дурной, но не страшной! А если что на прокорм дадите, я по всем ровно разделю!

И тут ей понесли.

Кто сам, а кто через малышню: картошку, свеклу, несколько сухарей... Даже яйца, вкрутую сваренные. Опять же махорку, крупно рубленную, завернули в лопушок, как особую ценность, передали бережно из рук в руки.

Петька-придурок понял, что без него вполне обходятся и махра мимо рыла уплыла, придвинулся поближе, прикидывает, что можно от такого нарушения для себя поиметь. А мы, пацанье, сообразили: встали у тетя-Дуни за спиной и заслонили ее. Если захочет что отнять, ту же махру, так по рукам пустим, пусть уследит... Получит куку с макой!

Тетя-Дуня принесенное в подол сложила, снесла на серединку лужайки, стала у всех на глазах делить. Яйца — их потом еще несли — девчонкам, махорку — себе, остальной продукт разложила на две кучки. Потом кликнула Зою и Антона, то есть меня, велела дальше по душам разложить.

Мы с Зоей стали с двух концов продукт брать, и руки наши встретились. Не так, как приказано на танце: «Саша, ты помнишь наши встречи»... По-другому. Случайно. Я прикоснулся лишь, почувствовал, что руки у нее не ледяные вовсе. Руки-то теплые у нее. Даже горячие. Я свои отдернул с непривычки. Посмотрел нечаянно и увидел, что и глаза у нее блестящие, ярко-зеленые, еще зеленей

травы вокруг нас. И никакой черной ненависти. Скорей удивление. Будто она тоже меня первый раз видит.

А еще я углядел — это невозможно было заметить — затаенную боль на доньшке зрачка. Меня как по сердцу резануло. Отпрянул. А она поняла, что выдала себя, и демонстративно отвернулась. Не захотела дальше в себя пускать.

Я об этом долго думал. Там, на лужайке, и в вагоне, куда нас загнали на ночлег. В штабной вагон в эту ночь нас не повели. Отцы-командиры уехали на грузовике в район, чтобы получить дальнейшие указания, что с нами делать. Краем уха в последний раз мы с Шабаном уловили среди прочего пьяного бреда слова, что вышло будто бы указание сверху о мобилизации подростков после пятнадцати лет на какой-то трудовой фронт. А он тут, рядышком... И с немчиком, так называемым Ван-Ванычем, пора побыстрей расстаться. Запихнуть бы его в немецкие лагеря, коих на Урале понапихано повсюду, пусть со своими и балакает там есть кому держать их фашистский язык под контролем! А у нас, кроме «хенде хох», никто ничего не шпрехаёт. Охранник командует: мол, приказываю по-вражески не выражаться... Так он песни начинает петь. А что поет — неизвестно.

Я еще тогда ехидно подумал: шпрехаем, да фиг вам скажем. Мы даже стихи с Ван-Ванычем о розах шпрехаем, только не свиным о розах читать! Розляйн, розляйн, розляйн рот... Как там дальше?.. В общем, дикая розочка в голом поле... Это ведь про Зою, это она — розочка посреди поля. Господи, как вдруг понятней стали эти слова!

И вот что еще пришло в голову: слава богу, что сегодня не надо с ней под патефон танцевать. Лучше встретить на лужайке, где она — другая. Мне почему-то жалко ее стало. В штабном вагоне ее не жалко, а тут вдруг проняло. Будто два разных человека: там — бесчувственная лягушка, а тут — Василиса, которая сбросила лягушачью кожу. Василиса с печалью на дне зрачков. Там, в штабном, я от нее бежал бы стремглав, а тут, наоборот, цельный день сле-

дующий ходил, высматривал, чтобы быть к ней поближе. А зачем — сам не знаю.

Издалека можно разглядеть, как она около Шурочки хлопочет. Тоже, наверное, счастлива, что не надо к своему Леше Белому идти, на коленях у него елозить, бормотуху насильно пить. В нашу сторону не посмотрит, мы ей неинтересны. Иногда с тетью-Дуней о чем-то своем перемолвится — и опять к Шурочке. Шурочка для нее свет в окошке.

В прежние-то времена страничку из тетради вырвал бы и что-нибудь написал. Правда, не знаю что. А здесь ни бумажки, ни даже клочка газеты не найти. Даже у тетью-Дуни, которая все в запасе имеет.

Впрочем, газету она нашла, клочок, и ловко сигарку себе сварганила. А мы как увидели, собрались всем вагончиком посмотреть, как она дым из ноздрей пускать станет.

А тетью-Дуня закурила, сидя посреди поляны, так вкусно у нее получалось, что кто-то из ребятни попросил: тетью-Дунь, дай курнуть-то! Дай!

Она прищурясь, морщины у глаз собрались, с усмешкой закрутку отдала:

— Ну курни... Горлодер... До нутра забирает.

Первый проситель курнул неловко, не успел вдохнуть, как скорчился от кашля. Второй только крякнул, головой замотал. А потом пошло по очереди. Все курнули, кроме девочек. Кто затягивался с кашлем, а кто едва-едва самокрутку слюнявил. Но все равно делали вид, что нравится.

Последними тетью-Дуня позвала меня и Зою. Мы сошлись, не глядя друг на друга. Хотя мне очень хотелось еще разочек в ее глаза заглянуть.

Зоя уверенно взяла самокрутку, сильно затянулась, а выпуская дым, откинула голову и закрыла глаза.

Тетью-Дуня протянула бычок мне.

— Вот. Все мысли наши узнаешь... А?

Я принял искусанный чинарик, огонек уже припекал пальцы. С силой, зажав губами влажный кончик, втянул в себя едкий дым. До пальцев ног горячим сразу прошибло,

горло и грудь обожгло. А потом вдруг ударило в башку, и лужок с ребятней, с тетей-Дуней, с Зоей поплыл, закружился каруселью перед глазами.

Невольно ухватился я за руку Зои, чтобы не упасть. И обжегся. Как раскаленная была рука.

10

Ночью ко мне под ухо подлез один из мальков: Костик. Вообще-то Костик далеко не малек, всего года на полтора моложе меня. Он тонкий, как глиста, через любую щель в заборе пролезал, когда в Таловке по огородам шарили. А руки у него ловчей, чем у девчонок: из любого дупла птичье яйцо извлечет.

Так вот, Костик ужом ко мне прополз, никто не услышал.

А мне почему-то в ту ночь сон удивительный приснился. Обычно-то снится, что мы куда-то едем. Проснешься — и не знаешь, во сне это происходит или наяву. А какая разница — едешь и едешь! А в этот раз приснилось, будто я с тетей-Дуней чай из самовара пью и беседую при этом по-немецки. Дер тее ист гут, говорю ей. А она головой кивает, прихлебывая из блюдца: мол, гут, гут, Антон... Дер тее ист то-оль! А произношение у нее просто замечательное. А тут мне поперек сна шепотом:

— Проснись, слышь! Проснись, Антон...

Ах, как не вовремя этот голос! И чай не допил, и побеседовать по-немецки не удалось.

— Кто? Что? — спрашиваю. А сам тетей-Дуню от себя не отпускаю: может, еще продолжим разговор.

А голос не дает к тетей-Дуне вернуться. В вагон возвращает. Да еще требует: проснись да проснись. Я тебе, говорит, весть принес.

Тут я и в самом деле проснулся.

— Кто это? — спрашиваю.

А он снова:

— Кто, кто?.. Костик... А ты меня тетей-Дуней щас назвал!

— Это во сне.

— А сейчас ты во сне говоришь или проснулся? А то я пошел.

Пошел — значит, пополз.

— Проснулся, проснулся! — говорю недовольно. — Тебе что надо-то?

— Не мне, а тебе. Письмо тебе... Понял?

— Какое еще письмо? — Я со сна, и правда, ничего не понял. Да и как понять: ночь, темнота, хоть глаз выколи, а тут какое-то письмо.

Но Костик шебаршит около уха, даже щекотно стало. Втолковывает тихо: мол, это у него в голове письмо... А так как я отупело молчал, он повторил, что письмо, значит, в голове держит, а как надо будет, он на ухо мне прочтет.

— Наизусть, что ли? — спрашиваю, окончательно проснувшись.

— Наизусть. Я что хошь наизусть помню.

— Это как?

— Помню — и все. Откуда я знаю как?

— А что ты помнишь?

— Все.

Помолчав, он вдруг затараторил:

— «А я, между прочим, герой Гражданской... Кино смотрели? Это про меня. Чапай, что ли? Не Чапай... Вот кто рядом с Чапаем-то был? Ну Петька. Он. Собственной персоной. Так это когда было-то... И не похожий совсем. Изменился. От времени. И от перенесенных многих ран. Сколько мне лет, а?..»

Это Костик голос Петьки-придурка изобразил.

— А вот еще, — сказал он. — «Давайте песню про любовь скажу. Про любовь? Ага. Про любовь. Какую такую любовь? Какая у этих... У штабистов? Нет, я про настоящую любовь. А она раз-зе бывает? Спою, узнаешь. Из моей деревни песня-то — значит, про мою жизнь...» — Это уже голосом теть-Дуни. — А дальше песня идет, — сказал Костик. — Хошь, песню спою?

— Не надо, — решил я.



Вспомнилось, что Костик в Таловском интернате лучше других стихи заучивал. Нужно, скажем, что-то продекламировать к празднику, возьмет книжечку, заглянет разок — и строчит наизусть: «Люблю тебя, Петра творенье...» И так без остановки несколько страниц, про речку там, про остальное, как царь Петр на лошади за кем-то скакал. Но стихи — одно, а всякая вагонная говорильня — другое. Теперь вот письмо...

Я спросил:

— А кому ты письма... это... ну рассказываешь?

— Никому.

— Почему?

— Я скрытный. — И Костик добавил: — А письмо велели прям на ухо, чтобы никто не узнал.

Хотелось бы в этот момент поглядеть на Костино лицо: не сочиняет ли? Но было черным-черно, один голос в ухо... Хочешь — верь, хочешь — не верь. Письмо — это не стишки какие-то, его не каждому доверишь.

— Ладно, — разрешил я. — Читай. Только без привирок.

— Да сука буду, слово в слово! — побожился он. И замолчал.

— Ну? Забыл, что ли? — спросил я сердито.

— Нет. Я настраиваюсь... — Он чуток подумал, потом каким-то не своим голосом начал: — Антоша...

Это был точно голос Зои. Правда, она меня так никогда не называла.

— Какой я тебе Антоша? — возмутился я.

— Не мне... Это тебе она написала... Антоша...

— Так и написала?

— Так и написала.

— Ну валяй дальше.

— Антоша... — повторил Костик голосом Зои. — Ты удивишься, что я так странно решила тебе сказать, через Костика, но по-другому не получилось. Я о тебе думаю все время. Как ты вчера странно посмотрел, так я стала о тебе думать. Но мне показалось, что ты будто меня жалеешь. И напрасно. Меня жалеть не надо. Ты даже не знаешь, какая я сильная...

— Но я вовсе не так посмотрел, — прервал я Костика.

— Откуда мне знать, как ты посмотрел? — возразил Костик.

— Не так, — упрямо повторил я. — Ладно. Чеши дальше.

— Дальше она тебе пишет, — сказал своим голосом Костик, — что недавно узнала, что будут нас в связи с возрастом распределять по трудовым лагерям, и их тогда разлучат с Шурочкой, ее сестрой. А этого ни она, ни Шурочка не перенесут. Они всегда и везде были только вместе. Этим и спаслись. Да и вообще, оставляя ее в вагоне, она беспокоится за ее судьбу. А за свою она волнуется меньше. Хотя понимает, что всех нас и тебя, Антоша, куда-то отправят. Скорей всего на шахты, а может, лес валить. Так удалось мне услышать. Но это лучше, чем прозябать в вагоне. Вот только без Шурочки я не смогу быть, я умру без нее, правда. Прошу прощения, что разоткровенничалась, но если бы ты на меня так странно не посмотрел, я бы не стала тебе писать. И Костика бы не просила. А если хочешь, можешь мне ответить. Костик все слова твои принесет. Он вообще хороший...

— Это ты хороший? — поинтересовался я.

— Я передал, как она сказала, — чуть обидевшись, отвечал Костик. — Теперь, кажись, все.

— Кажись... А ты... правда, отнесешь что скажу?

— Отнесу, — натянуто произнес он.

— Не перепутаешь?

Костик замолчал. Наверное, рассердился на мои слова.

Но пока мы спорили, я придумал, что скажу Зое. Я скажу: «Зоя»... Нет, я скажу не так. Я скажу: «Зоенька»... Она же не поймет, что я пускаю девчачьи слюни... В письмах надо говорить не так, как вслух. Вот в жизни я бы не смог ей сказать: «Зоенька». А через Костика могу. И это будет по правде. Ведь я знаю, я чувствую, что ей плохо...

— Зоенька, — произнес я вслух, прямо в ухо Костика, и сам удивился, как это необычно прозвучало.

Несмотря на худобу, уши у Костика огромные, как два лопуха. Может, оттого он такой внимательный, что у него

не уши, а звукоуловители. Сейчас я его ушей не видел, но чувствовал, как они прям зашевелились, улавливая мои слова.

— Зоенька... — повторил я уверенней, прислушиваясь к собственному голосу. — Вот ты написала, что ты поняла, что я тебя жалею, и просишь прощения, что ты разоткровенничалась. Но я рад, что ты все рассказала, и вовсе не зря, потому что я и сам не раз думал, как они с нами теперь разделяются, и понял, что будет нам плохо. И о Шурочке я тоже думал, зная, какие волки — штабисты, что нет у них ничего человеческого.

— Как? — спросил я Костика.

— Не знаю, — сознался он. — Хочешь, повторю, чтобы ты не подумал, что я забуду?

— Ну повтори.

Костик прижался губами к моему уху и начал говорить моим голосом, непонятно, как у него получалось. Запинаясь, он произнес:

— Зо-ень-ка... — И потом опять: — Зо-ень-ка...

Уж слишком было по-настоящему. Я даже расстроился. Чуть не накричал на Костика, хотя понимал: он-то не виноват, что я, оказываюсь, заикаюсь, мычу, тяну слова, как кот за хвост. Я тут же стал выговаривать, что вовсе не два раза сказал «Зоенька», а всего один раз.

— Нет, ты сказал два раза, — возразил Костик. Но не обиделся. Понимал, что это от смущения. Да и не каждый день такие доверчивые письма пишут.

— Это не ей... Это тебе я повторил, — настаивал я.

— Как ты повторил, так я и запомнил, — миролюбиво сказал Костик. Тут же продолжил: — Вот ты написала, что я тебя жалею, и просишь прощения, что...

— Хватит, — прервал я. Мой голос показался мне каким-то фальшивым. — Послушай... Может, о жалости вычеркнуть?

— Могу и вычеркнуть, — сказал деловито Костик. — Давай дальше. Она ведь ждет...

— А у меня получается? Или... нет?

— Тебе бы закончить надо... — посоветовал Костик.

— Ну в конце скажи так... Я ее вовсе не жалею, просто она мне показалась такой красивой... Нет, «красивой» не надо. Необыкновенной... Нет, не то. Напиши так... Я увидел на доньшке зрачков такое...

— Что такое «такое»? — переспросил Костик. — Сказать, что увидел «такое»?

— Ну необычное... — поправил я. — У нее такие травяные глаза...

— Так и передать? Про траву? — осведомился Костик.

— Ты что?! — чуть не взревел я. — Это я тебе так пишу... Да нет, тьфу, не пишу... Говорю...

— А мне не надо писать. Ты ей пиши, — резонно заметил Костик.

Я задумался. Пришлось сознаться, что я не знаю, что нужно еще написать, чтобы вышло складно... Я ведь никогда не писал таких писем.

— Тогда передам так, — решил Костик. — В травяных глазах ты увидел необычное...

— Нет, нет! — запротестовал я. — Про глаза не надо.

— Ну тогда напиши, как люди пишут... Они в конце пишут: «Жду ответа, как соловей лета!»

— А по-другому нельзя?

— По-другому тоже можно, — деловито предложил Костик. — Вот так: «Лети с приветом, вернись с ответом!»

— А как лучше?

— Про соловья красивше, — сказал он, подумав.

— Ну давай про соловья. А когда ты отнесешь письмо? — спросил я, вдруг оробев.

— Сейчас и отнесу.

Мне показалось, отвечал он излишне легкомысленно.

— Сейчас? Почему сейчас? — встревожился я.

— А когда?

— Не знаю... — Я и вправду чего-то испугался. — Может, она уже спит?

— Она ждет! — изрек он и уполз в темноту.

На другой день и на следующий Зоя не отвечала. Несколько раз я прошмыгивал мимо, стараясь попасться ей на глаза, зацепиться взглядом. А она преспокойненько посиживала рядышком с тетей-Дуней, переговариваясь и щурясь на ласковое солнышко, и по сторонам не смотрела. А рядом, как всегда, ее Шурочка. Со стороны — два золотых одуванчика на зеленом поле. Да и Костя вел себя странно: бродил в стороне, изображал полную несознанку. А когда я указал ему на его уши-лопухи: мол, чего они у тебя не фурычат? — он лишь помотал головой, вздергивая острые плечи, что означало: я-то что, это не я молчу, а кто молчит, ты и сам знаешь.

Между тем вернулись штабные. Из их разговоров можно было понять, что дела наши с прокормом — хуже некуда. Раз-другой доставили ведро жмыха и ведро гнилой картошки да еще бидон обрата, белой жижицы, в которой и заварили жмых, и назвали это супом. Суп рататуй, по краям вода, в середине х... Два дня хлебали, но в животе не прибавлялось. Кто-то пропел:

— Ешь вода, пей вода, срать не будешь никогда!

Тетя-Дуня посоветовала подпитываться травкой. Она показала, какую надо рвать: листики и корешки от одуванчиков, стволики от конского щавеля, стебель лопуха, подорожник, что-то еще. Но много ли этого добра растет в нашем загоне?.. Все общипали и с жадностью глядели за колючку, где на воле зеленели лопухи и даже щавель.

Но тут нас с Шабаном погнали на ночь в штабной вагон. Шла очередная гульба. Пока девок лапали, нам дважды бросили со стола по куску хлеба. Надо было поймать этот кусок с лету, по-собачьи, с пола поднимать не разрешалось.

Краем глаза углядел, как Зоя, сидящая на коленях у Лещи Белого, сунула незаметно горбушку за пазуху. Для Шурочки, а может, и для других девочек. Раньше она продукт со стола не крада.

А потом загремел патефон, мне всучили мою партнершу. Валяй, топай, школяр! Делай, чтоб красивше было!

*Веселья час и час разлуки  
Хочу делить с тобой всегда,  
Давай пожмем друг другу руки —  
И в дальний путь на долгие года...*

— Где же я ее видел? — Волосатик рассказывал друзьям новый анекдот. — Где же я ее видел? В кинe? Не-е, не в кинe... В метре?.. Не-е, не в метре... А-а! Вспомнил! На ме-не!

Заблеяли, развеселились, стали пить. Отвлеклись, чуток полегчало. Можно не изображать танцора, а просто механически двигать ногами, как делают Шабан с Валькой. Да и моя партнерша тоже. Что она есть, что ее нет. Один холод от нее.

Руки у Зои, как всегда, ледяные, а в глаза я старался не смотреть, боялся увидеть тот же лед. И еще хуже: адский огонек ненависти на доньшке зрачка. Да уж точно с такими руками других глаз быть и не могло. И вообще это была не та Зоя, которая посылала письмо через Костика и прикасалась ко мне теплыми пальцами там, на лужайке. Они были похожи, как манекен похож на живого человека.

Мы медленно кружились на крошечном пяточке вагона под пристальным взглядом штабистов. Но смотрел, кажется, Леша Белый, который и набухавшись не терял бдительности. Голубой глаз у него, второй он почему-то прикрывал ладонью, был насторожен и трезв, в то время как тело постепенно оседало под воздействием выпитого.

Синий заорал на мотив пластинки:

— Андрей ходил к своей Наташе... Андрей Наташу полюбил... Но как узнал, что будет он папа-шей, наш юноша не-мно-го загрустил...

— Ну и ч-ё-о? — вопрошал Волосатик. — Наше дело — не рожать, всунул-вынул... и бежать!

Синий же продолжал петь. По песне выходило, что сынок подрос, а папаша явился тогда домой, чтобы за счет повзрослевшего сынка нахлебничать. Но сынок вытурил его за дверь со словами: наденьте, папа, скорее шляпу — и в дальний путь на долгие года...

Леша Белый, все так же прикрывая ладонью глаз, продолжал следить за Зоей: что-то в нашем танце ему не нравилось.

Насупившись, спросил негромко:

— Вы что, провинились, что ли?.. Не смотрите друг на друга...

Зоя вздрогнула и сжала мои руки. Я посмотрел на Зою и увидел в ее глазах испуг. Но, может, этот испуг происходил вовсе не от крика. Мне всегда казалось, что Лешу Белого она не боялась. А тут вся задрожала. Или предчувствовала перемену?

А Леша Белый, довольный эффектом, откинулся и громко объявил, будто со сцены артист:

— Завтра вас, цуцки, покупать приедут! И... в дальний путь!.. Поняли, нет? Ну, скоро поймете!

Наутро и правда приехали «заказчики».

Нас построили у вагона, всех, кроме теть-Дуни. Несколько бородатых не улыбочивых мужичков прошли вдоль ряда, подробно каждого из нас разглядывая. Ощупывали руки, ноги, едва не заглядывали в зубы, которые, из-за отсутствия витаминов, у многих совсем не росли.

Один бородач, с кнутовищем в руках, больно тыкал острым концом под ребра, побрякивал, повторял разочарованно: «Мощи... Какие из них работнички?.. На их откорм больше уйдет, чем они наработают!»

Штабисты стояли тут же с непроницаемыми лицами. Но было понятно, что они рассчитывали на другую реакцию. Один Волосатик пьяно улыбался, когда нас вслух охаяли, заявил вызывающе:

— А ты, дядь, не хошь — не бери... У нас покупателей и без тебя хоть отбавляй! Еще просить будешь!

Бородач замедлил шаг и, указывая кнутовищем на Волосатика, буркнул что-то, но мы все расслышали:

— Я и тебя бы не взял... Раз-зе ты мужик? Мужики настоящие на фронте... А ты с детишками тут воюешь!

Волосатик вздрогнул, как от удара, хотел что-то выкрикнуть, но Леша Белый его придержал рукой:

— Товарищ капитан! Нишкни! Нам тут не один день еще стоять...

— А ты сам-то с кем воюешь?! — с опозданием бросил в спину зло Волосатик.

Но бородач не счел нужным отвечать. Еще раз прошелся вдоль нашего ряда и уехал. И остальные убралась, ничего не объясняя.

Впрочем, кое-кого из нас взяли на замету: меня, Шабана, кажется, еще двух мальков моложе. Они и на Зою кинули глаз: среди девочек она выделялась не только возрастом, но и своей статью. Но я уж знал наверняка, что Зою штабисты не отдадут ни за какие коврижки.

Ночью Костик, которого я уж и не ждал, принес письмо. Вдруг ткнулся холодным носом мне в ухо, когда я уже засыпал, и зашептал торопливо, я даже первых слов не успел запомнить.

— Ты чего? — ошалело вскинулся я. — Чего замолотил?

— Я же от Зои! От Зои!

— Ну от Зои, — смягчился я. — Она что, так и чешет со скоростью пулемета?

Костик, помолчав, поинтересовался сдержанно:

— Но я-то что... Должен, прям как она, говорить?

— Как она... Должен... — подтвердил я нахально.

Все это от неожиданности. Как не понять, что Костик на радостях, доставив мне весточку, торопился скорей ее выложить.

— Давай, давай! — подбодрил я.

Мне почему-то не приходило в голову, что он может послать меня подальше с моими претензиями и просто



исчезнуть. Кого бы я тогда поучал? Но Костик, слава богу, не был обидчив.

Он приблизился к моему уху еще ближе, так что стало горячо от его дыхания.

— Слушай, Антоша! — зашептал Костик, его губы щекотали мое ухо. — Ты очень хороший. Правда. Ты пожалел меня, а жалеть нас с Шурочкой не надо, это судьба. И Мешков, и Петька-придурок, и Леша-инвалид, и другие, которые нас унижают, они вовсе не люди, они зверье, нам их не перебороть. Я смирилась и терплю. Ради Шурочки, которую они не трогают, терплю. И буду терпеть, сколько хватит сил, а потом... Потом не знаю, что сделаю. А тебя за то, что ты нашел такие слова, я никогда не забуду. Я тебе тоже скажу свои слова. Ты сам поймешь, что они не для всех, а только для тебя. Ты только слушай, слушай! А еще вот что скажу. Когда в грязи вымажешься, кажется, что все такой тебя видят. А ты увидел меня совсем не такой... Спасибо тебе. Твоя.

— Твоя? Так и сказано? — переспросил я.

— Так написано, — поправил Костик. — Твоя.

У меня дыхание перехватило от одного этого слова. Да все слова хорошие, мне никто в жизни таких слов не говорил. И когда Костик спросил деловито: «Будешь отвечать?» — я даже растерялся. Сказал: «Не знаю».

— А когда узнаешь?

— Не знаю, — повторил я расстроенно.

Мне не хотелось сейчас делиться сомнениями с Кости-ком. Ведь это письмо не ему, а мне. Но, в общем-то, он тоже причастен к письму. Его уши, его память, его голос... Какие бы самые-самые слова я мог узнать, если бы не Костик с его особым уменьем?

— А что она говорила про какие-то слова?

— Она же написала, — сказал Костик. — Ты их поймешь, когда она скажет.

— А вдруг не пойму?

— Поймешь, — повторил он. — Ты смекалистый.

— Да не в смекалке дело! — произнес я громче, чем нужно. — В душе... Ты знаешь, Костик, что такое душа?

— Знаю, — сказал он уверенно. — Поповские штучки. Так Кирылыч в интернате повторял.

— Дурак твой Кирылыч! Ты лучше у тетя-Дуни спроси.

— Так она же верующая.

— И я верующий. Ну и что?

— С каких это пор? — удивился Костик. — Теть-Дуня научила?

Я промолчал. Надо бы ответить, что никто меня не учил. Это все Зоенька. Она появилась, и вдруг я понял, что Бог есть. Кто может из этой помойки святые слова произнести? Кто может Шурочку собой заслонить? Кто может других утешать, когда тебя саму ниже пола опустили?

— Послушай, Костик! — сказал я. — Я напишу. Завтра напишу. А ты иди и спи.

Костик уполз, а я еще долго лежал и думал о Зоеньке. Я тогда не мог знать, что она тоже в другом конце вагона не спит, тоже обо мне думает.

12

Наутро девочки заявили, что будут выступать для поселковых. Хотят показать концерт в благодарность за приношения. Мелюзга, которая день-деньской вертелась у вагончика, тут же разнесла необычную весть по округе, и к вечеру у колючки собрались жители поселка. Пришли все, кто мог прийти. Как сказали бы в театре, свободных мест в зале не было.

Ближе всех, прямо на траве, утыкаясь носами в изгородь, восседала шумная ребятня. Мужички были, как обычно, под хмельком, густо дымили махрой за спинами своих жен, которые — нам это показалось чудным — насколько сумели, все принарядились. Будто к ним взаправду приехал городской театр.

И не готовились мы, а получилось складно. Первыми выступили Зоя с Шурочкой. Негромко, но слаженно они спели две песни. Одну грустную, про тонкую рябину, которая не может перебраться к дубу. Не для меня ли Зоя

придумала эту песню? Но была еще вторая, тоже про любовь, где добрый молодец находит свою отраду в высоком терему.

*Зайду я к милой в терем и брошусь в ноги к ней..  
Была бы только ночка, да ночка потемней!  
Была бы только тройка,  
Да тройка порезвей!*

А концерт между тем продолжался.

Шабан, всем на удивление, сбацал, по его выражению, цыганочку, а Костик изобразил утро в деревне: петухи поют, коровы мычат, птицы пересвистываются — воробьи, скворчики, кукушка... А в конце соловьем засвистал, защелкал, да так заливисто, что все захлопали. О том, что Костик мастак по деревьям да по гнездам лазать, мы знали, а вот что умеет птичььи трели выводить, не знали. Да и многого, как оказалось, мы до сих пор не знали друг о друге.

Теть-Дуню попросили тоже спеть, у нее своих песен хоть отбавляй. Не меньше, чем у знаменитых там на радио Ольги Ковалевой или Лидии Руслановой. В поселке даже слух прошел, что в эшелоне сама Русланова в ссылку едет. И хоть слух не подтвердился, все хотели слышать, как поет наша теть-Дуня.

Сперва она отнекивалась, но потом сразу согласилась и запела «Долю», мы ее наизусть знали.

*Ой, ты, доля, моя доля, доля горькая моя!  
И зачем же, злая доля, до Сибири довела?  
Не за пьянство, за буянство,  
Не за ночной-дневной грабеж,  
Стороны своей лишился  
За крестьянский труд честной...*

Женщины за проволокой громко завздохали, даже нам было слышать. Песня-то не только про нашу, но и про их жизнь. И теть-Дуня к концу, вот уж чего мы никогда

не видели, даже слезу пустила, и слушатели стали тереть глаза.

А настроение выправилось с выступлением мальков. Собравшись кучкой, они выдали, проорав на весь поселок знаменитую блатную песенку «Гоп со смыком». Но, правда, слова были другие.

*Гоп со смыком — это буду я,  
Гитлер-Риббентроп — мои друзья,  
Вместе грабим и воруем,  
Вместе плачем и тоскуем,  
Вместе ожидает нас петля...  
Да! Да!*

И хоть песенка народу пришлась по душе, особенно про Гитлера, которого ожидает петля, но в центре внимания оказалась тетя-Дуня. Женщины не хотели расходиться и все допытывались у теть-Дуни, откуда она родом, куда подевалась родня, как ее занесло в этот вагончик и где научилась так складно петь.

— Так мы все из одного края, — ответила вместо нее одна из поселковых женщин. Вздохнув, она добавила, что они из того края, которого уже нет.

— И не будет, — подсказала другая, но с оглядкой. — Захотим, так возвращаться все равно некуда...

Перебивая друг друга, женщины поведали, как их загребли на так называемый «трудовой фронт». Тут они перешли на шепот, хотя кругом никого и не было. «Везли, — говорят, — как вас, в товарняках, выгрузили в лесу, приказали строить жилье да вкалывать. Кому на руднике, а кому лес валить... И всем, понятно, без права отлучки». И уж совсем тихохонько подробности про тех, кто, не дай бог, сбежит и кого поймают... Того враз «тройкой» осудят за саботаж али за дезертирство и «садят по-настоящему». А могут еще дать и «вышку». Вот недавно в газетах прописали...

Тут какая-то из бабенок заметила, что сторонний человек приближается (это был Петька-придурок), и уж на-

рочито громко заговорили о концерте, который был здесь для них, как свет в окошке. И дальше, отчего поселок так прозывается. С работы приходят, а уже полночь, вот и придумали прозываться Полуночным. Люди дивятся: бараки, рудник, тайга, а имя-то особенное.

В ту же ночь, после концерта, слышали мы сквозь сон возле вагона голоса. Похоже, как раньше, только не было в голосах прежнего остервенения. Снова застучало, зазвенело о камень железо, лопаты и кайлы, а когда утром высыпали на привычный уже, истертый ногами пятак, вдруг обнаружили, что никакой колючки вокруг нас нет. И столбов нет. Все сняли и унесли.

Концерт стал открытием не только для поселковых, но и для нас самих. Удивили Костик и Шабан. Но слышней, чем песни тетень-Дуни, прозвучали для меня голоса двух сестренок. Особенно вторая песенка, которая про «тройку». Не она ли была посланием, о котором предупреждала Зоя? Терем ли, вагончик ли... Но уж точно темная ночка, когда можно, как в песне, ускакать куда-нибудь подальше. Эта песня, ее слова прострелили меня насквозь.

Весь день я бродил вблизи сестер, хотел найти подтверждение своей догадке. Но не было ни одного ответного взгляда, даже легкого внимания. Сестры сами по себе, а я сам по себе.

Когда повели нас с Шабаном вечером на очередной бал, вдруг услышал я из какого-то вагона пение. Я даже не сразу сообразил, что это наш немчик Ван-Ваныч рудлады выдает. А пел он по-немецки ни больше ни меньше, как русскую народную песню про Стеньку Разина... Как там: «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны...» Это сперва я так подумал, что «Из-за острова на стрежень», а потом разобрал: слова-то звучат другие. И вот какие:

*Как дела идут, Антоша? Как живете без меня?*

*Я здесь заперт, но не плачу: кормят, поят, что еще...*

Не только я, наш Петька-придурок тоже прислушался, хмыкнул довольно:

— Во-о! Немчура... А какие песенки-то поет!

— Про Стеньку Разина... — на всякий случай подхватил я.

— Я и говорю. Вражина, а знает, что петь!..

— Знает! Знает!

Ван-Ваныч между тем свой концерт продолжил, голос его звучал из вагона, как по радио. Только слова были для одного меня.

*Но без вас я тут скучаю и не знаю, что нас ждет,*

*Может, лагерь, может, шахта,*

*но скорей бы был конец...*

— Баста! — сказал Петька-недоносок. — Радио закончилось! — И посмотрел на меня. Может, в моем лице уловил что-то, что внушило ему подозрение.

— Пусть поет, — попросил я. — Кому он мешает?

— Мне мешает! — И, задирая к вагону голову, прикрикнул на певца: — Пре-кра-ти-ить вражеский фашистский язык! Слышь, ты?!

Ван-Ваныч замолчал. Не сразу ответил:

— Вы сами фашист. А еще вы убийца.

Даже я онемел от таких неожиданных слов. Ван-Ваныч никогда и никому не дерзил. Значит, и его забрало.

Петька-придурок вытаращился в сторону окошка и, приподняв винтовку, пригрозил:

— Скажи еще слово! Сейчас пальну!

— Ну пали, пали! — сказал Ван-Ваныч, переходя на «ты». — Когда-нибудь и ты свое получишь!

— Я когда-нибудь, а ты скорей! Запомни! — заорал Петька-недоносок и постучал прикладом по вагону. Поймав мой недоуменный взгляд, рявкнул: — А ты чё ряззевился? Шагай! И знай тоже... Мы завтра этих фашистов всех к ногтю! Чтобы заткнули свою вражью пасть! Навсегда!

Ван-Ваныч не счел нужным повторяться. Он свое сказал. А наш страж, зло подтолкнув меня в спину, а потом

молчавшего все время Шабана, велел двигаться дальше. На ходу пригрозил, с ненавистью глядя на нас:

— Я вам покажу убийцу! Только выкните!

Нас подняли среди ночи, Шабана и меня. В вагоне у штабистов мы долго шурились, привыкали. Стекло у фонаря под потолком было выбито, небось, зацепили по пьянке, от яркого света болели глаза.

Вальку терзали долго за перегородкой Синий и Волосатик, а Леша Белый был на этот раз не в духе, еще бледней, белей, видать, разболелись старые раны. Он даже Зою не посадил на колени, а велел стоять за его спиной и наливать сивуху.

Наверное, ничто сейчас бы не помешало ей хоть разок взглянуть в мою сторону. Но она, опустив глаза, покорно и даже старательно прислуживала майору. В голову пришла странная мысль: а может, это вовсе не она пишет мне эти письма? Может, их сочиняет для собственного удовольствия сам Костик?

Не знаю, до чего бы я еще додумался, но тут объявились те двое вместе с пьяной и расхристанной Валькой. Так, втроем, они и пошли танцевать, если такое можно назвать танцем. Топтались, ударяя коваными сапогами в пол, аж вагон гудел, и что-то даже пытались петь под пластинку. У них выходило:

*Тра-та-та, тра-та-та,  
Вышла кошка за кота...*

Лешка Белый сидел, как всегда, опустив голову. Но в какой-то момент очнулся, уловил взглядом меня, потом Зою.

— А ты? Ты-то чего киснешь? — спросил в упор.

И, так как Зоя не отвечала, раздраженно продолжал:

— Ну и дура... Пока молода, наслаждайся... Я же тебя берегу... Берегу? Иль как?

Зоя, не подымая глаз, послушно приблизилась ко мне, протянула руки. Я медлил, боялся, что они будут

холодней смерти. Вспомнилась сказанная ею фраза: здесь холодно, как на дне могилы. Смогу ли после ее писем вытерпеть ее же холод? Осторожно прикоснулся к ее рукам и обжегся. Сразу даже не понял, так ли горячо или мне показалось. Шумные трататашники уступили нам середину вагона, бросившись к столу за выпивкой. А мы остались одни.

Сперва мы оба смотрели в пол, сомкнутых рук было для нас достаточно. Но я преодолел себя, чуть поднял глаза и увидел ее шею, подбородок, губы, нервно сжатые. Как в замедленном старом фильме, мы поплыли по волнам музыки, которая почему-то не оказалась на этот раз скрипучей, с механическими голосами. А может, мы ее и не слышали? Да, теперь я понимаю, мы слышали не ее, а самих себя. Вот в чем дело. Мы танцевали свой медленный танец под свою музыку. И вели при этом безмолвный разговор.

Я спросил ее:

— Ты моя отрада?

— Я твоя отрада, — отвечала она. — Твоя. Только твоя.

— Да, да. Я так и понял. И про терем, который похож на наш вагончик... Где нет хода никому...

— Но там есть другие слова! Разве ты не помнишь?

— Помню, помню... Никто не загородит дорогу молодцу...

— Никто не загородит, — подтвердила она. — Ни майор, ни придурок... ни столбы с проволокой!

— Была бы только ночка?

— Да! Да! Ночка! Ночка!

— А если станут стрелять?

— Я готова. С тобой я на все готова.

— Значит?

— Значит, дело за тобой.

— Но еще за тройкой?

— Какой... тройкой? — тревожно переспросила она.

Это было, и впрямь, неудачно. «Тройками» — это все знают — зовутся скорые суды.



— Ты ведь слышал? — спросила она. — Женщины рассказывали, как беглецов расстреливают...

— А мы-то в чем виноваты?

— Ох, не знаю, не знаю!

— Я знаю. Мы с тобой ни в чем не виноваты. Мы добежим до Москвы и там все расскажем...

— Добежим. Конечно, добежим...

И вдруг, как с неба, громоголосый окрик:

— Мол-ча-а-ть!

От неожиданности мы даже пригнулись, замерли, во мгновение превратившись в статуи.

Я осторожно оглянулся. Леша Белый, который стал белей белого, приподнялся с места и, оскалившись, вперился в нас, а его руки судорожно шарили по столу. Сейчас, сейчас запустит в бешенстве в нас стаканом или бутылкой... Но я не угадал. В руках откуда-то оказался у него пистолет. А может, он всегда тут на столе лежал, заставленный стаканами и снедью.

— Мол-ча-а-ть! — повторил он тише и опустил на стул.

Опомнился. И пистолет отложил. А мы продолжали стоять, не расцепляя рук: забыли от неожиданности, что мы еще сомкнуты друг с другом. Но и остальные в недоумении затихли, глядя на Лешу Белого и на нас с Зоей. Никто ничего не понял. Только мы поняли. Он уловил в наших лицах не произнесенное вслух, оборвав безмолвный разговор на самом главном слове «добежим». Это не могло не отразиться в наших глазах, губах, даже позах. Да весь танец был об этом. Как можно было нас не понять?

Я заглянул в глаза Зои, как в зеленую прорубь, и увидел в них страх за нас обоих.

— Танцевать-то не умеете! — сказал майор развязно, пьяно. Но глаза его были трезвы. Трезвы и опасны.

Он вдруг успокоился.

Обводя взглядом помещение вагона, своих дружков, произнес, кривя бескровные губы:

— А бал-то закончен, господа офицеры!

Наутро нас с Шабаном вывели под молчаливые взгляды вагончика. Поставили перед мужичком, тем самым, что тыкал нам под ребра кнутовищем да материл штабистов, сказали ему:

— Получай, чего просил. Зарегистрируешь в комендатуре... Будешь держать на запоре... Отвечаешь головой. Понял?

Все это огласил Волосатик. Был он без мундира, в шинели, накинутой на исподнее. Это нисколько его не смущало.

Он оглядел нас с ног до головы, будто впервые увидел. Даже похлопал Шабана по плечу. Вот, мол, каких молодцов отдаю. А мужичку, обернувшись, объявил:

— Можешь держать до осени. А повезет, до зимы. А как станут куда отправлять, мы сообщим, кому их сдать. Скорей всего не нам... В колонию...

Мужичок придирчиво нас осмотрел.

— Вроде не те? — усомнился. — Мелкоту подсовывае-те-то!

— Да те! Те! — отмахнулся Волосатик, зевая.

— А другие где?

— Какие еще? Других пока не народили, дядя!

Он так шутил.

Впрочем, вряд ли он забыл, как они тут схлестнулись в прошлый раз, и опасался нагрубить снова. Видать, получили от мужичка за нас приличную мзду.

Остальные, майор и капитан, выходить вообще не стали. Но я ухватил краем глаза, что кто-то из них, скорей всего Леша Белый, наблюдал процедуру передачи из окна штабного вагона. Бал-то, и правда, закончен...

Где-то рядом со штабным под запором сидит мой друг Ван-Ваныч и тоже наблюдает за куплей-продажей, страдая от невозможности чем-то нам помочь. Крикнуть бы на прощание, для поддержания духа, на нашем с ним языке... Да побоялся. Штабисты ему и это, кроме последней свары со стражем, впишут потом в дело.

— А девки? — продолжал нудить настырный мужичок. — Вы же обещали пару штук?

— Девок тоже нет. — Волосатику торговля уже надоела. — Бери, дядя, что дают, и катись... А то и энтих не получишь!

— Озолотил! — буркнул недовольно мужичок и велел нам грузиться на телегу, устланную соломой. Путь, мол, не короткий.

Про деревню не говорил и за всю дорогу не промолвил двух слов. Даже не оглянулся. А напрасно. Запросто было сигануть в лес да побежать, о чем мы, конечно, с Шабаном сразу же подумали. Но прикинули: лес незнакомый, болота, зверье, а мы в рванье и без продуктов. Вот поживем на новом месте, куда нас продали, за бутылку, небось, или две, оглядимся, тогда и наострим лыжи. Хорошо, что везут в деревню, а не на шахту, оттуда-то уж точно не вырваться... Капкан.

Старый леший, Лешак, как мы окрестили мужичка, тоже понимал, что нам покудова от него не сбежать. Сидел, уставясь в задницу лошади, да подергивал на взгорках вожжи. На заднице сижу, в задницу гляжу... Невинная загадочка про таких, как он!

Глядя в спину вознице, Шабан толкнул меня в бок: запоминай дорогу! А чего запоминать, она тут всего одна. То каменистая, телега так дребезжит, что наши тощие зады на ней до костяшек пробивает, а то вся в рытвинах и канавах, заполненных водой. Тогда мы слезаем, чтобы облегчить лошади езду. Возница же хлещет кнутом, ему без разницы, едем мы или по своей воле топаем пешедралом. Оплаченный натурой живой товар до места он уж точно доставит.

Но если честно, я больше о Зоеньке тогда думал. О том, что вчера майор Леша Белый сделал точный ход, чтобы прервать нашу связь, которую он кишками почувствовал. А теперь и Зоя, и вагончик, проклятый людьми и Богом, как однажды нарекла его тетя-Дуня, неведомо где, а я — тоже неведомо где. И мой надежный почтальон Костик уже не принесет Зоин голос и не унесет мой.

Может, Шабан прав, что дорогу обратно надо зарубить в памяти, чтобы скорей вернуться? Пусть в нашу вагонную тюрьму, но в которой рядом будет Зоя.

*Была бы только ночка, да ночка потемней...*

Еще почему-то вспомнился директор Мешков.

Да не почему-то, а все потому же. Если удастся бежать темной ночкой, я суку Мешкова, который придумал наш вагончик, из-под земли достану! Вот главная цель моей жизни!

Я даже могу представить, как это будет. Приеду, значит, в Москву и на вокзале спрошу — где тут у вас проживает товарищ сука Мешков? Нет, никакой он мне не товарищ, даже не гражданин, просто сука!

Спрошу так: а где живет большая сука Мешков? Если не скажут, а станут скрывать, обойду улицу за улицей, дом за домом, но его разыщу. Он откроет мне дверь, а я выстрелю ему в лицо. Нет, не так. Он тогда не почувствует, как мы его люто ненавидим. Я сперва скажу: «Слушай сюда, сука Мешков, мелкая падла, ханурик хреновый, микроба чумная... Ты Таловку помнишь? Ты помнишь, дрянь, как посадил нас в вагончик и пустил по России?!» А когда он вспомнит и затрясет своей ржавой ублюдочной мордой с белыми от страха глазами, я добавлю твердо: «Так вот, недоносок мерзопакостный, знай, меня прислали от имени вагончика, чтобы тебя, суку, наказать. Наш, вагонный, самый справедливый суд в мире приговорил тебя к смертной казни через расстрел!»

Я не скажу: «Уничтожить как вредное насекомое», — хотя это будет правдой. «Наказать казнью!» Вот!

Вообще-то я эту картину много раз передумывал, представлял. И каждый раз по-новому. С другими уничтожительными прозваниями, другой казнью. Одно оставалось неизменным: казнь эта состоится.

Пока я в мечтах пребывал, мы выехали на взгорок, с которого открылся вид на просторное поле, на речку с

мостом, на темные, вразброс, избы с огородами, среди которых выделялась полуразрушенная белая церковь без креста.

В первую ночь хозяин поселил нас на скотном дворе, где из-за летней духоты ночевали у него жена и дочь. Мы поперву их не увидели, только почувствовали, как они на нас зырят из темноты, шепчась между собой.

С рассветом рассмотрели: жена некрупная, чуть располневшая женщина неопределенного возраста: то ли тридцать ей, то ли пятьдесят. Впрочем, мы в ту пору резонно считали, что после двадцати лет все перестарки. А вот дочь у них — подросток, нам ровня, беленькая, голенастая и, как выяснилось, смешливая. И хоть они свои, жена и дочь, а, судя по всему, такие же батраки, как мы... С утра до ночи при хозяйстве или на огороде.

В тот день их отослали на луг косить траву, а нас с Шабаном со двора не пустили. Лешак показал на сваленные в углу березовые стволы, на двуручную пилу, что висела в сенцах на стене, и велел напилить дров.

Временами возникал неожиданно, как черт из-под печки, у нас за спиной, наблюдал коротко, как работаем, и снова исчезал. В обед объявились женщины, и он приказал дать нам хлебово. Он так и сказал: «Дайте им хлебово», — и ткнул пальцем на ведро в углу избы.

— Так это же корм для поросят? — робко заметила жена.

— Конечно. Что им, готовить отдельно? — буркнул он. Но потом велел отрезать по ломтю хлеба. — Они вон кубометра не осилили... Чего задарма кормить-то?

После обеда до темноты, которая долго не наступала, опять пилили дрова, пока не возник Лешак и не пробормотал, глядя в землю: мол, хватит мучить пилу, ступайте пить чай да на покой.

От чая мы отказались. Ни аппетита, ни сил, едва дотащились до места. А место для спанья нам назначили на этот раз в старой бане, на задворках избы, за огородом. Дверь, чтобы мы не деранули, заперли снаружи на засов. Пахло сыростью, углем, мокрицами. Было душно.

Но если честно, мы в тот день ни о чем не мечтали, только бы добраться до лежанки и завалиться спать.

Мы не знали, подслушивает ли нас старый Лешак, однако вели разговор с Шабаном негромко, с оглядкой на крошечное, в ладонь, окошко.

— Надо драпать, — сказал Шабан мрачно. — Он нас за скотину держит.

— Куда? — спросил я.

— А что? В вагончик не пустят?

— Нас же продали, — напомнил я. — Обрато вернуть. А то еще и на шахту для острастки сбегрут... Думаешь, лучше?

— Как у Мешкова...

— Там хоть взаперти не держали!

— Да можно хоть в окошко... Если голова пролезет...

— Тише ты! Давай спать. Завтра решим.

На следующий день нам удалось перемолвиться с женщинами. Выяснилось: никакие они не жена и дочь, а так, дальняя родня. Седьмая вода на киселе. Батрачат за несколько мешков картошки да за прокорм во время найма. Про Лешака, звать его, оказывается, Глотыч — то ли имя, то ли кличка, — говорят торопливо, с оглядкой. Кержак, мол, бессемеиный, молчун, людей не любит, не верит никому. В деревне его тоже сторонятся. Работал в энкавэдэшной охране, в Полуночном, оттуда вся его угрюмость. А теперь отстроился, завел хозяйство, крепкое, потому что сам работяга. Молоко, масло, картошку — гонит на рынок, деньги копит. А для кого копит, если одинок? Ну а чтобы сельсовет не цеплялся к его доходам, внес большую сумму на постройку танка «КВ» и получил личную благодарность от товарища Сталина. В районной газете его пропечатали как передовика сельского хозяйства.

В другой раз женщины расспросили и нас, кто мы, откуда, тоже на ходу, с оглядкой. Посоветовали уходить, но куда, сами не знают. Кругом болота да заключенные. Но вот что жизни у Глотыча не будет, это уж точно. У него и скотина дохнет. Что ему чужая жизнь?

— Так он в баню на ночь запирает, — сказал Шабан.

— Значит, днем.

— И днем... Кажись, его нет... Оглянешься, а он уже за спиной... Точно, как лешак!

— Лешак и есть, — подтвердила женщина. — От лагеря привычка. Но это пока. Притвориться надо. Как пошлет на дяляну, лес валить, тут уж не зевайте...

Мы с Шабаном и сами рассудили, что разумно переждать. Баба, а соображает не хуже, чем наш брат, беспризорный. Уж что-что, а притворяться мы научились. До поры стали приваживать собаку, у которой ни имени, ни клички, так и звать: Собака. У него и кошка без имени. Плотыч зовет ее так: Кошка, иди сюда. Зато корову зовут Денежкой. Ну понятно, Денежка: доход от нее большой.

А вот к лошади у него, как мы заметили, чувства особенные. Лошадь он холит, бережет. В дороге, как мы ехали, кнутом охаживал — так это он зол был на штабистов. А тут, на конюшне, даже взгляд у него мягчает, когда кормит или чистит. «Машка, Манечка», — зазывает.

— Так бы с человеком! — произнесла как-то в сердцах женщина.

Ни на какую дяляну, конечно, он нас не отпускал. Не верил. И правильно делал. Однажды Шабан лишь нос за ворота высунул — схватил кнут и поднес к лицу: «Это видел? Еще застану, рассеку пополам!» Стало очевидней: не батраки, а рабы, скотина последняя — вот кто мы такие для него.

Когда вернулись в баню, Шабан, злобно выругавшись, пообещал, прежде чем с Мешковым разделаться, с Плотычем свести счеты. На первый случай лошадь ему отравить.

— А лошадь-то при чем? — спросил я.

— Он ее любит.

— Ну и что?

— Ладно, не учи! — рассердился Шабан. — Я ему избу подожгу! Интересно, где он держит деньги?

Я и сам бы с удовольствием поджег Плотычу избу, настолько он был противен. Но разве он придумал, что штабисты торгуют нашими душами? Он делает то, что делал бы любой здравомыслящий хозяин: берет, что за дарма достается. А денежки, если они есть, деревенские мужики, сам слышал, держат в старых валенках. Лежат себе, полеживают валенки, заброшенные на печку, один засунут в другой, и никакой вор не догадается, что внутри главная заначка. Еще говорят, что валенки и в пожаре не сгорают.

— В валенках посмотри, — посоветовал я Шабану.

— Да смотрел уже.

— Ну еще где-нибудь.

— Да я везде смотрел, — сказал Шабан. — И под печкой, и на печке... Даже в помойном ведре!

— А на огороде?

— На огороде не смотрел... Он большой.

— Может, никаких денег и нет?

— Есть, — сказал Шабан. — Я чувствую... У таких жмотов всегда деньги есть. А с деньгами куда хошь бежать можно.

Я не стал перечить. Хотя деньги меня мало интересовали. В последнее время я все о Зоеньке думал. Может, она мне какие-то сигналы посылала? Может, случилось что? Ну, например, вагончик отправили, а мы тут навсегда остались. Майор-то будет только счастлив позабыть нас здесь. Скажет, бежали, и дело с концом. А тут указание о новом маршруте...

Какое указание, я не додумывал. Откуда мне знать, кто регулирует нашу судьбу?

План побега постепенно созревал. Точнее, мы созревали для того, чтобы его совершить. Единственное, от чего нас отговорили женщины, мать и дочь, — мы сперва не знали, как их зовут, — это поджог избы Плотыча. Они называли



его между собой Заглотыш. А вот как они догадались о поджоге — не знаю. Может, это первое, что приходит в голову, когда злость переливает через край? В Таловской школе нам рассказывали про бунты на Руси, запомнилось, что Разин там, Пугачев, Болотников, другие еще палили усадьбы своих мучителей. Как выражаются, пускали «красного петуха».

Здорово, если представить, как мы стоим на опушке леса, на взгорке, а внизу, посреди черной деревни, то возникающей, как мираж, то исчезающей во тьме, в проблесках пламени распушил перья красный... Нет, не красный, золотой петух... Искры до неба! А вокруг мельтешат черные тени мужичков, и среди них Глотыч. Он всхлипывает от горя, крестится, молится, просит спасти его денежки, они под печкой, среди крынок и чугунков. А мужики кричат: «Печку, печку ломай, а то страховку не дадут!»

Я сам однажды слышал, что главное во время пожара — печку ломать, она в избе чуть ли не главный свидетель пожара, и она же, по оценке страховщиков, самая большая ценность. Впрочем, в этих диких местах, может быть, по-другому. Здесь, я заметил, даже икон в доме нет. Не люди, а нехристи да кулаки — вот кто они такие. Тогда и получайте, пусть все сгорит! Все!

Но женщины оказались суеверными. У них в углу, прямо на фанерке, неумелой рукой Богоматерь с Младенцем нарисована. Они на Нее крестятся и молитву бормочут. Еще они боятся, что здешние сразу подумают на них. А если и не подумают, в милицию все равно затянут на допросы, а то и посадят на всякий случай, они ведь беспачпортные.

Однажды, они говорят, сами видели, загорелась тут изба, и озверевшие мужики забили кольями какого-то ссыльного, кого подозревали в поджоге. В лесу догнали. Лес им тут как дом родной. И вас догонят...

Мы решили: Заглотыша не трогаем, пусть живет. А вот насчет тех людоедов, из штабного вагона, что нас рас-

продают, тут и раздумывать нечего. Их непременно надо подпалить, заперши дверь, если, конечно, удастся до них добраться. Только ждут ли они? Не удрали ли вместе с нашим вагончиком куда-то подальше по железке?

Скоро выяснилось: не удрали. На третью ночь объявился Костик и все рассказал. Уж как он нас нашел, не представляю. Может, поселковые из Полуночного помогли. По-птичьи, ночью, просвистел, как тогда на концерте, и я сразу догадался: прилетел наш письмоносец! Тьи-тьи, фью, фью... щелк, щелк, щелк... Соловей новоявленный. Как он из вагончика-то улизнул, да ночью, по лесу-то, где кругом зверье?! Может и впрямь, как птичка, по воздуху?

Шабан спал, а я, прильнув к тяжелой банной двери, пахнувшей сырой гнилью, спросил негромко: «Костик? Ты?» А он опять свое: «Тьи-тьи, щелк, щелк!» А потом под самым ухом пискнул: «А кто еще? Лети с приветом, вернись с ответом!»

— Как нашел-то?

— Подумаешь, — сказал он. — Я везучий!

— Ну не тyani, говори, — попросил я. — Эшелон на месте?

— А куда он денется? Стоит. И лошади довольны. Штабные от безделья упились, их поселковые чуть не измудохали по пьянке: они к чужим бабам полезли... Обошлось, — протянул он с сожалением. — У штабистов еще и оружие... Пальнули вверх, те и побежали!

— Так что ты мне сказки плетешь? — разозлился я. — Зоя, Зоя как?

— Она тебе ответ прислала, — сказал Костик прямо в щель двери.

— Ответ? — удивился я. — Разве я писал?

— Писал, — подтвердил странно Костик. — То есть я писал... Но за тебя.

Тут мы оба замолчали. Я — потому, что онемел от неожиданного нахальства, а Костик ждал, рассержусь ли я и как сильно рассержусь за такое своеволие.

— Ну и что же ты от меня наплел? — спросил я железным тоном, стукнув кулаком по двери, которая нас разделяла. Сверху на голову посыпалась труха.

— Что... — затянул он жалобно и шмыгнул носом. — Что, я не знаю, что ты напишешь?

— Выкладывай! — приказал я. — Только не ври... Все выкладывай... Что ты... Нет, что я... Хотя я-то при чем... В общем, что мы ей написали? Ну?

— А ругаться не будешь?

— Буду, — пообещал я.

— Ну ладно. Может, хорошо, что вас заперли, — сообразил вдруг Костик. — Ты еще драться захочешь. Я от тебя только о хорошем написал.

— Что хорошего-то?

— Ну я, то есть ты, написал ей, что ты думаешь все время о ней, и когда через лес ехал, тоже о ней думал, и когда в чужом доме горбишь, тоже...

— И все?

— Нет, — сказал, вздохнув, Костик. — Ты еще написал, что боишься, как бы загончик не отправили и ты ее больше не увидишь... Но даже если отправят, все равно, где бы ни был, ты его найдешь...

Я уловил новое название для нашего вагончика, пока он стоит: «загончик». Но не это главное. Я бы сегодня, сейчас, добровольно побежал в наш «загончик», если бы отпустили.

— Теперь все? — спросил я, смягчаясь.

— Нет, — отвечал он. — Чтобы дольше было, я ей из прошлых писем еще сказал... Какая она хорошая, и как ты страдаешь, и как думаешь о том, как вместе, чтобы уйти...

— Бежать? Как ты узнал?

— Конечно, бежать, — подтвердил Костик. И добавил со вздохом: — Кто же не хочет бежать? Я бы и сам побежал, но...

— Что «но»?

— Я не ты... Я так не умею!

За баней в кустах что-то зашуршало. Мы оба, по ту и другую стороны двери, замерли, прислушиваясь. Подумалось: не Плотыч ли подслушивает? Он мужик дошлый, по ночам, как мы заметили, часто не спит, а бродит по двору, следит, чтоб не сперли чего. А мы у него хоть под замком, но тоже часть его добра: деньги-то уплачены. А Шабан, тот вообще считает, что хозяин оттого не спит, что каждую ночь монеты перепрятывает.

Костик под дверями для маскировки снова просвистел свое: «Фью-фью...»

— Свистунам сегодня выходной, — оборвал я. — Ты куда пропал?

— Я не пропал, — шепотом произнес он. — Тут в траве собака шмыгает...

— Собаку-то мы прикормили, — сказал нетерпеливо я. — Ты письмо давай! — И приник ухом к двери, чтобы не пропустить ни одного слова.

Костя помолчал, собираясь с мыслями. Но, возможно, еще озираясь, не веря, что он в безопасности. Была летняя ночь, как мы могли наблюдать в щели, звездная, однако черная, без месяца и без огней. Деревня спала. Лишь где-то на окраине взбрехивала собака. А я еще раз с удивлением прикинул, как это Костик, если подумать, совершил невозможное: из сотни домов разыскал дом Плотыча, а потом его баню... Ему бы разведчиком на войне с таким нюхом!

— И долго будем молчать? — спросил я, напрягаясь.

— Да не молчу я, — прошептал он. — Слушаю. В избе что-то... Или кажется... Не пойму...

— Тогда скорей говори!

— Ладно, слушай, — сказал он. — Значит, она так пишет: «Дорогой Тоша! Милый мой, хороший... Спасибо за твои такие удивительные слова, за все, что ты мне написал. Я тоже боюсь, что, может, больше не увидимся, потому что эшелон могут отправить, когда захотят... Хоть завтра. А пока мы стоим тут — значит, мы рядом и у нас есть надежда. И хоть я пропела тебе про тройку и увидела, что ты

сразу понял, но бежать не могу, потому что не могу бросить Шурочку, без которой мне жизни, как теперь и без тебя, нет. Я ее не брошу, чтобы ты знал, никогда. Я ей и сестра и мать. А без меня она пропадет. Вот такая моя судьба, что я разрываюсь на части... И без тебя не могу, и без нее тоже. До свидания, мой любимый, пиши. Я верю, что мы встретимся, как бы ни повернулась судьба. Твоя Зоя».

В этот раз я не перебивал Костика. Слушал, прислонясь к косяку двери, у щели, и вдруг, сам не знаю почему, заплакал.

Я давно не плакал. Последний раз — когда маму хоронили. Но я был тогда, как чурка деревянная, как замороженный... Даже слез не было. И когда обмывали тело, а пьяненькие дядьки поднимали его на грузовичок, который тихо, без музыки довез нас до поселкового кладбища.

Но это было так давно — не знаю, когда. Был осенний день, шел дождь, а яма на кладбище была глубокой и красной от глины, которая прилипала к ботинкам и осыпалась под ногами. Незнакомые тетки сморкались в платки и велели мне бросить на мамку землю. И тут я ничего еще не испытал, только остались в памяти глухой звук земли, упавшей на крышку гроба, да торопливый звон лопат. А вот переломилось во мне, лишь когда вернулся домой и почувствовал острую боль в поддыхе. Вдруг осознал: один. Никому не нужен. Мне стало страшно, и я заплакал. Я спрятался в чулане, чтобы меня не увидели, среди каких-то бутылок и тряпья, там и просидел, пока шла в доме поминальная гульба.

Сейчас было по-другому. Я плакал от отчаяния, что меня снова, как в детстве, отделили от родного человека и я его потерял. Потеряв один раз, уже знаешь, как страшно терять. Немца Ван-Ваныча жалко, он как дружок был. И тетя-Дуню жалко, и ребят... Но без них я бы еще выжил, если что-то мне осталось. А без Зоеньки, я уже знал, не выживу.

Костя стоял за дверью, я слышал его дыхание. Но и он, наверное, догадался, почему я молчу, и не спешил говорить.

Я первый подал голос. Я спросил:

— Ты еще здесь?

Он отвечал, что здесь.

— Тогда вот... Передай, что мы не можем расстаться, что бы ни случилось... Что мы обязательно будем вместе. И если я отсюда сбегу, я вернусь в вагончик, другого пути у меня нет. А если она в это время будет у штабистов, я и туда приду, я никого сейчас не боюсь. Как решит Шабан, не знаю. Он хочет уйти в бега... А я только к ней!

— Все? — спросил Костик коротко.

— Не знаю, — сознался я. — Ты вот что... Остальные слова ты и сам знаешь... Без меня. Не буду их говорить. Но скажи, что она самый близкий мне человек на свете. Ближе не было и не будет. Теперь все.

Костик молчал. Я вдруг испугался, что он не дослушал и ушел. Я приник к проему и услышал, как он дышит.

— Тебе не пора?

— Давно пора. Если не успею, к утру хватятся...

— Но ты не пропадай, — сказал я.

Ох, напрасно я подхлестывал его, гнал в черную ночь, через лес и зверье. Да что зверье, когда бандюги кругом, а любая оголодавшая собака страшней волка! Неизвестно, как он дойдет. Надо бы вернуть, остеречь... Но уже издали раздавался его прощальный посвист: «Фью, фью... Щелк, щелк, щелк...»

15

Хозяин через бороду, не глядя в глаза, — странная привычка смотреть вкось, мимо человека, — пробурчал, выпуская нас из бани, что ночью брехала собака, а значит, чужак бродил вокруг хозяйства, и теперь он будет караулить с берданкой.

Мы с Шабаном не отвечали, опустив головы. Мне виделись сапоги, густо смазанные вонючим дегтем, полосатые штаны, заправленные в голенища, ширинка не застегнута, из нее торчат белые солдатские кальсоны. Кальсоны, ви-

дать, он носит и летом. Но никакого ответа от нас, кажись, не требовалось. Сам себе он ответил, что война, бандюги кругом, надо беречься.

«Ну и берегись!» — надо бы ему ответить. Ему есть что беречь, пусть у него голова и болит.

Частная собственность, как нас учили по книгам, — яд, который разлагает человека, мешает ему быть свободным. Ну трудяга Глотыч, никто не спорит. И по ночам не спит, собственность свою стережет, боязно ее потерять-то. Шабан прав, высчитав, что где-нибудь у него золотые николаевки заханырены! Это мы — шантрапа голоногая. У нас от ничего и отнять нечего. А что у нас есть, так это наша жизнь, которая не жизнь, как выражаются поселковые, а жестянка. Так она, и вправду, никому не нужна. Даже странно, что нас еще берегут и мы кому-то полезны: дровец там напилить, сено поворошить, картошку окучить...

Тихо-мирно нас переключили на полевые работы. Стало больше воли, больше пищи. А бежать, как ни подзуживал Шабан, мы пока не спешили. У меня все равно путь один — обратно в вагончик. Но там не лучше. И голод, и издевательства штабных, и Петька-придурок с ружьем. А эшелон, видать, надолго загнали в тупик, если не забросили совсем. Кому он нужен?! Если и захотят избавиться, чтобы за него не отвечать, Костик успеет до нас добежать, семь верст — не расстояние для его ног.

На сене досталось работать с женщинами, мамой и дочкой, обе, оказывается, Кати. Маленькая Катя и большая Катя. Обе послушные, незлобивые, приметливые. Углядели, что на мне и Шабане одежда упрела, взяли постирать на речке. И пока мы отсиживались голяком в кустах, подсушили, а кое-где заплаточек поставили.

О себе говорят неохотно. В коллективизацию оказались обе в городе Тагиле, старшая работала в столовой, жили в общеаге. А с войной эвакуированных прибавилось, их потеснили. Да и норму карточную урезали, иждивенческую, это четыреста пятьдесят граммов хлеба на день,

едва выдали. Чтобы выжить, подались в деревню: близ огородов всегда сытней. А уж ютиться они давно привыкли по разным углам. Здесь, хоть в овине, но с мирной скотиной, все спокойней, чем в общаге с алкоголиками. Там уж в прямом смысле скоты, обворовали, хоть нечего брать, дочку пытались изнасиловать. А Глотыч, надо отдать должное, не пристаёт. И никаких вообще позывов по женской части не испытывает.

Про наш вагончик обе Кати спрашивали подробно. Не могли взять в толк, как из детей в одночасье смогли сотворить разбойников, особенно из девочек. «Так ведь прокурор прописал», — объясняли мы, как слышали от теть-Дуни. Женщины кивали: прокурор — это власть. Как пропишет, так и будет. А еще «тройки» у них. «Вон у нас, в деревне...» — сказала большая Катя, а малая Катя тут же перебила: «Нечего, мам, вспоминать... Что было, былшем поросло!»

Тут и мать опомнилась и не стала рассказывать, что натворили власти в их деревне. А дочка при этом странно на меня посмотрела. Я часто ее взгляд ловил...

Однажды, когда остались вдвоем, я спросил о школе, в каком она училась классе. Катя лишь усмехнулась: «Два класса, один коридор!» И тут увела разговор в сторону, предложив научить молитвам.

— «Богородицу» знаете? — спросила она.

— А что это?

— Божье слово, — произнесла тихо и почему-то оглянулась. — Для спасения всех, кого любишь.

— А кого ты любишь?

— Мамку. — Тут она сильно смутилась и добавила: — Есть еще... А вы?

— Меня на «вы» никто не называл, кроме Ван-Ваныча. — Я тоже смутился.

Я согласился выучить молитву, чтобы за спасение молиться... Авзамен, сказал, могу ее стихам научить, которые на немецком языке. И прочел: «Розляйн, розляйн, розляйн рот, розляйн ауф дер хайдн...» В общем, чтобы понятней, это про дикую розу...



— Чего ж не понять? — воскликнула Катя. — Она здесь в лесу растет, ее дарят на память... И красиво!

— Тебе дарили? — спросил почему-то я.

— Нет, — отвечала, потупившись. И тут же перевела разговор на стихи, которые тоже похожи на молитву. — Хоть и не по-нашему, да здесь тоже немцев много... Говорят, они жили на Волге, а здесь их за колючкой держат...

Выпала и опять оглянулась. А когда мы с поля возвращались, принесла колючий крошечный цветок шиповника и вручила, глядя себе под ноги:

— Получайте вашу розляйн! — И убежала. Загорелые ноги лишь мелькнули.

Спали мы теперь в овине, на сене. По ночам я подолгу вертелся, все прислушивался, не засвищет ли Костик. Но Костик не появлялся. Зато однажды застал Катю маленькую, склонившуюся у самого фонаря. Я удивился, заглянул через плечо и обомлел: она штопала мою рубашку. Услышав шум, вздрогнула, но не обернулась, а замерла, как зверек, застигнутый опасностью. Конечно, она догадалась, кто мог стоять за ее спиной. Но сидела, как мышка, затаив дыхание, пока я тихохонько не вернулся к себе на сеновал. Наутро я сделал вид, что ничего не видел, и она промолчала. Однако и эта тайна, после дареного цветка, странно объединила нас, заставила по-другому взглянуть друг на друга.

Да, был и еще один случай, на полевых работах. Мы четверо, я, Шабан и обе Кати, отдыхали под стожком сена. Я отошел к берегу ополоснуться и вдруг увидел Катю маленькую. Уверенная, что рядом никого нет, она быстренько за кустом обнажилась и, осторожно ступая по стерне, чтобы не уколоться, пошла к речке. Приблизилась к кромке берега и долго не решалась войти, глядя с опаской на воду и прижимая руки к груди. Несколько раз касалась ступней воды и отдергивала в страхе. Потом, замерши на секунду, выдохнула звучно: «У-ух!» — и бросилась в глубину.

Конечно, я знал, что подглядываю. Но, если честно, не мог оторваться. Таращился, стыдно сказать, как дикарь, завидевший чудо, даже забыл, зачем сюда пришел. Опомнился не сразу и с оглядкой, тихо-тихо отступил назад в кусты, вернулся к стожку. Но включиться в разговор Шабана с большой Катей не смог, так разволновался. Прилег с закрытыми глазами, будто отдыхаю, но видел только ее, тоненькую тростиночку, колеблемую летним ветерком на фоне сверкающей речки. Однако представлялась мне при этом не она, а Зоя. Но и она тоже. И эта раздвоенность долго мучила, смущала меня. Я даже Зое не посмел об этом рассказать.

В середине ночи нас поднял хозяин. Ходил, ходил с берданкой своей, потом спустил с цепи собаку, которая Собака, и подсвечивая «летучей мышью», велел нам спуститься вниз. Дело, мол, есть.

Мы с Шабаном переглянулись, решив, что тащат нас на расправу. Может, за морковку, что сорвали, или за огурец. А огурцы у него на высоких грядках, сложенных с полуметровым слоем навоза, так и перли из земли, таких ни у кого из соседей не было. Вот мы и решили, что подсчитал Плотыч убыток и хочет нас снова в баню запереть.

Но не было при нем кнута, да и взгляда, как обычно, не прятал, а смотрел на нас испытующе, даже не смотрел, а осматривал, проводя глазами от ног до головы, будто впервые видел. Изучал, старый лешак. А мы с Шабаном стояли перед ним, как бурсаки перед классным надзирателем. На Шабане, на волосах и на одежде, висели клочки соломы. Но и я, наверное, выглядел не лучше.

— Пьете? — спросил Плотыч в упор.

— Воду, — ответили мы дружно.

— А брагу? Самогон? Пробовали?

Шабан сказал, что пробовал, не понравилось. А я промолчал.

— Значит, тово... курите... — решил он сразу. — Махра вон, в мешочке... Там и газетка на закрутку...

Мы еще раз переглянулись с Шабаном. Не заболел ли Плотыч, что так расщедрился? Или это нам снится?..

— Козью ножку-то умеете крутить? — между тем поинтересовался он. — Куряки! Только дым через нос пущать! — Тут он достал клочок старой, пожелтелой от времени газеты, разорвал на перегибе на две части, ловко свернул две «козьи ножки»: острый мундштучок и набитый табаком конус, тупой стороной вверх. Даже красиво. И губы не печет, и нос греет.

Себе тоже свернул, закурил от лучины. Печку он топил на ночь даже летом. И похлебку он себе сам готовил в чугунке, Катям не доверял. Никому и ничего не доверял.

— Ну что вытарацились? — спросил, глубоко затягиваясь. Цигарка от сильной затяжки полыхнула огоньком. — Садись, что ли?

Когда прокурор говорит «садись», неудобно стоять. Это мы не вслух, а про себя. И, так как мы продолжали молча торчать перед его глазами, пояснил, через дым, что охота ему с нами за жизнь потолковать. А в ногах правды нет.

Мы продолжали тупо молчать. Уверен, что мысли у нас с Шабаном были в этот момент одинаковые. О чем нам с Плотычем толковать-то, да еще по ночам, если он хозяин, а мы батраки? Приказать — пожалуйста. Такое обращение мы признаем. Привыкли. Или, скажем, выслушать угрозы, как он умеет, — что кнутом засечет. Ну а говорильню по ночам разводить, оттого что ему не спится... Пустой номер.

Кажется, и до него дошло, что толковать с ним мы не расположены. Но мужик упертый во всем, он и тут стоял на своем.

— А что, — спросил странно, — впервой так наемно работать?

— Почему впервой? — возразил Шабан. — Мы в Таловке на полях тоже вкалывали. У Мешкова.

— Слышал. Прохиндей ваш дилехтор. — Он пыхнул дымом. — Из партийных небось? Меня они трижды сгоняли с земли, ваши партийцы.

— Почему наши? — взъелся Шабан. Я видел, что он начинает заводиться от ночного, непонятого для нас разговора.

— Ну ихие, — миролюбиво поправился Глотыч. — В Гражданскую они разоряли, шарили по амбарам, не давали дыхнуть... Белые, красные, желтые, зеленые... Цвета разные, а манеры одинаковые... Разбойные. У всех одно: как от чужого пирога откусить. И разговор один: «К стенке! К стенке!»

Он помолчал.

— Потом нас как бы землицей одарили, хоть и не лучшей. Не успел праздник справить, забрали обратно. А я уж сорняк вывел, унавозил, на себе перегной возил, урожай сам-сто получил. Рассчитывал хлебушком поторговать, чтобы одеть-обуть семью — у меня пять ртов было, — как нагрянули алкоголики из комитета бедноты, все деревенские придурки, а с ними комиссар с револьвером. Прямо как ваш дилектор! Давай, мол, выгребай, чего спрятал, а то силой возьмем! Два действия арифметики у их от образования: отнять да разделить. Выгребли продовольствие подчистую. Но не успокоились. Стали остаток искать, нашли... Тут уж Сибирью запахло...

Он пригасил остаток самокрутки, стал вертеть новую. Мы вдруг заметили, что руки у него подрагивают. Никак разволновался?

Раскуривал долго, ничего не произнося.

— Семья?.. Да нет теперь никого, — сказал. — Про это не хочу.

И снова молча курил. Привстал, зачем-то выглянул наружу и снова сел.

— В охрану устроился... С другой фамилией: Глотов. Прошное заштриховал, его не сыскать. И свидетелей нет. По бумагам я чист. А то, что вам говорю, это не от откровенности, я давно перестал людям верить... Скорей по необходимости... — Он ухмыльнулся. — После поймете.

Так как мы продолжали молчать, он добавил:

— В деревне, знаю, меня не любят. Лучше их живу. Но шапку ломают при встрече... И доносить опасаются... У меня в районе своя рука есть.

Спросил, упираясь в нас глазами:

— Курить еще будете?

Мы дружно ответили: «Нет».

— Значит, не надо, — решил. — А что вы не разбойники, я и без бумаг понял. Ваши кровопивцы мне противны, едва их стерпел. Не лучше тех комиссаров с револьверами... Которые хлебушек у моих детишек отнимали...

Тут он замолчал, ткнул самокруткой в дощатый пол и стал ссыпать остаток махры в свой кисет, на котором было вышито по белому красным: «ММ».

Вот он кто, на самом-то деле: «ММ»!

Михаил Михайлович? Матвей Матвейч? Митрий Митриевич?

Он поймал наш взгляд, усмехнулся.

— То-то и оно! Наглотался ихого дерьма, вот и Глотов! Хозяйства — во, полный край, могу не только ваш вагон, эшелон купить. Да и предлагал им: отдайте, говорю мне детишек с лошадьми, шибко заплачу... А ваши дармоеды ни в какую. Им жить охота... Да они с вас всегда навар снимут! На ящик водки заработают.

Так неожиданно мы узнали с Шабаном, на сколько нас штабисты оценили. Мы как бы и не смотрели друг на друга, но система опознавательных знаков работала как надо. Мы по-прежнему решили отмалчиваться. Уж очень все казалось нереальным: многоречивый Глотыч, придуманные им истории...

Вот табачок-то был настоящий! И брань в адрес наших мучителей тоже. О комиссарах мы не разобрали. Однако, когда он сравнил их с Мешковым, стало ясней: такие же суки.

Но вот что нас с Шабаном удивило... Нет, не удивило, поразило. Даже оглушило. То, что произошло дальше. Мы сперва не поверили услышанному.

Глотыч сказал так:

— Хотите у меня остаться? — И после паузы: — Ну?

Первый наш безмолвный вопрос: «Что-о???»

Второй, тоже безмолвный: «Как это?»

Третий, четвертый...

Или он охренел, или мы с Шабаном спятили! Какая дурь не шибанет в башку среди ночи?!

Все это, видать, отразилось на наших недоуменных рыльцах. И он предполагал такую реакцию. Но повторил на выдохе, даже с хрипотцой:

— Остаться, говорю... Насовсем. В этой избе?

Теперь мы поняли, что не ослышались. Однако все равно было не разобрать, что он на самом деле задумал.

— Насовсем?

— Насовсем.

— Это как? — поинтересовался Шабан. Он первым догадался, что это означает.

— Жить будете... Работать.

— Работать? На вас?

— Зачем? На себя!

Было произнесено с досадой. Обиделся, значит.

Плотыч новую «козью ножку» свернул, закурил и к окошку подошел. Чего уж он там все время выглядывал, непонятно. Ночь на дворе — черней черного. Как сажа в трубе, из которой мы еще в Таловке чернила делали.

Стоя спиной, он спросил вдруг:

— А чего к вам этот... Ну посыльной-то ваш приходил?

— Какой... посыльной?

— Да какой-какой... Не видать в темноте, какой... Семь верст до небес, и все пехом. А в две стороны — уже четырнадцать! Пусть не хоронится этот соловей, скажи... Накормлю за такой красивый свист!

Мы с Шабаном переглянулись. Ловит? На пушку берет? Иль взаправду слышал?

Плотыч шумно вздохнул, стал молча чадить цигаркой. Все-то он, лешак, знал... Заметил походя, не глядя на нас:

— Вы если бежать надумали, то бегите... Не держу. В бане, что ли, все время держать?! Но подкормитесь для начала. На огороде уже поспевает. А вот при доме останетесь... — Он пристально поглядел мне и Шабану в глаза. — Все ваше будет. — Повел рукой, зацепив сигаркой за что-то, искры посыпались от нее. — А работать, что ж... Работать везде надо. У меня али не у меня. Так у меня, скажу, лучшей... Я хоть оценю... А у комиссаров, у тех отработал — и в перегной... Я их систему давно понял. Сперва, как они в книжках пишут: город-сад... Город-сад... А в том саду сплошь кресты растут!

Плотыч снова заглянул мне и Шабану в лицо, чтобы убедиться, что дошло. Махнул рукой:

— А тепереча топайте на сеновал! С утра делов много.

16

Костик объявился следующей ночью. Сперва разливался соловьем у дверей бани, пока не сообразил, что нас там нет. Потом запел у ворот: во двор заходить побоялся.

Плотыч первым и услышал, разбудил нас с Шабаном:

— Соловей прилетел, принимайте!

Шабан помотал головой и уснул. А я вышел во двор, снял щеколду, но Костю не обнаружил. Завернул за угол, а он тут как тут. Кусок коряжки светящейся держит, чтобы его лучше найти.

— Привет, — шепчет. — Вас что, с Шабаном прям в дом пустили?

— Пустили, — говорю. А сам стараюсь поближе его лицо разглядеть. Уж очень не понравилось, что он разговор с дома начал.

— Небось, кормежка нашлась?

— Да не тяни ты! — Я чуть не закричал. — Кормежка... Кормежка! Ты говори, что случилось... Вагончик на месте?

— Вагончик на месте.

— С Зоей?

— Нет. Не с Зоей.

— С кем тогда?

— С Шурочкой.

— Говори! Говори!

— Давай присядем, — предложил вдруг он.

Мы присели прямо на траву у стены дома. По тому, как он себя вел, я уже догадывался, что он скажет. Я не торопил его. Чем дальше не знать, тем лучше.

— Вот как бывает, — произнес он негромко и вздохнул. — Померла, значит, наша Шурочка.

— Померла? Сама?

— Померла, — повторил Костик.

Далее из не очень связного рассказа дружка удалось выяснить, что у штабистов с Зоей вышел конфликт: не пошла она к ним на ночь, не захотела. Они тут же силой забрали Шурочку. А утром та вернулась в вагончик, кто видел, говорят, была не в себе. Никого не узнавала и сестру не узнавала, которая прождала ее всю ночь. А в следующую ночь выждала, когда Зоя заснет, и удавилась.

Мы с Костиком больше ни о чем не говорили. Тут не говорить, тут надо гранату хватать и к черту всех разнести. Ох, как я пожалел, что не заметил тогда наган у майора на столе!..

Когда опомнился, спросил:

— Зойка там?

— Нет, — ответил Костик и вздохнул. — Она здесь. Разве можно там оставлять?

— Так что же ты!.. — Я крикнул, и сам испугался своего крика. Но, правда, сколько сидим, а она оказывается здесь, рядом...

— Где, где она?

— В кустах, — сказал Костик. — И не кричи, деревню разбудишь. Сейчас приведу.

Костик шмыгнул в темноту, а я остался ждать. Стоял оглушенный, как колуном по башке. И мысли рассыпались: Зоя, Шурочка, штабные крысы, от которых вся напасть. Слово «напасть» отчего-то застряло в мозгу и вызывало судорогу в животе...



Я вернулся во двор, но тут же выскочил за ворота, решив сам их искать. Прошел черной улицей, но ничего не увидел. Темные тени домов, заборы, деревья и ни одного огонька. Вдруг испугался, что Костик с Зоей уже пришли, что они уже во дворе, а меня нет, и повернул назад, споткнулся и больно ударился о камень коленкой. Хромая, дошел до двора, но он был пуст.

Только теперь я заметил, что стало светать. Потерев саднящую коленку и обругав дурацкий камень, бросился снова на улицу и тут увидел. Сперва ее. Костик стоял сбоку и старался нам не мешать. Кажется, он даже отвернулся.

Так она и запомнилась посреди улицы в светлом платье и беленькой косыночке. В редющей мгле я смог различить ее лицо, глаза. Но это были не глаза, провалы, несущие в себе еще большую черноту, чем та, что нас окружала.

— Зоенька моя...

Не помню сейчас, произнес ли я это вслух. Но она услышала. Она сделала неуверенный шаг вперед, а я шагнул к ней. Тогда она вытянула вперед руки, как это делают слепые, прикоснулась ко мне холодными пальцами, стала меня ощупывать: щеки, лоб, шею. Она не верила, что я — это я. Странный скулящий звук, вовсе не женский, даже не человеческий, коснулся меня и пронзил насквозь.

Господи! Господи! Да что же за напасть такая, если для нее нет слов, один звериный крик?! Она уткнулась лицом в мое плечо, и оно сразу онемело от тупой боли.

— Зоенька моя, — повторял я. — Зоенька моя! — Кажется, вслух. Она намертво вцепилась в мою одежду, словно боялась, что я исчезну. Я ладонями коснулся ее спины и через тонкую ткань почувствовал, как ее лихорадит...

Мы даже не обсуждали, надо или не надо бежать. Мы знали: к утру Петька-придурок обнаружит, что ее нет, и понесется в панике докладывать в штабной вагон. А там рассуждать

не любят, поднимут тревогу, пришлют конвой и арестуют. Еще и изметелят по дороге за то, что пришлось тащиться пехом за семь верст.

А тревогу-то поднимут не только потому, что потеряли человеко-единицу... Для них это — тьфу! Перетасуют список, наврут, смужлюют и такой красивый марафет, такой дебет-кредит наведут в бумагах — ни один проверяющий инспектор не подкопается. Но все дело в Зойке: главный свидетель их преступлений сбежал.

Мы-то не собирались никому ничего рассказывать. Знали: пустое. Мы спасали сами себя. Однако я твердо решил: если удастся дойти до их притона-штабнухи, гранатой взорву! Пусть там охрана, оружие... Подожду, взорву! Камнями забросаю! А вот потом — в бега. Если бы Плотыч дал мне свою берданку! Не даст...

Мой рассказ он выслушал, стоя на крыльце и упершись глазами в пол. Пробормотал:

— Это мы проходили.

Ушел в дом и вынес два ватника, мешочек с махрой и сало, завернутое в тряпицу.

— Бегите, — буркнул в бороду. — Они сюды прискачут.

Мы продолжали стоять посреди двора. Это ведь только сказать: бегите. А куда бежать-то? Кругом лес, сквозь него дорога на полустанок, другой дороги мы не знаем. Может, ее вообще нет.

Уже объявились две Кати, стояли в одинаковых позах, рассматривая нас с Зоей.

— Присядьте-ка на дорогу, — сказал Плотыч. — Они тотчас не прибегут, потому как ленивые. А мы должны крепко подумать.

Мы присели на ступеньках. Только Кати остались стоять. Младшая на меня не смотрела, только на Зою.

— Совет мой такой, — начал Плотыч. — В лес не ходите, заблудитесь. Там болото, зверье... Да бандюгов много. Вы к железке ступайте, узкоколейка у нас для лагерных... Топайте по ней, пока до Юргомыша не дойдете. Наш районный центр. В него не заходите, там вас стеречь будут. Милиция,

комиссары с поезда... Людоеды ваши... Эти не помилуют, застрелят. У них такое право есть: беглецов стрелять. Чтобы, значит, следов не оставалось.

Он помолчал, разглядывая Зою. Мы все на нее сейчас смотрели. Беглец-то она, о ней и речь. Мелькнула шальная мысль: обстричь бы ее под мальчика, обрядить, сажей зачумазить... Да уж больно глазаста да фигуриста... Не проскочит.

— Вам надо в лесу, за Юргомышем, на товарняк попасть, они там скорость набирают. Охрана не увидит, если в темноте. Да она пьяная, трезвых я не видел. А как отъедете и станут документ требовать, говорите: беженцы, отстали, в Курган едете... Имена перемените... А дальше, — Глотыч махнул рукой, — хошь на восток, хошь на запад... Россия большая, на какой-нибудь край да вынесет!

— А ты, Шабан, не побежишь разве? — спросил Костик. Среди общей паники мы о нем не вспомнили. Наш дружок сидел у нас за спиной да помалкивал. Будто все, что тут говорилось, лично его не касается.

— Не знаю, — отвечал он, не глядя на нас.

— Как не знаешь? — удивился я. — Ты же первым... Ты же хотел драпать?

— Не знаю, — повторил он и посмотрел на Глотыча.

Тот раньше нас сообразил. Кивнул одобрительно.

— Чего ж не понимать? Остается ваш Шабан.

— Совсем? — поразился я.

— Как захочет. Может и насовсем, — изрек многозначительно Глотыч. — Я его так запрячу, что ни один комиссар не разыщет... Скажу вот, с вами, мол, убег... Ищи ветра в поле!

Глотыч свернул свою знаменитую «козью ножку». Засмолил, глубоко затянулся, будто заново оглядел весь двор.

— Мне что надо-то? — сквозь дым сказал. — Чтобы мое ремесло не потерялось, иначе мужик в России вымрет. Комиссары сеять не умеют, пахать тоже... От них сплошь вырождение работника идет. Вот ваш Шабан и потянет

ниточку дальше... На Катьке поженю, детишки пойдут... Хозяйствовать на этом, значит, дворе станут.

— Ну вот еще! — сказала, засмуцавшись, Катя и почему-то посмотрела на меня.

— Ну как захотите. А то бы я детишек понянчил.

Плотыч дошел до ворот, крепких, тесовых, выглянул наружу, в обе стороны головой покрутил. Не оборачиваясь, махнул рукой:

— Бегите за угол и на огороды... И — с Богом!

Шабан, а за ним Костик попрощались со мной за руку, как взрослые. Шабан прятал глаза и в лицо не смотрел, хотя никакой обиды у меня не было.

Я так и сказал: мол, ты, Шабан, для себя решил, устроил свою жизнь. И чего тебе бегать, если Плотыч на полное обеспечение берет? Тут ты будешь не на дядю из штабного вагона, а на себя пахать!

— Не обижайтесь, — сказал Шабан. — Я правда хочу попробовать. А Плотыч — мужик что надо! Он вытащит меня из вагончика.

Костика я похвалил, что он Зою привел. Просил передать тетя-Дуне прощальный привет, ну и остальным тоже. А штабным передавать ничего не надо, я их все равно гранатой взорву.

— Если бы достать! Гранату! — мечтательно протянул Костик.

— Ты в это дело не лезь, — посоветовал я. — Ты лучше на артиста учись. Не все умеют соловьем петь, понял?

Костик не ответил.

— Если Ван-Ваныча увидишь, передай, что у нас аллес зер гут. Понял?

— Понял, — сказал Костик. — Он у них под стражей сидит.

Как мы ни отговаривали, обе Кати довели нас до опушки леса. В белых платочках, похожие на сестер, сдержанно молчаливые, прям как на фронт провожали.

Старшая посмотрела Зое в глаза, погладила, как маленькую, по голове.

— Берегите, — сказала, — друг друга.

**И перекрестила.**

И уже когда мы двинулись на разгорающийся впереди восход, нас догнала бегом маленькая Катя. Окликнула меня, приблизилась, заглядывая снизу в лицо.

— Вот, забыла. — Сняла с себя крестик на шнурочке и надела мне на шею. Чмокнула в щеку и побежала прочь.

Мы уже прилично отшагали, когда вдали засвистал соловей: «Тью-тью-тью». Я и сегодня этот прощальный свист среди многих других узнал бы. Мы даже остановились, чтобы последний раз услышать прощальную песню Костика.

# Часть вторая

## ДИКАЯ РОЗА В ПОЛЕ

Мальчик розу увидал,  
Розу в чистом поле,  
К ней он близко подбежал,  
Аромат ее впивал,  
Любовался вволю.  
ГЕТЕ

18

На зимник мы наткнулись случайно. На пути к Юргомышу, на узкоколейке — это случилось к полудню — слышали мы перестук колес, издали по рельсам, быстро свернули в кусты и притаились. Увидели дрезину с кабинкой желтого цвета и платформу, везущую шпалы. Дрезина встала ровно напротив нас, высадила трех рабочих, которые, громко покрикивая, матюгаясь, стали сбрасывать шпалы на насыпь. Нетрудно было сообразить, что они останутся тут работать. Прячась за кустами, мы углубились в лес и километрах в двух-трех от линии, за крошечным болотцем, обнаружили зимник.

Сложенный из необструганного кругляка, с окошечком не более ладони, как в бане у Плотыча, с чуть покосившейся трубой, он был неожиданной находкой на нашем пути. Но я помнил, что надо остерегаться: в зимнике могли быть люди. Я велел Зое сидеть за кустом, а сам подкрался и заглянул в оконце. Увидел край стола, за ним угол задымленной печки, людей не было. Шагнул к двери и вдруг из-под прогнившего крыльца серым комком метнулся заяц, напугав нас, запрыгал зигзагом между деревьями, высоко вскидывая задние ноги. Зоя даже вскрикнула от страха,

да и я не сразу пришел в себя, уж слишком неожиданно он выскочил.

Показав жестом, чтобы Зоя молчала, я тихо прокрался к двери. Подергал дверь на себя, и она, скребнув по косому крылечку, открылась. Жилище было уж точно необитаемо. Потом-то я сообразил, что заяц не стал бы прятаться в обитаемом зимовье.

Я всунул голову, но ничего не увидел. В лицо из полумрака пахло сыростью. Пригнув голову, я вошел, выставив вперед руки, чтобы не ушибиться. Не сразу смог разглядеть небольшой стол под оконцем, скамейку у стены, крошечную печурку посередке, а за ней лежанку, устланную прелой соломой. Глаза стали привыкать, и я смог различить на столе и на полу бумажные гильзы от патронов, рваный сапог на полу, бутылки и пустые консервные банки на припечке. Была даже кочерга из гнутой арматуры, а в углу — жестяной, в черной копоти, чайник: следы давнего обитания охотников. Еще мы нашли полкоробка спичек, в туюске — крупную, как битое стекло, соль. А у потолка, в привязанном к балке мешочке, оказалась окаменевшая мука, спрятанная от мышей. Но это потом, потом...

А в тот, первый, день бегства, попав в брошенный зимник, мы, ничего не трогая, кинули один ватник на солому, другим укрылись и уснули. Точней, провалились в тяжкий и долгий сон, похожий на обморок. Силы наши были на исходе. Я обнял Зою для тепла со спины и больше ничего не помнил. Ни леса, ни преследователей, ни зверей.

Только в последний момент, перед погружением в сон, вдруг привиделся заяц, который подкатился серым комком под ноги и не давал бежать. Я спотыкался, злился на него, отгонял руками, кричал: «Кыш! Кыш!»

Очнулся, заслышав, как в соломе шебаршат мыши, которые добрались до нашего, даренного Плотычем сала и даже успели его, вместе с тряпкой, с одного края обгрызть. Я швырнул в них рваным салогом, а сало положил в печку и закрыл железной заслонкой: сюда не прогрызутся. Осторожно выглянул наружу. Сумерки — то ли раннее утро, то

ли конец дня. Но было тихо. Очень тихо. Успокоившись, я прильнул к теплой Зоиной спине и снова уснул.

Только потом мы узнали, что проспали целых двое суток.

Не случайно я все время рассказываю о себе. Зои в моем повествовании как бы нет. С того мгновения, как появилась передо мной на темной улице деревни, в белом платочке, замершая, неживая, вплоть до этого зимника, ни одного словца не прозвучало от нее. Кроме испуганного вскрика при появлении зайца. Все, что делала, она делала беззвучно, как под гипнозом. Однажды мне показалось, что она и ходит с закрытыми глазами. Заглянул в лицо: нет, глаза открыты. Открыты, но пусты. Я даже испугался: не бывает у живого человека таких стеклянных, ничего не отражающих глаз.

Ночью от страха, что она вдруг умрет, несколько раз вскакивал и ощупывал ее голову, пока она однажды не произнесла сонно, но вполне осознанно:

— Да жива я, господи! Спи...

Глубоко вздохнув, добавила, эти слова я запомнил навсегда.

— Во мне нет любви, — вот что в ту ночь сказала. Потом повторила: — Во мне нет любви... Я вся заполнена черным ядом... Ничего не могу с собой поделаться... Даже плакать не могу.

Пока Зоя спала, я еще раз изучил окрестности. До опушки, откуда мы наблюдали дрезину, не так уж далеко. Но между нами болотце, которое напрямик не одолеешь, а значит, никто из случайных рабочих сюда не забредет. Да и ни к чему им шастать по лесу. Рядом с болотцем, обходя вокруг по морошке и высоким, до пояса, зарослям голубики, сплошь синим от ягод, обнаружил вытекающий из них ручеек с крошечным омутком, можно при случае и окунуться.

Я зачерпнул в жестяной чайник холодной, аж пальцы свело, воды, попытался разжечь печь, но ничего у меня не получилось, лишь напустил в помещение дыму. Вблизи зи-



мовья разжег костерок, потом вбил в землю две рогатульки и на перекладину из стволика березки повесил чайник.

Завозившись, не сразу расслышал скрип дверцы за спиной. Зоя возникла на крылечке, как видение из сна, в своем светленьком платьице, едва кольхаемом ветром, с золотом откинутых в сторону волос. Глядя на нее, я даже руку обжег о пламя и не сразу почувствовал боль.

Такой навсегда ее запомнил: солнце отсвечивало в золотых прядях, в лице, во всем облике сквозили легкость, безмятежность ребенка, открывшего поутру окружающий мир.

Мелькнула, не скрою, диковатая мысль: здорова ли девочка, не тронулась ли разумом от пережитого? Уж слишком резка перемена. Да еще эта застывшая, как мне сперва показалось, полуулыбка младенца...

Но, слава богу, я ошибался. В это утро Зоя навсегда отринула недавнее прошлое, как дурной сон, и больше к нему не возвращалась. То, что я увидел: Зоя, стоящая на кривом, темном от дождей крылечке, с удивлением, приставив ладонь к глазам, взирающая на мир, — было началом другой, неведомой мне Зои. Плавно, будто в замедленном кино, она ступила босыми ногами на траву, направляясь напрямиком по едва заметной тропке к ручью, угадав, где он находится.

На заросшем осокой бережке она скинула одежду, все на моих глазах. Войдя в омуток, присела на корточки и, зачерпывая в пригоршни хрустальную воду, стала плескать себе на лицо, на плечи, на грудь. Я видел четко ее грудь, два крошечных кулачка. И снова обжегся, не заметив, что касаюсь раскаленного чайника. Она же плескалась, не глядя вокруг и не замечая меня.

Вышла из воды, наклонив вперед голову и отжимая двумя руками тяжелые, потемневшие от влаги волосы, падающие на лицо. Не спеша оделась. Гребешком расчесала голову и повязала ее на манер чалмы белой маечкой. И опять проделала это медленно, с видимым удовольствием. Она до краев была заполнена этим утром, солнцем, золотыми зайчиками, бегущими по траве, самой собой.

— Ну а где же чай? Я так хочу чая!

Спросила с непосредственностью девочки, которая знает, что имеет право на маленький каприз. Будто каждый день мы с ней только и делаем, что вместе пьем по утрам чай. А мы и увиделись-то, глаза в глаза, можно сказать, первый раз. Все предшествующее: в деревне, даже здесь, в избушке, — было вовсе не встречей. Про штабной вагон я уж не говорю. Его в памяти моей не существовало. Я его мысленно взорвал гранатой вместе со всеми обитателями...

До мелочей помню это утро. То, что было у нас с Зоей до этого, было лишь поиском друг друга. И слишком крошечным, почти мгновенным, оказалось наше совместное бытие, чтобы что-то, любую детальку, пустячок, даже словцо из него забыть.

— Ну а где же чай? — вот что она спросила. — Я так хочу чая!

Помню открытый взгляд, чуть капризную повелительную интонацию, с которой это было сказано.

— Присаживайтесь, мадам, — ответил я, вдруг оробев. — Стол готов.

Она помотала головой, не согласившись со мной. Конечно, она была женщиной, а значит, куда практичней, приметливей меня. Тут же на поляне нарвала зверобоя, насыпала в чайник желтых звездчатых цветов; принесла две консервные банки, которые валялись в зимовье, ошпарила их и налила кипятку. Под каждую банку подложила лопушок.

— Чай «Белая роза».

Она присела, скрестив по-восточному ноги, на траву, обмакнула в чай корочку задубевшего хлеба и с наслаждением обсосала ее.

— Вот так и будем жить! — произнесла с вызовом и почти весело, разглядывая меня. — Первобытно-общинный строй... Мужчины охотились на мамонтов, а женщины шили из шкур зверей одежду и занимались домашним хозяйством.

И многозначительно добавила:

— А вообще-то это была эпоха матриархата.

Для пущей безопасности мы еще раз обследовали подходы к узкоколейке, чтобы убедиться, что движение на ней редкое. Утром маленький паровозик-«кукушка» отвозит рабочих на лесозаготовки, а может, еще куда, вечером возвращается. Днем промелькивают порой путевые обходчики. Других путей, даже тропок, ведущих в районный центр, под названием Юргмыш, о котором рассказывал Плотыч, судя по всему, нет.

На наш зимник никто не покушался, да и некому было. Обойдя прилегающий к узкоколейке лес — дальше не рисковали удаляться, — обнаружили еще две охотничьи избушки, пригодные для проживания. В каждой что-нибудь находили для себя полезное: мешочек сушеных ягод, связку грибов, алюминиевую кружку, ложку, соль, сухари и даже коптилку, сотворенную из чернильницы с тряпичным фитильком и чуточкой керосина на дне.

В кармане одного из ватников, подаренных Плотычем, мы неожиданно наткнулись на деньги, не очень большие. То ли хозяин сунул нам на дорожку, а может, отложил для расходов, да позабыл.

Было решено: двое-трое суток с оглядкой живем, пока нас ищут на дорогах, потом начинаем пробираться к главной железке, Транссибирской магистрали, которая проходит через Юргмыш. Там мы сможем подсесть на какой-нибудь товарнячок. Лучше бы, конечно, попасть на санитарный, где раненые солдатики, медсестры, очкастые врачи, но в них никакой свирепости нет.

Однажды наш вагончик месяца три был прицеплен к такому поезду с красными крестами по бокам, чтобы фрицы не разбомбили. Но они все равно бомбили. Раненых, почти как нас, гоняли по всяким путям, то с фронта, то на фронт. На передовой торопливо, под вой снарядов, загружали человечинной. Под брезентом на носилках не разобрать, что там от кого осталось, мы только слышали крики боли, иногда мат или женские всхлипы.

Выгружали раненых обычно в стационарных госпиталях, далеко на востоке. И опять стоны, вскрики, мелькание белых халатов. На изгибах пути, когда носило

нас по дорогам, можно было в вагонные щели разглядеть весь эшелон, меченный крестами, а в окошках — головы молоденьких стриженных солдатиков, одетых в белые нательные рубашки.

О нас, о том, что мы рядом, все видим и слышим, они, конечно, не догадывались. У них была своя жизнь, свои просветы после встречи со смертью, и этого им хватало на весь путь. А те, которые не доезжали, выносились из вагонов потихоньку, ночью, чтобы никто не видел. Ни население, ни раненные бойцы. Могильщики не походили на санитаров, чаще были при форме, но без погон. А на перегонах у них играла гармошка, слышался женский смех. Мы тогда затихали, прилепившись к щелям. Счастливая возможность пожить чужой, ужасно красивой жизнью.

Многоопытная тетя-Дуня поясняла:

— Танго «Брызги шампанского»... У нас тоже в клубе играли...

Но хоть и колесили по дорогам России тысячи таких санитарных поездов, попасть на них было бы невероятной везухой, о которой можно только мечтать. Разве, сидя в засаде, в кустах, у насыпи, их дождешься! Надежней было попасть в «пятьсот-веселый», как их прозывали, с вагонами двадцатых годов, изъездившими свой срок на местных маршрутах еще до войны и снова привлеченными для дела.

В таком поезде можно и на межвагонной сцепке прилепиться, и на ступеньках перегон-другой проехать, пока не сгонят. Но лучше всего ехать на крыше, рядом с мешочниками, с беженцами, что везут и скарб, и детишек, беспризорную шантрапу, и прочую человеческую мелочовку, которая, если разобраться, и есть Россия.

На крыше спят, едят, занимаются любовью, выпивают, играют в карты, выясняют отношения при помощи кулаков. Скорость невелика, от столба до столба, а мочиться да и поспать, коли приспичит, можно прямо с крыши, никто не осудит.

Ну понятно, что дорогой могут прицепиться военные патрули, проводники, урки, блатяги всех мастей... Тут всего понамышано, на то и война. Но в итоге все друг другу

нужны, кучей-то легче и отпор давать, доказывать, упрашивать, помогать, потому и выживают.

Поезд — ковчег, тут всякой твари по паре, и всем надо спастись.

19

Первый день, как встали, мы провели в устройстве жилья. Чуть не сказал — гнезда. Перетрясли, просушили солому, починили лежак, промыли стол, лавку, а потом и пол, соскребли тонну грязи, и постепенно в избушке возник жилой дух. Приятно запахло сырым деревом. На следующий день удалось растопить и печку, я не догадывался, что надо открыть дымоход.

Когда сгустились сумерки и от деревьев и болотца повеяло холодком, заперли дверь изнутри на деревянную задвижку и вдруг осознали, что мы одни в своем доме. В доме, где можно говорить, никого не опасаясь. И не с чужого, пусть Костина, голоса, а сами по себе. Говорить и слышать друг друга.

Пока колготились да оглядывались по сторонам, не было ощущения близости, а было ощущение близкой опасности. И хоть оно не исчезло, но отодвинулось. Призрачное пространство избушки, густой вокруг лес и мертвая, объявлявшая весь мир тишина внушали на этот вечер надежду, что здесь мы так запрятаны, что нас и правда не найдут. К крошечному окошку прилипла черная мгла, а мы, вдруг опомнившись, отложили дела, уселись на лавку и молча сидели, не решаясь идти спать.

Я зажег коптилку, синий едва мерцающий фитилек. Его свет раздвинул пространство и достиг темных стен, мы стали видеть друг друга. Лицо Зои, затушеванное сумраком, как, наверное, и мое, едва просматривалось сквозь колеблющиеся тени.

Как писалось в старьих книжках: образ? Женский лик?

Красивей этого лика я ничего в жизни не видал. Вдруг пришли сторонние, вроде бы не к месту мысли, что вот за стенами зимовья обезумевший мир, смерть, война, погоня, менты, кержацкие избы... А тут ничего, кроме этой

женщины. Но в том-то и дело, что ни война, ни менты, ни лес — никто не в силах что-то изменить в мироздании, если еще существует женщина. Все уйдет, минет, канет в лету, а образ женщины, ее светящийся лик будет вечно. Как на древней иконе, где сквозь черноту досок проглядывает вечно молодой лик Богоматери.

Не знаю, сколько мы пребывали в молчании. Да мы и не молчали. Каждый из нас про себя повторял то, что прежде доносил через Костика.

Но первой подала голос Зоя. Она спросила:

— У тебя были... женщины?

— Нет, — сказал я.

— Я так и думала.

— Почему?

— Не знаю. — Я видел только ее губы. — У меня тоже мужчин... никого...

Я не спросил, хотя должен был, наверное, что-то спросить. Не хотелось ни вопросов, ни ответов. Они сейчас ничего не значили.

— Я правду говорю. То, что ты знаешь...

— Не знаю, — перебил я.

— Но то, что ты знаешь...

— Я ничего не знаю!

— ...Не со мной. Правда. Я не только про душу, про тело. Оно не чувствовало... Не принимало...

Я не стал отвечать. Произошла долгая, мучительная пауза. Зоя протянула руку и прикоснулась к моей руке. Я даже вздрогнул, так было горячо.

— Верь мне, — произнесли ее губы.

Я смотрел на ее губы. Мне захотелось ее поцеловать. Так сильно поцеловать, чтобы она задохнулась и больше бы не произносила никаких слов. От них было больно.

— Не было! Не было! — повторяла громким шепотом, приблизив ко мне лицо. — Ты ведь веришь мне? Ни-че-го не было!

Я ее поцеловал. Не дал ей договорить. Поцелуй означал, что мы оба знаем: мы друг у друга единственные. А когда освободил ее губы, я первым сказал:

— Я тебя люблю.

— Да. И я тебя. Навсегда.

— Что бы ни случилось...

— Не случится, — подхватила она, не дав мне договорить. — Мы будем вместе сегодня, завтра... Всю жизнь! — И, взяв за руки, потянула меня к нашему лежаку. — Пойдем... Пойдем...

Она стала задувать фитилек. И когда к нему приблизилась, вытягивая губы, всего-то мгновение свет пал на нее особым образом, снизу, я вновь уловил, поразился ее необыкновенности. А потом, в черноте зимовья, чуть помедлил, не поддаваясь ее усилиям, чтобы еще раз услышать: «Пойдем, пойдем, любимый!»

О господи! Это мне?

Она привела меня к лежанке, которую мы так добросовестно готовили. Уложила. Обняла. И замерла... И все...

Все. Я правду говорю. Ничего в ту ночь у нас не было.

Мы ощущали друг друга, мы слышали дыхание, мы чувствовали тепло, жар, который охватывал нас обоих. Никогда в жизни я не был так головокружительно счастлив, как в ту безгрешную ночь...

Мы догадывались, что зимник был для нас самым безопасным местом в мире. Когда поведет нас узкоколейка навстречу роковому случаю, Зоя выскажет странную догадку.

— Ты не подумал, что случай все время водит нас по рельсам? Только сбежали, отклонились, сразу опасность... Может, это судьба?

— Судьба — двигаться по рельсам?

— Нет, нет! — отмахнулась она. — Я имела в виду предназначенность дорог...

— Кто их нам назначил?

— Я же говорю: судьба. И главное — невозможность свернуть.

— Уже свернули!

— Ты говоришь о зимнике? Но зимник — тот же вагончик... Только без колес...

Смутный, путанный разговор, он почему-то врезался мне в память. Но он случится через несколько дней. А в ту ночь мы и правда не хотели думать о будущем. Ни даже о сегодня. Лишь — о сейчас.

Впрочем, нет. О будущем мы говорили.

— Давай рассказывать о своей жизни, — предложила Зоя.

— О какой? Какая будет?

— Какая будет, я и так знаю, — произнесла она самоуверенно.

— А какая будет?

— Она будет вдвоем.

— Но какая? Какая?

— Значит, так, — сказала Зоя. — В две тысячи четвертом году мы поздравим друг друга с золотой... Ох, не знаю, какой... Но все равно... Поздравим со свадьбой.

— У нас — свадьба?

— Свадьба будет, — пообещала Зоя. — Мы поздравим друг друга, я видела, как это делают: вальс и шампанское...

— И цветы?

— И цветы.

— Я подарю тебе дикую розу... Розляйн, розляйн, розляйн рот...

— Да, и стихи тоже, — согласилась она. — Если ты не сможешь найти цветов, ты мне подаришь стихи... о дикой розе...

— Это стихи о тебе, — поправил я. — Ты — дикая роза.

— Ты же их не забудешь? А потом я поцелую тебя вот так, — и она поцеловала коротко, но сильно меня в губы. — И мы пойдем дальше...

— По рельсам?

Но Зоя шутку не приняла.

— Не будет никаких рельсов. Это будет другая дорога... Скажем, лунная. А о прошлом, только без вагончика, можно повспоминать. Вот я хочу знать, где ты был до вагончика. Таловка не в счет. — И тут же предупредила: — Только не то, что мы о себе напридумали. Ладно?



— Все придумывают, — возразил я. — Разве ты не придумываешь?

— Придумываю, — сразу призналась Зоя. — Еще как придумываю! Для них. Не для тебя. — Поколебавшись, добавила: — Но про тебя я чуточку знаю.

— Знаешь? Про меня?

— Знаю, — повторила Зоя. — Однажды Мешков заставил девочек переписывать наши дела, мы еще не догадывались, зачем ему нужно.

— У нас были дела? У каждого? — поразился я.

— У каждого. И у тебя. Отец — командир Красной армии, служил на границе, в начале войны пропал без вести... Так ведь?

Я не стал отвечать. Я знал, что не так. Но только покачал головой.

— Ну вот. Мешков тоже знал, — вздохнув, сказала Зоя. — И велел дописать: «Расстрелян как враг народа».

— И ты дописала?

— Конечно.

— И про себя?

— Нет. Про меня другие дописали.

— А что они дописали?

Зоя молчала.

— Если не хочешь, не говори, — предложил я.

— Нет, почему же... Я отца и правда не помню. Он умер, когда мама была беременной. Он был инженер по строительству железных дорог... Бабушка рассказывала, что его вызывали на допросы, это когда готовили какой-то процесс инженеров... Он не выдержал... А потом маму выслали без права переписки и бабушку забрали, а меня сдали в детдом...

— А это — правда?

— Не знаю. Думаю, что он отравился.

— А Мешков откуда узнал?

— Он инструктором в райкоме работал, многих знал. А не знал, так догадывался. При случае и сам доносил. — Зоя говорила медленно, с видимой неохотой. Мне показалось, что она устала от такого разговора.

И еще одно как пронзило: Зоино предчувствие, что рельсы — это судьба. Не ее ли отец проложил дороги, по которым гоняют наш вагончик?..

— Ну вот, — прервал я молчание. — А хотела вспоминать!

— Так ведь я не об этом. — печально произнесла Зоя. — Это ведь их интересует, кто куда делся и почему. А я хочу, чтобы ты был только ты. Ведь была же у тебя своя жизнь?

— Наверное, была, — неуверенно отвечал я.

— И у меня была. А теперь она у нас вместе. Бабушка мне рассказала, что, когда мне было шесть лет, я сочинила стихи: «Я люблю тебя, а ты меня, и получается — луна!» И объясняла я так, что влюбленные — это две половинки луны, а когда они обнимаются, то похоже, будто из двух месяцев получается одна луна...

20

Утром постучались в окошечко. Не сильно. Зоя от страха закрылась ватником с головой, даже дышать перестала. Но, кажется, и я чуть перетрусил. Уж слишком неожиданно. Мы не то что позабыли об опасности, мы старались о ней не помнить. Расслабились, поверили самим себе, что в этом лесу можем быть одни. А вот уж не одни. Но кто это? Железнодорожники? Охотники? Или эти... охотники за нами?

Постучались вторично, более настойчиво. Понятно, что там, снаружи, не просто догадывались, там знали, что здесь кто-то есть. И они, кто бы ни был, не оставят нас в покое. А нам придется открывать.

Наверное, я произнес это вслух, а Зоя пискнула из-под ватника, что открывать не надо.

— Не надо! Не надо! Не надо!

— А как быть? — спросил я. — Взломают дверь...

— Пусть ломают. Я не хочу... Там этот... Там майор из поезда... Я его боюсь!

Майор бы не стучал, подумалось. Да и штабисты... Они вышибли бы и дверь и стекло!

Мы прислушивались. Наступила долгая тишина. Может, те, за дверью, — возникла надежда — постояли и ушли? Может, правда какие-нибудь путевые обходчики, рабочие, которым, в общем, от нас ничего не надо?

Негромко и как-то приятно, по-домашнему, скреблись мыши за печкой. Потрескивала деревянная лежанка под нами. Не шевелясь и приподняв головы, мы старались уловить каждый чужой звук за окошком. И вдруг прозвучало из-за двери, но показалось — под самым ухом:

— Братцы мои, ну открывайте, что ли! Я ничегошеньки вам не сделаю... Вот, клянусь!

Зоя ладошкой закрыла мне рот, показывая, что надо молчать.

Но я уже понимал, что отмолчаться не удастся. Они разозлятся и вышибут дверь. Да враги бы с нами не чикались, не называли братцами...

Отклоняясь от руки Зои, я крикнул в сторону двери:

— А ты кто?

— Охотник, — такой был ответ.

— А зачем тебе открывать?

— Хочу поговорить.

— С кем? — спросил я, вылезая из-за печки, приближаясь к дверям.

Зоя поднялась вслед за мной, я почувствовал, как она прижимается к моей спине.

— С вами, с вами, — сказали добродушно за дверью. — Между прочим, я один, а про вас я знаю. — И после некоторого молчания: — От Глотыча я. Понятно?

Я повернулся к Зое, чтобы спросить, но она сама, прильнув к моему уху, зашептала, от ее губ стало горячо:

— Все равно не открывай... Кто бы ни был... Прошу!

— Мы вас боимся, — сказал я прямо в дверь. Зоя прижималась ко мне еще сильнее, я чувствовал кожей, как она дрожит. — Если вы охотник, как говорите, идите в другое зимовье.

За дверью кашлянули. С минуту помолчали.

— В общем-то, как хотите... Но я и правда пришел вам помочь.

— А зачем нам помогать? — подала вдруг голос Зоя.

Я не ожидал, что она себя выдаст. Одно дело — мужик в зимовье, другое — женщина. Это было неосмотрительно, даже опасно. Но Зою, как говорят, понесло. Она злобно вопрошала, обращаясь к дверям:

— Мы просили о помощи?

За дверью снова кашлянули.

— Барышня, извините... Но вас ищут!

— Ну и что? Пусть ищут! — отвечала Зоя с вызовом. Однако при этом она прижималась ко мне. Слово «барышня» ее не смягчило. А я опять подумал, что бандюги да энкавэдэшники так не разговаривают и слово «барышня» уж точно не употребляют. Тут что-то не так.

Голос за дверью добавил:

— Глотыч просил вам помочь — вот и все. Не хотите — как хотите. — И после паузы: — Я тут еще посижу на крыльчке. А вы подумайте. Вам жить-то...

Мы с Зоей присели на лавку под оконцем и стали думать. За оконцем, хоть и малость просветлело, ничего, кроме буро-зеленой хвои елок, не видать. Но стало различимым Воино лицо, оно было белей печки.

Я тихо спросил:

— Может, откроем?

Зоя промолчала, что могло означать и согласие.

— Он же к нам пришел от Глотыча, — продолжал я убеждать. Не только ее, но и самого себя. — И потом... Мне кажется, он неопасный... Да?

Зоя смотрела на дверь. Я подумал, что сейчас я верил ей больше, чем себе.

— Тогда что? Тогда открываем?

Зоя поцеловала меня в губы, решив на всякий случай проститься. Не до конца, значит, верила, что беды не будет. Но шагнула к дверям и решительно отодвинула засов.

— Входите! — крикнула и снова села, глядя не мигая на дверь.

И я повторил вслед за ней с такой же интонацией:

— Мы открыты! Открыты!

Чужие ноги застучали по нашему крыльцу, наискось со скрипом отворилась убогая дверца, и на пороге встал, чуть пригибаясь, человек с бородой.

Нет, бороду мы разглядели потом. Сперва увидели темную согнутую фигуру в проеме дверцы и почему-то сапоги. Потом стали видны борода и зимняя ушанка... Это летом-то! Лицо в сумраке зимовья показалось нам старообразным. Уже потом, на улице, смогли разглядеть, что гость никак не стар, скорее даже молод. Голубые навывкате глаза и чуть подмороженные, с краснотой щеки, частью скрытые той же бородой. А когда, войдя в помещение, мужик снял шапку, обнаружилась густая, чуть курчавая шевелюра.

Мы продолжали сидеть. Наверное, нам казалось, что так безопаснее. Потом-то я понял, что опасность является вовсе не так, а куда прозаичней... Но страшней.

А человек, сразу загрозив собой пространство избышки, продолжал стоять, молча вглядываясь в нас сверху вниз. Медленно опустился на пол и расположился напротив нас, опершись спиной о печку. Мне даже почудилось, что печка чуть подвинулась назад.

— Вот, — заключил удовлетворенно, — вы и есть.

— Кто — мы? — спросила Зоя, не вызывающе, но излишне резко. Я понял, что она еще трусит. И бородач это понял.

Спокойно произнес:

— Вы — это вы... Такими вас и представлял.

И снова нас разглядывал. Впрочем, недолго.

— Вас ищут, братцы. Пока ищут в деревне. Но шарили уже вдоль путей... И сюда доберутся... Завтра... Но могут и сегодня....

Он обвел глазами наше жилище, видимо, оценив про себя порядок, который мы тут навели.

— Здесь оно, конечно... крыша, все такое... Но вам тикать надо!

— А вы... Как вы нас нашли? — поинтересовалась Зоя, смягчив тон.

Он ухмыльнулся: вопрос был детский.

— Про вас уже объявление дали... Сбежали опасные преступники, за поимку награда там, прочее. Смекнул, где этих опасных преступников искать... Нашел...

— Вы правда охотник? — спросил я, чтобы переменить тему. О преступниках при Зое говорить не хотелось. Чего зоря трепать нервы? Она и так в ужасе, что придется возвращаться в вагончик.

Бородач оживился.

— Охотник... Но особенный. Я за камешками охочусь. Меня тут каждая собака знает.

Я вдруг вспомнил, как однажды одна из Кать рассказывала про какого-то местного старателя: в одиночку по горам бродит, самоцветы ищет, а зовут его Васька-серьга... Катя, что помоложе, определила: чудик. А старшая не согласилась и поправила на свой лад: чудотворный — вот он какой!

Я ничего тогда из этого разговора не разобрал, но история запомнилась. Я спросил:

— Васька-серьга?

Он усмехнулся, неторопливо наклонил вправо голову, стала видна огромная серебряная серьга кольцом в левом ухе.

— И так зовут, и по-другому... Васька-хитник — во как!

— Хищник?

— Ну да. По здешнему-то — хитник.

— А вы правда... хищник? — спросила Зоя.

Гость как бы мельком, однако зацепился взглядом за Зою, покачал головой.

— В одиночку побродишь — озвереешь, это правда. Но среди зверья-то безопасней, барышня, чем среди этих... человекоподобных... Какие вас ищут!

Он еще раз окинул взором жилье и предложил пойти на волю. Тут хоть и не дует, но на воле просторней... Да и видней.

Я тогда не понял, что он хотел видеть. Однако мы вышли. Погода была сумеречная, но теплая, как перед

дождем. Мы вскипятили на костре чай с брусничными листьями, а гость достал из брезентовой дорожной сумки хлеб, яйца, огурцы, а из обрывка вафельного полотенца извлек кусок оленины. Острым самодельным ножом с деревянной резной ручкой ловко накромсал ломтями розовое мясо. Тут мы еще заметили, что пальцы рук у него сплошь украшены серебряными перстнями, массивными — видать, ручнойковки. Но вместо указательного пальца на его левой руке был обрубок. У самострельщиков, которые хотят избежать фронта, это обычно бывает на правой. Ну а вдруг он левша?

Гость поймал наш взгляд, буркнул сквозь бороду, что в тайге всяко бывает, не только пальцы, голову люди теряют. Пошевелил обрубком и добавил, что тут — особый случай, но рассказывать долго, лучше закусить. А вообще-то бродит по горам и долам с до войны, сам из староверов, еще говорят — «кержаков», то есть не пьет, не курит, а камешки, минералы, видит сквозь землю, где, значит, что лежит.

— Как это? — удивилась Зоя. — Насквозь?

— Люди так думают... А по правде, я их не вижу, чувствую.

Зоя, уплетавшая за обе щеки сочные куски мяса, даже перестала жевать, так захватил ее разговор о чудесах.

— Чувствуете? Носом?

Гость громко захохотал, откидывая кудлатую голову. Шапка лежала рядом на траве.

— Да нет... Скорей кожей. Но объяснить не могу. Сам не понимаю. Чувствую — и все. Ты вот чувствуешь человека, какой он? Вот меня, к примеру?

— Кажется, чувствую, — отвечала Зоя серьезно. — Но при чем тут камни?

— Так они живые, — сказал гость. И посмотрел странно в лицо Зое, а потом мне. Я вдруг подумал, что он не первым нам об этом говорит, а заглядывает в глаза, потому что привык, что ему не верят. Впрочем, я тоже не поверил. А Зоя поверила. У нее глаза разгорелись от таких фантазий. И он это почувствовал. Обращаясь только к ней, гость стал описывать, какой жизнью камни живут, впитывая

добро или зло, как общаются с человеком и как влияют на его судьбу.

— На чью? На мою тоже? — спросила Зоя, но поправилась: — Нашу?

— На любую.

— Ну и что вы нашли? — поинтересовалась Зоя уж слишком, как мне показалось, кокетливо. — Бриллианты, топазы, рубины?

Я впервые с неприязнью подумал о женском таком любопытстве. Мясом любят угощаться — ладно. Даже сырым. Но что готовы поверить всяким сказкам от захожих бородачей — это уж слишком.

Однако гостю такое внимание льстило. Он отвечал серьезно, что кое-что на днях нашел... При этом раздрутой обернулся, пристально вглядываясь в заросли: померещилось, что ли? Успокоившись, поправил Зою, что бриллиантов в земле не бывает, они алмазами зовутся. А у него в Москве, на Сельхозвыставке — в кино небось видели: «Свинарка и пастух»?.. Вот там перед самой войной у него коллекцию камней выставляли, а заодно и его для экзотики вместе с серьгой демонстрировали. Потом, как война началась, все павильоны позакрывали, ему же велели ехать домой. А коллекция... Теперь уж неизвестно, куда она подевалась...

— Жалко, — сказала Зоя. — Небось дорогая?

— Да не в цене дело, барышня. Она красивая, — сказал гость. — Но, если честно, мне добра не жалко. Хоть камешки, правда, были покраще, чем в ином музее. Если, скажем, для пользы человеку попали, то ладно. Пусть владеет. А я еще лучше соберу. Вот тут неподалеку ходил, уголек нашел... Пришли геологи, подтвердили, шахту открыли в Полуночном... И марганцевую руду нашел... Ее, значит, немцы сейчас разрабатывают.

— Военнопленные, что ли?

Гость опять вперился в заросли, что-то не давало ему спокойно сидеть. Повернулся к нам, переспросил:

— Что? Какие пленные? Немцы-то? Нет, свои... Которых с Волги привезли... Как будущих врагов народа.



Мне показалось, что слово «будущих» он произнес чуть насмешничая. Манера такая странная, губ не видно, а по глазам, светло-голубым, на выкате, сразу и не поймешь, шутит или нет.

— Это их, что ли, на «кукушке» возят? — поинтересовался я.

— И их. И других. Тут кругом лагеря...

— А беглецы есть? — спросила Зоя, чуть напрягаясь.

— Бегут... Как же! — отвечал гость и снова оглянулся на лес. — А за ними, вот как за вами, охотятся...

— И — стреляют? Ну за премию? За буханку?

Гость не ответил.

— Но они же не волки, чтобы растерзать? — продолжала настаивать Зоя.

— Как раз волки, — подтвердил гость. Но поправился: — Шакалы.

— А вам самому не страшно? Одному? — поинтересовался я. Спросил, чтобы смягчить разговор да и Зою охладить.

Гость кивнул в сторону крыльца, где стоял — мы только теперь заметили — карабин, прислоненный к стенке.

— Мой единственный дружок... Из надежных. Я с ним не расстаюсь. Однажды рысь... Вот тут, за болотцем... Прямо с ветки... на меня...

— Рысь? — недоверчиво спросила Зоя. — А мы ходим, не знаем.

— Да вы тут вообще, — усмехнулся гость, — как на курорте! — И опять стал глядеть на лес. Может, что-то чувствовал? Может, слышал этих самых шакалов?

Стало понятней, что он не просто предупреждал об опасности. Он знал: она недалеко. Поднялся, вытер лезвие о траву и спрятал нож, а остатки трапезы, даже мясо, оставил нам.

— Спасибо за угощение, — сказал озабоченно. — Как говорят у нас в деревне: и чай попил, и чаюху поел.

— Так что, нам бежать? — Я попытался заглянуть ему в лицо. — Сейчас? Да?

— А когда еще? — буркнул он и посмотрел на Зою. — Чем скорей, тем лучше.

— А завтра? — Зоя спросила так, будто от него что-то зависело.

— Решайте сами. — Он пожал плечами. — У нас, кержаков, лишнее слово — что патрон впустую истратить.

Начал собираться, но вспомнил: не все сказал.

— Если пойдете, по рельсам — ни-ни... Сбоку, по тропе, однако с оглядкой... А посередке, до Юргомыша, деревня будет, Зырянновка. Спросите тетю Оню. Тетка моя. У нее на сеновале перекантуетесь, если что...

Он натянул потертый тулупчик, нахлобучил ушанку, повесил за спину сумку и сразу постарел: сторож с автобазы. Мы молча смотрели, как он собирается. Забрал карабин, а на бок повесил неведомо откуда взявшуюся кожаную планшетку с блестящими замками и пластиковым окошечком.

Мы вытаращились на эту диковинную планшетку в четыре глаза. Странно было увидеть ее у таежного охотника. Такие обычно носят летчики да особисты... А может, в планшетке у него лежит предписание НКВД о нашей поимке? А все эти сказки про камешки лишь для отвода глаз?!

Зоя придвинулась поближе и руку протянула, но тут же отдернула.

Вызывающе спросила:

— А вы можете мне ответить? Можете?

— Да.

— Отчего о нас печетесь? Может, вы задание получили?

Гость воспринял вопрос спокойно, ничем не выразил обиду. Присел на корточки, как тогда в избе, чтобы лучше нас видеть. Окинул Зою острым взглядом, будто лезвием полоснул.

— Я про рысь-то упомянул, но не успел досказать... Она сзади подкараулила да на голову с дерева... Скальп на глаза содрала... А когда я рукой стал шарить, еще и в руку вцепилась... Хорошо, в левую... Выстрелил вслепую, ранил... Вот до этого зимовья дополз, кровью истекал... Думал, конец... Скальп суровой ниткой сам себе пришивал... Потом неделю провалялся без памяти, пока меня

не нашли... Плотыч нашел! И на фронт не взяли: голова повреждена... — Он помолчал, глядя в землю. — А для чего, барышня, я это говорю? Чтобы вникла: бороться за жизнь надо до конца... Как я — один... Иль как вы — двое. Но бывает, без чужой помощи не выдюжишь...

Он поднялся, сделал шаг, другой, но опять вернулся. Наклонясь к Зое совсем близко, тихо произнес:

— Я должок отдаю. Понятно?

— Понятно, — сказала Зоя. — Я просто дура.

Он ушел не оглядываясь. Карабин держал в руке на перевес.

## 21

Только слепой бы не заметил, что наш странный гость Васька-серьга обращался чаще не ко мне, а к Зое, своим феноменальным чутьем почуяв, что она среди нас двоих первая. Говоря привычным языком, она паровозик, а я лишь вагончик.

До появления бородача мне и в голову не приходило высчитывать, кто у нас кто. Более того, я был уверен, что мы во всем с Зоей ровня: и в беде, и в нашем коротком счастье. А значит, вместе решаем, какой дорогой и куда будем двигать. И вдруг стало очевидным, что Зоя в нашей двойке рулевой, который определяет маршрут. Не только в тайге, но и в судьбе. Не случайно тетя-Дуня как-то произнесла, указывая на Зою: мол, женский ум быстрее многих мужских дум.

Вот и сейчас не я, Зоя настояла на том, чтобы не покидать обжитую нами хибару.

— Знаю, здесь опасно, — говорила она, заглядывая мне в глаза, приближая лицо, — я чувствовал пряный запах ее волос. — Они нас и правда не пожалеют. Не случайно их называли шакалами... У них одни инстинкты... Я это поняла, когда была там... в штабнухе...

Я молчал. Хотя настороженный взгляд, который наш гость при каждом шорохе обращал к лесу, не выходил у меня из головы. Если охотник не испугался рыси, но каж-

дое мгновенье остерегается встречи с шакалами, значит опасность ближе, чем мы себе представляем.

Зоя провела ладонью по моим волосам, погладила, как маленького ребенка.

— Я хочу, чтобы ты знал: я тоже боюсь. Но я еще знаю, что эта ночь у нас на двоих — последняя. Другой может не быть, правда! Мы должны остаться... Только ночь... Одна ночь!

Я помотал головой. Не то чтобы не поверил ей, но усомнился в ее предчувствии. Инстинкт любви сильнее инстинкта страха — вот что я тогда подумал. Она рискует ради любви, может, она права?

— Ты согласен? — ласковым шепотом спрашивала она. — Ты ведь согласен? Да?

Я понимал, что соглашусь. Но тогда не поверил ей. И напрасно. Любящим надо верить, они провидцы. А то, что говорят, будто любовь слепа, это о другом. О мелочах быта, сплетнях да косых взглядах.

Грешен, я тогда не расслышал, не проник в смысл ее слов о том, что она, как Васька-чудодей, слышит голос судьбы, которая предрекает нам последнюю ночь. Что еще нам этот голос предрекает, она не сказала. Сейчас уверен: она знала про нас все наперед.

Но, если начистоту, оставлять избушку мне тоже не хотелось. Ждать до обещанной золотой свадьбы долго. Однако один день и одну ночь из назначенных пятидесяти лет мы можем себе позволить побыть тут, послав подальше людоедов, шакалов, охранников, штабных крыс... Чур-чур! Их нет! Нет! Нет!

Последние слова я произнес вслух. Зоя тут же возразила:

— Они есть. Они правда рядом. Но мы с ними разделяемся! Вот увидишь! А сейчас разожги посильней костер. Времени не так много. А у нас все-таки свадьба.

— Вдвоем?

— Вдвоем. — И добавила почему-то шепотом, хотя нас никто не мог услышать: — Дойдем до Зыряновки... Если там церковь, мы попросим обвенчать. Ты согласен?

Я подумал сразу, что никакой там церкви не будет, а если была, то все порушено, как в Таловке, где мы работали на Мешкова. Крест скинули наземь, попа арестовали. Так старухи рассказывали. А в церкви соорудили склад, где мы перебирали мороженую картошку, отгороженную посреди алтаря старыми иконами.

Но я не стал расстраивать Зою. Я сказал, что согласен.

— Тогда готовься.

— Как?

— Не знаю. Подумай о жизни. Вот как.

Капризно передернула плечами и величаво удалилась в избушку. Я смотрел вслед, на загорелые стройные ноги, узкую девичью спину. Вдруг подумалось, что с появлением своего дома, которым стала избушка, пусть на сутки, на несколько часов, в нас самих что-то изменилось. Особенно это ощущалось в поведении Зои. Она почувствовала себя женщиной, хозяйкой, могущей заботиться, вести хозяйство, даже повелевать. У нее голос, манера поведения стали иными. И мне, вот такая странность, это нравилось.

Я натаскал сушняка для костра, потом пробрался к узкоколейке и, прячась за кустами, понаблюдал за обстановкой. Убедившись, что нам ничто не угрожает, стал отползать назад и вдруг наткнулся на женщину, в белом платочке, с берестяным коробом для ягод. Несколько мгновений, вытаращившись, она смотрела на меня, будто увидала лешего, уронила наземь короб, рассыпав синие ягоды, и бросилась наутек. Только кусты затрещали.

Но и я растерялся. С опозданием сообразил, что о нас, как рассказывал бородач, расписано и наговорено по району такого, что мудрено не испугаться, так застращали население. Кто ж после этого не деранет, встретив в тайге опасного преступника!

Однако Зое об этой встрече я рассказывать не стал. Зачем портить праздник?

Горел костер, рыжее пламя колебало ветки на ближайшем дереве. Зоя сидела ко мне спиной, но когда повернулась, я ахнул: на голове был венок из голубых цветов, шею укра-

шало ожерелье из ягод поспевающей рябины, на запястьях рук травяные браслеты. Да и вся дорожка от крыльца до костра была выстлана ромашкой.

— Ты пришел? — спросила странно, не взглянув на меня. — Тогда встань вот сюда...

Я торопливо отряхнулся от травы, приставшей в кустах, и послушно встал рядом, ощутив странную робость. Впервые подумалось, что все у нас происходит по-настоящему.

— Дети мои! — произнесла Зоя высоким голосом, обращаясь в пустоту перед собой. — Дети мои! Повелел Бог без благословения родителей, которых здесь нет, но которые были бы счастливы все это видеть, сочетаться законным браком преступным беглецам, Антону и Зое... Согласен ли ты, Антон, взять в жены девицу Зою?

— Согласен, — сказал я и не узнал своего голоса.

— Согласна ли ты, девица Зоя, выйти замуж за юношу Антона? — спросила Зоя и сама себе ответила: — Согласна.

Зоя взяла с импровизированного стола туюсок, в котором была вода из ручья, и, отпив глоток, подала мне. Размашисто швырнула туюсок под ноги и, наступив, сказала:

— Пусть так под нашими ногами будут потоптаны те, которые станут сеять между нами раздор, а не любовь!

— И все шакалы! Все шакалы! — вскричал, не сдержавшись, я.

Зоя никак не отреагировала на мой выпад. Она вдруг опустилась на колени и стала снимать с меня обувь. Я попытался протестовать: ботинки из брезента были рваными, а носков вообще не было. Но Зоя резко одернула: «Молчи, Антон... Так надо!»

Аккуратно сняла ботинки, влажными руками отерла мои ноги, я только сейчас углядел, что они все в занозах и ссадинах, низко наклоняя голову, поцеловала одну ногу, потом другую.

До сих пор помню чувство, которое испытал: я обмер от ее поцелуев... Голова закружилась... Чуть не упал... Разве

я мог представить, чтобы Зоя, такая гордая, независимая, мне — ноги!

Но это не все. Мою босую ногу она положила на свою голову, так что я почувствовал кожей ступни через густоту ее волос горячее прикосновение... И замерла. Потом поднялась, отстраненно сказала:

— Ну вот. Все. — И, чтобы не было вопросов, добавила: — Так делали в старину в знак вечного послушания перед мужем.

Она сняла свой венок. Осторожно, чтобы не порвать, надела на меня и подтолкнула к избушке.

— Теперь иди. Я скоро буду.

— Лучше постерегу. — Я указал в сторону дороги.

— Постереги, — согласилась она. — А я должна побыть одна.

Все это время меня не оставляла мысль о женщине, которая от меня убежала. Я вернулся через болотце к железной дороге, и, как ожидал, берестяного туеска с рассыпанными ягодами на месте не оказалось. Значит, сюда приходили. Одна бы она не рискнула вернуться, ясно. Тут побывали другие люди. А среди них, возможно, и охотники по нашу душу.

Пока раздумывал, проехала дрезина, однако без рабочих, сперва в одну, потом в другую сторону. На платформе стояли двое военных, один с биноклем. Меня они видеть не могли, но я все равно прижался к траве. Вот тебе и туесок с ягодами! Дрезина, не останавливаясь, укатила за изгиб леса, а я показал ей вслед фигу и стал отползать назад. Возвращался и прикидывал, как об этом поведать Зое, чтобы не напугать.

Однако все вылетело из памяти, когда я приблизился к избушке.

Зоя стояла у самого костра, скинув туда свои зеленые украшения. Волосы, золотые, тяжелые, завязала узлом. Я увидел, как она обошла вокруг огня, протягивая к нему руки, раз, другой, третий, ее лик и вся внешность больше и больше менялись. Она стала похожа на ведунью, какими их представляют в сказках. В какой-то момент мне

даже показалось, что она прошла сквозь огонь... Но это и правда от суеверного страха. Никогда не видел, как происходит колдовство. У меня даже озноб пошел по спине и кончики пальцев рук онемели. Я сел на траву, не сводя с нее глаз.

Она же встала у самых деревьев, повернувшись к ним лицом, и стала произносить слова нараспев, поднимая голову. Сперва я думал, что это молитва. Не все слова тогда разобрал, но вот что запомнил — это было заклятье, заговор.

«Хожу я, раба Зоя, с мужем Антошей кругом острова, по крутым оврагам, буеракам, смотрю чрез все леса: дуб, березу, осину, липу, клен, ель, жимолость, орешину. По всем сучьям и ветвям, по всем листьям и цветам, чтобы было в нашей дуброве поживу, подобру и поздорову, а в нашу бы зелену дуброву не заходил ни зверь, ни гад, ни лих человек, ни ведьма, ни леший, ни домовой, ни водяной, ни вихрь... Никакой штабной шакал... А были бы мы большие, а было бы все у нас во послушании. А были бы мы с Антошей целы и невредимы...»

Закончив, она долго стояла неподвижно, вглядываясь в пространство. Проверяла, дошло ли это куда нужно, услышано ли и как сбудутся, как сойдутся ее слова...

22

Объяснилась она потом, когда сели поужинать. Это был заговор островника на зеленую дубраву, бабушка заставила наизусть учить. Наставляла: «Будет опасно, Зойка, — не ленись, проговори, защитит! Я-то помочь уж не смогу...»

— Островник — знаешь кто? — спросила Зоя с усмешкой. — Разбойник в лесу... Как мы с тобой!

— А бородач? — поинтересовался я, не сумев скрыть неприязни. Зоя чутко уловила отношение, сдержанно отвечала, что он, конечно, лесной человек, может, даже хитник. Но не злодей.

— Колдун?



— Нет, он не колдун, — успокоила Зоя. — Я специально иголку в порог воткнула, хотела проверить. Колдун не перешагнул бы, а этот перешагнул!

— От зверей — ладно, — настаивал я. — Даже от ведьм. Но от тех, кто нас ищет, твой заговор, думаешь, спасет?

— Конечно, спасет!

Она так верила в свое заклятье, что я решил: ничего про женщину и этих, с биноклем, рассказывать не буду. Зоя так хотела сохранить на несколько часов наше первое и последнее любовное гнездо, что все нечистые силы и правда должны были отступить.

Эта ночь могла оказаться безопасной, если бы мы не проспали. Ловцы явились даже не на рассвете, позднее, и мы, разбуженные громкими голосами, лаем собак, сразу поняли, что попали в западню. Выскочили бы, как задумывалось, на зорьке — были бы сейчас далеко.

Не спрашивая Зою, я на всякий случай отодвинул завес. Все равно вышибут. Это не Васька-чудодей, который скребся мышью в окошко. Долбанут прикладом, а то и лимонкой подорвут по злобе, оттого что пришлось таскаться да по болоту искать.

Зоя вцепилась в мою правую руку. Мы встали спиной к печке, лицом к выходу, чтобы не казаться слишком беззащитными, когда они ворвутся. А может, они сразу начнут стрелять?

— Волоченко! Ты где? Шагай-ка сюда! — раздался властный, явно командирский голос. — Вишь, свежее кострище... Следует проверить зимовье. Оружие применять, но в крайнем случае. Действуй!

— Кострище недавнее, — отозвался невидимый Волоченко. Судя по голосу, он был немолод. — Пепел-то ветром не раздуло... Вчерась, кажись, были...

— Вот-вот. Я по кустам пошарю. Они не могли далеко уйти. А ты глянь в зимовье...

— Да щас, щас, — пробормотал Волоченко. — Они ж не придурки, чтобы тут дожидаться... Отночевали да ушли.

Волоченко не торопился. Сопел, кряхтел, стоя под самым окошком. По специфичному журчанию мы догадались, что он помочился. Мы теперь его сами подгоняли мысленно: ну давай, Волоченко... Заглядывай! Уж очень мучительно ждать.

Зоя еще сильнее сжала мою руку, ее ногти впились через рубаху в кожу. Но боли я в тот момент не почувствовал.

— Ну что, Волоченко? — Командирский голос раздался со стороны ручья. Видать, и этот, помоложе, не слишком поспешал, присел передохнуть в прохладе у омутка, а работу переваливал на подчиненного. — Чего там, в зимовье?

— Щас, как есть, осмотрю, доложу, — нехотя отвечал Волоченко.

Можно было предположить, что привлекли его из какой-нибудь инвалидной команды, где обычно добирают здоровье бывшие фронтовики. А у них в ходу приговорка: не спеши выполнять команду, будет другая: «отставить». Да и понятно: где они наберут молодых, чтобы обшаривать район, когда все отмобилизованы на войну?

Дверца между тем наполовину приоткрылась, и в проем просунулась голова. Ни фуражки, ни пилотки на ней не было. Да и лица в полутьме было не разобрать. Но вот глаза — как сейчас вижу — ярко-ярко-голубые. С минуту человек озирает наше жилище, пока его взгляд не наткнулся на нас. Не мигая, он смотрел так, будто узрел чудо-юдо. Даже брови встали стойком. А мы перед ним, как на допросе, во весь рост — бери, Волоченко, голыми руками! И тоже во все глаза смотрели на него...

Не знаю, сколько длилась эта непонятная игра в гляделки. Мне показалось — вечность. Зоя же после утверждала, что это было мгновение. «Он как-то дико посмотрел, — говорила Зоя, — и сразу пропал. Будто чего испугался. Но вот когда он таращился, я сама чуть не закричала: чего, гад, уставился-то, гляделки выпучил? Бери винтовку... Стреляй! Стреляй!»

Ну а вот что произошло дальше. Лупоглазый Волоченко исчез, но всунулся опять. Не поверил, что ли, себе, решил,

что померещилось. А потом дверь — мы даже вздрогнули от неожиданности — с грохотом захлопнулась.

— Ну что там, Волоченко? — крикнул командир от ручья. — Чего нашел?

— Нашел... Кучу говна...

— Вот засранцы, твою мать! — выругался командир. Голос прозвучал уже под самым окошком. — Леса им не хватает, сральню устроили из жилья... А если охотнику остановиться?

— То охотники, а то бандюги... — согласился Волоченко.

— Столько из-за них мороки! Я только с охраны у немчуры девять человек снял... Да милиция из района... Да общественники... И все зазря!

— Вот и я говорю, — снова согласился напарник. — Лучше бы вернуться, товарищ лейтенант. Пущай у энтих, из эшелона, голова болит!

— А тебе известно, что приказ не обсуждается?

— Так я что? — долдонил свое Волоченко. — Просто мне непонятно, отчего столько паники? Может, вражеские лазутчики? Али, того хуже, убивцы...

— Начальству видней, — отвечал молодой. — Недавно вот, помнишь, ссыльных ловили? Немчуру? Думаешь, они зазря саботировали работу да сбежали? А они заговор готовили! Их, как предателей родины, квалифицировали по статье 58-6 и 58-14 и всех расстреляли... Может, и эти сообщники? Откуда нам знать?.. Ты в зимовье-то хорошо пошарил? Вещички там... За печкой посмотрел?

— И за печкой... — отвечал Волоченко. — Они, видать, вчерась сбежали. И привет от них... Хотите понюхать? Ну загляньте!

— Шутки отставить! — приказал молодой. — Это последнее зимовье. На плане других нет. Теперь сосредотачиваем поиск у дороги... Им деваться некуда!

— Раз надо, двигаем к дороге, — громко повторил приказ Волоченко. Мне показалось, он не случайно так громко отрапортовал. Стало слышно, как удаляются голоса.

Господи, ужель пронесло?

Зоя, не в силах стоять, опустилась прямо на пол и прислонилась к моим ногам. А я продолжал торчать посреди зимовья. Не верилось, что этих уже не будет. Да и нервы... Как натянутая струнка. Вот-вот оборвутся.

Только стихло, мы панически хватились бежать.

Насколько мы поняли из разговора, у них не одна такая группа прочесывает лес, могут нагрянуть и другие. И не в каждой попадутся такие чудики, как лупоглазый Волоченко, пожелавший не увидеть беглецов. Ну а если бы молодой командир не был так ленив и захотел бы лично заглянуть в зимовье? Он ведь у дверей стоял!

Об этом не хотелось думать.

Мы потом прикидывали так и эдак: к чему было неведомому Волоченко нас скрыть? Пожалел или какой другой резон — скажем, не хотелось лишней возни, торопился домой? А может, он сам из пострадавших, как Плотыч, и цену знает их рассказням про всяких там шпионов и диверсантов?

Но Зоя твердила свое.

— Это мой заговор, — повторяла она. — Он нас не увидел. Ему ангел глаза ладошкой прикрыл! Ты заметил, он потом еще раз заглянул? Как он вытаращился: видит и не видит... А ведь глаза в глаза! А я все шептала молитву: «Обереги!.. Береги!»

Но свечу за этого Волоченко, подумалось, если уцелеем, поставим. Неизвестно, как с глазами, но сердечко-то у него, подозреваю, зрячее.

Мы спешно покинули зимовье, бросив впопыхах и остаток продуктов, и даже щедро даренные ватники. Бежали в глубь леса, там нас и правда не обнаружил бы ни один леший. Ни тропы, ни просвета. Такая чащоба могла быть спасением для зверя, но не для человека. Мы даже разговаривать друг с другом стали шепотом, хотя знали, что здесь хоть криком кричи, ни до кого не докричишься. В таких дебрях и впрямь сгинуть недолго. Или топь поглотит, или зверь заест. Вон как Ваську-серьгу! А уж он-то тут свой да при оружии.

К тому же небо заволокло тучами, зачастил дождь. По солнцу я бы угадал, куда идти. Как там учили на уроках географии: мох на деревьях растет с северной стороны, зато с южной — больше веток. Но здесь, оказалось, вообще ничего не растет. Лишь умершие на корню деревца голыми палками торчали из болотной трясины, навевая мысли о конце света. Мох облапил их со всех сторон: ни севера, ни юга... Их острия указывали путь лишь на небо.

Даже Зоя, всегда уверенная в себе, после часа таких плутаний опустила на мокрую землю и заявила, что дальше не пойдет.

— Надо идти, — сказал я, вытирая рукавом лицо. — Иначе пропадем.

— Куда? Куда идти?

— Не знаю. Если знаешь, скажи!

Это случилось первый и последний раз, когда я накричал на Зою. Прости. Прости. Если честно, злился-то я на себя. Злился, что растерялся, запаниковал. И тут прозвучал гудок «кукушки». И раздался он вовсе не с той стороны, куда мы направлялись.

Кукушка, кукушка, сколько лет нам жить?!

Нет. Я спросил бы иначе: сколько лет нам с Зоенькой жить?

Но от этой кукушечки нам хватило одного гудочка, чтобы поверить в скорое спасение. Промокнув до нитки, сквозь бурелом, колючий ельник, чавкающую под ногами травяную жижу мы выбрались к проклятой узкоколейке, еще раз, не разумом, кожей прочувствовав: это единственный для нас путь на свободу. Другой дороги — ни для беглецов, ни для их преследователей — здесь нет.

23

В кустах, в десятке метров от насыпи, дожидались мы темноты. Но вдруг позади, в лесу, залаяли собаки. Это нас и выручило. Ловцы, прочесывая заросли, выскочили бы из-за спины и захватили нас врасплох.

Но собачий лай приближался, а мы все не решались, прижатые к насыпи, выходить. Уж точно, где-нибудь вдоль дороги, дальше, или ближе, или совсем рядом, сидят их стрелки, выжидают, когда свирепые овчарки, натренированные на поиске дезертиров, выгонят из леса двуногую дичь. Вот уж устроили охоту!

Рядом, за кустами, снова забрежали псы, казалось, никуда от них не спастись, когда вновь прогудела «кукушка» и выскочил из-за поворота паровозик с тремя открытыми платформами, на платформах скученно сидели люди.

— Бежим! — крикнула Зоя.

Я промедлил, и она с силой рванула меня за руку. Мы перемахнули ровик, заполненный водой, взбежали мигом на крутую насыпь. Тут же к нам протянулись руки: «Давай, робя, хватай! Крепче держись!»

Втаскивая наверх, говорили не без издевки: «Щас посадим! У нас тут все сидящие! Гы! Гы! Гы!»

Люди, скучившиеся на деревянной платформе, чутьточку раздвинулись, и мы оказались в самой середине, сомкнутые влажными телами. Стало чуть теплее. Но все равно нас обоих еще знобило от пережитого гона.

Я оглянулся. Лесная опушка с невидимой погоней скрылась за поворотом. Нас, кажется, не засекли. Иначе бы пульнули вверх из ракетницы...

Кругом на платформе женщины в робах да кое-где старики. Молодых мужчин не видать. На нас посматривали, но без особого интереса. Здесь всяких выдывали: вольных, наемных, ссыльных, мобилизованных на трудовой фронт... А может, приняли за местных, что заплутали в лесу. Но по сложившейся у ээков привычке никто ни о чем не спрашивал. Мы тоже помалкивали.

Я взял Зоины холодные ладошки, сунул себе под рубаху, чтобы согреть.

— У тебя сердечко так стучит! — произнесла она почти беззвучно, губы у нее были синие. А как ему не стучать? Спаслись. А если нет? Если успели просигналить и нас на путях ждут?

Состав между тем выскочил на открытое пространство. Показалась промзона, обнесенная колючей проволокой, за ней зона жилая: десяток длинных барачных, прозванных, как мы потом узнали, лежащими небоскребами.

Поезд встал. Народ молча расходился по сторонам. Мы двинулись в одну, потом в другую сторону, но в растерянности остановились: идти-то было некуда. Хотя и оставаться, торчать на виду, было еще опасней.

Потом-то мы сообразили, что, спасаясь от преследователей, мы оказались в их логове. Из огня да в полымя! Одна надежда, что никакой ищейке не придет в голову искать беглецов там, где каждый человек под присмотром.

Пока оглядывались да переминались, не заметили, как за спиной возникла женщина. Темноволосая, смуглая, в руках клюшка.

— Так вы ко мне? — спросила уверенно. — Тогда в блок номер шесть! — И более решительно: — За мной! Марш, следом! — И поскакала по вихляющей тропке в глубь строений, хоть и с клюшкой, но так быстро, что мы едва за ней поспевали.

Первая мысль: нас с кем-то спутали. Вторая: если и не спутали, то на людях не стали брать, а повели куда надо. И третья... Нет, мы и не могли мечтать, что нам в этот день вторично повезет.

Зоя на ходу успела шепнуть:

— А если сдаст?

— Зачем же ждать? — спросил я так же тихо, глядя в спину женщине и замедляя шаг.

— Не знаю... У меня нет сил.

Зоя первой решилась шагнуть в блок. Я пошел следом, но все время казалось, что мы, как в том глухом лесу, глубже и глубже увязаем в болоте: собаки, поезд, лагерь, женщина, блок... Не окажемся ли сразу в комендатуре?

Хроменькая привела нас в помещение, наполовину врытое для тепла в землю. Скользнула между нар в три этажа, с кем-то на ходу поздоровалась. Но по нашему

поводу — мы все время были начеку: ушки на макушке — никаких слов не было произнесено.

— Располагайтесь, — предложила будто старым знакомым. — Это мой угол.

Мы продолжали стоять. Надо было что-то объяснить, спросить. Женщина внимательно посмотрела на Зою, глаза у нее были черные с маслянистым отливом.

— Деточка, — произнесла ласково, — успокойся. Я не кусаюсь. Сними мокрую одежду, пусть подсохнет... И молодой человек... Тут вы найдете сухую робу. Небось голодные? Есть затируха с луком. Переодевайтесь. А я сейчас...

Женщина подхватила пустой котелок и исчезла.

Зоя с оглядкой произнесла:

— Влипши. Но все равно. Давай я тебе помогу... Ты и вправду можешь заболеть.

Одежда была ветхой, но чистой. Пока переодевались, хромоножка успела сбегать на раздачу, принесла в котелке затируху, жидкую, буроватого цвета кашицу из муки и дикого лука. Пояснила, что котловка у них никудышная. А хлебная норма пятьсот грамм. Бывает, конечно, и выше, шестьсот, семьсот... Но у них говорят: убивает не маленькая, а большая пайка... За нее норму нужно дать! А кому это под силу?

Кашицу мы мгновенно проглотили. Благотворительница есть отказалась, сказала, что вечером пьет только чай, заваренный листьями брусники. Калорийно и спасает от цинги. Сегодня в лесу, пока трудилась, листиков и даже ягод нащипала!

— Пилите лес? — спросила Зоя недоверчиво.

— Моя прежняя профессия — детский врач, — сказала женщина. — А здесь мы работаем на лесоповале... С шести до шести... Двенадцать часов, как говорят, отдай!

Она ни секунды не стояла на месте. Развесила, как смогла, нашу одежду, сама переделась и снова исчезла: побежала мыть котелок. Ее ключку, глухо стучащую об пол, было слышно издали.



— Так не сдаст? — спросил я Зою. Наверное, я был назойлив в своих подозрениях, она даже рассердилась.

— Откуда мне знать?

— Думаешь, она не догадывается, кто мы?

— Может, и догадывается... И что?

Мы говорили слишком громко, женщины с ближайших нар повернулись в нашу сторону. Нас с интересом разглядывали. Сперва на расстоянии, а некоторые, приблизившись, в упор. Кто-то для виду поинтересовался: где Надя, она не сказала, куда ушла?

Если и не Надя — теперь мы хоть знали, как ее зовут — так кто-то, подумалось, другой, из любопытствующих, побежит и донесет.

Вернулась наша Надя, с котелком, в котором опять что-то дымилось. На ходу повторила, что на лесоповале разные работы: трелевка, лесосплав, шпалопиление... Она, как инвалид, работает учетчиком... А ее муж трудился на шахте, сейчас заболел, лежит в другой части блока... Она хочет его навестить.

— А мы? — спросила, встревожась, Зоя.

— Вы пойдете со мной, — решила Надя. — Чтобы поменьше глаз... Меня, деточка, бояться не надо.

Это было сказано вскользь, но достаточно выразительно.

Она понеслась, прихрамывая между нар, мы поспешили за нею. Мужская часть блока — те же трехэтажные нары. Кое-где с подстилкой из соломы, а где-то голые доски. Но мужчин было мало — видать, на смене.

Муж Нади лежал на нижнем ярусе. Мы сразу увидели, что он небрит, но на худом, с провалами щек, лице огромные, выразительные глаза. Еще мы заметили, что он длинный, ноги в шерстяных носках не уместались на нарах и торчали в проходе.

— Он немец, — пояснила Надя. — Небось заметили, тут сидят немцы?

Находясь в женской половине блока, я улавливал среди голосов немецкую речь. Говорили о нормах, о кормежке, а еще о каком-то постановлении НКВД по пово-

ду политбанды, что расстреляли за саботаж и отказ от работы.

— Ну да, — тут же с оглядкой сказала Надя. — Двадцать четыре человека. Из нашего блока троих...

— Пленных? Фрицев? — спросила Зоя не очень тактично и смутилась.

— Ну что вы! — возразила Надя, не обидевшись. — Здесь сидят советские немцы. Кто с Волги, кто из других мест. Мой муж, как и я, — с Северного Кавказа...

— Так вы немка?

— Нет. Жена немца. Сама я башкирка. Мое настоящее имя — Надия. Но все называют Надя, я привыкла. А вот он, — указала на мужа, — Герман. Он, между прочем, винодел! — Это слово Надя произнесла со значением и при этом погладила мужа по голове. Пояснила, что он работал главным технологом на винном заводе. — Абрау — слышали? Ну неважно. Герман — создатель знаменитых в стране шампанских вин! Вы пробовали шампанское? Настоящее шампанское? — спросила Надя, обращаясь к Зое.

— Пробовала... кажется, — ответила Зоя.

— О! Тогда вы понимаете, что это значит! Настоящее шампанское приносит людям радость... Герман, ведь правда же? — обратилась она к мужу. — Твое шампанское, которое ты назвал «Надежда», было лучшим на довоенной выставке в Париже.

Муж едва кивнул. За время нашего присутствия он не произнес ни слова. Но все отражалось в его глазах. При разговоре о шампанском они ожили, в них затеплился свет.

— Он все понимает, — прошептала мне на ухо Зоя.

Надя догадалась, кивнула.

— У него был инсульт. Поражение речи... Уже год... И вот я с ним... До работы, после работы. Мне в этот блок разрешили приходить. Мы очень часто вслух вспоминаем, как он создавал вино. Это же как поэзия. Или нет... Как музыка! Создавать напиток, который делает людей счастливее... Сказано же: вино — это солнце в крови!

От ближних нар к нам придвинулись двое мужчин: седой, суховатый на вид старик и другой, помоложе, чер-

нявый. Наклоняясь к Наде, стали выспрашивать, немцы ли мы, откуда прибыли, где поселили. Я уже заметил: ссыльные, как и эки, не спрашивают у новичков подробности, а лишь статью и бывшее место проживания.

— Они из района! — излишне резко произнесла Надя. И, уже обращаясь к мужу, добавила: — Герман, это гости... Им приятно тебя видеть. Они даже знают твое шампанское. Тебе нравятся гости?

Герман перевел взгляд на Зою и кивнул.

— Вот и ладушки. Теперь гости подождут, а я тебя покормлю и побрею. Ты зарастаешь быстрее тайги!

Называя пришедших немцев по именам: Вальтер и Ханс, — наша спутница попросила их, раз уж здесь, побыть с гостями. То есть с нами. Но не особенно надоедать с вопросами. Гости устали с дороги.

Вальтер, тот, что помоложе, поживей, оказался бывшим кадровым военным, специалистом по танковым двигателям. Сейчас, конечно, разжалован, работает механиком на шахте. Ханс, высокий, немногословный, строгий на вид, — ботаник. До ссылки работал в ботаническом саду в Карл-Маркс-Штадте, что на Волге, выращивал цветы. Казалось бы, здесь не до цветов, но его профессию востребовали, хоть и специфично: он руководит так называемым цветочным цехом.

— Что же вы выращиваете? — с удивлением вопрошала Зоя. — Хризантемы? Розы?

— Ну какие там розы! — отмахнулся старик. — Делаем бумажные цветы... Для венков. Их знаете сколько нужно?

— Сколько?

Мужчины переглянулись и не ответили. Им, наверное, странным показалось объяснять аборигену, как вымирают ссыльные.

— Но роза у нас есть! — воскликнул более импульсивный Вальтер. С оглядкой на друга он поведал историю, как тот раздобыл черенок розы, непонятно где, и посадил при въезде в зону. — Единственная роза на всю округу! Вот поедете в другой раз на «кукушке», не прозевайте. Да вам

там, на платформе, любой покажет... Поезд проходит, а все головы в одну сторону: как наша розочка, подросла ли? Как бутончик первый, проклюнулся? Как второй?

— Розляйн, розляйн, розляйн рот, — произнесла Зоя и посмотрела на меня. — Антон наизусть эти стихи знает.

— Вы понимаете по-немецки? — оживился Вальтер.

— Немного, — отвечал я.

— Но вы же не немец?

— Нет.

— Кто же вас научил?

— Один человек. Из эшелона.

— Один хороший человек из эшелона, — поправила Зоя.

— А разве он не сказал вам, майн херц, что это не просто стихи... Это — песня!

— Я знаю только слова, — сказал я.

Вальтер повторил:

— Это очень красивая песня... — И уже своему другу: — Они должны знать эту песню, Ханс, правда же? Может, споем?

— Спойте! Спойте! — попросила Зоя. — Я хочу услышать песню о розе!

Немцы еще раз переглянулись. Вальтер помолчал, глядя под ноги. Негромко завел:

*Мальчик розу увидал,  
Розу в чистом поле,  
К ней он близко подбежал,  
Аромат ее впивал,  
Любовался вволю.*

Ханс, глядя на друга, подхватил:

*Роза, роза, алый цвет,  
Роза в чистом поле!*

— Однажды на платформе запели, — прервавшись, сказал Ханс. — Даже не мы, женщины пели. А тут из промзоны

услышали, стали подпевать... Ну эти... военнопленные... Из Сталинграда...

— Они тут? С вами?

— Конечно, нет! — вразнобой, но очень горячо запротестовали собеседники. — Мы советские немцы, а они... фашистские... Они враги...

— Они другие? — спросила Зоя.

— Конечно, они другие, — сказал, поджимая сухие губы, Ханс.

— Какие? Но они же люди, как вы? — настаивала Зоя. Ее так зацепил этот разговор, что она покраснелась. Может, она, как и я, вспомнила про Ван-Ваныча. Его ведь тоже обзывали фашистом. А настоящие-то фашисты как раз в штабном вагоне шиковали.

— Если по правде, — признался Вальтер, — им здесь потяжелей, чем нам. Столько помороженных... И мрут... Мрут...

— Бумажные цветы и для них?

— И для них.

— А кладбище где?

Вальтер подтвердил, что кладбище у тех немцев есть, но как бы свое. А вообще тут четыре рабочих района, а как человек уходит, говорят: «Он в пятый район переселился».

— А песню... Вот о дикой розе, — спросила Зоя, — они что, не так поют, как вы?

— Песни они как надо поют! — сказал, смягчаясь, Ханс. — Зер гут! Они даже «Катюшу» играют на губных гармошках... А мы им в ответ «Линду»...

— Ну тогда еще про розу... Пожалуйста! — попросила Зоя.

Вальтер согласился. Сосредоточиваясь, стал вспоминать слова. Ханс ему подсказал: «Роза, я сломя тебя...»

— Да, да, — подхватил Вальтер. — Послушайте, мальчик хочет сломать розу, а она... Нет, лучше мы, правда, споем.

Он завел чуть громче прежнего:

*«Роза я сломлю тебя,  
Роза в чистом поле!»  
«Мальчик, уколую тебя,  
Чтобы помнил ты меня!  
Не стерплю я боли...»*

— Роза обещает его уколоть, но мальчик не побоялся и сорвал розу... — стал пояснять нетерпеливый Вальтер, но мы тут же попросили: «Дальше, дальше!» И даже сами вместе с Хансом стали подпевать:

*Роза, роза, алый цвет,  
Роза в чистом поле!<sup>1</sup>*

За песней не заметили, как объявилась за нашей спиной женщина. Рыжеватая, плотная, в сапогах и гимнастерке. Что-то было в ней от комиссарши времен Гражданской войны, какими их показывают в кино. У нее и голос был почти мужской, прокуренный, с хрипотцой.

— Кончайте базарить! — произнесла властно. — Скоро на проверку. — И, глядя на нас: — Посторонние? Из какого отряда?

Понятно, появилась она не случайно. Мужчины, потупясь, виновато помалкивали. Мы тоже. Возникла напряженная пауза. Но тут на помощь пришла Надя.

— Жанночка, — зачастила она елейным голоском. — Это же медики, из района... Ну помнишь, я говорила, что приедут осматривать Германа?

— В такой одежде? — спросила Жанна с недоверием.

— Моя, моя одежда! — подтвердила Надя. — В дороге промокли. Дождь шел. Я им выдала из своего... Да ты, Жанночка, не беспокойся, мы закончили, уходим... А с тобой мы завтра сочтемся! Лады?

— У коменданта бы отметились, что ли, — сказала рыжая Жанна чуть миролюбивей. — Завтра спросят, что я скажу?

1. Перевод Д. Усова

— Да кто будет спрашивать? — чуть наигранно произнесла Надя. Глаза ее, черные, с маслянистым отблеском, были сама невинность.

Уходя, Жанна напоследок нас оглядела. Сфотографировала взглядом. Особенно пристально рассматривала Зою, пытаясь что-то вспомнить.

— Мы в районе не встречались? — спросила, морща лоб.

— Не помню, — отвечала, смутившись, Зоя.

— Я вас точно видела, — настаивала Жанна. — Но где?

— Не помню, — повторила Зоя. Врать она не умела.

Жанна чуть помедлила.

— Гуляйте подальше, — посоветовала. — Я вас не видела. И учтите, это всех касается: порядок превыше всего!

Мне показалось, что сказано было не столько нам, сколько невидимым слушачам.

Широко вышагивая — у таких женщин и шаг как на параде, — она двинулась вдоль нар, а мы быстренько распрощались и следом за Надей убрались на женскую половину блока. И хоть за шумным многоязычием сотен людей никто не смог бы нас услышать, но Надя поднесла палец к губам и показала рукой на дальний закуток.

С оглядкой сказала:

— Осведомительная сеть... Куда деваться. Доложили...

— Заложили? — поправила Зоя.

— Ну да. Надо вам уходить. От греха подальше.

— Куда?

Вопрос мой прозвучал по-дурацки.

Да ясно куда: в лес, в тайгу, к черту на кулички... В конце концов в наш проклятый вагончик: там-то уж точно ждут не дождутся... Нет, нет! Эту мысль я отринул как наваждение. Лучше уж к зверям, в тайгу!

Надя же вопросу не удивилась.

— Ладушки. Будем думать, — сказала. И тут же вспомнила: — У нас вечером «кукушка» возит шахтеров в ночную смену...

— А возьмут?

Надо бы спросить иначе: а выпустят ли? Из зоны?

— Это моя забота, — сказала Надя. — Побудьте здесь, только тихо. Совсем тихо.

Она полезла в тумбочку и достала крошечную цветную книжечку, сунула Зое в руку.

— Для общего развития... Мы с Германом составляли для выставки... Сберегла!

Громко стуча клюшкой, Надя понеслась по блоку на выход, а мы с Зоей присели у нар прямо на пол. Так нас меньше видно. Надин пассаж мы поняли так: не волнуйтесь, ничего пока страшного не произошло. А для успокоения, пока я бегаю, посмотрите картинки. Отвлекает.

— Будем развиваться? — спросил я, стараясь говорить спокойно. — Так какая там выставка?

— А та самая, где пьют настоящее шампанское.

Зоя указала на обложку, где красивая заграничная дама, явно не ссыльная, в окружении двух красивых мужчин поднимает бокал с лучезарным напитком. Ниже надпись: «Golden moments».

— Но это же Надя? — воскликнул я, не сдержавшись.

— Я тоже ее узнала, — сказала тихо Зоя. — Но тогда она была другой... Правда?

— Почему?

— Потому что без клюшки... С бокалом. И вообще... Тоша, переведи мне, — попросила Зоя. — Что там написано про «Золотые моменты»?

Я с опаской оглянулся. Но блок жил своей предотбойной жизнью, до нас никому не было дела. Мы сидели в сухом, теплом помещении, и никто не гнался за нами с собаками. Подумалось: может, это и есть «золотой момент»?

— Ладно. Слушай, — сказал я. — *Zu Hause feiernh mit Familie, Freunden...* Что означает: праздник дома с семьей и друзьями. Задайте вашему празднику определенный тон, выберите свой любимый цвет, например красный...

— Я люблю красный цвет, — задумчиво произнесла Зоя. И осмотрела на себе одежду.



— Попросите гостей одеться в красное, — продолжал я. — Украсьте дом цветами.

— Знаю! — громким шепотом произнесла Зоя. — Розами, да?

— Угостите друзей бокалом золотого шампанского и пикантной закуской...

— Затирухой, — добавила Зоя, погрузнев. Она заглянула в книжечку. — А есть что-нибудь другое?

— Ну вот, праздник в саду, — прочел я. — Спланируйте погоду, позаботьтесь о зонтиках, которые защитят от солнца и от комаров и мошек...

— Да я не о мошках! — с досадой перебила Зоя.

— О чем?

— Не знаю...

Я перелистнул страницу.

— Хотите праздник на лошадях? Или представление на домашней сцене с танцами? Тогда обсудите с поваром меню и оденьте официантов в костюмы в соответствии со стилем праздника...

— Нет, нет! — перебила опять Зоя. — Мне нужно совсем другое.

Конечно, капризничала она не из-за книжки, просто задерживалась наша Надя. А мимо, будто невзначай, раз-другой уже мелькнули какие-то лица. Даже показалось, что кто-то дышит мне прямо в затылок. Я оглянулся, но никого не увидел. И все-таки я чувствовал... Нет, мы чувствовали, что нас тут стерегут.

— Вот! — воскликнул я намеренно весело. — Нашел! *Romantische Feste zu Zweit!*

— Это для нас?

— Это для нас. Романтический вечер для двоих... Подходит?

— Господи, разве это возможно?

— А вот слушай. Вы должны решить, какая атмосфера будет для вас наиболее романтической: неяркий свет, небольшое скопление людей или полное уединение...

— Только не скопление, — сказала Зоя и снова оглянулась.

— Удивляйте спутника (спутницу) неожиданными идеями. Например, принесите закуску к шампанскому в виде посуды в форме розы...

— Хватит, — сказала Зоя. — Не могу.

— Что ты не можешь?

— Не могу... Не хочу... — прошептала она, отворачиваясь. И вдруг — прикикая к моему уху: — Тош, ну скажи... По правде... Так было? Было, да? Посуда в виде розы?

— Не знаю, — сознался я. — Ведь это не для нас же.

— А для кого? — Зоя заглянула в мою книжечку и пискнула жалобно: — хочу «гольдс моментс».

Появившаяся за нашей спиной Надя энергично поправила:

— Гольден, деточка. — Partytipps... und Gewinnspiel-info zum Mitnehmen... Ладно... Пора двигаться, скоро загрузка. Главное — прошмыгнуть, чтобы поменьше глаз...

— Нас тут рассматривали, — доложил я.

— А как же! Бдительность у нас в почете!

— Вам-то не влетит? — спросила Зоя. Мы торопливо переодевались в чуть подсохшее, но еще влажное тряпье.

— Выкручусь! — отмахнулась с улыбкой Надя. Но и она озиралась по сторонам. — Я ведь обещала Жанночке рассчитаться... Завтра приплюсую ее бригаде сучкорубов лишнюю норму! За все надо платить. Я и за Германа плачу... Иначе бы он года не протянул.

— Но какая-то надежда есть?

— Ах, да какая там надежда? — отвечала спокойно Надя. — Его дни сочтены. И каждая продленная минута — это и есть «гольден моментс».

— А как же шампанское? — произнесла Зоя. И вдруг созналась, что она никогда не пробовала настоящее шампанское.

— Я так и поняла, — констатировала Надя. — Приятно же помечтать. А я вот на днях письмо из освобожденного Новороссийска получила... Завод разрушен, виноградники погибли... Ах, да что жалеть! Доживем до праздников, будет и шампанское...

— Не ваше? — спросила странным голосом Зоя.

И чего ей далось это шампанское? Но сразу же подумалось, что досадовал я напрасно. Кто же захочет расстаться с мечтой о жизни, где красивая, молодая и, видимо, счастливая женщина в кругу веселой компании поднимает бокал с золотым напитком!

— Значит, не «Надежда»? — повторила жалобно Зоя.

— Другое будет, — отвечала с неохотой Надя. — Переоделись? Тогда пора.

И быстро, постукивая клюшкой, пошла вперед, протискиваясь между нарами. Мы едва за ней поспевали. Выскочили наружу и сразу окунулись в прохладные сумерки. В отдалении, где загружалась «кукушка», горели на деревянных мачтах прожекторы, доносились окрики охраны, голоса и мат. В ночную смену на шахту ехали в основном мужчины.

Надя приблизилась к последней из платформ, возле которой топтался кривоногий солдатик с автоматом. Указывая на нас с Зоей, торопливо стала пояснять, что мы вольнонаемные и нас надо ссадить в Зыряновке, на повороте, где поезд сбавляет ход.

Она сунула ему в руку пачку махорки и ласково добавила:

— Ты уж, Кеша, постарайся. Им сегодня надо попасть домой.

Кеша подарок принял, быстро запрятал в карман. Посмотрел в нашу сторону, небрежно кивнул:

— Будь спок... Доставим в целостности и сохранности!

— Вот и договорились. За мной не завянет.

Надя посмотрела в сторону платформ, чтобы убедиться, что посадка не окончилась, взяла Зою за плечи и отвела в сторону. Мне, обернувшись, бросила:

— На минуточку... Дамские секреты!

Минуточек оказалось куда больше, пока я торчал у платформы на глазах кривоногого Кеша. Чем-то напоминал он мне Петьку-недоноска: ходил, чуть раскорячившись, взад-вперед с неприступным видом, покрикивая на рабочих, на тех, кто медлил на посадке и задерживал очередь.

Вдруг показалось, что лагерь ссыльных — тот же вагончик. Ну побольше размером, а так — никакой разницы. И порядки, и охрана. Все одинаково.

Женщины наконец вернулись, и Надя по-особенному, я сразу заметил, оценивающе посмотрела на меня. Одобрительно кивнула.

— Антон, значит? Ну что ж, храни, Антон, береги свою дикую розу... Она того стоит. — И помолчав: — Прощайте. Бог даст, встретимся на свободе.

— С шампанским! — воскликнули мы с Зоей одновременно.

— Конечно, — сказала Надя. — Шампанское пьют свободные люди.

Повернулась и зашагала в сторону бараков, широко размахивая клюшкой.

Глядя вслед, подумал, что все это не более чем мечта, а на самом деле никакой встречи не будет. И праздника с шампанским, которое зовется ее именем.

После войны, не сразу, конечно, я попытался найти их следы — и на Урале, и в Абрау. Мне удалось лишь выяснить, что Герман умер в том же сорок четвертом году. В лагере. А Надя вскоре после его смерти покончила с собой.

24

Так, наверное, не бывает, чтобы все время везло. А нам везло. Сперва необъяснимый Волоченко, потом Надя, да и «кукушка», подоспевшая в последний момент. Однако, если взглянуть иначе, отвлекаясь от пережитого страха, мы все равно были обречены. Только мы этого тогда не понимали. Везение везением, но раньше или позже западня должна была захлопнуться, потому что все дорожки напрямиком вели в эту западню.

Не это ли просек незлобивый Волоченко, решив про себя: пусть бегут, если смогут. А не смогут, будут там, где им положено. Раньше ли, позже, но будут. И сердобольная Надя, подхватившая нас, находчивая, по-бабьи прони-

цательная, тоже не могла не догадываться, что всюду, куда бы мы ни направились, терпеливо и уверенно нас караулят наши ловцы. И мы сами придем туда, куда им надо.

Казалось бы, ну что нам стоило миновать пресловутую Зырянку, вместе с названной теткой, которую предложил Васька-серьга, и посчитать, что нам в который раз повезло? А ведь не миновали — и попались. Ну а миновали, что тогда? И тогда бы, тогда тоже, на нашем, проложенном для нас свыше маршруте, причем любом, ждал бы нас все тот же, назначенный судьбой вагончик.

Говорю уверенно, потому что знаю наперед, что с нами будет. Знал бы тогда, бросился бы в тайгу, в любое зимовье, чтобы продлить на часы, на минуты нашу свободу. И Зонька не знала, верила, как и я, в чудо. Одна удача, и еще одна, и мы, глядишь, прорвемся на волю.

Господи! Господи! Если бы до конца жизни сохранить эту веру!

Сидя в конце последней платформы, спиной по ходу поезда, и видя лишь стриженный затылок нашего охранника, я наклонился к Зое и спросил, о чем они так долго секретничали с Надей.

— А ты не догадываешься? — спросила она. — Надя все о нас знает.

— Откуда?

— Ты лучше спроси, как остальные не догадались, когда кругом наши физиономии распечатаны... А еще Надя, знаешь, что сказала? Сказала: вас ненавидят, потому что у вас любовь. Слово в слово, как бородач. Может, правда? — Со вздохом добавила: — Хоть бы этот Кеша не ссадил нас в тайге. С него какой спрос? Все равно никто не узнает.

Но Кеша честно отработывал дареное курево. Он прикрыл нас брезентом и посадил так, чтобы не торчали на виду.

С поезда на узкоколейке тайга в сумраке вечера не показалась нам страшной. Но розового куста, выращенного

Хансом, как ни смотрели в промзоне, мы не увидели. Потом пошли проплешины, перелески, поля. Промелькнула и наша опушка. Для остальных, кто каждый день ездит на смену, просто лес за насыпью, а для нас с Зоей родное местечко... Болотце с ручьем, омуток, зимовье. Мысленно с ним распрощались. Ни погони, ни собак не видать. Небось, шарят вдоль путей к Юргомышу. А мы все тут, вокруг да около, бродим.

Пришла на ум шальная мысль: а не сойти ли нам снова здесь и продолжить житье-бытье в родном зимовье? Ведь утверждают фронтовики — в одну воронку снаряд дважды не попадает... Но это все теории. А на самом деле, пока не найдут, будут шарить вдоль дороги. И второй... и который раз. У них сейчас охотничий раж: что медведя завалить, что беглеца. Это на фронте их нет, там рисковать под пулями надо. А тут... Воевать в тылу с бабами и ребятишками — они герои!

Я крепко сжал Зоину руку. Она ответила слабым пожатием.

— Жалко, — шепнула на ухо.

Я повторил:

— Жалко.

Мы оба знали, о чем мы жалели.

Зыряновка открылась из-за деревьев многими огнями. Мы уж как-то отвыкли, что в мире существует столько электричества. Прожекторы на мачтах не в счет. У них и свет другой, лагерно-холодный. Он не светит, а бьет по глазам. А тут, при виде светящихся окошек, повеяло жилым теплом.

Поезд сбросил скорость, и молчаливый Кеша, закинув автомат на спину, двумя руками поддержал меня и Зою, пока мы спрыгивали наземь. Махнул рукой, но не в знак прощания, а скорей по привычке.

Прямо от насыпи начиналась деревенская улица. Пахнуло дымком, донеслась откуда-то песня, высокие бабьи голоса сквозь смех и перебор гармошки. И это напомнило какую-то иную, нами забытую, тыловую жизнь.

На звук гармошки мы и пошли. Да нам все равно было куда идти. А улица, как в каждой деревне, тут была одна. Песня приблизилась, можно было разобрать слова.

*В тех лесах дремучих  
Разбойнички живут,  
В своих руках могучих  
Носилочки несут.  
Носилки не простые,  
Из ружей сложены,  
На них лежал сраженный  
Сам Чуркин молодой!  
Кровь лилась из раны  
По белому лицу,  
По белому лицу,  
По черным по бровям...*

Я ни прежде, ни потом не слышал этой песни. Но запомнилась она из-за своего необычного текста про разбойников. А еще потому, что в тот вечер все воспринималось по-особенному. Песня тоже. Хотя нам-то, понятно, было не до песен.

— Нужно спросить тетю Олю, — напомнил я.

— Нет, — возразила Зоя. — Нам надо спросить тетю Оню.

— Такого имени нет.

— Но я сама слышала... Бородач так и сказал: спросите тетю Оню. Я даже удивилась... Зря не переспросила.

— Зря. — И я повторил упрямо: — Такого имени нет. Я сейчас зайду в избу и спрошу... А ты побудь здесь.

— Спроси тетю Оню, — произнесла вслед Зоя.

Я не помню ее интонации, но думаю, что она была просительной. Только я Зою не послушался. Я был уверен, совершенно уверен, что знаю точно, кого надо спрашивать.

Изо всех сил пытаюсь остановить это мгновение у чужого крыльца. Поздней памятью переиначиваю наш разговор, правлю себя:

— Нужно спросить тетю Олю, — говорю я.

— Нет, — возражает Зоя. — Нам надо спросить тетю Оню.

— Такого имени нет.

— Но я сама слышала... Бородач так и сказал: спросите тетю Оню. Я даже удивилась... Зря не переспросила.

— Зря, — говорю я. Но при этом соглашаюсь. — Ладно, — говорю. — Зайду в избу и спрошу тетю Оню. Непонятное какое-то имя... Но я спрошу.

Иногда наш спор укорачиваю еще.

— Нужно спросить тетю Олю, — предлагаю я.

— Надо спросить тетю Оню, — поправляет Зоя.

— Ладно. Спрошу. А ты побудь здесь.

Но сделал я так, как сделал. И одна буква в тот вечер решила нашу судьбу. Сейчас-то понимаю, что был бы другой вечер, другие обстоятельства, которые привели нас к такому же результату. Понимаю. И все-таки...

Добираясь в воспоминаниях до этого вечера, я веду этот короткий спор. И спорю снова. С собой. С Зоей. Со своей дурацкой памятью, которая не хочет ничего менять. И оттого становится больней.

Я постучался в двери, но за шумным весельем меня не слышали. Потянул дверь на себя и сразу же окунулся в атмосферу бурного, даже буйного деревенского праздника. За просторным столом, накрытым небогатой снедью: картошка, огурцы, лук и, конечно, неизменная бутылка мутноватого самогона, — кучно теснились женщины.

Девочка-подросток, как мне увиделось от порога, лихо растягивала мехи гармошки. Ядовито-синий махорочный дым клубами восходил к потолку. И хоть все враз повернули головы в мою сторону — как же, мужик объявился! — но петь не перестали, и только ближайšie к двери закричали: «Паря! Ходи к нам! Заждались!»

Из-за стола поднялась моложавая бабешка — да тут все были молодые — в цветастом платочке и белой нарядной блузе, судя по всему, хозяйка дома.

— Тебе, милой, кого?



— Мы ищем тетку Олю!

— Кого? Кого?

— Олю! — крикнул я сильнее, пытаюсь переорать женский хор.

— Ах, Ольгу? Она вон сидит! — И тут же закричала через весь стол: — О-оль... Слышь? К тебе!

— К тебе! К тебе! — подхватили остальные. А кто-то добавил: — Ох, ох! К Ольге так мужики и липнут! Сладкая баба!

— А у нас Илья седня, — добавила хозяйка. — Престольный...

— Престольный! Престольный! — опять подхватили бабы.

— Щас... Только допою, — отвечала неведомая Ольга. Через дым разглядеть ее не удавалось. — Допою вот про любовь...

И, высоко поднимая голос, завела:

*В одном прекрасном месте, на берегу реки,  
Стоял красивый домик, в нем жили рыбаки,  
Один любил крестьянку, второй любил княжну,  
А третий — молодую охотника жену...*

Я расслышал, что пели по-разному: одни — «любил княжну», а другие по-современному — «любил партейную»... Стол дружно подхватил, стаканчики звякнули.

*Охотник в лес собрался за белками идти,  
С цыганкой повстречался, умела ворожить,  
Раскинула все карты, боялась говорить!  
Охотник сел на лошадь и к дому поскакал...  
И, подъезжая к дому, он видит у крыльца:  
Жена его в объятьях целует рыбака.  
Охотник снял винтовку и стрельнул в рыбака...*

Пели ладно, с чувством, с переживанием. Как же: роковая любовь. Девка-гармонистка, жилистая, худая, оторвалась на миг от инструмента, залпом, не закусывая,

осушила стакан и понеслась наяривать дальше. Увлеклись песней, а про меня забыли. Я тихохонько шмыгнул за дверь.

Зоя по-прежнему сидела на крыльце.

— Нашел?

— Нашел.

— Выйдет?

— Когда напоеется...

— Напьется? — переиначила Зоя. Несмотря на усталость, она могла шутить.

— Там и пьют и льют, — подтвердил я, представив вновь картину, как из граненых стаканов, глиняных кружек потребляли бабы мутную, с едким угарным духом, сивуху, проливая мимо рта на одежду, на пол.

— Может, уйдем? — сказала Зоя. — Не нравится мне тут.

— У людей праздник, — возразил я. — Престольный...

— И песня не нравится: «стрельнул, стрельнул»... — Зоя отвернулась и закрыла глаза.

Наконец появилась Ольга. Насколько я смог ее разглядеть, не старая, грудастая, пухленькое лицо, светлые глаза. Прямо из кино «Свинарка и пастух», там они тоже во весь экран голосят.

Завидев Зою, театрально развела руками:

— Вас тут цельный коллектив!

С минуту рассматривала Зою, видать, не ожидала, что у нее соперница. Бабы-то, было слышно, провожали ее шутками, но постанывали от зависти: мужик как есть натуральный, во дворе ждет. Опять, мол, повезло. Как на постой, сплошь мужчинный пол... То военный, как намедни, то ашо кто!

Про военного, который был намедни, мы тогда пропустили мимо ушей. Как говорят, лопухнулись. И — зря.

— Ну и чево? — спросила Ольга громко, не отводя от Зои глаз.

— Да мы вот от Василия, — сказал я.

— С ночевкой, что ли? Ну так идем. Я через дом живу.

Пьяная Ольга про Василия почему-то не спросила. И тут мы не насторожились. А это был сигнал. Домик у нее оказался неказистым, без двора и без ограды. Под потолком голая лампочка, обсиженная мухами, стол из струганых досок, лавка у печки, железная кровать. В красном углу икона Николы Чудотворца, украшенная бумажными цветами. Ситцевые занавески на окнах.

Хозяйка с порога ткнула рукой в кровать:

— Ложь бабу — и пошли! — Хохотнув, добавила: — Взад обратно! — При этом схватила меня крепко под локоть и потащила к дверям. Я, как мог, пытался отбиться.

— Нет, нет! Я устал!

— С ней, что ли, остаешься? — напрямик спросила хозяйка, указав на Зою.

— С ней.

— А почему с ней?

— Она жена.

— Во как! Отхватила целую горбушку! Могла бы и поделиться!

Стоя посреди избы и разглядывая нас, пораздумывала минуту-другую, махнула рукой.

— Пойду за измену с бабами допевать! — И тут же речитативом завела:

*Ох, женка, моя женка, изменница моя,  
Мене ты изменила, любовника нашла!  
Он тут же стрельнул женку и повернул коня,  
Не выдержало сердце: пришлось убить себя!*

На последнем слове с силой хлопнула за собой дверь, так что Зоя вздрогнула.

Прислушалась, выглянула за дверь. Увидав в сенцах, на лавке, деревянную бадейку с ковшом, набрала в горсть воды, ополоснулась. Недоверчиво оглядела чужую постель с лоскутным засаленным одеялом, не раздеваясь, прилегла.

Не открывая глаз, протянула:

— Какое тут все чужое... Даже я себе чужая... И эта тетка... Как она смотрела...

— Как все.

— Нет. Не как все. У нее дурной глаз...

— Тебе показалось...

Я присел на край кровати. Зоя пошарила, нашла мою руку, положила себе на грудь. В полусне произнесла протяжно:

— Тоша... Хочу шампанского! У нас же с тобой романтический вечер. Для двоих. Как там, у Нади: неяркий свет, полное уединение... В избе... Вы, то есть ты, удивляйте спутницу неожиданными идеями... Можете принести ей закуску к шампанскому в посуде в форме розы...

Не отпуская моей руки, как делают дети, путающиеся темноты или страшных снов, она на полуслове уснула. А я продолжал сидеть, не отнимая руку.

Помню этот последний вечер до мелочей. Последние мелочи нашей совместной жизни. История наша завершается. Все, что будет дальше, чужое. Как эта выхолощенная изба с запахами прелой соломы, постель с лоскутным засаленным одеялом, ситцевые занавески... Иконка с пыльными цветами. Незнакомая дурная Ольга...

Потом-то выяснилось: тетка не зря нас долго рассматривала. Пьяная, но что надо сообразила. Выскочив за дверь, ни на какие песни не пошла, а резво побежала в контору, где был телефон, связь с милицией и районом.

25

Сквозь дрему, еще не открывая глаз, я услышал странный свистящий звук, будто кто-то усиленно втягивал в себя воздух. Приподняв голову, увидел за столом при тусклом свете лампочки мужчину, хлебавшего звучно из миски.

Как в неприятном сне, возник знакомый профиль Петьки-придурка. При полной военной форме, в грязно-зеленом бушлате, подпоясанном ремнем. Он даже форменную армейскую фуражку за столом не снял. Но он никогда ее не снимал, чтобы казаться значительней. Только боевая винтовка, с которой он не расставался, на этот раз была отставлена в угол.

Петька сразу засек мой вопрошающий взгляд из-за спинки кровати. Но от хлеба не отрывался, лишь самодовольно ухмыльнулся, блеснули стальные зубы. Доскреб миску до дна, старательно облизал деревянную ложку.

— Ну вот... И мы тут! — произнес так, будто мы с вечера только и делали, что вели душевные беседы. — Кричат: «Сбегли, сбегли!» У меня-то не сбежишь! Так? — Развернулся в мою сторону, уставился не мигая. Ждал, что я что-то отвечу.

Я же, пришибленный неожиданной встречей, немотарщился на визитера из-за спинки кровати. Все представлялось как продолжение дурного сна.

Только сейчас я заметил, что зрачки у Петьки не просто рыжие, но со звериным огоньком изнутри. Неподвижные и зловещие. Как в зоологическом музее стеклянные глаза у рыси. Как там описывал наш лесной друг... Прыжок со спины... И стальными когтями скальп на глаза!

А он привстал, чтобы лучше нас увидеть. Заглянул Зое в лицо, проверяя, вправду ли она спит. Вернулся к столу, удовлетворенный осмотром, налил из кринки в жестяную кружку молока, отхлебнул. Оборачиваясь к нам, повторил почти добродушно:

— «Сбегли, сбегли»... Их по кустам ищут, район на ноги поставили... У немчур, гряд, скрываются... Под шконками даже шарили... Ван-Ваныча привезли, хоть был под замком. Фашист со своим вражьем отродьем всегда общий язык найдут, не то что энти охломоны из района. Ну и шиш! Нашли? — И сам себе с удовольствием ответил: — А ни шиша не нашли! Клизму им в задницу! За такую службу!

Оглянулся, чтобы убедиться, что я его слышу.

— А вот Петька-то умней оказался! — Это он о себе так. — Живет себе на деревне, на полном, как вишь, довольствии. И удовольствии. Капканчики расставил. И — ждет. Солдат спит, а служба идет. Поел, значит, поспал... Ж-ж-ждет. Снова поел-поспал... Нет. Тут меня разбудили. Потому что — р-раз! — Он звучно прицокнул языком. —

По-па-ались! Вставай, гряд, Петр, пора ваших беглецов брать!

Высказался Петька-недоносок. И отвернулся к окну. Выпустил весь набор слов. Да и то правда. Никогда не видел я его таким красноречивым.

Осторожно, чтобы не потревожить Зою, я приподнялся на кровати, но вдруг понял: она давно не спит. Затаилась, чтобы не видеть противную рожу придурка, как она потом созналась. Не видеть и не слышать. Лучше бы, говорит, умерла в тот вечер, чем пережить все, что произошло.

— Мне на двор... выйти, — глядя на Петькину спину, попросил я. И, так как он продолжал молчать, добавил: — По надобности...

— Ну и ступай, — подал голос мой страж. — Только со мной пойдешь. Но сразу предупреждаю: без фокусов. Буду стрелять!

Он взял из угла винтовку и сопроводил меня за дом.

Когда проходили по двору, я как бы невзначай поинтересовался:

— А дальше-то нас куда?

— Дальше... Доставай свой шланг, поливай огород! — Придурок был в хорошем настроении. Но уже другим тоном, не терпящим возражений, добавил: — Велено ждать. До утра.

Я уже не стал выпрашивать, кого мы будем ждать. Сопровождение ли, охрану какую или этих... Из вагончика. Да и вообще в темноте нельзя было разобрать, который час на дворе... Вечер, а может, за полночь. Но по тому, что слышалось еще пение баб из соседней избы, хоть не так энергично, я решил, что время не позднее.

И Зоя к нашему возвращению поднялась. Не произнося ни слова, направилась к выходу. Думаю, она это сделала намеренно. Назло Придурку. Тот бросился наперерез.

— Стой! — крикнул. — Без меня ни шагу!

— А если мне нужно? — спросила Зоя не оборачиваясь. Она стояла уже у дверей.

— Я сказал: со мной!

— Будешь помогать? — спросила с издевкой.

— Не твое дело! — отрезал зло Придурок. — Сторожить буду.

— Ну сторожи, сторожи.

Как потом рассказала Зоя, стоял страж недалеко, но смотрел как бы в сторону. А возвращаясь, кликнул хозяйку, которая, оказывается, пряталась в сенцах.

— Дай им похлебки, — приказал. — А мне стопаря. Только не из железной кружки. Я из стакана люблю. Но чтобы до краев!

— Опосля молока-то? — удивилась хозяйка. На нас она старалась не смотреть.

— У мене с водярой что хошь совмещается! — похвалился Придурок.

Мы поели. Все опять молча. Сели на деревянную лавку у стены. Стали ждать. На Петьку-придурка старались не смотреть. А он, повернувшись спиной, праздновал, надо так понимать, свою победу. Требовал от послушной хозяйки по новой и, прежде чем опрокинуть, косил в нашу сторону.

К стопарю ему подали миску кислой капусты. Он брал ее двумя пальцами и, задирая голову, посылал в рот. Иногда запивал рассолом через край. Казалось, сивуха его не прошибает. Но когда вместо очередного стакана он потребовал подать бутыль — нечего, мол, по капле-то цедить! — мы поняли, что он основательно надрался. И не обязательно его рыло видеть, спина, которая маячила перед глазами, стала грузно оседать.

Хозяйка, видать, сбегала к соседям, притащила полную бутыль самогона, заткнутую бумажной пробкой. На нас, сколько раз промелькивала перед глазами, не взглянула ни разу, будто нас нет. А как бутыль встала на столе, Придурок, не оборачиваясь, приказал ей убираться вон.

— Ты вот что! — крикнул вдогонку. — Как за этими придут, позови. А до них не появляйся... Вали отсюда, не мозоль людям глаза!

Раскупорил бутыль, вынимая затычку стальными зубами, нацедил до краев стакан и медленно, стараясь не

оступиться, направился к нам. Видимо, праздник, который Придурок сам себе придумал, не приносил радости без нашего участия.

С минуту он рассматривал нас исподлобья и вдруг сунул стакан мне прямо в лицо, я едва отклонился.

— Со свиданьем, цуцик! В вагончике тебя заждались! Скоро у майора потанцуешь! — И уже Зое: — А ты чё физию воротишь? Здря! Седня вместе веселиться будем! Я тут на днях с бабами ох как распелся! Хошь, щас спою?

Опрокинул в себя стакан не закусывая и запел, замычал, зарычал песню. Именно зарычал, проборматывая вздох слова. Я их запомнил. В них тоже было что-то утробное. Первобытное, что ли.

*Что ты смотришь на меня в упор,  
Я твоих не испугаюсь глаз, за-ра-за,  
Лучше кончим этот разговор,  
Он у нас с тобой не первый раз!  
Ну что ж, иди, иди, жалеть не ста-ну,  
Я таких, как ты, мильон до-ста-ну...*

И после паузы, протяжно, чуть подвывая, завершил песню так:

*Ты же ра-но или по-здно  
Все равно придешь ко мне! Са-ма!*

Я видел, как Зою передернуло от такого звериного исполнения. Было ясно, что он напился до дуриков.

— Ну что, девица? — спросил, обращаясь к Зое. — Не ндравится? Щас пондравится! Мы вот что сделаем... Посторонних... Энтих... — Кивок в мою сторону. — Отправим к вдове... На сеновал! Хе-хе! Она на передок слабовата, бедолага, изждалась мужичка-то! Хоть какого, хоть плюгавенького. — И, прихохатывая, закончил: — А ему утешительная премия — полстакана!

— Он никуда не уйдет! — сказала Зоя, вцепляясь в мою руку. — Он мой муж!



— Му-уж? Объялся груш! — передразнил Петька, оскалившись. Сверкнули стальные зубы. — Раз поимел, стало быть, муж? Так давеча в штабнухе тебя столько поимели! Они что? Они все мужья?

Зоя, не произнося ни слова, еще сильнее вцепилась в мою руку. Но она не только держалась за меня, она меня держала, чтобы не сорвался.

— Дык я тоже хочу стать мужем. Раз-зе не имею права? Все имеют, а я не имею?

Он стоял перед нами, раскачиваясь взад-вперед. Но его стеклянные, со звериным огоньком изнутри, глаза рыси были совершенно трезвы. Я прямо физически ощутил: стоит мне сделать к нему шаг, как он оборотнем прыгнет сверху и стальными когтями сдвинет мне скальп на лоб...

Комнату вдруг застлало красным туманом. Я перестал ощущать себя. Было мгновение, когда я мог бы броситься на него, но пьян-пьян, он чутко уловил мое движение. Скакнул в угол и уже примеривался, поднося винтовку к плечу и разворачивая ствол прямо на меня.

— Мне энтот свидетель ни к чему! — объявил, причем очень спокойно. — Имею право ликвидировать. При попытке к бегству. А ты ведь хотел бежать? Ну так беги! Беги давай! Ну! — И клацкнул затвором.

Если бы он закричал, как всегда, если бы не было двух бутылок самогона, можно было бы поверить, что берет на испуг. Не станет же он палить в чужой избе, поостережется. Хоть он и трезвый не очень остерегался, когда догонял Скворца. Но там-то он стрелял в поле, издалека и в спину!

Сейчас же стеклянные глаза расширились, ноздри, как на охоте, раздувались, и уж палец, отчего-то сразу побелевший — я от него глаз не мог отвести, — жмет, жмет на курок! И уже приказывает:

— К двери! К двери, говорю!

Это значит, чтобы пуля — в спину.

Реакция Зои была быстрее, чем моя. Она вдруг бросилась перед ним на колени, запричитала. От пронзительного женского крика стало в груди больно.

— Не надо! Не надо! — закричала. — Петя! Он тебе не помеха!

Придурок, наверное, тоже не ожидал такой реакции.

— А к чему мне с ним канитель-то? Ни выспаться, ни гульнуть! А стрельну, мне еще и премию дадут, что врага-беглеца не упустил! Мало в эшелоне наизгалялись: «Придурок! Придурок!» Ну скажи еще раз: кто я? Кто? — И затрясся от ненависти. К нам или не к нам, сейчас он не различал. И снова я увидел стальное дуло в лицо и белый палец на курке.

Уж сколько мы, ребятня, нагляделись за войну всякого: и бомбочки-зажигалки, и те чугунные чушки, что могли снести полквартала, но отчего-то не взорвались... И лимонки, которые бросали в костер, перед тем как разбежаться, и самопалы... Но никогда я не представлял, как зябко под желудком становится, слабеют в коленках ноги, когда в твое лицо упирается дуло... Черный зрачок смерти. Тело немеет под этим стальным оком. Перестаешь себя ощущать...

Как издалека, донесся голос Зои.

— Умоляю! — пронзительно закричала она. — Петя! Петенька!

Имя, произнесенное так необычно, прошибло его. Словно опомнившись, переспросил:

— Ка-ак?

— Пе-ть-ка! Что скажешь, все исполню!

И ни капельки фальши в голосе.

Господи, да что же она так унизилась, что поползла к нему и погладила его сапоги! Я не мог, не хотел этого ничего видеть. Сверкнул в глаза прыжок рыси-оборотня, и кровавая каша застлала все вокруг. Скорей ощутил, чем увидел Зою. Она взяла меня за виски и близко-близко прошептала:

— Антон... — И еще тише: — Тошенька, милый... Уйди...

Туман рассеялся, и я увидел ее глаза. В них было то, чего не было в ее голосе. Черный ужас. Она точно знала, что рядом ходит смерть, и хотела отодвинуть ее любым способом. Любым. Даже таким, как этот.

С силой — и откуда в ней, хрупкой, оказалось столько силы? — взяла меня за плечи и вытолкала наружу. Я услышал, как за спиной хлопнула дверь.

Зоя спросила, глядя перед собой:

— Что я должна делать?

Петька-недоносок, не выпуская из рук оружия, сказал, что сперва они будут вместе пить.

— Пить не буду, — отвечала Зоя.

— Значит, пить буду я. У нас ведь праздник?

— Да.

— Семейный, так?

— Так.

— Я муж? — спросил он в упор.

— Ты муж, — отвечала кротко Зоя, глядя прямо перед собой.

Эту маску, это состояние полной нечувствительности, она выпестовала в себе еще там, в штабнухе. Она уходила в него в случае опасности, как куколка шелковицы в свой кокон.

Она стала раздеваться. Движения были механические. Скинула кофту, юбку, распустила волосы и, подойдя к постели, медленно легла на спину. Петька-придурок при этом стоял посреди избы в той же странной позе, с оружием в руках, молча наблюдал.

Вдруг спросил:

— А с майором ты как ложились?

— Не помню, — отвечала Зоя.

— А с этим? Ну? — И указал на дверь.

— Не помню, — повторила она.

— Хочу знать. Как муж! — настаивал он.

Зоя впервые повернула к нему лицо.

— Но я же здесь, Петя! Что тебе еще нужно?

Как ни странно, он среагировал на слово «Петя» послушно. Отставил винтовку и стал торопливо раздеваться, бормоча какие-то слова про мужей, которых он всех пере-терпел, всех запомнил, сволочей таких!

Перед тем как впрыгнуть в постель, именно впрыгнуть, он протянул с особо жалостливой, почти детской, интонацией:

— Знаешь... Знаешь, как мужику погано, когда водишь девок на случку? Я чуть с ума не сходил, как представлял, как энто делают... А я слушаю, ходя у окошечка, представляю в картинах, и штаны — вот стыд какой! — становятся мокрыми от чужого праздника-то... Обрато отвожу, а иду раскорякой от своих от мокрых штанов. Чуть не плачу! Потому как я тоже при этом живой...

Можно спросить, что же я делал, стоя за дверью.

Сам себя спрашиваю. Не нахожу ответа.

Не знаю. Не помню. Был, как выражаются, не в себе.

Сейчас-то понимаю, что должен был послушаться, не уходить. Лучше пуля, чем пережитый мой... нет, наш позор. Может, Зоя хотела, чтобы я, воспользовавшись неожиданной свободой, купленной таким позором, бежал?

Но я правда оставался все это время за дверью. А дверь-то они, как оказалось, случайно или нет, не заперли изнутри. Да и зачем, право, если все так добровольно? Она ему любовь, а он мне — жизнь.

Только зачем мне жизнь, если он украл главное, что у меня в этой жизни было?

А дальше было так. Рванул дверь на себя и оказался посреди избы, а у меня в руках винтовка. Где она была до этого мгновенья и как у меня оказалась — не знаю. Не могу вспомнить. Мы, конечно, с военруком в школе проходили обращение с винтовкой и всякие там части, как гребень-стебель-рукоятка в затворе и все остальное, знали назубок. Кто же из подростков не захочет подержать в руках оружие! Но сейчас первый, самый сильный позыв был у меня не стрелять, нет, бить! И чем больней, тем лучше. Бить, как злейшего врага, который поднял на нашу любовь руку.

В этот самый момент он как раз поднял голову. В глазах, обычно стеклянных, со звериным огоньком внутри

зрачка, я увидел лишь тупое удивление: откуда я вообще мог взяться, если я не должен тут быть? Он даже не пытался защищаться. А я, завидев звериную пасть оборотня, который сейчас прыгнет мне на загривок, ударил что есть силы по этим рысьим глазам прикладом... А может, железной ствола. И — бил, бил, бил. Чем я бил, сколько раз — не могу вспомнить...

Я плыл по теплой воде, наполненной клюквенной краснотой. А где-то в глубине воды, за гадкими извивающимися водорослями, моя Зоя. Золотые волосы полощутся по течению, она протягивает ко мне руки и, не размыкая губ, просит: «Тоша! Спаси! Спаси!» Я к ней, все ближе, ближе... И очнулся.

Вдруг увидел ее, обнаженную, стоящую в конце кровати. Прижав ладони к щекам, она смотрит себе под ноги. С ужасом и отвращением.

А у ног ее находится что-то мясисто-красное, там, где бывает у человека лицо. Еще я увидел свисающую мертвую руку, с наколкой ниже локтя: «Не забуду...», а дальше зеленые буквы татуировки густо замазаны кровью. Винтовку я заметил после, она валялась посреди избы. Никто больше к ней не прикоснулся.

— Ты... его... — произнесла Зоя странным голосом. Я его не узнал. — Ты... его...

Не досказав последнего слова, она осторожно шагнула с кровати, стала одеваться. Руки у нее дрожали. Она одевалась и все время оглядывалась на свисающую мертвую руку, которая как бы продолжала нам угрожать: «Не забуду...» Пропла к столу, схватила стакан с недопитой самогонкой и разом опрокинула в себя. Налила остаток из бутылки и протянула мне:

— Пей, Антон! Теперь пей!

Я помотал головой. Никак не мог отвести глаз от кровавого пятна, которое все больше растекалось по постели. Красная лужица копилась рядом, на полу.

— Да пей же, говорят! — закричала Зоя, голос у нее сорвался. Допила сама и отбросила стакан. Он со звоном покатился по полу, но почему-то не разбился.

Косясь в сторону кровати, она приблизилась ко мне и стала оглаживать мое лицо, волосы, щеки, шею.

— Тоша, милый, родной! Все, все кончилось! Теперь не страшно... Правда?

Заглядывала в глаза, продолжая меня гладить. Потом увела меня в другой конец избу, откуда не была видна кровать, и повернула лицом к стене. Мы сели на пол и прислонились друг к другу. И замерли.

А утречком, с первым светом, в окошко постучались. Мы ждали, что они постучат. И все-таки вздрогнули.

— Пришли, — одними губами, без звука, произнесла Зоя.

26

Приоткрылась дверь, и встал на пороге Ван-Ваныч, в своей дурацкой шляпе, долговязый, несуразный, но сияющий от радости, что увидел нас.

— Майн херц! — воскликнул. — Нашел! Нашел!

Мы с Зоей переглянулись, но встали так, чтобы он от дверей не смог увидеть кровать. Того, что на ней.

— Вас отпустили? — первое, что мне пришло на ум выпалить.

— Как бы не так! — хихикнул он в усики. — Приставили на всякий пожарный случай рядового по имени Сеня. Славный мальчуган, такой счастливый, больше меня свободе обрадовался! Сейчас он очень веселый...

Слов «нетрезв» или «пьян» Ван-Ваныч из деликатности не употребил. После сигнала из немецкой колонии туда срочно отправили Ван-Ваныча, который, понятно, для ссыльной немчуры — свой в доску. Ему-то они все и выложат. Но ничего ему, конечно, не выложили. Так он объявил начальству.

На той же «кукушке» утренним рейсом, как было велено, они приехали в Зыряновку и с ходу попали на бабий праздник, который за ночь вовсе не исчерпал себя. Милый мальчик Сеня зашел и пропал. С какой красоткой и на каком сеновале его теперь искать, Ван-Ванычу неизвест-

но. Хотя получается, что не Сеня его, а он теперь должен доставить рядового Сеню по назначению. То есть обратно в эшелон.

— А нас-то как отыскали? — спросила Зоя.

Он опять хихикнул.

— Майн херц! Да о вас и спрашивать не пришлось, бабы наперебой все рассказали! — с детской улыбкой вещал наш друг.

— И наша хозяйка, которая Оля, там была?

— Как же, как же! Певунья! И все о любви!

— А еще об измене? — подсказала Зоя и посмотрела на меня.

Что-то в нас, в нашем настроении было такое, что Ван-Ваныч замолк, вглядываясь нам в лица.

— Что-то случилось?

Зоя спохватилась, попыталась улыбнуться, но вместо улыбки получилась гримаса.

— Мы хотели бы... На два слова, — сказала она. — Не здесь, на улице.

Ван-Ваныч согласился. Мы вышли на крыльцо. Не могу понять, отчего мы с Зоей ждали ареста в доме, когда можно было давно его покинуть? Не бежать, нет, а просто уйти, чтобы не быть рядом с телом, которое мы не стали даже накрывать.

— Насколько мне известно, зондер-команда перекрыла все пути, — сказал Ван-Ваныч. — Вы не решили... Как бы сказать?... Чтобы мирно сдаться?

— Решили, — отвечал я. — А насчет зондер-команды... Один из них — здесь!

— В доме?

— В доме.

— Кто?

— Петька-недоносок.

— Но он же послан вас искать! — воскликнул Ван Ваныч.

— Уже нашел! — недобро произнесла Зоя, бросив на меня мимолетный взгляд.

— Он здесь, да? Но я его не видел!

— Лучше не видеть, — сказала Зоя и опять посмотрела на меня. — Он... Как вам сказать... — Она запнулась, подыскивая слова. — В общем, он... Неживой.

В тусклом свете начинающегося дня было видно, как менялось выражение на лице Ван-Ваныча: недоумение, желание что-то понять, даже воспринять как шутку, а потом гримаса недоверия и испуга. Нам показалось, что он прослезился от напряжения. Глаза его повлажнели.

— Я могу посмотреть? — попросил он жалобно. Видно было, что он не до конца верит. Не нам. Себе.

Мы одновременно с Зоей кивнули. Проводили его взглядом. Вернулся он почти сразу и присел с нами на завалинку. Он не стал спрашивать, как это случилось, но лицо его было невероятно бледным. Сорвал лопух, стал вытирать торопливо руки.

— Там винтовка валялась, — пояснил, — в крови. Вот выпачкался.

Отбросил лопух и присел.

— Кто-нибудь видел? — спросил, понижая голос и глядя под ноги.

— Никто.

— Ага. Но скоро придут. — Это он уже сам себе. — Начнутся допросы... Вы хоть придумали, что будете говорить?

— Скажем, как было! — воскликнул я.

— А как было?

— Ну как... Он хотел... Он пытался...

— С Зоей?

— Да.

— Не поверят. Ничему не поверят, — отмахнулся Ван-Ваныч. — Скажут, что боец вас застукал, словил, а вы напали на него, когда уснул, и, чтобы скрыть следы, убили красноармейца! Защитника родины! За это знаете, майн херц, что полагается?

Я сказал, что не знаю. Я и правда не знал. А Зоя спросила: «Что?» В ее голосе я услышал тревогу. Даже страх.

Ван-Ваныч не ответил. Он не назвал ни срока, ни статью. Но я запомнил, как он вдруг засуетился. Он-то



понимал, что вот-вот нагрянут те, кто нас не пощадит. Конечно, станут бить. Но потом будут допрашивать, как говорят, с пристрастием. И тогда говорить о помощи будет поздно...

Вспоминаю то раннее, едва забелевшее утро. Лаяли собаки, квохтали куры. Прозвучал и тут же аукнулся из-за леска голос «кукушки», которая возвращалась в колонию из ночной смены. Но я сейчас о нашем немецком друге, о том, что он говорил. И делал. Я сейчас лишь до конца оценил, насколько Иоган был решительным человеком. Несмотря на его манеру негромко, даже робко разговаривать.

— Антоша, — обратился он ко мне, — мне надо с вами поговорить. По-мужски. Зоя разрешит?

Зоя разрешила. Мы отошли за угол, на задворки, туда, где начинался огород и где у беспутной певуны Ольги все заросло сорняками.

В другой бы раз Ван-Ваныч, всплескивая руками, посоветовал на такую нерадивость, а возможно, сам прополоснул бы грядку. Он до спазмов в желудке переживал любую бесхозность на земле. Но сейчас он ничего этого не заметил. Лишь бегло оглянулся и сразу приступил к разговору. А разговор был о том, что мне за убийство красноармейца угрожает «вышка». То же, что расстрел. И у него нет никаких сомнений, что меня не пощадят. Поэтому... Он сделал паузу и снова оглянулся. Боялся, что не успеет договорить. Поэтому он предлагает взять вину на себя.

— А вас пощадят? — спросил я прямо.

Так же прямо, глядя мне в глаза, он отвечал:

— Нет, Антон. Меня тоже не пощадят.

— Так в чем же дело? — Кажется, я говорил грубовато. Но ведь и его предложение было не из самых приличных.

Ван-Ваныч постарался не заметить моего тона.

— Разница лишь в том, что это, — он выделил слово «это», — произойдет не с тобой, а со мной.

Я сразу же отверг его предложение. Я сказал, что не согласен. И вообще не понимаю, о чем он говорит.

— О твоём спасении, майн херц!.. Ну подумай сам! — продолжал он торопливо. — Ты не можешь отрицать, что я прожил свое. Впереди у меня ничего нет: ни семьи, ни детей, ни дома. А у тебя все впереди... Подумай, Антон!

— Уже подумал! — сказал я резко. — Виноват и буду отвечать.

— Да, я так и предполагал, — произнес он после короткого молчания. Он, кажется, не обиделся, только лицо его и дурацкие усики нервно подергивались. — Я знал, что ты такой, что ты откажешься... Но разреши поговорить с Зоей?

Я с облегчением завершил наш разговор. На него, если честно, ушли все мои силы. Я сел на завалинку, наблюдая издалека, как он разговаривает с Зоей. Частью до меня доносились слова, все те же, про семью, про дом, которого у него нет. И нет возможности вернуться на родину, да и кто его пустит! А впереди в лучшем случае вагончик, но скорей всего колония для ссыльных немцев... Это не жизнь, правда?

Зоя помалкивала, глядя себе под ноги. Иногда бросала в мою сторону недоуменные взгляды. Этот разговор тяготил ее.

— Я прошу вас убедить Антона! Ради вашего будущего, и вас, и ваших детей... Ну?

— А у нас есть будущее? — спросила Зоя.

— Думаю, да.

Зоя не стала отвечать так категорично, как я. Кажется, Ван-Ваныч своим напором, своими доводами поколебал ее.

Сейчас я знаю, что мой первый позыв был самым верным. Нельзя было соглашаться на уговоры. Но мы и не согласились. Мы не сказали ни «да», ни «нет». И это все решило. Ван-Ваныч знал, как убедить женщину. Я не слышал его последних слов, они были произнесены негромко. Оказывается, он спросил ее: «Вы же любите Антона? Вы же хотите, чтобы Антон был живой?»

— Хочу, — отвечала покорно Зоя.

— Ну так спасайте его! Я протягиваю вам руку!

Следствие оказалось недолгим. Проходило оно в районном центре, где из-за отсутствия тюрьмы меня держали под стражей в том же здании, где находилась прокуратура. Потом перевели в областной центр, в Курган. Я ничего не скрывал. Рассказал подробно, как Петька-недоносок, его фамилия, оказывается, Сидоров, домогался моей жены и при этом угрожал мне винтовкой. Описал и все остальные подробности той страшной ночи.

Следователь, молодежавый, но с пролысиной, в пенсне, был похож скорее на научного работника или на учителя, если бы не военный мундир, который ему, как говорят, личил. Звали его Евгений Иванович. Разговаривал он вежливо и все, что я рассказывал, до слова записывал на каких-то листках.

— Так Зоя — ваша жена? — спрашивал он в который раз.

— Моя жена, — отвечал честно я.

— Вы с ней сами так решили?

— Да. Хотя мы не расписаны.

— Ну кто же вас распишет? — не без легкого удивления говорил он. — Вы же утверждаете, что вам шестнадцать лет?

— Шестнадцать. И два месяца.

— А чем это можно подтвердить?

Я молчал.

— Ну может, какие-то справки, — подсказывал он. — Метрики?

— У меня на руках ничего нет. Если только у этих?

— У кого «у этих»? — спрашивал он. — Вы имеете в виду штабистов из эшелона?

— Да.

— Филькина грамота — вот что у них есть! — отмахивался он. — Но хочу вас предупредить. С восемнадцати лет вы проходите совсем по другой статье. А предположим, вы намеренно скрываете, занижаете свой возраст?

— Я не скрываю.

— Ладно. Но если вы такой честный, объясните, почему ваши показания противоречат показаниям гражданина Иогана Фишера, он же Иван Иванович Рыбаков? Гражданин Фишер-Рыбаков, например, утверждает, что это он убил красноармейца Сидорова.

— Это он сказал?

— Да. Он сознался. И не просто сознался. Он подробно описал и показал в ходе следственного эксперимента, с выездом на место происшествия, как он наносил удары пострадавшему Сидорову, а его свидетельство, кстати, подтверждает ваша, как вы ее называете, жена. Желаете, я могу вам зачитать показания гражданина Фишера-Рыбакова?

— Нет, — сказал я.

— Ваше право. Тогда перескажу своими словами. Гражданин Фишер-Рыбаков признался чистосердечно, что он давно замышлял убийство военнослужащего Сидорова, которого он, по его словам, всегда ненавидел. — Евгений Иванович оторвался от бумаг и спросил, глядя на меня сквозь угрожающе поблескивающие стекла: — А ведь были у него конфликты с военнослужащим Сидоровым, там, в эшелоне?

— Не помню, — отвечал я. — Может, и были.

— А ваша так называемая жена точно помнит, что были такие конфликты. Военнослужащий Сидоров, например, принимал участие в поимке бежавшего из-под охраны преступника Скворцова, и обвиняемый Фишер-Рыбаков из вагона через окно оскорбительно выражался в его адрес. Даже угрожал. Не так ли?

— Не помню, — повторил я.

— А как гражданин Фишер-Рыбаков наносил смертельные удары военнослужащему Сидорову, тоже не помните? А на винтовке, между прочем, найдены отпечатки его пальцев...

Я промолчал.

— Не хотите говорить?

— Нет. То есть да. Не хочу.

Евгений Иванович закрыл папку с бумагами и стал протирать стекла пенсне белым платочком. Глаза у него

без пенсне были светло-голубые и совсем не милицейские.

— Послушайте, Антон! — произнес он почти дружески, перегибаясь через стол в мою сторону. — Вам, кроме побега, вменяется и соучастие в особо тяжком преступлении, то есть его сокрытии. Но, может, вы и правда о нем не знали?

— Как же я мог ничего не знать? — сказал я. — Когда я убил.

— А вот подследственный гражданин Фишер-Рыбаков, — тут Евгений Иванович снова приоткрыл сероватую папку, — утверждает, что ни вас, ни вашей, как вы называете, жены в избе в момент убийства вообще не было. Как это понимать? Или это неправда?

— Неправда.

Евгений Иванович, будто ничего не слыша, монотонно продолжал:

— А труп военнослужащего Сидорова, как выясняется, вы увидели после происшедшего и были, как говорят, не в себе. И даже... Вот-вот! — Следователь поводил пальцем по строчке. — В приступе возбуждения вы хотели мертвому Сидорову чем-то помочь... Позвать людей на помощь. То же самое хотела сделать ваша так называемая жена...

— Почему так называемая? — взорвался я. — Она жена! Жена! Жена!

— Ну конечно, жена. Только успокойтесь.

Евгений Иванович сразу же согласился и оглянулся на дверь помещения, где происходил разговор. Комната была убогая, канцелярский стол, за которым сидел следователь, в пятнах чернил, старенький стул, на котором восседал сам следователь и железный, ввинченный в пол табурет для меня. Стены, местами облупившиеся, крашены в зеленый ядовитый цвет. Окошко с решеткой, грязно-рыжее, оно едва пропускало свет.

Я шарил глазами по стенам, а в лицо следователя, почему-то меня выгораживающего, да еще так примитивно, я старался не смотреть.

— Так и запишем, — заключил он между тем. — Увидев труп Сидорова, вы были не в себе и плохо помните, что было дальше. Вы подтверждаете, что хотели позвать людей на помощь...

Я не стал спорить со следователем. Не сказал, как надо бы сказать: «Не так все было, Евгений Иванович. А все, что вы сейчас сказали, не похоже на правду».

Но я промолчал. Меня увели.

В камере, где сидели еще четверо подсудимых: один домушник, один щипач и двое так называемых спекулянтов — они перепродавали галоши, — мне очень наглядно разъяснили систему следования: «Прав не тот, кто прав, а у кого больше прав. Все равно напишут то, что им нужно. А не подпишешь — сделаешь себе же хуже!»

На следующий день Евгений Иванович пододвинул ко мне листок со своими записями, и я не читая подписал.

Даже мне, ничего не смыслящему в следовательских делах, было очевидно, что при желании любой судья мог бы увидеть массу противоречий в деле. Например, время, когда все произошло, и появление, куда позже совершенного убийства, в доме Ван-Ваныча. И пьяные бабы, при всей их загульности, могли бы подтвердить, что немец, как и сопровождающий его Сеня, от которого и вправду прок был невелик, — он ничего о той ночи вспомнить из-за потери памяти не смог, — сперва побывали в их доме. Но женщины, как выяснилось, говорили разное, цены их показаниям не было никакой. То же и наша певунья Ольга. Она якобы сама видела с сеновала Петьку-недоноска, выходявшего на двор помочиться, а рядом с ним, по ее словам, был незнакомый ей мужчина, который, как ей кажется, был похож на Ван-Ваныча.

Все сходилось на том, что повесить убийство на меня с Зоей смысла нет, как и нет видимых причин. Приставание пострадавшего Сидорова к Зое всерьез даже не обсуждалось. А вот образ немца, возможно тайного агента,

внедрившегося в нашу советскую жизнь, срабатывал на сто процентов. Скрытый враг, притворявшийся все это время лояльным гражданином и даже сменивший имя и фамилию, на самом деле ненавидел наш строй и особенно тех, кто этот строй защищал, то есть советских красноармейцев.

Подготавливая свое злодейство, он выжидал удобного случая, который, по нерасторопности штабного начальства из эшелона, ему представился в селе Зыряновка. Конечно, чтобы развязать себе руки, он подпоил сопровождающего его бойца, а потом застращал и двух свидетелей, то есть нас с Зоей.

Ну и все дальнейшее в том же роде, расписанное в самых что ни на есть жестоких, потрясающе натуральных, кровавых подробностях.

Это же, как мне потом рассказали, было распечатано в здешней областной и районной газете, а потом пересказано по радио. Статья называлась так: «Враг не дремлет». Она заканчивалась призывом к бдительности, требовала устроения режима ссыльных вообще, а для немцев, которые, как выяснилось, поддерживали контакты с бандой, той самой, которой руководил главный преступник Фишер-Рыбаков, — особенно. Банда, это понятно, тоже были мы.

Никакой встречи с врагом народа, опасным для любых контактов, как я ни просил, мне не позволили. А вот с Зоей благодушный следователь Евгений Иванович свидание до суда разрешил. Понятно, встреча происходила в его присутствии и под охраной в той же комнате, где меня допрашивали.

Узнав о предстоящей встрече, я так разволновался, что сперва не смог даже стоять, и мне разрешили присесть. Зоя, которую привели, тоже нервничала, но она и здесь оказалась сильнее меня. Она долго глядела на меня, потом перевела взгляд на следователя и спросила:

— Вам надо все слышать? Да?

— Мне положено здесь находиться, — чуть ли не оправдываясь, произнес он.

— Ну и найдитесь, — сказала она. — Можете пока посмотреть в окошко.

— Вы теряете отпущенное время, — напомнил он.

Зоя вдруг испуганно оглянулась на него, и я понял, что вся ее дерзость происходит от страха. Не за себя, а за меня. Она торопливо заговорила, будто продолжала долгий мысленный разговор:

— Понимаешь, — сказала, — они обещали тебе не наматывать большой срок.

— А тебе?

— Меня не допрашивали... Почти. Ну один раз. Я все рассказывала как надо, и мне объяснили, что меня должны освободить. Я прохожу как свидетель.

Я обратил внимание, что она не сказала, что говорила им правду, а именно так: «Рассказывала как надо».

— А куда тебя освободят? — спросил я. — В вагончик?

Она кивнула. Но тут же, спохватившись, поправи-  
лась:

— Не знаю. Я туда не хочу.

Она не хотела напоследок меня огорчать. Я посмотрел на следователя, который рылся в своих бумагах и как бы нас не слушал. Но, конечно, он слушал и, уж точно, все запоминал. Однако какое это теперь имело значение, после того как мы все подписали?

— Ты меня не забудешь? — спросил я.

Не мог же я в присутствии постороннего спросить: а ты меня по-прежнему любишь?

Зоя отвечала так, как было возможно при постороннем.

— Я тебя никогда не забуду.

— Правда?

— Правда.

— И я.

Так закончилась наша встреча. О Ван-Ваныче вслух не было произнесено ни словечка. Хотя мы не могли не думать о нем. Через несколько дней мне принесут его прощальное письмо. Я думаю, это смог устроить следователь Евгений Иванович, пытаюсь как бы в такой форме заглядеть перед Ван-Ванычем свою вину.



На школьном листе в клеточку аккуратным почерком было написано:

«Дорогие мои! Хочу, чтобы вы до конца поняли, и ты, Антон, и ты, Зоя, что решение мое, какой бы исход ни имело, необходимо не только вам, но и лично мне. Мне, мне нужно, чтобы я исполнил хоть что-то стоящее в этой жизни! Каюсь, приехав в вашу страну созидать будущую счастливую жизнь для человечества, я крайне заблуждался. Теперь я осознал, что счастье можно приносить лично, и лишь тем, кого любишь. Если я смогу помочь только вам двоим, я буду считать свою жизнь исполненной. А может, и продленной. Ваш Иван Рыбаков.

P. S. Если у вас будет сын, назовите, пожалуйста, Иваном».

Фишера-Рыбакова судили, как я узнал потом, военным трибуналом, который в народе именуется «тройкой». Он был приговорен к высшей мере наказания: расстрелу. Приговор приведен в исполнение 26 августа 1944 года.

# Эпилог

За побег из-под стражи, за соучастие в преступлении, за его сокрытие коллегией военного суда я был осужден на четырнадцать лет с содержанием в колонии строгого режима. В пятьдесят третьем, в год смерти Сталина, я попал под амнистию, мне скостили три года, и в пятьдесят пятом я оказался на свободе. И хоть въезд в столицу нашей родины в пределах ста километров был мне заказан, я нашел возможность приехать из Торжка, где проживал, и через справочное бюро разыскать человека по фамилии Мешков.

Вообще-то Мешковых в столице, как оказалось, проживало немало, но я вычислил по году рождения того Мешкова, который был нужен. А может, мне просто повезло.

В какой-то день я пришел по адресу, выданному мне «Горсправкой», — стоило это семьдесят четыре копейки, — поднялся на третий этаж блочной башни, расположенной на краю Москвы, в Черемушках, в 44-м квартале. Лифт в доме, как ни странно, работал и даже не был загажен. Дверь квартиры номер одиннадцать — вот, подумалось, совпадение, ровно столько я отсидел! — была обита коричневым дерматином, кое-где порванным. Из дыр торчала стекловата. Вместо глазка тоже дырка. Но звонок работал.

Из-за двери не сразу раздался глухой стариковский голос: «Вам кого?» Я ответил, что мне нужно Мешкова. С минуту там возились с замками, и передо мной открылись прихожая, плохо освещенная, и сам хозяин, которого я с ходу подробно не разглядел. Но запомнил, что был он в полуспущенных пижамных штанах, цветной майке, тапочках на босу ногу.

Он сразу же, принимая меня за жэковского рабочего, стал жаловаться, что давно вызывал слесаря, и сколько заявлений вообще надо писать заслуженному персональному пенсионеру, каковым он является... Краны текут, водоспуск в туалете засорился, а последние два дня вода вообще не поступает, так что приходится пользоваться горшком.

Я не перебивал, слушал, упершись глазами в небритое одутловатое лицо в красных склеротических пятнах, пытаюсь разглядеть черты некогда властного, даже могущественного человека, при имени которого дети иной раз могли описаться. Не мы, а младшая группа.

Я смотрел и ничего от прежнего Мешкова не находил. Передо мной стоял немощный старик, ничтожество, насекомое, которое можно было сейчас раздавить, лишь шевельнув пальцем. Тем более без свидетелей. Да и я за одиннадцать лет отсидки кое-чему научился в колониях, мог справиться и с кем-нибудь покрепче.

Но не случилась ли ошибка, не принимаю ли я в ослеплении одного человека за другого, ни в чем не повинного? И лишь приглядевшись, хоть свету было маловато, по обесцвеченным глазам угадал: он... Точно, он! Язва! И хоть продолжали одолевать сомнения по поводу расправы, для которой я, рискуя новым сроком, сюда прибыл, но злая память диктовала свое: эта уродина, кусок тухлятины и есть всеильный в прошлом Мешков, который поломал мою, Зоину и многие другие жизни... А теперь ты готов простить?

— Послушай, мешков... — начал я свою обвинительную речь. Все слова были продуманы заранее. — Послушай, мешков... — Я его обозначил для себя вот так, с маленькой

буквы. Но голос мой осекся. В горле встал комок, мешавший говорить. Я помолчал, стараясь совладать с собой. Глубоко вздохнул и повторил: — Послушай, мешков! Таловку помнишь? Та-лов-ку, говорю?

По его растерянности, по тому, как в его белых, слезящихся глазах появилось осмысленное выражение, даже оживление, я понял, что он понимает, о чем его спрашивают.

— Да, да. Было. Был... — зачастил он. — Был. В смысле, руководил. Как же! А ты кто, собес?

— Нет, я не собес, — сказал я. — Я бес. Я — оттуда.

— Откуда, говоришь? — переспросил он, подаваясь вперед, чтобы меня рассмотреть.

— От-ту-да! — повторил я уже на нерве. — Из прошлого твоего, мешков. Из вагончика...

— Вагона? Какого вагона? — спросил он чуть встревоженно. — Но я не служил на железной дороге. Я служил совсем по другой части...

И тут он завел свою нудь по поводу текущих кранов, маленькой пенсии и всяких других вокруг неполадок, которые никак не хочет исправлять нынешняя власть, хотя он человек заслуженный, это все знают. Вот раньше-то порядка было больше...

А я глядел на него, и даже плюнуть в его заслуженную рожу расхотелось. Я увидел, что он все равно ничего не поймет.

Я повернулся и ушел. Знал, что те, кто остался навсегда в том вагончике, меня не оправдают. Хоть бы морду ему намылил, что ли, если уж раздумал убивать...

Так сказали бы они.

Или в унитаз его вонючий или горшок тот головой окунул... Чтобы его осенило!

Ну а я повернулся и ушел. Уехал. Господи, подумалось, если бы, если все бывшие палачи на искончании своего века стали бы так убоги, какой смысл в Твоем суде?!

А в 2004 году, в августе, как у нас намечалось с Зоей, я справил юбилей нашей свадьбы. Я открыл бутылку шам-

панского из Абрау, под названием «Надежда», и произнес короткий тост. Я сказал: «Зоя, я тебя люблю».

По-прежнему живу в Торжке, городок выбран мной не случайно. Здесь проживал Ван-Ваныч, мой спаситель. И хоть домик на окраине, где он жил, разыскать не удалось — его скорей всего прибрали к рукам. — я поселился на окраинной улице, неподалеку от Осташковского шоссе, устроился работать в здешнюю оранжерею.

Выращиваю на продажу цветы, но особенно люблю розы. Это совсем не те розы, что везут с юга, которые благоухают, но не пахнут... И похожи на ярко расцвеченные бумажные цветы. Мои розы совсем другие. Они вырастают из стихов... Розляйн, розляйн, розляйн рот... Их любят покупать влюбленные и утверждают, что они долго не вянут.

А вот семьи у меня нет. И хоть некоторые из моих друзей считают, что я немного рехнутый, — это их выражение, — я по-прежнему все эти годы пишу во все организации, какие только можно придумать, по поводу затерявшегося среди российских дорог вагончика.

Я даже разыскал очевидцев, которые его видели в пятидесятые годы: якобы он стоял на станции Тулун, под Иркутском, и из него слышались многие голоса. Есть косвенные подтверждения, что его замечали в семидесятые на станции Обзь, неподалеку от Воркуты. А потом в восьмидесятые и девяностые... Мне пишут из разных мест: видели! Да я и сам знаю, что он существует. А может, он стоит там, где я его оставил, на приколе у поселка Полуночного, и ждет, ждет меня...

2005 ГОД

# Содержание

СУДНЫЙ ДЕНЬ

5

ВАГОНЧИК МОЙ ДАЛЬНИЙ. Повесть

Часть первая. ГРУЗ БЕЗ ОБОЗНАЧЕНИЯ .....	271
Часть вторая. ДИКАЯ РОЗА В ПОЛЕ. ....	365
Эпилог. ....	441

*Литературно-художественное издание*

**Приставкин Анатолий Игнатьевич**

**ТОМ 3**

**Собр. соч. в 5 томах**

**Руководитель проекта *Юрий Крылов***  
**Заведующая редакцией *Татьяна Чурсина***  
**Компьютерная верстка *Виктория Челядинова***  
**Корректор *Наталья Семенова***

**ООО «Издательство «Зебра Е»**  
**121069, Москва, Скатертный пер., 28**  
**Тел.: (495) 695-38-88**  
**E-mail: [zebrae@gambler.ru](mailto:zebrae@gambler.ru)**  
**[www.zebrae.ru](http://www.zebrae.ru)**

**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
**№ 77.99.60.953.Д.009937.09.08 от 15.09.2008 г.**

**По вопросам приобретения книг издательства «Зебра Е»**  
**обращаться по адресу:**  
**121069, Москва, ул. Большая Никитская, д. 50/5.**  
**Тел. (495) 690-19-65, 690-19-55.**  
**[kniga@zebrae.ru](mailto:kniga@zebrae.ru)**



## ПРИСТАВКИН

Анатолий Игнатьевич

[17.X.1931 — 11.VII.2008]

Мне часто снится один сон. Вагончик наш укатил, а мы с Шабаном сидим на рельсах, не зная, где его искать. Но искать-то надо. Там, в эшелоне, остались наши дружки, а здесь кругом лес да зверье. И Зоенька моя там, в вагончике, ждет и верит, что мы ее непременно отыщем...

«Вы знаете, что писать книги очень тяжело», — всегда говорил Анатолий Приставкин студентам-новичкам на самом первом семинаре в Литературном институте. «Литература — огромный и сложный мир, и надо бесконечно много работать и очень многое познать, чтобы добавить свои крохи в тот общий котел, который сварили до тебя (и за тебя) твои предшественники».

Конечно, как у каждого серьезного писателя, у Анатолия Приставкина были свои любимые из тех книг, что созданы за сорок лет честной литературной работы. Это только дети в семье все любимые, а книги у писателя, хотя и родные, как дети, но все разные.

Поэтому, не кривя душой, можно сказать, что эту коллекцию прозы для вас, дорогие друзья, собрал сам автор.

*Марина Приставкина*

В одном из своих интервью Анатолий Приставкин сравнивает себя с лошадью, ходящей по кругу: она все время возвращается в исходную точку. Добавим, что такие лошади использовались некогда на шахтах — например, тащили подъемник. Из каких же глубин Приставкин извлекал те воспоминания, которые были «сокрытым двигателем» его труда?

*Игорь Волгин*

ISBN 978594663943-9



9 785946 639439 >